Битва за будущее



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, ЕВГЕНИЙ ШИКОВ, ЮЛИЯ ЗОНИС,
ГЕРБЕРТ УЭЛЛС, ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН
И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Битва за будущее

Юлия Александровна Зонис, Екатерина Романенко, Гилберт Кит Честертон, Ефим Владимирович Гамаюнов, Валерий Исаакович Генкин, Найя Диним, Егор Альтегин, Ирина Соколова, Евгения Халь, Ирина Лунинская, Станислав Стрыгин, Илья Халь, Григорий Константинович Панченко, Вячеслав Ледовский, Юрий Максимов, Виктор Колюжняк, Игорь Вереснев, Дмитрий Осин, Ника Батхен, Елена Лаевская, Александр Васильевич Белкин, Ефим Давидович Зозуля, Борис Геннадьевич Богданов, Герберт Джордж Уэллс, Сергей Игнатьев, Андрей Чесман, Дарья Странник, Андрей Якушкин, Инна Викторовна Девятьярова, Юрий Иванов, Яков Соломонович Пан, Андрей

Александрович Загородний, Далия Мейеровна Трускиновская, Владимир Николаевич Васильев, Евгений Шиков, Фернан Дюмон, Дмитрий Васильевич Никитин, Витольд Зайчонски

Аннотация
Битва за будущее
Наши павшие – как часовые
  Ника Батхен. Огонь!
  Ефим Гамаюнов. МОРОЗ КРАСНЫЙ
  Найя Диним. ПЛОСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Варианты
  Григорий Панченко. LICET BOVI
  Александр Белкин. ОШИБКА
  Егор Альтегин. ВЫДУМЩИК
  Виктор Колюжняк. СОЛДАТСКАЯ ВЬЮГА
  Юлия Зонис. ГОВОРЯЩИЙ С ВЕТРОМ
  Юрий Иванов. РАЗБУДИТЕ ХЕРЦИНА!
  Ирина Соколова. ЛЕСНИК И НЕМЦЫ
  Дарья Странник. СЛЕЗЫ ДЛЯ КРИГА
И любовь, и кровь
  Далия Трускиновская. ТАЙНЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ ЗНАК
  Евгения Халь, Илья Халь. ВЛЮБЛЕННАЯ ПУЛЯ

Игорь Вереснев. ЛЮРИКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Ирина Лунинская. НЕ ВСЕМ РЕКАМ
Дмитрий Осин. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
А до смерти четыре шага
Сергей Игнатьев. МАЯК ДЛЯ НАГЛЬФАРА
Андрей Якушкин. ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ, ТРИ КОСТОЧКИ
Валерий Генкин. ИСТОРИК
Андрей Чесман. СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Дальний прицел
Евгений Шиков. ВСЕ ОБРЫДАЮТСЯ
Владимир Васильев. ОККУПАНТЫ
Андрей Загородний. ПРАКТИКАНТ
Борис Богданов. ТОЧЕЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Юрий Максимов. СЛУЧАЙ В ЛОМБАРДЕ
Иная сторона
Станислав Стрыгин. ТОННЕЛЬ ЗНАМЕНИЕ
Вячеслав Ледовский, Екатерина Романенко. КРАЙНИЙ ТРЕК: ТАЙНА U–977
Дмитрий Никитин. ПУСТЬ ВСЕ КРУГОМ ГОРИТ ОГНЕМ
Витольд Зайчонски. УЗЕЛ
За воротами гетто
Елена Лаевская. КУКЛА ТОВАРИЩА БЕРИИ
Инна Девятьярова. ЭТО БЫЛО В ЛЮБАВИЧАХ
Григорий Панченко. СМЕРТЬ ГЕОМЕТРИИ

Старые страницы
Ефим Зозуля. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ ЧЕЛОВЕКОВ
И. Нечаев (Яков Пан). БЕЛЫЙ КАРЛИК
Герберт Уэллс. УРАГАН ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ. БРОДЯЧАЯ СМЕРТЬ
Фернан Дюмон. ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА
Гилберт Кит Честертон. МЕСТЬ СТАТУИ

Аннотация

Много лет назад отгремела великая война, которая навсегда изменила облик мира, разделив историю человечества на до и после. Отзвуки ее до сих пор отдаются эхом в Вечности. К ней в своих произведениях обращаются поэты, кинематографисты и музыканты, не смогли пройти мимо и писатели-фантасты. Силой своего воображения они воссоздали события и героев, которых не было в реальности, но в существование которых так легко поверить. Альтернативная история, фантастическое супероружие, сверхъестественные события и невероятные подвиги, органично вплетенные в полотно реальных событий. Признанные мастера отечественной фантастики Владимир Васильев и Юлия Зонис, талантливые молодые авторы Евгений Шиков и Сергей Игнатьев, а также прославленные классики мировой литературы Герберт Уэллс и Гилберт Честертон встретились на страницах этого сборника. 80-летию Великой Победы посвящается.

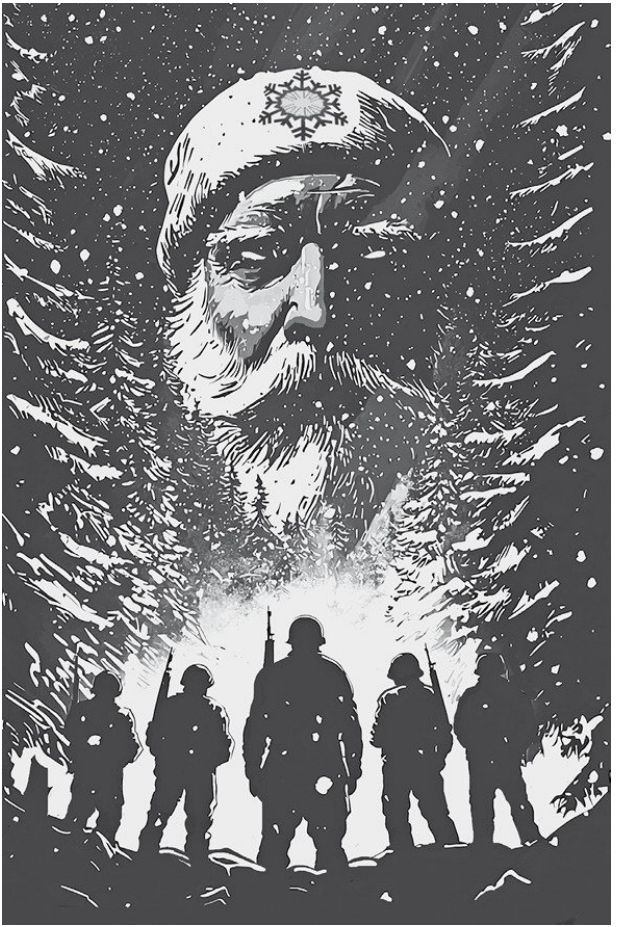
Битва за будущее

В тексте книги использованы переводы с английского и французского Игоря Абакумова и Айзека Бромберга

© Авторы, 2025
© Иллюстрации, форзацы и дизайн обложки: Фролова М., 2025
© Оформление: ООО «Феникс», 2025
© В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

* * *

Наши павшие – как часовые



Ника Батхен. *Огонь!*

— Стреляй! Стреляй, Андреич! Уйдет ведь фриц! — хриплый голос ведомого поднял Кожухова с койки, бросил в пот.

Ладони дернуло болью, словно под ними снова был раскаленный металл пулемета… Лучше б так: в самолете на два шага от смерти, но вместе. Чтобы Илюха опять был жив. Но юркий Як с двумя звездами на фюзеляже рухнул в поле под Бельцами, а товарищ старший лейтенант Плоткин не успел раскрыть парашют.

Или не сумел: Кожухов видел, как друга мотнуло в воздухе, приложив головой о хвостовую лопасть. Клятый «мессер» уходил к Пруту оскорбительно медленно, но патроны кончились, и топлива оставалось впритык. Скрипя зубами, сплевывая проклятия, Кожухов развернул Як на базу. Он доложил командиру, сам написал письмо матери, выпил с парнями за упокой души — и которую ночь подряд просыпался с криком. Тоска томила угрюмого летчика, разъедала душу, как кислота.

— Приснилось что, Костя? — сосед справа, молодой лейтенант Марцинкевич, приподнялся на

локте, чиркнул зажигалкой, освещая комнату. — Может, водички дать?

— Пустое, — пробормотал Кожухов. — Не поможет. Душно что-то, я на воздух.

Он поднялся и как был босиком, в подштанниках и нательной рубахе вышел вон — глотнуть сладкой, густой, словно кисель, молдавской ночи. Где-то неподалеку был сад, пахло яблоками, и мирный, доверчивый этот запах совершенно не подходил к острой вони железа и керосина. Кожухов подумал, что в Москве только-только поспели вишни. В тридцать девятом, когда Тася носила Юленьку, она до самых родов просила вишен, а их было не достать ни за какие деньги. Потом она трудно кормила, доктор запретил ей красные ягоды. Бедняжка Тася так ждала лета, Кожухов в шутку обещал ей, что скупит весь рынок, — и ушел на фронт раньше, чем созрели новые ягоды. Левушка родился уже без него, в эвакуации, в деревенской избе. Он знал сына только по фотографии и письмам испуганной жены: ей, коренной москвичке, был дик крестьянский быт. И помочь нечем. Кожухов оформил жене аттестат, раз в два месяца собирал деньги, но от одной мысли, что она, такая хрупкая и беззащитная, рубит дрова, таскает мешки с мукой и плачет

от того, что по ночам волки бродят по темным улицам деревушки, у него опускались руки. У Илюхи жены не было, только мать и сестра в Калуге, но друг воевал с непонятной яростью, словно один мстил за всех убитых. «А они наших женщин щадят? — кричал он в столовой и грохал по столу кулаком. — Детей жгут, стариков вешают ни за что — пусть подохнут, суки проклятые!» Сам Кожухов воевал спокойно, так же спокойно, как до войны готовил курсантов в авиашколе. И до недавнего времени не ощущал гнева: может быть, потому, что потери проходили мимо…

— Не нравишься ты мне, приятель! — настырный Марцинкевич прикрыл дверь и остановился рядом с товарищем, неторопливо скручивая цигарку. — Которую ночь не спишь, орешь. С лица спал, глаза ввалились, от еды нос воротишь.

— Ну уж… — неопределенно буркнул Кожухов.

— Сам видел: идешь из столовой и то котлету Кучеру кинешь, то косточку с мясом, а он, дурень собачий, радуется. — Марцинкевич затянулся и выпустил изо рта белесое колечко дыма.

— А тебе-то, Адам, что за дело — сплю я или не сплю? К девкам своим в душу заглядывай, а меня не трожь, — огрызнулся Кожухов.

Выстрел попал в цель — Марцинкевич по-

морщился. Статный зеленоглазый поляк, как магнитом, притягивал женщин — подавальщиц, парашютоукладчиц, связисток — и немало страдал от их ревности и любви.

— Мне-то все равно. А вот эскадрилье худо придется, если ты с недосыпу или со злости носом в землю влетишь. Сколько у нас «стариков» осталось? Ты да я, Мубаракшин, Гавриш и Петро Кожедуб. И майор. Остальные — мальчишки, зелень. Погибнут раньше, чем научатся воевать. Ты о них хоть подумал, Печорин недобитый?

Гнев поднялся мутной водой и тотчас схлынул. Кожухов отвернулся к стене, сжал тяжелые кулаки:

— Тошно мне. Как Илюху убили — места себе найти не могу. Так бы и мстил фрицам, живьем бы на куски изорвал. Думаю: поднять бы машину повыше и об вагоны ее на станции в Яссах, чтобы кровью умылись гады за Плоткина за нашего.

— Та-а-ак, — задумчиво протянул Марцинкевич. — Плохо дело. Хотя… есть одно средство. Скажи, ты ведь вчера второй «мессер» уговорил?

— Уговоришь его, как же, — ухмыльнулся Кожухов. — Он в пике вошел, а выйти — вот досада какая — не получилось.

Марцинкевич повернул голову, прислушива-

ясь к далеким раскатам взрыва, потом как-то странно, оценивающе взглянул на Кожухова:

— Айда со мной к замполиту, получишь фронтовые сто грамм.

— Непьющий я, Адам, — покачал головой Кожухов и зевнул.

До рассвета оставалось часа полтора, сон вернулся и властно напоминал о себе.

— Знаю, Костя, что ты непьющий. Но без ста грамм не обойтись: тоска сожрет заживо. А у нас, летчиков, первое дело — чтобы душа летала. Оденься и пошли.

В чудом уцелевшем каменном здании старой постройки, при немцах переоборудованном в казарму, было жарко от человеческого дыхания. Товарищи спали тихо, Кожухову тоже захотелось завернуться в колючее серое одеяло, но он натянул форму и вернулся к лейтенанту. Тот не глядя махнул рукой, шагнул в ночь. Зябко поводя плечами, Кожухов двинулся следом, мимо взлетного поля, на котором едва угадывались самолеты. Колыхались над головами звезды, похожие на белые косточки красных вишен, шуршал и хлопал брезент, щебетали сонные птицы, какая-то парочка со смехом возилась в кустах. Девичий голос показался знакомым — кучерявая смеш-

ливая щебетунья из столовой аэродрома, то ли Марыля, то ли Марьяна. Почему-то Кожухову стало неприятно.

Плосколицый, безусый, толстый, как баба, особист встретил поздних гостей хмуро. Он вообще был нелюдимом, ничьей дружбы не искал, и к нему особо никто не тянулся: опасались, и не без причины. Слишком легко могла решиться судьба от пары-тройки не к месту сказанных слов. Впрочем, доносчиков в эскадрильях не водилось, да и сам особист сволочью не был, не давил парней зря. Так, щурился из-под очков, словно в душу смотрел. На молодцеватое «Здравия желаю, товарищ капитан» он вяло махнул рукой: мол, вольно. Сел на койке, почесал потную грудь — ждал, что скажут бравые летчики, зачем подняли.

— Докладываю, товарищ капитан, — вытянулся Марцинкевич, — старшему лейтенанту Кожухову полагаются фронтовые сто грамм. «Мессер» сбил, напарника потерял. Лучший истребитель в эскадрилье, комсомолец, герой, наградной лист на него ушел в дивизию. Надо, товарищ капитан.

— Надо так надо, — безразлично согласился особист, зевнул и полез под койку. Достал бутылку без этикетки, взял со стола стаканчик, наметил ногтем невидимую риску и налил водку

— подозрительно мутную, с резким и сложным запахом.

— Садитесь, товарищ лейтенант. Пейте залпом, не закусывайте. Затем закрывайте глаза.

Удивленный Кожухов хотел было спросить, зачем, но не стал — куда больше его волновал вопрос, сможет ли он выпить столько в один присест. Привычки к спиртному ему и на гражданке порой не хватало. Виновато глянув на Марцинкевича, он присел на колченогую табуретку, глубоко вдохнул и одним глотком выпил обжигающую рот жидкость. От едкого вкуса его чуть не стошнило, Кожухов поперхнулся, зажмурился и закашлялся.

— Не в то горло попало? — участливая рука похлопала его по спине, возвращая дыхание. — Смешной ты, Котя. Котеночек мой!

Раскрасневшееся ласковое лицо Таси возникло перед Кожуховым. Он сидел в своей комнате на Столешниковом за накрытым по-праздничному столом. Ветчина, икра, утка с яблоками, малосольные огурчики, мандарины, вишневый компот в графине. В углу поблескивала шарами нарядная елочка. Кудрявая Юленька в пышном розовом платьице мурлыкала на диване, нянчила куклу, шепеляво уговаривая ее сказать «ма-ма».

Упрямый Левушка пробовал встать на ножки в кроватке, плюхался, но не плакал, только хмурил дедовские широкие брови, надувал губешки и снова поднимался, цепляясь за прутья. Старый Буран одышливо хрипел под столом, стукал по полу тяжелым хвостом, Кожухов чувствовал ногой его теплую спину. Тихонько играл патефон.

— Хочешь знать, что я тебе подарю? — улыбнулась жена.

— Нет, — покачал головой Кожухов. — До полуночи — не хочу, и тебе не скажу, пусть сюрприз будет.

— Умираю от любопытства, — призналась Тася и милым жестом поправила волосы. — А еще гадаю, каким он будет — сорок четвертый год. Так хочется в августе к морю, в Ялту, с тобой вдвоем… Осенью Левушка пойдет в ясли, а я вернусь в библиотеку, начну работать. Буду вести кружок юных читателей, заседать в комсомольской ячейке, запаздывать с ужином, ты станешь сердиться, разлюбишь меня и бросишь!

— Что ты за ерунду несешь? — отставив бокал шампанского, Кожухов встал со стула, подхватил жену и закружил по комнате, покрывая поцелуями. — Милая, дорогая, лучшая в мире моя Тасенька, я тебя никогда не брошу!

Растрепавшаяся жена смеялась, отмахивалась: «Дети же смотрят». И правда, Юленька с Левушкой тут же подали голос. Кожухов подхватил их обоих, устроил «веселую карусель», потом плюхнулся на диван, щекоча малышей за бока, обнимая их горячие, доверчивые тельца. За тонкой стенкой выстрелило шампанское, загудели веселые голоса соседей. На улице медлено падал снег, засыпая белой солью московские переулки. Это был его дом, средоточие жизни, за которое стоило умирать. И убивать…

— Очнитесь, товарищ старший лейтенант! Приказываю — очнитесь! — Кожухов почувствовал резкий удар по лицу и вскинулся. Где-то далеко гудели моторы, ухали зенитки — шла ночная атака. Невозмутимый особист хлопнул его по плечу и подтолкнул к двери:

— Приступайте к несению службы!

— Есть! — козырнул Кожухов и вышел, нарочито чеканя шаг.

Марцинкевич скользнул за ним:

— Полегчало? Секретная разработка, брат! Только к летчикам поступает, чтобы злее фашистов били.

— А почему всем не выдают? — вяло удивился Кожухов.

— За особые заслуги положено, — подмигнул Марцинкевич. — Отличишься в бою — вот тебе, боец, премиальные. Не отличишься — простую водку хлещи, глаза заливай, чтобы белого света не видеть.

— Ясно, — кивнул Кожухов. Хотя ничего ясного в этой истории не было. Еще несколько минут назад он был дома, обнимал жену, играл с детьми — и вот перед ним жаркая молдавская ночь, сонные часовые и взлетное поле аэродрома. Но помогло. По крайней мере, он воочию вспомнил, ради чего воевал и ради чего ему стоило вернуться живым.

Утро принесло неприятности — неожиданные и досадные. Подвел механик — не проверил движок. Сердитый Кожухов поднял Як, и в сорока метрах над землей мотор заглох. Чудом удалось развернуться и спланировать на поле. Машина уцелела, сам Кожухов сильно ударился лицом о приборную доску, вышиб зуб, но в остальном не пострадал. Он сидел в кабине, не поднимая стекло, видел, как бегут к самолету товарищи, как спешит, подскакивая на кочках, машина с красным крестом. Кожухова трясло от близости смерти — первый раз за четыре года войны и семь лет полетов он проскользнул на волосок от

гибели. И ощущение это странным образом разделило жизнь на до и после — сильней, чем начало войны, сильней, чем первый убитый друг. Да, он, Костя Кожухов, может стать кучей кровавого мяса в любой момент. Значит, жить надо так, чтобы ни единого дня не жалеть о прожитом. Чтобы у старого дома остался шанс устоять, чтобы дети наряжали елку в маленькой комнате и прятали подарки для мамы, надо летать выше…

Через три дня новый механик вывел на фюзеляже кожуховского Яка новую звездочку. Через два — они с Марцинкевичем начали летать вместе. Лейтенант пошел к Кожухову в ведомые и оказался прекрасным напарником — чутким, смелым, рассудительным и удачливым. Они слетались буквально за день, выписывая в ошеломленном небе бочки и петли. И когда в штабе округа заподозрили, что немецкие войска готовят контрнаступление, форсировав Прут, майор Матвеев не сомневался, кого отправить в разведку. Фотокамеру в отсек за кабиной — и вперед, соколы!

Их с Марцинкевичем вызвали прямо с киносеанса. Сигнала тревоги не было — значит, дело серьезное. На миг летчика охватила тревога: вдруг пришла похоронка. Кожухов помнил, капитану Окатьеву товарищ майор лично передавал

письмо, оповещающее: «Ваш сын, рядовой Михаил Окатьев, погиб смертью храбрых в боях за Киев». Жена капитана с двумя младшими дочерьми пропала без вести еще в первые дни войны, сын оставался последним, и добряк Матвеев хотел смягчить удар.

По счастью, причина была проще.

— Вот здесь, товарищи летчики, — кривой палец майора провел по карте черту, — транспортный узел, станция, движение поездов идет постоянно. Вот здесь, за деревней, фальшивые огневые точки. Вот в этом лесочке наш разведчик засек замаскированные танки. А за этим болотом, по непроверенным сведениям, тщательно спрятан аэродром.

— Проверить, Степан Степаныч? — хохотнул Марцинкевич и надавил большим пальцем на мятый квадрат, словно раздавливая клопа.

— Поверить на слово. Тщательно все заснять, отметить на карте, привезти фотографии местности. В драки не лезть: еще успеете навоеваться. Самое главное — вернуться живыми и доставить данные. Все ясно? — Коренастый майор взглянул на настороженных летчиков. — А если…

— Обойдемся без «если», товарищ майор, — веско сказал Кожухов. — Справимся. На войне всегда

помирает слабый. А мы вернемся. Вот только просьба у меня есть. Фронтовые сто грамм с собой взять можно? Мало ли, ранят, собьют — хоть на дом посмотрю напоследок.

— Особисту скажу, пусть выдаст, — нехотя согласился майор и добавил короткую непечатную фразу. — Вернетесь с данными — по медали каждому будет. Марш!

Вылет назначили на четыре утра — самое тихое время. Новый механик, кривоногий казах — Кожухов никак не мог запомнить его заковыристую фамилию — сквозь зевоту пожелал им удачи. Заклокотал мотор, самолет вздрогнул, подчиняясь податливым рычагам. Счастливый Кожухов улыбнулся: миг взлета, отрыва от тверди до сих пор оставался для него чудом. Он мечтал о небе с того дня, как мальчишкой впервые увидел неуклюжий летательный аппарат. И всякий раз, когда пересечения крыш, дорог, рек и гор превращались в огромный клетчатый плат, простертый под крылом железной птицы, он вспоминал: «Сбылось!» От полноты чувств Кожухов заложил петлю, Марцинкевич последовал за ним, точно приклеенный. Будь это в августе сорокового, где-нибудь на московском аэродроме, как бы хорошо вышло покрутить фигуры высшего пилотажа в

черном, прохладном, будто речная вода, небе…

Линию фронта они миновали легко. Темь стояла глухая, шли по приборам, Кожухов бегло сверялся с картой. Земля внизу казалась одинаково безразличной к войне и миру, словно большое животное со смоляной лоснящейся спиной. Ровный рокот моторов навевал неудержимую дрему; чтобы не клевать носом, Кожухов отламывал крохотные кусочки от большого ломтя пористого шоколада и сосал их, смакуя на языке горьковатый вкус. Он думал о Тасе, от которой уже две недели не было писем, о новенькой летной куртке, о глупой ссоре с капитаном Кравцовым, который спаивал молодых и бахвалился, что с похмелья садился за штурвал как ни в чем не бывало. О неподвижном взгляде убитого немца: молодой рыжеватый парень просто лежал навзничь посреди поля, как будто заснул, раскинув руки среди ромашек.

Летчику захотелось пить, рука потянулась к фляжке — и вдруг ослепительный свет резанул по глазам. Прожектор… второй, третий. Следом ударили зенитки. Самолет ощутимо тряхнуло. Не задумавшись, Кожухов резко толкнул штурвал от себя, заложил петлю и снова выскользнул в непроглядную темень. Ведомый ушел в другую

сторону. Что-то бухнуло совсем рядом. Кожухов оглянулся: Марцинкевич горел, особенно яркое в темноте пламя билось под правым крылом, ползло по фюзеляжу, подбираясь к хвосту.

Испугаться за напарника он не успел — с ловкостью конькобежца дымящийся самолет скользнул в пике, накренился и сбил огонь. «Ай да Адам!» — с гордостью подумал Кожухов.

Судя по карте, машины шли в районе транспортного узла над Яссами. Фальшивая огневая точка оказалась более чем настоящей, хотя и торчала не совсем там, где указали разведчики. Осталось разобраться с аэродромом. Хорошо было бы угостить фрицев парой-тройкой очередей, но, увы… в следующий раз подадим вам, герр фашист, ранний завтрак. Кожухов оглянулся назад: ведомый не отставал пока, летел ровно, но надолго ли его на одном крыле хватит? Время шло к рассвету, темень вокруг кабины сменилась серым туманом, еще немного — и рейд из опасного превратится в самоубийственный. Недовольный собой, Кожухов собрался приказать «на базу», но Марцинкевич не стал дожидаться. Неожиданно он обогнал ведущего и в пике ушел вниз, к земле. Взревел мотор. «Неужели потерял управление?» — встревожился Кожухов, снижая

высоту. Он ждал взрыва. Но вместо столба огня перед ним расстилалась болотистая луговина, поросшая мелким осинником.

Марцинкевич на бреющем прошелся над деревцами, заложил круг, другой, покачал крыльями — словно куропатка, которая притворяется раненой, отманивая лису от гнезда. И вот маскировочная сетка полетела в сторону, и три «фокке-вульфа» рванулись вверх за лакомой добычей — одиноким русским самолетом. Хитрец Марцинкевич таки раздразнил их. «Волга-Волга, я Звезда! — закричал Кожухов в передатчик. — Волга-Волга, аэродром в квадрате четыре, как слышите? Прием!» И, едва дождавшись неразборчивого «я Волга», изо всех сил надавил на рычаг.

Первой же очередью он задел бензобак ближайшего «фокке-вульфа» и с удовольствием проследил, как дымящаяся машина вписалась в пруд. Двое остальных попытались взять его в клещи, пули чиркнули по стеклу кабины, пробили крылья, но не повредили мотор. Кожухов недолго думая ушел вверх, в молочную глубину облаков. Он ждал преследования, но второй «фокке-вульф» вдруг чихнул мотором и замер, а затем начал падать. От самолета отделилась темная фигурка, вздрогнул купол парашюта. Немцы часто сбива-

ли выпрыгнувших русских пилотов, наши тоже, случалось, давали очередь. Кожухов брезговал.

Третий «фокке-вульф» ушел вверх. Кожухов ждал, что противник попробует сесть ему на хвост, — зря. Немецкий ас отследил, что самолет Марцинкевича медленней и не настолько маневрен, и тут же сцепился с ним. Хорошо было бы в свою очередь попортить ловкачу крылья, но проклятый рычаг вдруг заклинило. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы справиться с управлением. Когда машина легла на курс, последний «фокке-вульф» уже уходил вниз, припадая на крыло: охоту драться фрицу, похоже, отбило. Аппарат Марцинкевича тоже вильнул, но выровнялся. Всё. Задание выполнено. Кожухов дернул рычаг на себя и увел самолет высоко в облака, туда, где медленно просыпалось большое солнце. Ведомый скользнул за ним.

Обратный путь показался намного дольше — словно время, собранное в пружину, растянулось и повисло, выскользнув из часов. В голове Кожухова вертелась идиотская «Рио-Рита» из давешнего фильма, он против воли насвистывал: «Па-рам, па-ра-ра-рам, парам-парам-парам, па-ра-ра-рам», спохватывался, замолкал и начинал снова. Линия фронта была уже близко.

Сонный Прут колыхался внизу, патрули крутились у переправы, куда-то ползла колонна неуклюжих грузовиков. Кожухов опасался зениток, но им повезло и на этот раз — прячась в белобоких облаках, они проскользнули высоко над позициями противника. Дальше были свои. Оставались считаные километры до аэродрома — но Марцинкевич не дотянул. Самолет неуклюже приземлился на заброшенное картофельное поле, ткнулся в землю и затих. Не тратя время на раздумья, Кожухов сел чуть поодаль, открыл кабину и, прихватив перевязочный пакет, поспешил к напарнику.

Лейтенант сумел поднять стекло кабины, но выбраться сам уже не смог. На красивых губах пузырилась розовая пена, лицо осунулось, стало белым, точно фарфоровое. Кожухов подхватил напарника, вытащил, положил на траву, осмотрел. Пулевое ранение в голень, ссадина на виске, кровь на гимнастерке… вот оно. Небольшое аккуратное отверстие в правой стороне груди. Похоже, задето легкое, и бинты тут особо не помогут. Госпиталь нужен, врачи, операция. Не дотянет…

— Плохи мои дела, Костя? — неожиданно спросил Марцинкевич и открыл глаза.

— Не дрейфь, старик, — попробовал улыбнуться

Кожухов. — Бывало и хуже. Помнишь, как Федор горел? Приземлился, сапоги с кожей срезали, лица не было, за него и выпить успели. И ничего, очухался, подлечили — как новенький, до сих пор летает.

— Плохи. Мои. Дела, — повторил Марцинкевич и раскашлялся страшно, со свистом.

— Да, — помедлив, согласился Кожухов. — Плохи, но выжить можешь. Сейчас засуну тебя в кабину, и айда в госпиталь.

Марцинкевич поморщился:

— Знаешь, с детства врачей не любил. Если пора помирать — лучше здесь, под солнцем.

— Погоди ты себя хоронить, — неуверенно произнес Кожухов. В глубине души он согласился с другом: лучше встретить смерть посреди поля, под стрекот кузнечиков, щебет птиц и грохот далеких взрывов, чем ловить последние глотки воздуха на госпитальной койке, в окружении стонов, крови, гноя и неистребимого запаха дезинфекции. Но, с другой стороны, в госпитале у друга был шанс. А здесь — нет.

У Марцинкевича случился новый приступ кашля. Лейтенант застонал, вцепившись пальцами в мокрую гимнастерку, сплюнул кровь и попросил:

— Попить бы…

Кожухов сунул руку в карман — вместо привычной большой фляги там лежала маленькая, увесистая. Та самая.

— Сто фронтовых грамм есть. Хочешь? Заодно вспомнишь, зачем за жизнь зубами цепляться.

Утерев губы ладонью, бледный Марцинкевич приподнялся и просипел:

— Убери!!! Не хочу. Нечего мне вспоминать и возвращаться некуда.

— Как это — некуда? — удивился было Кожухов и отпрянул, увидев, как страшно изменилось лицо друга, как сжались бледные кулаки и задрожали губы.

— Так это. Ад у меня за спиной. И не спрашивай, — выдохнул Марцинкевич, закашлялся и обмяк.

И вправду, с гражданки никто не писал красавцу поляку, он единственный равнодушно ожидал почтальона, ничего не рассказывал о родне и не мечтал, что станет делать, когда война кончится, уходя от разговоров под любыми предлогами. Может, детдомовский? Или погибли все? Или… живо вспомнился черный автомобиль, шаги по лестнице и беспомощная фигура соседа-инженера в криво застегнутом пиджаке. Останемся

живы, долетим — разберемся! Кожухов подхватил тяжелое, неуклюжее тело друга и поволок к машине. Кое-как загрузив Адама в кабину, он запустил мотор. Самолет тяжело взлетел, и, едва набрав высоту, Кожухов дал скорость. Может быть, повезет…

Он довез друга живым. Марцинкевич умер спустя два дня в госпитале, не узнав, что представлен к награде. Судьба Кожухова сложилась благополучно: он дошел до Германии, сбил еще пять машин, был дважды ранен, оба раза почти легко. День победы он встретил в Дрездене, в переполненном госпитале: плакал вместе со всеми, целовал медсестер, танцевал вприсядку, кряхтя от боли в заживающих ребрах, обнимался, счастливо бранился. И еще несколько дней засыпал и просыпался с улыбкой, веря и не веря — впереди ждала новая, мирная жизнь.

…Победная открытка из Дрездена с белокурой фройляйн и размытыми тусклыми строчками на пожелтевшем картоне до сих пор хранилась у жены в ящике письменного стола.

В августе сорок пятого Кожухов демобилизовался, вернулся в Москву к жене и детям. Вместо ДОСААФ, по боевому знакомству, он устроился в «Аэрофлот», стал летать по стране, изучая на

практике рельефы местности и чудные нравы, казалось бы, одинаковых советских людей. Дом круглился полною чашей: телевизор, холодильник, добротная мебель, заграничные костюмчики детям, хорошие туфли жене и мутоновая шубка ей же. В пятьдесят пятом они получили квартиру. Раз в году всей семьей ездили в Крым. Раз в году Кожухов в одиночку летал в санаторий в Друскининкай — вдали от бдительного ока супруги хорошо выпить и погулять вдоль моря, слушая монотонный шепот прибоя.

В День Победы в Москве собиралась почти вся бывшая эскадрилья — вспомнить войну, помянуть боевых товарищей. Один-два однополчанина остались потом погостить на недельку, бегали по магазинам, ходили в театры, по вечерам пили водку и пели военные песни, не замечая неодобрительных взглядов угрюмой хозяйки дома. Пару раз Кожухов ездил в Арзни к Сарояну, один раз выбрался в Харьков навестить Кожедуба, один раз летал в Иркутск на похороны Окатьева.

Марцинкевича он вспоминал редко.

Дети росли хорошими, послушными, аккуратными. Белокурая душечка Юля носила пятерки, танцевала в ансамбле Дворца пионеров, ездила

на гастроли, мечтала стать актрисой, но, провалившись в ГИТИС, проявила благоразумие и подалась в Институт культуры. Гордясь красотой дочери, Кожухов охотно тратил деньги на пестрые платья, элегантные пальто и через знакомую стюардессу доставал девочке тоненькие чулки в пестрых упаковках. Лобастый, упрямый Левка рос маменькиным сынком, не доверяя отцу и опасаясь его. С матерью он секретничал, по малолетству ластился и обнимался, к нему не подходил никогда. Когда находилось время, Кожухов пробовал возиться с мальчишкой, строить модели аэропланов, гонять в футбол, но раз за разом складывалось ощущение — сын отсиживает повинность, как урок в школе. Со временем занятия сошли на нет. К семнадцати годам Левка превратился в колючего, язвительного подростка, которого интересовала лишь музыка — новомодный, пронзительный, режущий уши джаз. В институт он не поступил, к весне намечалась армия. Устав от независимости и изысканной грубости сына, Тася вздыхала: может, форма его исправит.

Жена старела. Красиво, с достоинством, удерживая позиции батальонами баночек с кремами, пудрами, присыпками и другими дамскими

штучками, одеваясь по моде, неброско и элегантно… Но шея уже сдалась, и морщинки около губ залегли глубоко, и седину раз в две недели приходилось закрашивать у парикмахера. Впрочем, все женщины, побывавшие в эвакуации, старились рано. Кожухов помнил, сколько пришлось перенести Тасеньке, и жалел ее, стараясь не замечать признаки возраста и перемены в характере. Он видел, что увядающий блеск красоты затмевает жене глаза, что успехи любимой районной библиотеки и заседания общества книголюбов ей стали важнее дома, но не упрекал: ему ли с его полетами обижаться на супругу за невнимание? Дважды в год по традиции Кожухов водил Тасю в театр, в день свадьбы заказывал столик в «Метрополе», дарил цветы. И все.

У него оставалось небо. Могучая послушная машина, по мановению рук уходящая в высоту, острая радость скольжения — прочь от тверди. Бесконечные облака, гул ветра, рокот моторов, пестрые сети маршрутов — Кожухов не уставал любоваться живым лоскутным одеялом земли и громадным бесплотным воздушным пространством. От немыслимой высоты — тысячи метров вниз, за хрупкой тоненькой перегородкой дна — всякий раз покалывало под ложечкой. Он

срастался с машиной, почти воочию чувствуя, как по жилам течет бензин, ребра держат борта, а мускулы двигают лопастями моторов. Кожухов ощущал себя властелином, хозяином жизни сотен людей, доверившихся ему в тот миг, когда они поднялись на борт. Только он мог доставить этот груз из точки А в точку Б, минуя облачность и зоны турбулентности, не давая крыльям обледенеть, а приборам — сбиться с курса. И, когда после объявления «Наш самолет успешно приземлился в аэропорту…» пассажиры поднимали радостный гомон, он гордился собой.

Первые мирные годы Кожухов скучал по фигурам высшего пилотажа, потом привык.

Время текло неспешно и ровно, как полет по знакомой трассе. Жена работала, задерживалась допоздна в библиотеке, приносила почетные грамоты в рамочках, со дня на день ожидала места заведующей. Дочь училась, плясала, беспечно болтала по телефону о чем-то, звонко смеясь в трубку. От нее пахло красивой жизнью. Сын хамил, огрызался и сидел у себя в комнате. Лето сменялось осенью, осень — зимой. Двенадцатого апреля 1960 года Кожухов проходил очередной медосмотр. И узнал, что летать ему больше не светит: сердце, сосуды, сбоит давление — воз-

раст, знаете ли, кто вам только летать разрешил? Коньяк не помог, стыдливый намек на благодарность тем паче. Не сдержавшись, Кожухов накричал на молодого врача, тот брезгливо поправил очки и попросил приберечь при себе все эти фронтовые штучки. Оставались кой-какие старые связи, но мудрый, будто слон, терапевт Вениамин Ефимович, пользовавший еще родителей Кожухова, развел руками: сердце сдает. Отдых, дорогой мой, профильный санаторий, а лучше в клинику на пару недель — обследуешься, подлечишься, потом и поговорить можно будет. Самое скверное было в том, что до пенсии Кожухову оставалось еще полгода стажа. Сочувственная кадровичка пообещала поискать варианты, начальник аэропорта предложил перейти в наземную службу и работать еще пять лет. Но в любом случае это значило — небо закрыто. Максимум — ехать в колхоз, садиться на «кукурузник», опрыскивать поля химией: в глубинке не так много хороших летчиков, на здоровье могут закрыть глаза. Но Тася на это никогда в жизни не согласится. И Юля учится.

…Всю неделю Кожухов возвращался домой поздно и навеселе — беганье по кабинетам, бумажная волокита и разговоры с «нужными»

людьми не привели ни к чему. Эта пятница не была исключением. Впереди ждали долгие, бессмысленные выходные. Соблазн маленькой тихой рюмочной в двух кварталах от дома оказался непреодолим — битый час Кожухов проторчал за столиком, смакуя мерзкую водку, иссохший бутерброд с жестким ломтиком сыра и скверные мысли. Тася с порога, учуяв запах, презрительно фыркнула: «Опять выпил», демонстративно навела полную сервировку и удалилась к соседке с третьего этажа обсуждать выкройки летних платьев. Милашка Юля, наоборот, прибежала ласциться. Она щебетала, щелкала его по брюшку, целовала в шершавые щеки, мешая сосредоточиться на действительно вкусной еде: готовила жена все же прекрасно. Вырез платья дочери казался слишком глубоким, аромат духов чересчур сладким для барышни, и в прелестных голубеньких глазках читалась спешка. Ей нужны были деньги. Мрачный Кожухов велел Юлечке принести кошелек из кармана пиджака, отсчитал две красненькие бумажки, покорно снес взрыв благодарностей и вернулся к биточкам в соусе. Перспектива объяснять семье, что отныне придется сильно урезать расходы, его не радовала. По коридору простучали звонкие

каблучки, хлопнула входная дверь. И тут же из комнаты сына раздалась резкая, взвизгивающая мелодия. Сколько раз просил делать тише! Из-за стены пищали и ныли трубы, ухала туба, истерически стучал барабан. Мяукающий женский голос начал песню. На немецком языке. Это было уже чересчур.

Разъяренный Кожухов пинком распахнул дверь в комнату сына. Тот валялся на кровати одетый, в нелепых брюках дудочкой и рубашке в сиреневый «огурец». На тумбочке новенький, им, Кожуховым, собственноручно купленный проигрыватель накручивал пластинку с пестрой этикеткой.

— Па-а-а, ну что опять, — капризно протянул Левка.

Ничтоже сумняшеся Кожухов аккуратно остановил иглу, поставил головку в держатель, снял пластинку и с хрустом сломал ее об колено.

Левка вскочил как ужаленный:

— Па, ты что, с ума сошел?! Это Серегин пласт, ему отчим из ГДР привез, он мне на день послушать дал! Я с ним теперь не рассчитаюсь!!!

Бледный Кожухов наступил на обломки пластинки, сверху вниз глядя на сына:

— Пока я жив, Лева, в этом доме немецких пе-

сен не будет. Я не для того воевал и друзья мои не для того гибли, чтобы мой сын фашистскую музыку слушал.

Сын вскинулся, злые слезы брызнули из глаз, кулаки сжались:

— Ты совсем дурак, да? Это из ГДР ансамбль, говорят тебе, из ГДР!

— Как ты с отцом разговариваешь?! — рявкнул Кожухов.

— Как хочу, так и разговариваю. Достал ты со своей войной! Думаешь, раз фашистов стрелял, так на все право имеешь? Ты хоть раз спросил у матери, как мы жили, пока ты на фронте шоколад жрал?

— Что?! — опешил Кожухов.

— У Шурки Ляпина брат служил, он рассказывал, летчики зыкински в войну гуляли, как сыр в масле катались, ели-пили и с девками шлялись. А мама буряк перебирала буртами, дрова на себе возила, председатель колхоза ее лапал, и она позволяла, чтобы трудодни засчитали. А когда я болел, она все золото продала, чтобы мне сульфидин купить и молоко каждый день давать. А тебе сказала, что украли в эвакуации. Ты не знал ничего, конечно, ты же летал как герой. А я слышал, как они с бабой Людой на даче говорили, думали,

я сплю, я маленький, не пойму ничего. Плевал я на то, что ты воевал, слышишь! Плевал!!!

Побледневший Кожухов ударил сына по мокрой от слез щеке. От толчка Левка упал на постель, скорчился, заплакал как маленький, бормоча околесицу. Его было страшно жаль, будто трехлетнего пухлого малыша, который расшиб о порог коленку и ищет папу, чтобы утешиться. Но ядовитые слова сына отгородили Кожухова, замкнули. Словно чужой мальчишка рыдал в его доме… какой мальчишка, на год старше уже погибали на фронте, скривился Кожухов, пнул обломки пластинки и вышел, хлопнув дверью. В буфете, он точно помнил, стояла чекушка дешевой водки на случай визита сантехника или слесаря.

Заветная полка оказалась пуста: не иначе предусмотрительная жена перепрятала заначку. Наивная… В среднем, запертом ящике стола, там же, где ордена и медали, дожидалась своего часа миниатюрная бутылочка армянского коньяка — давний подарок Сарояна. Налив благородный напиток в пузатую старую рюмку, Кожухов залпом сглотнул, наслаждаясь спасительным мутным теплом. Он надеялся, что уснет и дурные мысли отложатся на утро нового дня.

К сожалению, коньяка не хватило, алкоголь оглушил Кожухова, но оставил сознание ясным. Скрипучие ходики пробили десять. Жена все не возвращалась, дочь тоже, сын заперся у себя и назло отцу крутил записи толстого хриплого негра с еврейской фамилией. На всякий случай — бывают же чудеса! — Кожухов тщательно осмотрел все три ящика стола. В первом в бумагах оказалась неожиданная заначка в десять свернутых трубкой бумажек. Во втором, увы, не было ничего интересного. В третьем за трофейными золотыми часами, губной гармошкой и сломанным фотоаппаратом, до которого никак не доходили руки, обнаружилась маленькая и тусклая, армейская по виду фляжка, в которой что-то тяжело булькало. С усилием отвинтив крышечку, Кожухов ощутил смутно знакомый, сложный и резкий запах. Сто фронтовых грамм. И, судя по аромату, спирт из этой микстуры точно не выветрился. Не задумываясь, Кожухов одним долгим глотком опустошил фляжку, зажевал мерзкий вкус ломтиком лимона, опустился в любимое кресло и медленно закрыл глаза.

…Он сидел в кабине легкого Яка, до отказа отжав рычаг. Стылый воздух врывался сквозь дырку в стекле кабины, мотор чихал, масло кончилось.

Царапина на щеке больно ныла, ноги затекли, голова кружилась от яростного куража битвы. Впереди были враги — простые и ясные, немцы, фашисты. В облака изо всех сил улепетывал на простреленных крыльях перепуганный «фокке-вульф». И знакомый картавый голос Илюхи Плоткина надрывался в наушниках:

— Стреляй! Стреляй, Андреич! Уйдет ведь фриц!!!

Ефим Гамаюнов. МОРОЗ КРАСНЫЙ

Стоит лес, зеленый, еловый, обсыпанный мягкой белой кухтой, вечно спящий и вечно живой. Дюжие деревья — замершие великаны, провалившиеся по колено в снег, молча дежурят, стерегут или выжидают чего. А поверх самых высоких веток искрится облако люти — голова чего-то неведомого, чему лес — угодья, заструги — дорога, а мороз — сама жизнь. Плывут искристые снежинки над лесом, словно ходят дозором, присматривают: все ли хорошо на русской земле? Увидевший такую диковину чувствует могучую силу, грозную, недобрую, страшную… Для всех по-разному, конечно: кому своему — добро, а кому пришлому — смерть.

Когда немцы вошли в Березовку, Федька впервые в жизни почувствовал настоящий страх. Не тот, детский, который ночью больше выдумываешь себе сам: стоит обернуться — и нет его. А серьезный, бьющий под дых и словно говорящий: это есть и это навсегда.

Голубой окоем неба, с желтым, натертым, как самовар, горизонтом был все тем же. Зелень

изгороди еловника справа — в точности как вчера. Утренние просыпающиеся птицы тенькали, словно ничего и не случилось. И даже рыба на кукане оставалась всегда скользкой и холодной, а в мире нечто перевернулось: Федька ощутил это совершенно ясно.

С холма он и остальные пацаны, завороженно замолчавшие, будто по команде смотрели на пылящие по дороге к деревне машины: чужие и словно специально красивые. Особенно та, что ехала впереди: черная, гладкая, блестящая, как майский жук. За ней, чуть отстав, пылили грузовики: один, второй, третий. Последним ехала страшная самоходка с торчащими в небо пулеметами.

— Мамка, — вдруг как-то прошептал-всхлипнул Гришка, самый маленький из утренних рыбаков.

— Бежим! — решил Федька, и все они бросились вниз к домам.

Боль, боль во всем теле, словно порвана каждая жилка, каждая жизненная ниточка. В голове грохотало, а уши ничего не слышали. Сквозь приоткрытый глаз Ваня видел, как что-то приближается, а чуть всмотревшись, в этом светлом пятне разглядел человеческие черты. Женщина?

Девушка?

«Санитарка, — сквозь взрывы понял он. — Кто же еще?»

Мокрые прикосновения к лицу, холод на лбу. Рот мягко приоткрыли, и Ваня почувствовал на языке ядреную хину. Выплюнуть? А никак! Полное ощущение беспомощности: ни рукой, ни ногой, сказать бы что, спросить — а из горла сип какой-то. Страшно, ничего не помнит, только шум в голове и красные пятна перед глазами.

Немцы пили воду на краю деревни у колодца и смеялись, переговариваясь на непонятном каркающем языке, у ног лежали кривые железные каски. Горячий воздух дрожал над квадратным панцирем самоходки с крестами на башне. В громкоговоритель объявили сбор, и, когда у крайней избы собрались все, кто остался в деревне, рыжий невысокий офицер в зелено-мышастой форме, коверкая слова, сделал объявление:

— Русский народ! — немец обвел притихших березовчан взглядом и коснулся пальцами козырька фуражки, поправляя. — Не надо нас бояться. Вам всем гарантирована жизнь, работа и безопасность. Я ваш бургомистр, я назначу старосту, который будет отвечать за это поселение. Желающий? Есть?

Рыжий снова оглядел всех. Он стоял на кузове грузовика, на земле перед ним замерла по стойке смирно шеренга автоматчиков, словно кладбищенские кресты — одинаково-разные, живые и не живые. Рядом под охраной еще двух немцев стоял дядя Миша Козлов, прежний глава.

— Также с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Ходить по поселению можно только в светлое время, ходить в темное время запрещено. Отлучаться из поселения можно только с разрешения старосты. Идет война, и это делается для вашей безопасности! Вопросы?

У Федьки, обмирающего от страха, вопросов не было. Впрочем, ни у кого их не было.

Рыжий, или, как Федька уже к обеду узнал, гауптман Александер Вертман, весь день переписывал жителей, беседовал со взрослыми, а к вечеру назначил старостой Михаила Сучкова, дав ему в подмогу трех полицаев — братьев Бугаевых и башкира Талымова.

— Ну, Сучок теперь всех вздрючит, — пробурчал в хате вернувшийся с общего собрания Федькин дед.

С утра, выгрузив в бывший дом советов сейф, стол и стулья и повесив над рубленым крыльцом красное с черной свастикой в круге полотнище,

Вертман уехал на своем красивом «хорьхе» на станцию за десять километров от Березовки, увезя с собой дядю Мишу и оставив для порядка на первое время два десятка автоматчиков — в помощь новой власти, старосте Сучку.

Потолок у избушки низкий, темный от времени, словно крышка гроба, в копоти и паутине. Головой Ваня вертеть не мог, только уцелевшим глазом. Непонятно, то ли горечная отрава подействовала, то ли молодость брала свое, но в голове прояснилось. Вспомнил, как окапывался в снегу, рыл тяжелую от мороза землю, как начался бой, а потом вдруг все перемешалось: земля-небо, явь-навь, прошлое-настоящее.

Мина залетела в окоп или пушечный снаряд сработал, но, похоже, отвоевался Ваня насовсем.

— Оживел? — мог бы вздрогнуть, обязательно вздрогнул бы.

Над Ваней склонилась старушка. Обыкновенная, седая, с выцветшими от прожитых лет глазами, она поменяла ему на голове мокрую тряпочку и вздохнула.

— Разбомбили вас, милок, как есть. Всех разом. — Старушка вздохнула. — Ты пока молчи, не старайся… Досталось тебе, милок. Так досталось, что лучше б вообще помер… Как остальные.

Лето пронеслось стремительно, наступила осень, и за простыми, привычными делами война словно опять отдалилась, перестала устрашать и тревожить до холода по спине. Поначалу, конечно, жутковато было даже в отхожее место ночью выходить, а потом попривыкли, и уж когда немцы на станцию обратно укатили на грузовике, так и совсем почти привычная жизнь пошла. Староста с полицаями в основном пьянствовали. Когда немецкая проверка приезжала, и ее пытались споить.

Напившись, Сучок бродил по деревне, задирался к мужикам и лапал девок.

— Я теперь тут власть, — поглаживая отросший под носом плевок усов, говорил он. — Мне все можно!

Деревенские, сдерживаясь, пропускали наглость мимо ушей, женщины старались по одной не ходить и вообще на глаза Мишке лишний раз не попадаться. Но в октябре, когда всю пшеницу убрали в амбары, староста допился до скотского.

Федька колол дрова, когда во двор забежал сосед Борька:

— Там деда твоего полицаи бьют!

Федька разом покрылся мурашками.

— На сушилке!

Федька как был, прямо с топором побежал.

У длинного амбара толпились люди. Протолкавшись, Федька сразу увидел старосту Сучка. Тот стоял в дверях, вытирая кровь с разбитого лица. Деда нигде видно не было.

— А вот еще один защитник. С оружием прибег, — гнусаво сказал разглядевший его староста. — Этого тоже в погреб — завтра разберемся!

Федьку схватил за плечо вмиг оказавшийся рядом Талымов: «Не дури, топор отдай, а то хуже будет». Талымов и в мирное время был неплохим мужичком, и полицаем стал тихим, незаметным. И своим и чужим старался.

Назавтра их с дедом, заступившимся за отказавшую пьяному старосте молодую девку Татьянку, по приказу прибывшего за зерном бургомистра полицаи выпороли при всей деревне до полусмерти.

— Первый раз, — Вертман поправил фуражку, — наказание за неповиновение власти мягкое. Следующий бунт будет расстрелян.

Большую часть собранного зерна немцы увезли на грузовиках. И без того мизерную долю, выданную каждому жителю Березовки «за честный труд», для Федьки и деда Иллариона урезали вдвое. А в деревне снова остались автоматчики в

зелено-мышастых мундирах.

— А почему к тебе, бабушка, немцы не сунулись? — говорить Ваня уже мог, правда, шепотом, но лиха беда начало.

— Ко мне? — голос у старушки тихий, хрипловатый. — Так я ж ведьма. Ко мне и мордва, и русские боятся соваться, куда там немцам!

— Шутишь?

— За то меня выгнали из деревни в лес, вот и живу тут. Одна.

— А зачем спасла, раз ведьма?

— То не я спасла. Принесли мне тебя кто сам из домов в лес посбегали. Видать, тут лучше стало. Притащили. «Возьми, — говорят, — нам с таким что делать?» Бросили и ушли. Боятся меня, знаю.

— А тебе что делать с таким?

— Дак ты ж живой был. Как живое бросить?

«Живой! Разве это жизнь, — хотел сказать Ваня. — Лежит бревном, помогать должен бабке, а она его самого как теленка выхаживает».

— Ты, милок, брось эти мысли. Если живой остался, значит, так нужно быть.

— Кому нужно? — прошептал Ваня. — Мне таким быть нужно? Если ведьма, сделай, чтоб опять руки-ноги на месте были!

В полутьме избушки слышно, как дрова щелка-

ют в печке да воет метель за окном.

— Воля твоя, желание твое, но рук новых никто делать людям не умеет.

— Желание мое — родину защищать. Правда, нужно кому было бы — сделал бы так, чтоб я немцев бить мог! Хоть одну, свою, деревню защитить!

— А ты сильно этого желаешь, милок?

И тишина внезапно стала вязкой, замельтешило перед глазами белесой хмарью, словно в ненастную пургу. Нависло над Ваней морщинистое лицо с выцветшими бабкиными глазами. Но там мертвела теперь бездонная колодезная глубина, студная, вязкая, черная.

— Больше мне хотеть нечего, — глядя прямо в стыль ответил Ваня.

— Смотри, с этим я ведь могу пособить, милок. Только страшное это дело. Ни живым, ни мертвым из него не выбраться. А помереть придется дважды: и сразу, и потом. Междусмерть жизнью не назовешь… Страшно? А вот теперь скажи, хочешь ли, чтоб помогла?

— Помоги, — попросил Ваня. — Все равно не живой я.

К зиме от деревни осталась половина. Кого староста сдал в комендатуру за провинности,

кого немцы увезли на работы «для блага великой Германии». А кто мог, сам в леса утек. Федька в ночной темноте хаты шепотом тоже предлагал деду бежать к партизанам, но Илларион только вздыхал и приговаривал: «Кому-то и тут нужно быть». «Убьют же», — доказывал свою правоту Федька. «Посмотрим еще, кто кого», — отшучивался дед.

Староста при встрече глядел на Федьку надменно и глумливо, а вот деда его старался обходить. Боялся. Даже сейчас, когда мог одним словом сдать деда врагам, а вот ведь боялся.

За всякого сбежавшего герр бургомистр спрашивал с Сучкова: понятно же было, что больше как в бунтующие леса уходить некуда. Мишка старался, сдавал в комендатуру неугодных ему людей даже за знакомство со сбежавшими. Несколько раз в деревню наезжала вражеская техника и показательно обстреливала недалекий лес. Ставили громкоговорители, по которым объявляли амнистию и обещали хорошую жизнь сдавшимся. Клеили и раздавали желтоватые листовки.

Было и совсем страшное. Самым жутким Федьке запомнился расстрел немцами старого отца и двоюродной тетки пропавшего пастуха Неве-

рова. Их вывели за околицу, нацепив таблички «Помощник партизан», и стрельнули безо всякого суда и следствия. Все понимали: это чтобы остальным неповадно бегать. Это и было страшнее страшного: ни дед Павел, ни тетка Люба не были виноваты ни в чем, ни с кем не знались, не передавали ничего в леса (как другие, про которых Федька знал, но помалкивал), но их жизнь порешили за них.

Расстрел настолько потряс всю деревню, что на какое-то время даже Сучок притих.

Страшно Ване не было. Его пугало больше то, что бабка просто обманывает. Ну, разве бывает так, как она говорит? Если бы не ведьминские глаза тогда, то ни говорить, ни думать было бы не о чем.

Прошло несколько дней — одинаковых, вымученно-длинных, наполненных тишиной и безысходностью. За эти дни Ваня о многом думал: вспомнил деда, брата Федьку, деревеньку, вроде и простую, а сколько там всего замечательного… Холм Лысый, про который байки ходили, что там нечистая сила весной гуляет, речка, где дед учил рыбу ловить. Длинная купа, осиново-березовая, а дальше вообще такие уремы, лучше не соваться…

Вроде и недалеко воевал Ваня, но и не дома. А там теперь хозяйничали захватчики. Дед, конечно, крепкий, но сейчас Ваня чувствовал, что, может, и зря убег в лесной отряд. И отца убило, и мать в санитарках где-то далеко в Саратове. И он не стал помощником, а теперь и не будет им.

Дверь скрипнула, пустила инистый озноб в избушку.

— Ну чего, милок, не передумал? — голос у бабки хриплый, как у вьюги.

— Нет.

— Пора тогда пришла.

Старушка легко подхватила Ваню, словно не человека, а подушку, и понесла через открытую дверь на улицу, где в темноте плясали всполохи костра.

— Не простынешь, милок, теперь недолго тебе, а там холодом сам станешь.

— Так ты правда ведьма, — Ваня смотрел, как синий огонь бесшумно пляшет под могучим деревом, не боясь ни ветра, ни мороза.

— Дошло наконец? Страшно, что ли? А кто Березовку твою защищать будет?

— Дошло, — непослушными губами ответил Ваня. — Сказал же, я буду.

Старуха усадила его у колдовского огня, от

которого лицо у Вани сразу застыло — такой нелюдской стужей веяло от костра.

— Маржану проси да Карачуна, чтоб помогли, — подсказала ведьма.

— Что говорить? — от холода или от студеной жути слова еле вылетали из груди.

— А как сердце говорит, так и проси.

Ваня набрался смелости и сказал:

— Нет места захватчикам на моей земле. Помоги мне прогнать их, Маржана, помоги, Карачун.

— Вот и молодец, милок, вот и славно, — прохрипела ведьма и полоснула Ване по горлу ледяным ножом.

Кровь брызнула прямо на огонь, на синие от него сугробы. И, пока Ваня не умер, смотрел он, как огонь жадно набрасывается на алую парящую юшку и вспыхивает еще ярче, злее, жесточей.

Заревом по-над деревьями, одетыми шапками снегов, гуляло тусклое пламя, зажигая льдинки миллионом синеватых мертвых огней. Разом проснулись зверье и птицы, закаркали вороны, заухали сычи и совы, заскулили волки, заворчали росомахи. А следом обрушилась на лес покойная тишина, что даже не замерзающие в самые лютые морозы ручьи вдруг замолчали, будто убоявшись запредельно неведомого и ужасного. И

завыли среди высоких тонких стволов сосен злые северные ветра, по полянам и с лесных окраин полетела колючая поземка. А небо вызвездило настолько, что всякому, кто осмелился глянуть вверх, жгуче острые пики звезд выкололи бы глаза.

Ночью в дверь постучали. С печки мигом проснувшийся Федька слышал, как дед открыл дверь и впустил кого-то. Высунулся, еле разглядел соседа, деда Петра, а с ним полицая Талымова, которого узнал по повязке на руке. Федька вслушался: страсть как интересно же, хоть и страшновато.

— Мишка вечером со станции вернулся, там два состава рвануло с путями, — бормотал Талымов. — Говорят, партизаны местные. Мишка сказал, с утра сюда немцы приедут…

— Чего замолчал-то?

— Убивать будут тут всех, — выдохнул полицай.

Дед выругался.

— Чего делать, Илларион? — спросил дед Петр.

— Этому вот точно веришь? Предателю?

— Мужики, я гад, признаю. Предал, падла…жить-то хочется! Мне тогда сказали — я согласился с трясучки. Всяко делал, признаю, но

так вот — не могу! Тут же… Как Мишка напился, я сразу к вам и побег.

Дед помолчал, вздохнул и позвал:

— Слазь, Федор. А ты, Петь, давай-ка буди Шилу и Горлова тоже. Марат пускай с тобой побудет. Я сейчас подойду.

А когда незваные посетители вышли, Федька спустился с теплой печки и принялся одеваться. Слушал Федька деда, а все казалось нереальным, словно в полусне.

— Побежишь на старую бортню, там ручей выше — помнишь? Вот по нему пойдешь до трех дубов, они огромные, заметные, но смотри внимательней все равно. У правого сук отломан — здоровенный, как дерево.

Федька кивал и хоть и обмирал от страха — мало немцев, так еще и ночью одному в лес, — но понимал: дед ему такое дело поручает, какого никогда не доверял.

— Там свистнешь три раза — тебя должны спросить. Ответишь, что от Петра Николаевича. Скажешь, что слышал и что мы в лес пойдем, пусть навстречу бегут, на помощь. Не успеешь ты или они — нас немцы постреляют, понимаешь?

До реки Федька бежал по тропинке. Тут много ходят белье полоскать — снег утоптали так, что

словно по дороге. От реки поднялся по гребню косогора с обрывом по одному краю, продуваемому насквозь так, что круглый год чернеет землей. А уже наверху надел дедовы лыжи — старые, треснувшие, но как без них по снегу-то?

К старой, брошенной давным-давно бортне надо чуть в другую сторону, и летом пройти можно только там: речка мешала. А зимой ближе всего тут — краем холма и потом по лесу, мимо желтого болота.

Бежал Федька быстрей быстрого, ночь выдалась звездная, лунная. Ноги сами несли, а вот внутри у него с каждым шагом зарождался огромный и жгучий страх. Льдом резали слова деда про немцев, а еще, хоть и совсем немаленький он, почти одиннадцать, ночь вокруг была сама по себе жуткой.

Уродливо воткнутые в сугробы, стояли голые корявые дерева. Синие мертвенные тени растянулись от каждой кочки, от любого кустика по сероватой от ночной тьмы пороше. Над полем справа, понизу привидениями летали клочки тумана, едва уловимые взглядом, но пугающие до икоты.

Впереди был лес: мрачный, черный, трещавший старыми деревянными костями. Про болото,

где Федька не раз, обмирая от страха, видел огни с того света, даже думать, казалось, невмоготу, а мысли нарочно лезли в голову.

Перед шумящей сухими безжизненными ветками стеной Федька даже остановился отдышаться. Да нет, конечно, какое там отдышаться — просто зайти под эту черноту оказалось не так просто. Жутью дышал старый лес, с каждым выдохом выветривая из Федьки решимость.

«Кто, если не ты? Понимаешь?» Федька прикусил до крови губу и двинул вперед, в едва заметный прогал меж деревьев.

Он шагал прямо по деревьям, чувствовал каждый ствол, ветку, но они его совсем не задерживали. Над морочно-синим лесом с пятнами снежных полян, над острыми зубами елей и ломкими березовыми ветвями-волосами он неумолимо двигался вперед. Он знал свою цель и стремился добраться туда. Ноги высекали вьюги из сугробов, руки выстужали древесную жизнь.

Недалеко позади, он знал, бежали за ним люди-сгустки. Те, у которых забрать он не мог. Свои. Хоть и забывать стали про него, но вот, случилась беда, вспомнили, уважили, расстарались.

Отделив окружием от людей, текло и его собственное воинство, скатанное людьми, ожив-

ленное его силой, стыло-неживое. Неслось, не зная ни жалости, ни пощады.

Над ним раскинулся огромный небосвод, черный, с мириадами морозных льдинок, прибитых к тьме. Снежная дорога, широкая, переливающаяся, пресекала звездную черноту. Когда-то давным-давно он смотрел на нее и… радовался? Чему? Он едва помнил это…

…невероятная даль, знакомые и чужие одновременно рисунки созвездий, костер на берегу, теплые руки…

Он уловил впереди чужую жизнь, отвратительно горячую, молодую, способную дать много сил, насытить, заглушить чужие, ненужные воспоминания. И потянулся безразмерно длинными руками и глазами, стремясь поскорее забрать, поглотить, впитать. Ближе, ближе!

Лес скрипел, трещал, то ли пугая, то ли сам боясь ужасной ночи. Федька едва заставлял себя двигаться. Он понимал: впереди жило нечто непостижимо-кошмарное, абсолютно противоестественное людскому. Куда там всем прочим страхам! То, что ждало, скрытое под угольно-синими тенями, было даже не смертью, а чем-то страшней. «Кто, если не ты?»

Поднырнув под очередную ветку, Федя оказался

на небольшой елани и выпрямился, бессильно застыв, почти плача от давящего в лицо острого обжигающего воздуха. Поляна словно горела мертвым синеватым светом, накрытая куполом убитой тишины. А отовсюду выползал красный туман, заполнял все вокруг, пожирая деревья, лапы елок, снег и даже небо поверху. С каждой секундой становилось холодней. И страшней. А когда над деревьями вспыхнули два ярких синих глаза, Федька закричал. Только голос его, будто мгновенно замерзнув, превратился в безмолвный шепот.

Глаза надвинулись, замерли перед ним: яркие, четкие, вырезанные из самого чистого льда. Сердце Федькино застучало громко и медленно, так, что между ударами проносились целые года. Мороз горел на лице нестерпимо жгучим огнем.

И вдруг привиделось в этих жадно-безразличных кристаллических глазах нечто едва уловимо знакомое. Мгновение, словно пронесшаяся жизнь, и заледенелыми непослушными губами Федя спросил:

— Ванька, ты?

«Ванька, ты?»

Закат разлился по всей ширине горизонта густой багровью огненных углей. В выцветшей ла-

зури горели облака, а весь мир, вымытый дождем до скрипучей чистоты, под этим закатом набрал в себя столько цвета, что казался нарисованным. Ваня восхищенно ткнул младшего в бок: смотри, какая красота!

Ваня смотрел на брата, застывшего в блестящей глазури с гроздьями снежных бровей, помертвелыми губами на белом лице, едва дышащего. Он отдернул руки и сам перестал дышать. Но Федя замерзал все больше и больше. Реже и реже невесомые клубы живого пара вылетали изо рта.

Почему Федя здесь? Почему он сам непонятно как забыл про родных? Зачем неистово бросился сюда, будто повинуясь чему-то? Куда вообще он шел? Хотя… шел он правильно: ему надо защитить свое, своих, всех — вот этого брата, и деда, и остальных! Спросить бы Федьку, да не получится, ведьма об этом ведь и говорила: несмерть-нежизнь… Ваня понял: да, по-людски нельзя больше. Да и мысли расплылись в тумане, далеко, словно накрыты ватой, а его… тело?.. пульсирует только одним желанием, главной голодной страстью.

Нет! Отпрянуть, отодвинуться от брата, скорей! Не было больше у Вани сил терпеть настойчивый зов крови, теплой, манящей силой и жизнью.

Прощай, Федька!

Он взмыл вновь над деревьями, побежал по кронам, быстрей, быстрей, злясь и торопясь уйти от того, кого хотел бы обнять больше всего. Пока не забыл, зачем он немертв, для чего принял погибель, что должен сделать в несмерти.

Лютые струи ветра затрубили беспощадную песню холода, полетела весть поземкой по сугробам. Чтобы все знали, кто идет.

И устрашились.

Полный ледяного бешенства воздух отступил, и Федька снова увидел поляну. Едва дышащий от пережитого, он никак не мог прийти в себя от страшных очей — чужих, недобрых, мертвых. Но ведь это глаза брата! Как такое могло быть?

Мимо, вспарывая сковородяные покровы, плыли, словно по воде, снеговики, самые разные, большие и не очень. Они бесшумно проносились, пропадали вслед ушедшему красному туману.

— А ну, стой! — раздался голос. — Кто таков?

Рядом с Федькой из темноты возник человек, а затем и второй. Едва различимые, бородатые, в тулупах. Зато люди, живые! Хоть и напугавшие снова хуже всей жути вокруг.

— Э, Андрей, да он замерз почти! А ну-ка, пособи.

Чиркнула спичка, показав Федьке спасителей: мужики, бороды в инее, но у одного и так седая, а у второго пегая, как у лошади. Федька почувствовал, как с него сорвали старенькое пальто и рубаху, как принялись тереть в четыре руки, разгоняя по телу остывшую кровь. Помалу она побежала, наполняясь теплом, залилась в руки колючим кипятком, бросилась огнем в уши.

— Ну что, легче, парень?

— Да, — только и смог сказать Федька.

— Жив, жив, значит. Повезло. И куда тебя понесло, мужик?

— Мне надо к своим, к партизанам, — сказал Федька, вдеваемый в одежду, как маленький. — Я свистнуть должен был, от Петра Николаевича я, из Березовки.

— Ну ты! — удивился один из бородатых, вроде как пегий. — Ну, попал ты по назначению, получается.

— Там немцы идут, убивать всех. Я за помощью должен успеть! Я…

— Все-все, тихо. Не горячись. Успел ты, мы и есть помощь, лесной отряд имени Страны Советов.

Из темноты негромко крикнули:

— Эй, кто там болтает?

— Свои, Андрюха это, Доронин. Двигайте, у нас

тут пацан из деревни нашелся, мы догоним.

— Там, на станции поезд… — Федька вспомнил, что сказать надо было.

— Да не мельтеши! Сказал же, знаем. Идти сможешь?

— Наверное, — ответил, чуть замешкавшись, Федька. Ноги он уже чувствовал, а вот двигать ими пока не получалось.

— Понятно. Так, Андрюха, останешься тут, дождешься обозных. Сдашь мужика Оксане, потом тогда догонишь!

— Ну, я ж не…

— Цыц. Приказ тебе такой: сдать живым и невредимым!

— Да я с вами, мне в деревню надо, — поспешил Федька. — Мне не надо в обоз, я…

— Цыц! — повторился боец с седой бородой. — Ты свое дело и подвиг уже на сегодня совершил.

— Да какой это подвиг? — спросил Федька. — И дело маленькое!

— В мороз ночью в лес одному пойти? — в темноте просопел бородатый Андрей. — Маленькое?

— Тебя как звать-то, мужик? — спросил второй. Наверное, он был не только старше, но и старшим по званию, раз мог приказывать Андрею.

— Федя, — ответил Федька.

— Федя? — переспросил партизан. — Эх, Федор, знаешь, мужик ты дорогой, на войне ни маленьких дел, ни маленьких подвигов не бывает. Если за себя не испугался, считай, великий поступок сделал.

Он обнял Федьку:

— Не бойся, мы управимся. С нами сейчас такая сила, о-го-го. От нее раньше Наполеон драпал, и шведы, и турки. С ней и эту погань выгоним. Твой приказ — отогреться и утром как штык родных найти. А дальше другой приказ будет.

Бойцы вполголоса поговорили меж собой, а Федька крепко думал: о чем же, о какой силе, уж не о жути ледяной?

— Готов? — спросил Андрей, когда второй партизан растворился в лесу. — Давай-ка, обопрись на меня и потихоньку пойдем, а то мне немцев не хватит, пока бегать буду.

— А о ком это… ну этот? — спросил Федька.

— Борис Борисыч? Ты совсем не заметил ничего странного вокруг?

— Я видел такое… туман красный с глазами, студой дышит! — Федька вдруг испугался, как бы его Андрей на смех не поднял, скажет: привиделось со страху в лесу.

— Ну вот, значит, знаешь нашего союзника, —

совсем не засмеялся Андрей. — Мы с ним дадим таких колоколов немцам, до Берлина бежать будут!

— А кто это? — не удержался Федька.

Андрей помолчал, хмыкнул:

— Это, парень, сам Мороз… Иваныч. Силища лютая. Да и мы еще ему такую армию скатали!

Он вспомнил и забыл, неясные образы, непонятные почти видения…откуда? из прошлого?.. вели его, и… Федька?.. Имя едва чуемое, указующей стрелой висело над несуществующим плечом. Он шагал, а вокруг, преклоняясь его жгучей ярости, раскалывался мир. Хрустели, ломаясь, ветки, лопалась от обрушивающейся непреодолимой злобы земля. Лес кончился, будто вздохнув на прощанье тысячами зашумевших ветвей, с которых падали сморозью птицы.

Где-то побоку остались яркие кровяные сгустки людей-муравьев, но словно приказ указывал ему: «Свои, не трожь!», и снежная армия его ограждала людей от бешеной стужи.

Он бураном скатился с холма, ступил на реку, проморозив ее до самого дна. Замерли рыбы, застыли лягушки, окаменели все прочие. Шурган несся дальше, огибая деревню, походя и почти незаметно прихватив с собой троих, всего троих,

замерших в последней ужасающей догадке. Он знал: то не свои, враги — и заставил их лица потрескаться лопнувшей кожей, выпил их красную теплую жизнь. Его могучие шаги, не оставляющие порой следов на пушистом шорохе, сеяли сейчас лишь смерть.

Он веял дальше, всматриваясь в зарождающийся на востоке день — остро белый, режущий от накаленного окоема без жалости ночную чернь свода. А когда на небоскат выкатило ослепительно-бескровное Солнце, он дошел до цели. И…Федька… подтвердил: этому быть не до́лжно на нашей земле.

По едва заметной на слепящей белизне снега дороге ползли серые уродливые машины. Он *или кто-то в нем* уже видел такие, знал, что это его цель. Снеговики, подчиняясь его воле, заскользили вперед, охватывая в круг замерших при виде грозного красного ветра-великана несвоих — врагов. Оградили, чтобы никто не сумел уйти.

Несвои засуетились, принялись выскакивать из машин, готовить оружие. Гулко ударили первые выстрелы и залпы пушек, но грохот замерзал в надвигающемся красном тумане, в котором угадывалась грозная могучая тень с ногами толще вековечных дубов, руками крепче сто-

летних сосновых стволов, плечами шире любой избы и грозно и беспощадно горевшими глазами — синими, пронзающими ледяными копьями кошмаров.

Его не могло ранить ни одно оружие, не могла остановить ни одна машина. Он шагал и собирал свою жатву. Несвои застывали инистыми истуканами, замерзнув в одно мгновение: в остекленевших глазах навечно впечатался ужас. Стальные машины рассыпались, не выдержав жуткой, наваливающейся отовсюду разом стужи.

Он чувствовал, как останавливаются сердца, как умирают мысли и желания. От прикосновений его рук кожа несвоих, белея и чернея, отходила от костей, кровь выступала в трещинах. Он высасывал ярко-алую жизнь и сам становился багровым.

Он насыщался и становился сильней, яростней, злей. Жажда его была такой большой, что напиться досыта не получилось бы никогда. Что-то абсолютно несуществующее еще пыталось придерживать, останавливать, но это становилось невозможным. Все воспоминания растворялись в его ледяном бешенстве.

Несвои, пытавшиеся бежать, натыкались на

безмолвное снежное воинство… *скатанные по окраинам, лугам и полям, добрые снеговики*… Сейчас от поставленных друг на друга снежных шаров волнами исходил страх. Пустые угольные глаза мертво выжидали следующего, кто отдаст… *морковкой нос, кто ты, снеговик, и что ты нам принес*… А как сопротивляться, как убить, если оно и не было никогда живо? И несвои, встречая… *смешных снеговиков*… в надежде убежать от злобного красного *dämon*, попадали в новый кошмар наяву.

А когда он понял, что больше никого нет, то в лютой ненависти бросился было обратно, по дороге в деревню, где оставались манящие кровяные сгустки.

Внезапно красная до неба стынь наткнулась на замерших в неповиновении снежных воинов, хоть и принадлежащих ей, а не пускающих за спины. Нельзя! Нельзя? Ему? Ведьма!

В бессильной злобе отступил алый буран, понесся дальше по дороге, по оставленным машинами подрезям, набивая острые заструги. Ярился борей, ему вторили прочие зимние ветра, сталкиваясь, завихряясь, стегая по земле исстылыми плетьми.

Где-то совсем рядом жила станция, и лишь чудом уцелевшие собаки, предчувствуя беду, горько

и безысходно выли на ярко сверкающее светило, не способное согреть или отвести от станции несущееся кроваво-морозное бешенство.

Деда Иллариона Федька увидел сразу, едва остановились санки, в которых его везли совершенно обессилевшего. Вся их деревенька собралась у крайнего дома, превратившегося в снежный нанос. Мелькали в толпе незнакомцы в шапках с красными околышками — бородатые, деловые, оружные. Дед подошел, обнял, поцеловал поднявшегося Федьку.

— Живой!

— Что там? — Федьке было непонятно, почему все стоят на снегу и морозе.

Дед молча подхватил, провел через толпящихся, и Федька увидел три почерневших тела, застывших в кривых уродливых позах, будто и не люди были когда-то. Изуродованные лица. Федька никогда бы не догадался, если бы не одежда, полицайские повязки да красно-черный флаг: перед Березовкой, будто выставленные напоказ, стояли предатели — староста Сучок и Бугаевы оба. Сторонами, словно охранники, замерли страшные, будто окрашенные кровью, снежники — зимние человеки.

— Видишь, Федька, даже природа отторгает, —

сказал дед. — Нас в лесу холод не тронул, а этих вот в деревне, почти в домах поморозил.

— А я ведь… — Федька торопливо, сбивчиво пересказал все, что случилось с ним ночью. И про Ванькины глаза, хоть и совсем жуткие и нечеловеческие даже, тоже.

— Это же он был, Ванька?

К ним подошел дед Петр, кашлянул:

— Уходить надо. В сторону Даниловки, пока светло. Командир сказал, скоро его совсем не удержать будет, перестанет наших различать. Надо ближе к ведь… — он покосился на Федьку, — туда, короче, уходить.

— Собирай, веди, Петь. — Дед запахнул Федьке раскрывшийся ворот, сжал плечо и сказал:

— И мы пойдем. А насчет того, что Ваньку видел, говоришь… Я так думаю, Ваня во всем, что защищает нас с тобой, деревню, леса, поля, вообще мир. Так что ты его и в самом деле видел.

А Федька и так это знал.

Тишина, летит невесомая колючая поземица. Спят под белоснежными одеялами поля и луговины, пни и кочки, ямины и колеи. Зима накинула на весь мир сонно-мертвенное одеяло, вроде и укрыла, а попробуй проснуться.

И замерла железнодорожная станция бес-

пробудным, бесконечным сном. Ледышками по перрону лежат несвои, застыли в инее попавшиеся кошки, комочками под деревья попадали синицы. Снежницы налетели, укрыли станцию блестящей изморозью, будто оберегая. Или украшая страшным, неживым убранством.

Высоко-высоко в черничной, необоримо глубокой чаше сверкающие шляпками гвозди перекликались с блестками красноватого инея, летевшего над бесконечными лесами. И горе тому, кто повстречается этой красоте на пути.

Найя Диним. *ПЛОСКИЙ ЧЕЛОВЕК*

Впору тонина, удобна гибкость, приятен шелест. Никому не мешаешь, ни за что не цепляешься. Планируешь по коридорам, скользишь под дверьми, тасуешься из стопки в стопку. Неподшитый, неприклеенный. Перелистываются дни, месяцы, годы. Сделанные второпях записи выцветают, стираются, наслаиваются друг на друга, смазываясь в серую бессмыслицу.

Объемная память и красочная ясность не нужны в двумерном мире. Плывущие строки, плавающая верстка, бесконечные виртуальные свитки — такова реальность, расслоенная плоскостями мониторов, расфасованная по вкладкам и всплывающим окнам. Втиснутая в картонные папки, слежавшаяся в архивных коробах. Пожухлая, раскрошенная мозаика. Беззвучные голоса множества людей — усталые, требовательные, бесстрастные — в приказах, рапортах, письмах, сданных на вечное хранение, — они, вопреки бронзовому пафосу, не вечны, они уязвимы и неминуемо исчезнут, если не отразить их в неосязаемом мире плоскостей — не оцифровать.

Это его работа — оцифровка документов. Его

призвание. Он создан для наполнения виртуальной бесконечности. Создан… или преображен. Плоский человек, неприкаянный лист… исчерканный бледными воспоминаниями о рельефном, объемном и весомом прошлом. Когда-то и он не пропускал свет, двигался, не сминаясь, оставлял следы, мелкие, неглубокие. В детстве, именно когда вся жизнь начиналась с чистого листа, он не был обрывком двухмерной абстракции.

Даже сейчас, стоило только устало скомкаться в ночном забытьи, в бессознание проецировались нежданные гости из многомерного мира — сны — и раз за разом воссоздавали иллюзию утраченного объема. Калейдоскоп видений — осколочный сериал без единого сюжета, без хронологии, без внятной цели — казался гораздо более настоящим, чем уплощенная реальность.

Наваждение сошло лавиной с полок, забитых старыми папками, сложенными то ли из потрепанного картона, то ли из пыльного шороха и неслышного шепота. Не самые древние архивные слои, в которые доводилось загружаться. При всей сухости изложения наэлектризованные до неодолимой притягательности. Всякий листок или даже клочок, самый тонкий и мятый до взлохмаченных кромок, действовал как отточен-

ное лезвие, глубоко вонзался в воображение — и нерушимая глазурь стереотипов истончалась, теряя лоск, и слетала шелухой от малейшего сквозняка.

Нечеткие кривоватые буквы, выбитые допотопным печатным механизмом или же отчеканенные стальным пером на податливой бумаге наградных листов, складывались порой в совершенно невероятные, фантастические истории. Готовые сценарии для зрелищных боевиков, трюковые безумства которых никогда не пересекаются с достоверностью.

Несколько строк, тесно лепящихся друг к дружке, бесшумно скользнув по монитору, поднимали волну шелеста в сплющенном рутиной офисном пространстве. Душный гул серверной и гипнотическое мерцание дисплеев, жестко очерчивающие границы мира плоскостей, расступались под натиском эмоций, не совместимых с мерным цифровым потоком.

Бурное обсуждение вызвала немецкая граната, пойманная рукой и без промедления брошенная обратно переоценившему свою удачу метателю. Взрывоопасная «лапта» окончилась со второй столь же результативной подачи обрушением вражеского укрытия.

Молчанием проводили в цифровое посмертие восемнадцать безвестных немцев, утихомиренных одним человеком во внезапном столкновении при перегруппировке. Наградной лист не вместил никаких подробностей рукопашной. Лишь краткое конкретное изложение: машинописный абзац безмерной, оправданной и узаконенной ненависти человека к человеку…

Награждали не только за уничтожение, захват, разминирование или подрыв — за боевые подвиги. Достойной награды личной заслугой считались крепкое здоровье и сытость подопечных лошадей, что вызвало искреннее недоумение у бойких на суждения завсегдатаев виртуала, не отличающих шорника от шенкеля, но уверенных в том, что и то и другое — бесполезное наследие палеолита.

Но вряд ли какие-либо обоснования подобной награды понадобились бы бойцу, долгие часы под обстрелом таскавшему на своем горбу ящики со снарядами, поскольку две его лошадки лежали в окровавленной грязи. В назначенный срок расчет был обеспечен боеприпасами в соответствии с приказом. Что и засвидетельствовал кратко прыгающими буквами наградной лист, окисленный временем до пятнистой рыжины.

Наверняка многие из упомянутых в архивных толщах мелькали тенями в бессвязных сновидениях, но чаще всего приходил дед. Или безразмерную темень прорезал его уверенный голос с нотками сарказма, и звучали его шаткие, тяжелые шаги по хрусткой лесной подстилке, сопровождаемые размеренными ударами оземь самодельной трости.

Дед не воевал — по малости лет. Но и тощий мальчишка ростом «в прыжке с винтовку» бросил свой камушек на чашу искореженных весов, приходивших в зыбкое равновесие четыре года, вместе с содрогающимся миром.

Дед пахал в тылу — по сезону пахал и в буквальном смысле слова. Его напарник — добронравный буланый коняга — дело знал, тянул на совесть и борозду не портил, но чтобы выходила именно борозда, а не вихлявая царапина, щуплый пахарь всем своим воробьиным весом наскакивал на плуг.

— Так верхом на плуге и ездил, — пояснял дед непонятливому внуку-горожанину и хохотал в голос, озорно сощурившись. Заразительный дедовский смех не веселил, но будоражил до озноба.

Те, у кого хватало сил пахать без эквилибри-

стических выкрутасов, ушли далеко на запад. Вернулись далеко не все.

— Триста дворов деревня. Триста семей, — неприязненно выговаривал дед телевизору, в майский вечер извергающему дикторским голосом официальную статистику. — Ни одного двора без потери. Ни одной семьи. А сколько в Союзе было семей? Вот и считайте…

Дедовские подсчеты никак не вмещались в обтекаемые рамки тусклого пузатого телеэкрана. И в крошечное воображение бестолкового внука-разини…

Дед регулярно чинил допотопный «Рубин», хронически страдающий врожденными непропаями. Но мельтешению размытых кадров и болтовне из «ящика», здоровенного, как гроб динозавра, предпочитал рыбалку и «грибалку». В любую погоду, а пуще всего в мелкосеянный дождь.

Засыпанные небесным бисером травы обрамляют странную, какого-то подозрительно рукотворного вида неглубокую рытвину с оплывшими краями, густо заросшую бересклетом. Таких колдобин на опушке несколько, цепочка. Дед отрешенно смотрит ненастными дальнозоркими глазами на затуманенную пойму, разглядывает

заслоненные ивняком и ольшаником берега невидимой реки, за которые вечером закатится солнце. Отвечает на невысказанный вопрос:

— Здесь боя не было. Отступили…

Потом отступали немцы. В спешке хоронили убитых, без должных церемоний, вколачивали в могилы березовые кресты.

— Некоторые стволики прижились. Оттого в старом ельнике у Белой дороги пошел березняк.

Глаза непроизвольно округляются от изумления. Вот это да! Нежданно-негаданно дед удостоверил жизненность байки, по случаю таинственным полушепотом рассказанной двоюродным дядей — большим знатоком старинных пионерских страшилок о провалившихся могилах в лесу, о черных скорченных руках с когтями, высовывающихся из-под дерна после заката в потугах ухватить за ногу какого-нибудь запоздалого грибника. В торчащие из земли мертвецкие лапы не очень-то верилось, а вклинившаяся в мрачный еловый строй березовая рощица озадачивала непроходимостью — сплошные буераки, устланные мятликом…

Дядя родился, конечно, после войны. Сильно после. Он и в армии-то не служил, по состоянию здоровья. Служил в театре. Артистическая нату-

ра, балагур-притворщик, ценитель прекрасного. Иногда наезжал погостить. Застенчивого племяша купил с потрохами незатейливыми фокусами, розыгрышами, жутковатыми историйками и цилиндрической банкой из-под мармелада «Апельсинные и лимонные дольки», битком набитой советскими значками. Как узнал, что дед надумал выкинуть на помойку накопившиеся за годы журналы «Огонек», так вцепился с горячечным азартом в лощеную кипу обеими руками:

— Там же репродукции! Картины! Целая галерея… Переплету в альбом на память.

Дед сдержанно согласился с тем, что цветные репродукции — пожалуй, единственное нечто стоящее в залежавшейся макулатуре, и принес откуда-то лоскут серо-голубого коленкора на обложку.

Работа закипела. Для лучшей сохранности будущие листы единственного и неповторимого альбома надлежало не выдирать, а осторожно вынимать из разобранных журналов. Блестящие скрепки, впившиеся в плотную гладкую бумагу, неплохо выковыривались маникюрными ножницами. Скучноватое занятие, исколотые пальцы, зато картины… сложились в настоящее путешествие.

Это был его самый первый архив. Маленький, но увесистый. Подшивка красочных плоскостей. Без намека на систематизацию фотореалистичные натюрморты чередовались с сельскими пейзажами, абстрактными образами, батальными сценами и портретами.

Некоторые лица едва угадывались в хаосе мазков или причудливой мозаике фигур. Другие удивляли натурализмом исполнения. Одно, почти монохромное, не заслоняющее грубую фактуру холста, оказалось живым.

Девушка в гимнастерке на фоне развороченной земли… наверное, в окопе. Растрепанные светло-русые пряди, бледная кожа, копоть на лбу, на скулах. Карие глаза, огромные зрачки, отражающие беспросветное пожарище. Юное, совершенно недетское лицо. Хрупкие полупрозрачные руки… Как такими можно удержать настоящее оружие — не пластиковую трещалку?

Неотпускающий взгляд. Пальцы без всякой закладки сами находили в альбоме зачарованную страницу. Украдкой, когда никто не видел. Не верилось, что тоненький безмятежный глянец вместил человеческую личность в решающий миг ожесточения.

— Искусство, — многозначительно изрек дядя,

донельзя гордый завершающим штрихом на обложке — аппликацией из бархатной бумаги, выуженной из набора для детского творчества.

Искусство. Потрясение художника…

В последний приезд искусствовед-любитель соблазнился августовскими грибами. Поиски маслят завели на укромное лесное кладбище, примыкающее к вымытому бурым ручьем яру. Обстановка тотчас настроила дядю на мистический лад.

— Видишь имя? — спросил он тоном человека, отважившегося сдернуть завесу недомолвок с кошмарной тайны.

Только имя, ничего больше. Под невысоким обелиском схоронили дедова тезку. Наверное, его документы сильно обгорели или размякли от крови до неразборчивости…

— Здесь раньше стояла другая ограда, — продолжал дядя заговорщически. — Повыше, выкрашенная в бирюзу. Но дело не в ней. В обелиске. Ведь он исполняет желания. Но загаданное не сбудется, если не принести жертву. Не абы какую. Раньше на оградку навязывали пионерские галстуки. А сейчас… даже не знаю, что бы сгодилось.

Подошедший дед, хмуро изучая содержимое полупустой корзинки, нехотя подтвердил, что

какие-то суеверные обалдуи, бывало, по дурости оставляли на могиле неизвестного красные галстуки. Вряд ли они этим добивались чего-либо, кроме нагоняя от пионервожатых. Но поверье было живучее.

— Это братская могила, — добавил он, — установили только одно имя.

Пионерский галстук! Чтобы раздобыть такую диковину, надо ограбить какой-нибудь музей, не иначе. Рука нащупала в кармашке значок. Маленький золотистый кораблик с закольцованной цепочкой, по которой скользил туда-сюда крошечный якорь. Старинная вещица из мармеладной сокровищницы.

— Да уж, — бормочет дядя и изменившимся, обесцвеченным голосом рассказывает непритязательную историйку о том, как он, будучи пионером-активистом, разносил поздравительные открытки ветеранам.

В наутюженной белой рубашке, скромно украшенной редким значком «За активную работу», в отглаженном алом галстуке, в темно-синих брючках с отпаренными стрелками… наверное, даже шнурки в начищенных ботинках шиковали праздничной гладкостью. Бочком осторожно зашел в провально-черный подъезд, сохранивший

зимнюю стынь до цветущего мая. Руины, а не дом… похоже, адресом ошибся. Бессильно проскулил звонок. Спустя вечность приоткрылась дверь, и в желтоватый клин затхлого света выщемился силуэт малорослой старухи. Исхудалой, сутулой. И голос еле слышный, как бесслезный плач: «А я думала, меня забыли…»

— А я ее и не знал, — невпопад говорит дядька, ни к кому не обращаясь.

От немногословного воспоминания могильным холодом тянет ощутимее, чем от всего кладбища. Заморосило. Дед молчит, лицо его спокойное, жесткое и злое. Боязно спросить о чем-либо, нарушить бессловесную речь дождя.

В воображении бесшумно приоткрывается голубовато-серая створка, и мысленный взор встречается со взглядом неглянцевой девушки с глянцевого листка. Если она еще жива… то, верно, стара и дряхла настолько, что и сама себя забыла.

Не хочется думать о смерти и распаде.

Вот бы встретить такую красоту наяву, не на картинке.

На ветке обманчиво пушистой, но весьма колючей елочки втайне бросил якорек золотой парусник. Жертва — то, чем дорожишь. А цвет и

фасон ничего не значат…

Вторым архивом удалось вплотную заняться спустя несколько лет. Первый опыт обработки звукового файла. Изобилующего оглушительными, назойливыми шумами. С неизбежными потерями и искажениями вылущенного несовершенным оборудованием с узенькой блестящей плоскости — магнитофонной ленты на катушке. Артефакт сберег голос прадеда — человека, повоевавшего и на Первой, и на Второй. Не склонного предаваться воспоминаниям ни о той, ни о другой.

Пробившийся через треск и хрип мягкий говорок поначалу звучал для непривычного уха будто иностранная речь. Незнакомый диалект, почти утраченный даже дедом, покинувшим малую родину «в триста дворов» охочим до учебы подростком уже после войны. Изредка в лаконичных дедовских высказываниях проскакивали необычные словечки с неизменным пояснением: «У нас в деревне так говорили».

Стих ураганный ветер, осела пыль. Миновали годы, а надломанные деревья болеют, сохнут, гниют и валятся в безветренный день. Падают зависшие в облезлых кронах трухлявые обломки. На сухостое и валежнике от малейшей искры

занимается пожар. На углях пробивается молодой лесок. Стихию не выключить рубильником. Войну не завершить актом о капитуляции.

Война длится и длится в последствиях — явных, скрытых, сложных и противоречивых.

Прадед обошел выразительным молчанием свою военную карьеру, но в охотку говорил о музыке и, лукаво посмеиваясь, рассказал любопытствующей молодежи, как познакомился с прабабкой. Всего-то порасспросил людей, есть ли в ближних селениях девушка на выданье из хорошей семьи. Так просто.

А шанс деда встретиться с бабушкой равнялся бескомпромиссному нулю, но нестихающая дрожь сломанного миропорядка вытряхнула их из разнесенных на полконтинента деревень вопреки желанию сгодиться где родился.

Если б не было войны… То бы не было меня. Так просто.

Он справился с этой работой. Не блестяще, но справился. Придавил шумы, вытянул добродушный прадедовский тенорок, выровнял по громкости. Узнал немного, но многому научился.

Сколько потом еще препарировано архивов: метрики, протоколы судебных заседаний дореволюционных времен, музейные описи,

картотеки… Хроники двадцатого века. Захватывающее путешествие. Сопротивление материала, не пробиваемого искусственным интеллектом, идеально адаптировало препаратора к плоскостному существованию. Двухмерность сделала его чрезвычайно эффективным. Безучастным. Бездумным. Стремящимся к одномерности. К временной оси. Быстрее, быстрее… продуктивнее, больше, но не выше и не глубже.

Верхогляд. Чертов верхогляд. Словечко из дедовского лексикона, богатого на ругань, обычно нецензурную. Емкое слово для плоского человека. Но ведь каждой работе назначены сроки. Зачастую крайне сжатые. В которые втискиваются лишь схематичные развертки необъятных архивов. И верно — надо спешить. Кислая бумага минувшего века сыпется от прикосновения. Световой «клинок» сканера, бережно снимающий поверхностную суть с документа, — настоящее испытание для ветхого листа. Цифровая копия выдержит бесконечные перелистывания, но люди не могут, не хотят ждать вечно.

Стоит зацепиться взгляду за какую-нибудь мелочь, задуматься — и теряешь темп. Мелочи накапливаются, соринка за песчинкой — и теряешь цель. Краткая реплика деда об отступлении

без боя давно расшифрована и наполнена удручающими деталями, в каковые не посвящают впечатлительных младшеклассников. И все же застланная рассекреченными страницами картина не самого грандиозного краха осталась фрагментарной и спорной. Далекой от парадной четкости. Такой и останется. Нельзя отсканировать и занести в базу ненаписанные строки. Невысказанные и никем не услышанные слова.

Тщетность всех предпринятых усилий и еще даже не стартовавших проектов завела в тупик. Нашествие тревожных, изнурительных снов недвусмысленно намекало на истощение, критически близкое к срыву. Нет ответа на простейший вопрос. Зачем все это, зачем?! Чтобы историки, не сошедшиеся в интерпретациях, с бескровным пылом скрещивали отточенные аргументы на симпозиумах? Для эффектного ракурса, запечатлевшего отражения алых гвоздик в полированном граните и расфокусированные сполохи огня…

Он взял небольшой отпуск впервые за несколько лет. И отправился в оздоровительное турне по музеям северной столицы. Оказалось, наяву ранняя весна. Оказалось, совершенство еще не достигнуто, и невозможно переслать себя по элек-

тронной почте куда вздумается. И трепало его вокзальными сквозняками. И несло-кувыркало сырым ветром над тало-леденистой набережной. Мимо невозмутимых сфинксов к пламенеющим в холодной дымке ростральным колоннам.

Согрелся в Эрмитаже. Изморось льнула к окнам, паркетные узоры излучали янтарное тепло, из темного пространства, разграниченного золочеными рамами, выглядывали румяные белокожие кокетки и надменные господа в серых париках. Хотелось сложиться в острокрылый самолетик и промелькнуть мимо скучающих экспонатов над головами посетителей. Быстрое движение оживит напольный калейдоскоп, раскроет ажурные орнаменты, затененные шарканьем и стуком бесчисленных подметок. Невероятно, какое чудо можно создать из древесины… и воссоздать в совершенстве, изуродованное взрывами и наледью.

По светотени, набранной из контрастных резных дощечек, шла она. Люди расступались и смотрели ей вслед. Заглядывались. Сначала показалось — в гимнастерке. Нет, в строгом костюме цвета хаки. С пуговичками, обтянутыми тканью. С золотым корабликом на лацкане. Маленький якорь покачивается на цепочке.

Светлое лицо, темный взгляд.

Страх швырнул его в сторону, к окну — к дневному свету, и заполоскал по стеклу. Еще несколько шагов — и она заговорит… произнесет мертвенным голосом нечто вроде: «Я пришла к тебе против своей воли… мне велено исполнить твою просьбу». Или даже напоет зловещим меццо-сопрано.

Улыбается. Если опять не показалось.

Голос молодой, глубокий. Контральто.

— Теперь твой черед исполнять желания.

У него же нет голоса. Только какой-то сип, никнущий в бумажный хруст.

— Ч-чьи?

— Тех, кто не дождался.

Тех, кто уже не выскажется. Настолько затянулось ожидание.

Уклончивое «я попробую», достойное тертого верхогляда, не соответствует моменту. Достойное здравомыслящего человека, крепко стоящего на ногах, вежливое недоумение тем более. Почва давно ушла из-под ног. Не трепыхайся: цель задана с исчерпывающей ясностью.

— Да, — безгласно обещает он на выдохе.

Отражения сквозистого исполнителя желаний нет в ее зрачках. Там ночь и гарь. Она уходит и

растворяется в изысканной роскоши французского искусства восемнадцатого века. Экскурсанты рокируются на узорчатом паркете в стремлении познакомиться поближе с обитателями холстяного зазеркалья. В воздухе осязаем смолистый запах ельника — живого… вечно живого леса.

В мире плоскостей он чудесник. На его стороне мощь современных технологий, коллективный разум множества внимательных и терпеливых людей. Время. Невосполнимый ресурс, но все же в наличии, сколько бы ни отмерено — больше, чем тому, кто под прицелом.

И его личное, «именное» оружие — незаурядная, хищно-цепкая, ничего не отпускающая зрительная память, унаследованная от деда.

Тот, кто ищет… находит не всегда. Вечное забвение гораздо надежнее вечной памяти. У него крепкая хватка и множество приемов. Ошибки, недомолвки — случайные или намеренные, порча и утраты документов, банальные опечатки. Оно поглощает и найденных. Обобранных мародерами до нитки, до невозможности отличить своих от врагов. О тех, до кого похоронные команды добрались с запозданием, точно известно только одно: в земле всем хватило места.

Иногда начинает казаться, будто архивы — это

скопище пробелов. Сплошные буераки. Преодолимые, впрочем. Оборвалась тропа — ищи другую.

И вот он — камень на развилке. Плита из отполированного габбро со скошенной верхушкой. Приоткрытая дверь в ночную метелицу. Или же не снег, а хлопья пепла летят сквозь окаменевшую темень и не могут упасть. Не могут прорваться сквозь выгравированные лазером имена и даты.

Еще не все. В черноте остались безымянные. Самое малое — четверо. И дедов тезка до сих пор бесфамильный.

Пора менять траекторию. Восполнять пробелы в образовании: учить немецкий углубленно, не тычками по вершкам. Ничто и никто не обещает успеха, ни на каком языке. Но непредсказуемость результата — не повод сворачиваться в выжатый фантик.

Возможно даже, еще живы люди, для которых вытаявшие из мрака имена — не просто рядки символов на каменном глянце или краткие подписи к старым фотокарточкам с незнакомыми лицами. Не пустой звук.

Надо тесать дальше, слой за слоем, насколько хватит бумажного здоровья.

Въяве ранняя сухонькая осень. В загрубелой траве путаются неяркие лещинные и березовые листья. Вспыхивают осиновые листочки. Травины длинные, жесткие, как лыко, цепляются за щиколотки, вяжут ноги. Верно, из такой ловчей особенности дерна и выросла детская страшилка о мертвых руках. Но только ли…

Он не опадает, медленно кружась, на колкое разнотравье. Останавливается как вкопанный. Потому что не вспоминает, а чувствует головокружение. Ощущает собственную тяжесть, ломкую валежину под пяткой и противление сплоченного злакового воинства. Оглянулся и увидел плохо различимые вмятины на дерновине, там, где свернул с натоптанной тропы. Поднес к глазам поближе ладони — бледные, дряблые, с синюшными венами, но настоящие. Стиснул кулаки, разжал. Шагнул, и осенний лес качнулся с хрустом и шуршаньем.

Где-то здесь, в покойном теньке, спрятан переход между мирами, от двухмерного к трехмерному… или же размерность не замыкается в рамках школьной стереометрии, и путь бесконечен, как тоннель, высвеченный заглянувшими друг в друга зеркалами. Где?

Он вернулся к надгробию. Обычный список,

неполный. Не здесь. Дверь не открыть без ключа. Какие-то перевороты должны произойти в сознании, чтобы плоскоголовое существо возвратилось в объемный мир.

Обратно не хотелось… Он засек положение солнца и побрел через лес по направлению к Белой дороге. Не самая легкая прогулка для человека, почти отвыкшего от гравитации. Он часто останавливался, переводил дыхание, удивлялся глубине следов во мху. Не прогнал с руки одинокого, но очень кровожадного комара. Подобрал сучковатую палку — высохший, но еще крепкий еловый стволик. Так легче идти.

Надо привыкать. Тайны ухабистого березняка не вытащить на свет, копаясь в бумагах и цифровых копиях. Без лопат не обойдется. Такого плана раскопки, конечно, сопряжены с немалыми разного рода затруднениями… Но для человека с головой и руками в том нет ничего непреодолимого.

Глаза боятся, а руки делают.

Варианты



Григорий Панченко. *LICET BOVI*

Quod licet Iovi, non licet bovi

(Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.)

— Только бы мишку не привезли… — вздохнул К. Е.

Все разом запрокинули головы, безошибочно нащупав взглядами подножие монумента Альбрехту Медведю, почти скрытого откосом холма и непроглядной травой. Но с того места, где они сейчас лежали, разглядеть можно было именно подножие и часть правого латного башмака. А каменный зверь, одноименный грозному маркграфу, жался к его левой ноге.

— Мишка — еще полбеды, — рассудительно заметил старший объездчик Ипатьич. — Оленебыки дрогнут — ничего, там ведь и конская клеть всегда на подстраховке. Хотя, конечно…

К. Е. снова вздохнул. Остальные промолчали. Они были совсем мальчишки, встревать в разговор седобородых им не полагалось, хотя каждому было ясно, чего опасается замзав и что упускает объездчик.

Канны и вправду не всякий живой груз повезут, пускай в обозные телеги-клетки впрягали только отборных самцов, поневоле делая упор скорее на послушание, чем на силу и стать. Однако даже они — тягловая скотина в первых поколениях, так что при виде и запахе опасного зверя, пусть даже незнакомого никому из их предков, могут взыграть инстинкты, бывало такое. На этот случай у станции всегда дежурит упряжка тяжеловозов, которые свой ездовой долг выполнят по-солдатски, без капризов. Но дело и вправду не в том. Ладно, не только в том.

Херр директор вроде бы еще черт-те когда отстоял концепцию заповедника как «Die große arische Steppe» окончательно и успешно: Великая Готия, степные конунги Аларих и Теодорих, турьи пастбища, тарпаньи табуны… Но в последний год незыблемость его победы начала вызывать сомнения. То ли вообще что-то сделалось неладно (а что сделалось — сомнений нет, это было видно по многим признакам), то ли его конкуренты, сторонники «Der große arische Wald», сумели найти путь к слуху влиятельных покровителей. Директор по этому поводу рвал и метал, его теперь всерьез приходилось бояться: раньше он, человек вообще-то тяжелый, но за дело болеющий

по-настоящему, без дураков, для любого ценного сотрудника был щитом и опорой. А вот неделю назад зоотехник Томковый, в беседе с другим зоотехником назвавший директора по-простому «Лутц», мигом лишился и должности, и брони. Сейчас он наверняка на пути к Вестфронту, если не уже там.

(А как называть: херр Хек, Людвиг Георг Генрих? Херр К-зондерфюрер? Язык сломаешь!)

Так что очень даже имело значение, кого именно доставят нынешним эшелоном: партию заказанного скота для турьей программы — или лесных жителей. Сама секретность, которой раньше не было, ничего хорошего не сулила.

А сам по себе медведь — что ж, бывают звери и неудобнее. Найдем, куда поместить, и сохранить тоже сумеем, даром что в степной Аскании ему вправду будет жарко и странно. Зубров же пристроили, более того — даже внесли в число козырей «Die große arische Steppe». Ладно, Waldsteppe…

Над вершинами трав воздух тек и плавился от жары, звенел скрипками кузнечиков, и вместе с ним звенело, текло, плавилось время плыло невесть куда, уносило в своем течении. О том, чтобы встать, даже подумать было страшно.

— Ладно, ребята, — теперь во вздохе К. Е. не было никакого подтекста. — Поднимаемся. Вольер сам себя не выстроит.

— Ну еще мину-утку, Климе-е-ентий Евдоки-и-имович! — в один голос, как близнецы-тройняшки, жалобно проныли Юра, Оська и Мартын. Сами удивились такой синхронности и, тоже в один голос, прыснули.

— Подъем-подъем-подъем, — твердо проговорил замзав. — Ям под столбы вон еще сколько осталось.

И, подавая пример, встал первым. Мальчишки тоже поднялись, вздыхая и переглядываясь: их просьба о лишней минутке отдыха, конечно, была попыткой хоть немного поберечь самого К. Е. Ему ни по возрасту, ни по должности не полагалось лично сооружать вольеры, но замзав подчеркнуто взваливал на себя работу как можно тяжелее и как можно неблагодарней; чтобы поменьше оставалось возможностей припрячь его к… ну, другой работе.

— Со станции скачет кто-то, — вдруг сказал Ипатьич. — Карьером.

— На рослом жеребце, — прислушавшись, уточнил К. Е. — Кровном.

— На Бриганте, — согласно кивнул объездчик.

— Значит, Рибергер-младший, — К. Е. нахмурился. — Что-то у них там…

Мальчики, кроме Мартына, слушали их разговор с разинутыми ртами: только к концу его они вообще смогли вычленить из степных звуков далекий перестук копыт. С запозданием же до них начало доходить, что пора тревожиться: Йохан Рибергер мужик нормальный, однако просто так во весь опор никто от станции коня гнать не будет. Особенно в такую жару. Да еще резвейшего из заводских жеребцов: пред глазами возможного начальства все асканийские сотрудники старались ездить на коньках-тарпанышах — по той же причине, честно-то говоря, по которой зоовагоны встречали на упряжках с каннами.

— Да ты каверзы от графа Медведя не бойся, Евдокимыч, — негромко произнес объездчик. — Он для нас скорее хранитель. От этого, Фриц который, своего пра-пра… Овечка-то, чай, пострашнее мишки будет!

И снова все сперва одновременно посмотрели на каменного Альбрехта Медведя, самого знаменитого из рода Асканиев, а потом перевели взгляд на венчающий соседний холм памятник его потомку, герцогу Ангальт-Кётенскому. Позой Фридрих Фердинанд был не менее горделив, чем

могучий маркграф, генеральский мундир сидел на нем еще воинственней, чем рыцарские доспехи, а каменная овца у его ноги тоже взирала на окрестную степь столь горделиво, воинственно и даже хищно, что медведь на противоположном холме, кажется, искал у Медведя от нее защиты, прятался за своим хозяином, только в нем и видел спасение.

Да уж. Степных ли туров воскрешай, лесных ли зубров приучай к степи — все это меркнет перед тяжеловесно-зримым напоминанием, что Новая Аскания полтораста лет назад была основана вовсе не как заповедник, а как овцеводческая станция. И если сверху прикажут — быть ей снова таковой. Поставлять ненасытным фронтам шерсть для шинелей, шкуры для полушубков, ценное мясо — баранье и человеческое, потому что для обслуживания овцеводческой станции требуется на порядок меньше людей, а научным сотрудникам там вовсе не место.

Сверху. С самого верху.

Из чертогов Вотана.

* * *

— Клим Евдокимыч, скорей, там такое! — еще издали, не сходя с коня, закричал Рибергер по-

русски: у него, правнука и внука таврических колонистов, немецкий вообще был такой, что перед настоящими германцами следовало рот раскрывать как можно реже, иначе они сразу ржать начинали почище тарпанов. — Оленебычий обоз сразу обделался, мы битюгов подгонять, а они — оба, Чубарый и Нагель, тоже что-то не идут, головы к земле клонят, храпят… И сопровождающий руками машет, на своем что-то непонятное лопочет, по-немецки — ни в зуб ногой! Херр директор уже туда-сюда, а грузовика-то нет…

— Да кого привезли-то, Ванечка? — спокойно спросил К. Е. — Неужели и вправду медведь? Или уж сразу лев, чтоб не мелочиться? «Лютый зверь вскочил мне на бедры и конь со мною поверже»…

— Бык, — Рибергер пружинисто соскочил наземь. Мартын тут же подхватил взмыленного жеребца под уздцы, повел его по кругу, успокаивающе говоря что-то, без страха гладя оскаленную морду. Юра как младший держался рядом, перенимая науку, завистливо поглядывал на Мартына, потому что такую науку в полной мере не перенять — подлинным лошадником родиться надо.

— Ага… — К. Е. задумчиво поправил очки. — Значит, сопровождающий говорит по-испански. Ося, ты…

Тут возникла пауза. Совсем короткая.

— Там еще в эшелоне несколько спецвагонов, — Рибергер, еще ничего не заметив и не сообразив, вытер пот рукавом. Нетерпеливо щелкнул пальцами — Ипатьич тут же протянул ему жестяную флягу, — жадно присосался к горлышку, пил и пил, остаток воды вылил себе на голову. — Я думал, тоже для нас, а вот нет — кавалерийские. И всадники в отдельном вагоне, целый полуэскадрон. Я сперва чуть не сдурел, потом понял — эйнхерии. Жутче некуда: все в рунах, с мечами, в рогатых шлемах, в меховых плащах — под таким-то солнцем, а?! Сразу оседлали коней, выстроились в цугколонну, стоят неподвижно, ждут… Все-таки по нашу душу, выходит. Херр директор туда-сюда, и звонить, и все — ну, нет нигде мотофургона, никто не дает! Шепчу ему: может, волов запрячь, я сгоняю по-быстрому… хотя вскачь-то оно быстро, а вот назад, с волами… Но этот, сопровождающий, видать, все же по-немецки малость понимает — снова руками замахал: мол, нет, никаких волов, никаких коней, о каннах даже речь не идет! Оська, на тебя одна

надежда — выручай, придумай! Херр директор сейчас с их эскадронным пытается объясниться, но это ж сдохнуть и то менее страшно, хоть и херр директорсбрудер рядом с Буниктой на плече… Проще уж сразу тому бычище на рога!

Тут он наконец сообразил что-то.

— Ося… — повторил К. Е.

— Ну, делать-то нечего! — Рибергер виновато развел руками. — Тот на Буникту даже взгляд не скосил… Впервые и вижу такое!

Буникта — потому что гибрид *Bubo bubo* и *Nyctea scandiaca,* филина и полярной совы. Внешностью ровно посередине между своими родителями: небольшие аккуратные ушки, белые перья с грифельно-серым окаймлением… Но размером чуть ли не с них обоих, взятых вместе, а когда встопорщится, расправит крылья, так вообще невозможная великанша.

Любое начальство, прибывавшее с инспекцией или для чего угодно, первым делом завороженно обмирало, уставившись в бесстрастные, янтарные, отлично приспособленные для дневного зрения глазищи этакого чуда — и дальше уж держалось совсем иначе, готовое поверить в сказку. Почти ни у кого язык не поворачивался спросить о практической ценности такой птицы

для Рейха. А если все же поворачивался, херр Хек невозмутимо отвечал таким бесстыжим, что здесь, конечно, развивают проект «Арийская степь», но и братскому «Арийскому лесу» готовы оказать посильную помощь. Арийским же промысловикам, несомненно, вскоре предстоит добывать в сибирской тайге ценного пушного зверя под названием соболь — и арийский полярный филин, первая ловчая птица нового типа, окажет им в этой стратегически важной охоте большую помощь.

После этого начальство, кем бы оно ни было, испуганно переводило разговор на другую тему, потому что до Сибири все еще далеко… и, по слухам, за последний год это расстояние вдруг начало увеличиваться.

Говорил-то такое Лутц Хек как директор, но Буникта сидела на плече у Хека-старшего, с него же и взлетала по команде, безошибочно устремляясь домой, что тоже впечатляло. Только директорсбрудера слушались столь странные твари и только у него они получались. Не всегда, кстати: в единственной кладке было лишь два яйца, повторить гибридизацию с тех пор не удалось, а Бускан, брат Буникты, вырос куда менее роскошным, да и диковатым к тому же.

Но о таком начальству точно знать не следовало.

— Ничего, Климент Евдокимович, — спокойно проговорил Оська. — Справимся. Значит, Иван Карлыч, волов действительно не надо, а вот пока Бригант еще в силах, скачите к пятому загону — ну, где у нас молодые коровы. Пусть отделят с полдесятка и сразу гонят к станции. А для нас тем временем оседлают трех тарпанов: тут уж предельная резвость не важна, быстрее коров нестись без толку. Одного вам — вы прямо за этой пятеркой скачите и, когда поравняетесь, переймите у тех, кто ее гнал, они нам не потребуются, — второго мне, третьего тому, кто мне тарпана сюда приведет: лучше всего Золтана, наверно. Мы с Золтаном сразу за вами, догоним и по пути к станции возьмем из загона 13–Б еще телок, тоже полдесятка, присоединим к гурту. Может, и лишнее, но на всякий случай. Вот со всеми ними бык пойдет как миленький, какой он ни зверюга.

— Ага, — Рибергер кивнул без вопросов и возражений, словно получив приказ от высшего начальства. — Мартынка, Юрик, быстро с Бригантом сюда! А вы, дядь-Клим, распорядитесь и проследите, чтоб никого, кроме из Степпе-про-

граммы, этим, с рунами, на глаза не попалось. Страусов и нанду — на дальнее пастбище, кенгуру — в шестой вольер… или в седьмой, без разницы, лишь бы скорее. Зебр с зеброидами… ну, их-то не увидят, ладно… Эх, вот с Мижордом я бы и сам не пожалел эскадронного свести, чтоб его! Оленебыков все равно уже засветили… А! И этого урода, ублюдка белолобого — его первым прочь, с глаз долой!

— Кого? — К. Е. в недоумении переглянулся с Ипатьичем.

— Ну, Blässbulle же! — Рибергер раздраженно ткнул рукой в направлении Белолобого.

И снова в горячем, плавящемся воздухе повисла пауза. Но совсем иная.

Белолобый действительно был с пежиной посреди лба: его густая и ровная челка, по форме эталонная для воскрешенного тура, пятнала иссиня-черную голову, как пролитые белила. Это, конечно, само по себе выводило его из туровой части Степпе-программы, но вдобавок он с рождения был кроток не по-турьи, не просто по-бычьи, не по-телячьи даже, а прямо по-ангельски. Потому пасся свободно, ходил где хотел, предпочитая держаться поближе к людям. Его давно уже перестали замечать. Только херр директор иногда

в ярости отдавал — почти отдавал! — распоряжения «Выхолостить!» или даже «На мясо!», но никогда не доводил их до прямого приказа.

Уж очень хороша, прямо-таки идеальна была турья стать Blässbulle: никто из «воскрешенных» пока даже близко не стоял, хотя для программы выписывали все новых и новых быков, сохранивших первобытные черты.

Рост у всех нынешних туров, включая Белолобого, покамест не дотягивал до заявленного в описании планов «Arisches Steppe-Programm», однако, с другой стороны, нигде и не утверждалось прямо, что Асканию вскоре заселят именно двухметровые в холке гиганты, бродившие по плейстоценовой тундросаванне. Это потом. А с теми средневековыми турами, на которых охотился император Карл и прочие великие германцы, уже сейчас сходство получалось достаточное. Но даже среди них Белолобый был рослее всех. Как раз под копье всаднику, если охотничьими мерками мерить…

Иди знай: может, все-таки придется ставить его в очередь на размножение?

Возможно, имелась и другая причина. Как ни крути, Лутц, Людвиг Георг Генрих Хек, звероведом все же был настоящим, не ряженым. И его душа

исподволь противилась мысли о погублении столь прекрасного живого существа…

— Чистота арийской крови очень ценится в корове… — пробормотал К. Е. себе под нос.

— Чистокровный прусский скот… — также негромко продолжил Оська и остановился: Иван Карлович Рибергер, принимая поводья Бригантa, шагнул вперед, оказавшись слишком близко. А эти строки не для него, какой он ни свой, потомственный асканиец. И фильм был не для него.

Юра понимающе улыбнулся тайком. Строго говоря, его на ту короткометражку тоже не позвали, решили, мал еще, вдруг сболтнет что лишнее. Подумаешь: старшие ребята, те же Мартын с Оськой, ему в тот же вечер все пересказали и показали в лицах так подробно, что он словно бы своими глазами видел. О немецком скоте рассказали тоже и объяснили, что означают прозвучавшие там имена, а им, наверно, Климентий Евдокимович объяснил — самим-то знать неоткуда…

И ничего он не проболтается. Сейчас все с самых ранних лет понимают, что можно говорить среди чужих, а что — только меж полностью своими. Раньше понимают, чем вообще говорить научаются, вот!

И отчего Оське лучше бы на глаза чужим не

попадаться — понимают тоже…

Оська, несмотря на свой даже не юный, а подростковый возраст, был очень ценным специалистом. Прирожденный бычий пастырь: такие один на миллион встречаются, и выучиться этому невозможно. Люди, идеально понимающие лошадей, во все времена ценились крайне высоко (вот Мартын и сейчас в цене, хотя лошадиный век уже проходит), а туровидный бык — ведь тварь куда более непредсказуемая.

Поэтому Оську старались аккуратно убирать отовсюду, где взгляд рассенгигиениста, уполномоченного или самодеятельного, мог зацепиться за его черноволосый, носатый, откровенно нездешний облик. Пару раз это не удавалось; тогда начиналось расследование, сразу отметавшее самые страшные подозрения, однако потом неизбежно выходившее на следующий виток, для Оськи тоже чреватый печальным исходом: уж ему-то депортация на родину ничего хорошего не сулила.

Каудильо строг и к прямым своим врагам, и к их детям. Даже вывезенным из страны в малолетстве. Пожалуй, к ним, с самых нежных лет впитавшим убеждения родителей — особенно.

Пока что влияния херра директора хватало,

чтобы это остановить. Но неизвестно, как будет сейчас. Если будет.

* * *

— Поздно… — горько скривившись, процедил Ипатьич. Он снова первым услышал звук, доносящийся со стороны станции — хотя теперь это не был стук копыт.

Грузовик! Значит, херр директор все же сумел дозвониться?

Но чем ближе подкатывался гул неузнаваемо мощного мотора, тем яснее становилось: тут что-то другое. Даже на пике своей влиятельности Лутц Хек не мог выбить для нужд Аскании такую машину, а уж сейчас-то, в пору жесткой экономии бензина, урезанных пайков и все более нехороших слухов…

Высокобортное полугусеничное чудовище, чадя выхлопами, проследовало мимо. В кузове хватило бы места на три-четыре транспортные клетки, но высилась там только одна. Одна клетка и один человек при ней. А внутри клетки, за толстыми стальными прутьями…

— Тур, — ошеломленно сказал Йоган Рибергер.

– *Bos primigenius,* — подтвердил К. Е. — Только мастью подкачал.

— Господи помилуй! — сказал Ипатьич и потянулся перекреститься.

— Toro bravo, — качнул головой Оська. — Но ведь он совсем rojo, рыжий. Не negro.

Вряд ли сопровождающий мог из кузова услышать хоть что-то, но он будто впился глазами в их группу. И вдруг, прежде чем грузовик успел ее миновать, яростно заколотил ладонью по крыше кабины.

Неизвестно, какие инструкции получил водитель, но машина остановилась.

Тот, кто был в кузове, не медля ни мгновения, перемахнул через борт, ловко приземлившись, хотя спрыгнуть ему пришлось с высоты двух ростов. Водитель недовольно просигналил, но сопровождающий вряд ли услышал это. Теперь стало ясно, что смотрит он не на всю группу, а на…

— Хосе? — прошептал сопровождающий. — Это ты, Хосе?

Говорил он не по-русски и не по-немецки, а — Оська нахмурил лоб — по-испански.

— Хосе, сын Хосе, — чуть помедлив, кивнул он. — Хосе Сальдивар, как и отец. Здравствуй, дядя… ты будешь мой дядя Алехандро? Или дядя Мануэль?

Всадники ехали цугколонной, почти геометрически ровным прямоугольником, с той же точностью, как марширует пехота. Серебряные руны на одеяниях черной кожи, на конской сбруе, на эфесах и ножнах длинных мечей. Синие руны татуировок на руках — рукава закатаны по локоть, у некоторых даже на щеках и лбах — это знаки особого отличия.

Действительно рогатые шлемы. Меховые плащи. Все черное.

Пот стекает по шеям, по татуированным лицам — молодым: все тут увидели свет позже двадцать третьего года, многие — значительно позже. В эйнхерии берут только встретивших свой десятый год рождения уже при фюрере, и лишь их поколению дозволено не называть его фюрером, а использовать подлинное, истинное имя — Вотан.

На почему-то остановившуюся прямо посреди дороги машину всадники не обращают ни малейшего внимания, лишь кто-то в первом ряду подал знак — и цугколонна, чуть сместившись, огибает грузовик справа.

Еще меньше внимания на машину и стоящих в стороне людей обратили трое всадников, едущих отдельно от колонны. Один из них — видимо,

командир полуэскадрона: самый рослый из всех эйнхериев, с самым длинным мечом, рунированный так, что кожи под татуировками не различить. Он время от времени с неудовольствием косился на двоих своих спутников, явно разочарованный тем, как они держатся в седлах. Однако, к большому его сожалению, братья Хек, штатские и немолодые, верхом ездить умели отлично, как бы даже не лучше него.

— То есть вы хотите сказать… — Лутц, херр директор, недоверчиво встряхнул головой, — что то отборное стадо, которое я отправил в распоряжение рейхсмаршала, оно уже…

— Да, — резко ответил командир. — Но это была человеческая охота, пусть и священная. Теперь настало время организовать божественную. И эта ответственность возложена на вас.

— Однако… Это ведь было именно отборное стадо, племенное! У нас осталась группа молодняка разной перспективности и есть несколько более-менее приличных взрослых особей… в основном коров… Но быка, достойного стать объектом божественной охоты, среди них нет! Четыре года. Минимум три, если Вота… — директор вовремя заметил, какой холод блеснул из глаз эйнхерия, и успел остановиться, — если фюрера устроит

молодой бычок.

— Не устроит, — отрезал командир. — И ждать возможности нет. Даже месяц.

Он натянул поводья, потому что Лутц в волнении, сам того не замечая, преградил ему дорогу.

Третий всадник, Хайнц Хек, за все это время не проронил ни слова. Он вообще со времени своего появления тут больше помалкивал. Роль его в Аскании оставалась неясной: то ли член руководства заповедника, то ли, как шептались, чуть ли не арестант, ухитрившийся, при всех своих звероводческих заслугах, сотворить что-то, противоречащее интересам Рейха, и выданный на поруки под присмотр своего знаменитого брата. Потому Хайнца предпочитали называть без должности — просто Direktorsbruder, «брат директора» — за глаза, конечно, но в глаза к нему вообще никто не обращался.

Буникта, полурасправив крылья, покачивалась на его плече, огромная, как знамя.

— Молодой человек, вы уверены, что это здравая затея? — директору уже нечего было терять, взрослого тура он из кармана не вытащит, так что единственной обороной оставалось наступление. — Вы представляете, что это такое — охота с холодным оружием на дикого быка, пусть даже

сто раз священная и божественная?! Вам действительно хочется подвергнуть опасности жизнь, имеющую для Рейха первоочередное значение?!

— Мои желания ничего не меняют, — ответил эйнхерий неожиданно мягко, словно обращаясь к больному или ребенку. — Вотан долго тренировался, совершенствовал свое человеческое тело, оттачивал боевые навыки — и вот теперь изъявил свою божественную волю: выйти на древнего быка, как древние герои, как император Карл. В меховых одеяниях, верхом, с копьем, в сопровождении лишь тройки так же вооруженных спутников. И сразить его. Тогда будет повержено мировое зло и завершится победой война, которая иначе…

Он резко осадил себя, как осаживают коня на всем скаку — раскровенивая уголки рта жесткими удилами.

— …которой иначе не видать конца, — наконец сумел завершить командир эйнхериев словно бы одеревеневшим голосом.

— Оно это… — неопределенно пробормотал под нос Ипатьич, — того…

Остальные покосились на него, но ничего не сказали. Любая хоть сколько-нибудь более внятная формулировка могла слишком дорого

обойтись.

Год назад в Аскании крутили хронику, где как раз можно было увидеть того, кого эйнхерии называли Вотаном, открывающего пангерманские ристания — и как раз в облике древнего героя. Даже с копьем. Над его телом действительно годы подряд трудились лучшие тренеры рейха, причем в поте лица: трудно было поверить, что шестидесятилетнее мясо может выглядеть так эффектно.

А после той хроники уже отдельно, в свободном порядке, показывали фильмы. И еще отдельней на следующий день — короткометражки. В том числе и ту, которая… не для всех.

— Кроме того, не считайте нас совсем уж безумцами, профессор, — продолжил эйнхерий, вернув в голос миролюбивый тон. — У каждого из троих, кого Вотан отберет в спутники, под плащом будет вот это.

Он откинул меховую полу — и стала видна укрытая под ней кобура парабеллума.

К. Е. закусил губу. Мальчишки едва удержались от того, чтобы рассмеяться, Ипатьич — чтобы выругаться одним из своих знаменитых загибов. Рибергер безмолвно открывал и закрывал рот, как вытащенная на берег рыба.

Значит, не считать его безумцем? Эти священные хранители божественного тела — они, приученные к оружию, убивающему людей, в самом деле собираются остановить быка пистолетиками?!

— А лично мне, как командиру, в качестве особого исключения дозволено еще вот это, — эйнхерий небрежно кивнул себе за спину — и все словно только сейчас увидели за задней лукой его седла длинный предмет, тоже полностью закутанный в черный волчий мех, но несомненных очертаний.

Лутц Хек, не набравшись отваги возразить, в волнении махнул рукой — и жест этот случайно указал на клетку в кузове грузовика. Эйнхерий проследил за ним взглядом:

— Это он?

— Что? Нет, это испанский боевой бык, мы будем использовать его для скрещивания, у этой породы есть очень ценные гены. Молодой человек, да как вы собираетесь устраивать священную охоту, если в глаза не видели…

— А это — он?

Теперь взгляд эйнхерия был устремлен на Белолобого, мирно пережевывающего жвачку.

Лутц, похоже, хотел было ответить что-то от-

чаянно резкое, уже набрал в грудь воздух — и внезапно раздумал.

— Домой, — вдруг спокойно произнес Хайнц Хек. Сильно, но мягко оттолкнувшись от его плеча, Буникта прыгнула-нырнула в воздух, беззвучно распахнула громадные крылья, на исподе не рябые, а ангельски белые, и с ангельской же стремительной плавностью, не прошелестев ни единым пером, устремилась в прозрачное от зноя небо.

Уже оттуда, как осколочную бомбу, обрушила дикий безумный крик, никоим образом не заставляющий вспоминать об ангелах.

Эйнхерий и бровью не повел.

— Я присутствовал при охотах, приводимых рейхсмаршалом, — сказал он. — Там были почти такие же быки. «Почти» — потому что куда менее достойные пасть под копьем Вотана… и не настолько смирные, но такое, поскольку мы не безумцы, вряд ли должно кого-то волновать. Так?

Это был не вопрос, а утверждение. Херр директор мелко закивал.

— Вотан слишком велик, чтобы тревожить его такими мелочами, — продолжил командир полуэскадрона. — Пятно закрасить, тура держать

в отдельном загоне. Послезавтра к утру быть готовыми выпустить его в степь. Об этом разговоре забыть. Все.

Он сильно понукнул коня шпорами и, объехав директора, вскачь понесся догонять колонну. Снайперская винтовка в чехле из черной волчьей шкуры билась о его седло.

На людей, стоящих рядом с Белолобым, эйнхерий так и не посмотрел.

* * *

— Так он твой дядя? А как ему доверили такое важное задание? Не помешало родство с… ну, ты понимаешь?

— Дядя, — глядя в землю, ответил Оська. — Мануэль Сальдивар, брат отца. Давно уехал из Каталонии в Астурию, родство не проследили. Ну и вообще, знаешь, то еще важное задание — одного быка по железной дороге сопроводить! Даже такого…

— Какого?

— Пощаженного на арене. Трех пикадоров убил. Спокойно, без видимой ярости, выходит навстречу, сближается почти на удар пики, а потом — раз! Лошадь на земле со вспоротым брюхом, а он, не давая себя отвлечь, сразу превращает упав-

шего пикадора в очень рваное мокрое место.

— Ой! — Юра зябко передернул плечами. Мартын тоже поморщился, но он, наверно, за коней переживал больше, чем за людей.

— Вот и ой. Обычно такого, если уж он получил пощаду, выпускают в стадо как производителя, а этого — куда уж? Для арены лучше от него приплода не иметь. Так что херр директор прислал свой заказ очень вовремя.

— То-то наши тяжеловозы и забастовали… — догадался Мартын. — Почуяли убийцу лошадей. Эй, мелкий, у тебя чего глаза на мокром месте?

— Жалко… — всхлипнул Юра. — Жалко Белолобого. Он ведь не боец никакой, никому в жизни зла не делал и сам его от людей не ждет…

— Да, — тяжело кивнул Оська, — и мне жаль. Не должен такой бык отвечать за боевого. Вот наоборот было как-то — еще при Наполеоне…

— Это тебе дядя Мануэль сейчас рассказал?

— Он. То есть он напомнил, так-то я, кажется, еще в детстве слышал… Короче, французы потребовали, чтобы к их лагерю каждую неделю пригоняли сколько-то скота на прокорм войска. Наши пастухи пригнали стадо, оставили его у лагеря, а сами очень быстро смылись. И когда наполеоновские гвардейцы попытались к этому

стаду подступиться…

— То оказалось, что это не «скот на прокорм», а боевые быки! — в восторге выкрикнул Юра, забыв про слезы, но тут же снова пригорюнился.

— Хорошая история… — задумчиво произнес К. Е. — Поучительная.

— Именно что поучительная, — произнес незнакомый голос за их спинами.

Мальчишки в панике подскочили, не зная, чему больше изумляться — тому, что директорсбрудер вообще вдруг оказался рядом, тому, что он заговорил, или тому, что он заговорил по-русски. И как с ним теперь себя держать? Он ведь, может быть, все-таки высокое начальство?

– *Чистота арийской крови очень ценится в корове,* — вполголоса продекламировал К. Е. Он, похоже, вовсе не был удивлен. Даже не обернулся.

– *Чистокровный прусский скот выше всех других пород,* — согласился директорсбрудер.

– *Все мы чтим благоговейно…* — начал К. Е. и остановился. Хек-старший какое-то время ждал продолжения, а потом, видимо, сообразил, что такие имена можно произнести лишь чистокровному арийцу, сказал: «А!» и продолжил сам:

— *…не Эйнштейна и не Гейне,*

А корову и быка…

– *Потому что у коровы,* — кивнув, подхватил строку К. Е., — светлый ум и дух здоровый!

– *А от* ***Хэйнэ*** *и* ***Энштейна*** — тьфу! — *ни телят, ни молока!* — запретные имена директорсбрудер произнес этаким противным, нарочито простонародным голосом, который в народе вообще-то называют жлобским или кугутским.

(Ничего себе по-русски говорить выучился! Впрочем, для старого селекционера немудрено: поди, еще до войны переписывался или даже работал с профессором Вавиловым, профессором Ивановым, академиком Мензбиром… С… — тс-с! — врагом рейха профессором Ресовским… С тем же К. Е.)

– *Чтоб отец, взглянув на сына, мог с достоинством сказать…* — улыбнулся К. Е.

– *Настоящая скотина!* — завершил Хек с каким-то горьким, презрительным торжеством, точно сплюнув. — *Целиком в отца и мать!*

И действительно плюнул.

Мальчишки словно окаменели. Тут уж дело не в том, насколько хорошо директорсбрудер говорит по-русски: это были стихи из той самой короткометражки «Юный Фриц», которая не для всех. Брат директора совершенно точно смотрел

ее не с ними: наверно, где-то раньше ухитрился, еще до своего прибытия в Асканию. Но кто же и как мог счесть Хайнца Хека настолько своим, чтобы показать ему… такое?!

Киномеханик — угрюмый, средних лет дядька, без двух пальцев на левой руке и с ожоговым шрамом на половину лица, — даже не предупреждал тех немногих, по-тихому допущенных в малый зал после основного просмотра, что они рискуют головой. И так яснее ясного. У него самого в случае чего формальная отмазка была бы: вон, полный ящик бобин — «Юный гитлеровец Квекс», «Кадеты, вперед!», «Ханс Вестмар — один из многих», «Капитан дьявола»… «Юный хиви Виктор», «Юный Фриц Бранд»… Откуда ему знать, как среди них затесалась еще одна лента под вроде бы правильным названием просто «Юный Фриц» — то ли трофейная, то ли вброшенная с подрывными целями?! Лента, снятая сколько-то лет назад во все еще недосягаемом городе под дикарским названием «Алма-Ата»… по сценарию какого-то Маршака… Его, киномеханика дело — правильно поставить пленку в аппарат, он что, смотрит их?! С других спрашивайте!

Но это, конечно, была отмазка именно формальная. Если что, головы не сносить и механику.

— Здравствуй, Хайнц, — К. Е. наконец обернулся. — Я все гадал, когда же ты наконец подойдешь…

— Здравствуй, Клемент, — так же невозмутимо ответил Хайнц Хек. — Контакт со мной, сам понимаешь, может быть токсичен — так стоило ли мне подставлять коллегу без крайней на то нужды?

— А сейчас, значит, есть такая нужда?

— Как видишь, есть…

Они немного помолчали. Мальчишки, само собой, молчали тоже. А больше рядом с загоном никого и не было.

— Quod licet Iovi… — задумчиво проговорил К. Е., — то есть Wotani… non licet bovi. Но, с другой стороны, верно и обратное: что дозволено быку…

— Быку дозволено, — кивнул директорсбрудер. — Даже если никому другому нет.

— Может, и так. — Хайнц равнодушно пожал плечами. — «Очень рваное мокрое место»… Воистину богат русский язык!

— Испанский не беднее, — огрызнулся Оська. Мартын и Юра посмотрели на него с испуганным изумлением.

— Может, и так… — бесстрастно повторил Хайнц Хек.

Буникта материализовалась над ним, как призрак, с невероятной точностью спикировала на левое плечо, охватила его страшными когтями: два пальца вперед, два назад… Все тут знали, что ее белоснежные лапы в таких случаях мягче пуха, но даже К. Е. на миг закрыл глаза.

— Особое исключение, — мрачно произнес Оська. И сделал движение, будто вскидывает к плечу винтовку.

На сей раз на него с изумлением посмотрел только Юра. А Мартын вдруг встрепенулся, словно что-то поняв. Даже раскрыл было рот, но, в отличие от Оськи, не решился заговорить при старших — настолько и во всех смыслах старших…

— Да, — чуть помедлив, признал К. Е. — С холма, где скифская баба, открывается очень удобный обзор для стрелка. Так что жизнь, имеющая для Рейха первоочередное значение, под надежной защитой.

— Вероятно… — тоже после паузы согласился директорсбрудер. — Впрочем, стрелок должен действовать, лишь если что-то… пойдет не так. Значит, у него будут лишь считаные секунды.

— Или даже меньше, — уже не так мрачно сказал Оська, странным образом принятый в этот

странный разговор как равный.

— Или даже меньше, — снова кивнул Хек. — А кавалеристы далеко не всегда виртуозно владеют огнестрелом дальнего боя…

— Полагаю, этот владеет. А желания проехаться верхом на нашем Мижорде он пока что не проявил. Хотя прав Ване… Иоганн Карлович: для кавалериста это уникальный случай, такой предоставляется раз в жизни… Ты что-то хочешь сказать, мальчик?

Мартын стоял в точности за спиной К. Е., от желания заговорить и вправду чуть не лопаясь, но было совершенно непонятно, как К. Е. сумел об этом догадаться. Впрочем, верно говорят, что у опытных звероводов на затылке всегда открыт дополнительный глаз.

Сперва Мартын растерялся, оробел. Но взглянул на Оську и преодолел нерешительность.

— Мижорд… — сказал он. Облизал пересохшие губы: — У него ведь загон совсем неподалеку от… от холма с каменной бабой. Можно… Можно и привести…

Да уж, Мижорд. Самый рослый и могучий, самый необычный из зеброидов: у всех остальных в матерях — обычные водовозные кобылы, в отцах — кто-нибудь из жеребцов зебр, но у Мижорда

зебра — мать, отец же — жеребец лошади Пржевальского. И воистину самый страшный зверь, которого когда-либо носила асканийская земля: куда там боевому быку, даже сегодняшнему!

Разве что иные представители вида *Homo sapiens* могут превзойти… Ну так за нами в принципе никакому зверю не угнаться.

Копытный тигр. Тигр и есть: рыжеполосатый, совершенно плейстоценового облика.

Почти все зеброиды приучены ходить в упряжке, некоторые и под седлом. Они могучи: при росте чуть выше пони тянут груз, достойный тяжеловоза. Ох и славно бы подъехать верхом на зебропржевалоиде к станции пред очи начальства, еще славнее проделать это с ним, впряженным в артиллерийскую лафетную повозку, чтобы принять груз, равный тяжелой пушке… Но достаточно бросить на Мижорда один только взгляд, и становится очевидным безумие этой мысли. Даже его стерильность, общий бич всех гибридных зебролошадок, оставалась под вопросом: он, еще не успев толком заматереть, любым оказывающимся в пределах досягаемости живым созданием (вне зависимости от пола, размера, видовой принадлежности и количества ног) интересовался лишь в одном смысле. А именно — за

сколько секунд получится это существо убить.

Много секунд ему, надо сказать, не требовалось. Ни в одном из допущенных случаев.

Если какого кавалериста в самом деле посетит мысль проехаться на Мижорде верхом, просто подступиться к нему с конской сбруей или даже хоть приблизиться — что ж, такой случай действительно предоставляется раз в жизни. Первый и последний…

Между тем вести его, как щуку за блесной, все-таки было можно, и это как раз задача для всадника. Трудная задача и не для любого всадника, но может получиться.

Обитал злодей на отшибе от остальной фауны в специально для него выстроенном загоне особой надежности. И как-то раз, года три назад, по недосмотру служителя сумел вырваться. Заманивали Мижорда назад двое конных, используя как приманку себя и своих лошадей. Резвостью он, растянутый, тяжелоголовый и уже немолодой, уступал кровным скакунам, но держать дистанцию было тяжко: тут требовалось, чтобы такой скакун идеально доверял своему всаднику, не поддался панике, не заметался вдруг, подобно курице с отрубленной головой. Один из всадников в последний момент слегка утратил контроль над

своим конем, и они, оба по уши в мыле, едва-едва успели вынестись через задние ворота загона.

Страшный преследователь с разгону ударился грудью о захлопнувшуюся прямо перед ним створку, взвыл от ярости голосом плейстоценового хищника, вгрызся в верхний брус так, что тот до сих пор хранит следы его зубов…

— Бриганта возьму, — с загоревшимися глазами сказал Оська. — Он к тому времени полностью отдохнет.

К. Е. сделал какой-то странный жест, то ли разрешающий, то ли запрещающий, но прежде, чем он успел ответить, вмешался Мартын:

— Не Бриганта, а Нигера. И не ты возьмешь, а я.

— Что?!

— То. Ишь, губу на все сразу раскатал, бычий пастырь! Ты свое дело делай, а дела конские оставь лошадникам.

Юра, отвесив челюсть, слушал, как эти двое собачились в присутствии К. Е. и директорсбрудера, которые почему-то даже не думали их осаживать.

— Так я беру Нигера, Климентий Евдокимович? Можно? — с невыразимым нахальством поинтересовался Мартын.

(«Сейчас он схлопочет», — понял Юра. Драгоценный Нигер, лучший из асканийских скакунов, был предназначен исключительно для херра директора — и даже тот им пользовался редко, лишь встречая значительнейших из гостей!)

К. Е., не поднимая глаз, угрюмо кивнул. Мартын заплясал от радости. Еще бы: кто из асканийских мальчишек смел мечтать о таком счастье!

— Можно, — подтвердил Хайнц Хек. — Тебе, молодой человек, теперь все можно…

— А потом? — так же угрюмо поинтересовался К. Е.

— А какая разница, что будет потом? — искренне удивился Хек. И шевельнул плечом: — Домой!

Буникта повернула к нему свою фантастическую башку — белый лицевой диск был раза в полтора шире лица дитректорсбрудера! — гипнотически уставилась янтарными глазищами, щелкнула клювом. Хек рассеянно погладил ее меж ушей. Полярная филиниха, нежась, потерлась о его ладонь, распушив перья, и лишь после этого прянула в воздух — как всегда, бесшумно.

— По большому счету, разницы и вправду нет, — согласился К. Е. — Особенно для нас двоих, старых пней. Но мне все же хотелось бы знать…

— Ничего, Климентий Евдокимович, — бодро и даже радостно отозвался Мартын, уже предвкушающий сладость скачки на Нигере. — Унесусь в степь! Сразу не найдут, не догонят, а потом, может, станет не до того.

— …но мне все же хотелось бы знать, — не оглядываясь на него, договорил К. Е., — есть ли у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу.

Обращался он, конечно, не к Мартыну, а к директорсбрудеру.

— Мысли… — качнул головой тот. — Мыслей нет, но раз уж ты ставишь вопрос так, то есть разрешение на свободный проезд. Если в вагоне класса не выше второго, то даже бесплатный. Еще есть документы на получение лабораторного оборудования — достаточно тяжелого и громоздкого, чтобы по умолчанию предполагалась помощь кого-то из местных ассистентов. Даже двух ассистентов сразу, потому что неуместно мне в присутствии местных самому тяжести таскать.

Юра уже смирился с мыслью, что он один тут чего-то не понимает. Ну и ладно, подумаешь! Это их дела, старших ребят и начальства, вдруг принявшегося с ними цацкаться. Оборудование какое-то…

И все же было досадно. Ведь всего лишь год

разницы!

— И по военному времени совершенно нормально, что эти ассистенты — подростки, — кивнул К. Е. — Что ж, лучшего не придумаешь. Тем более, что мальчик прав: очень может быть, всем сразу станет… не до того.

— Вполне допускаю, — согласился директор-сбрудер. — Значит, все решено. Тогда не будем мешкать. Хосе, отправляйся на склад за красителем. Сколько его потребуется, представляешь?

— Анилиновых красок — ведра два, — сразу ответил Оська. — На каждого, разумеется. То есть четыре. Два — с черной краской, полтора — желтой, и еще полведра коричневой для смеси, чтобы в тон попасть.

«Зачем так много черной? А желтая с коричневой вообще к чему?» — Юра в недоумении покосился на Мартына, но тот молча пихнул его локтем в бок.

* * *

Наутро вокруг малого ветеринарного загона, снабженного опадным ярмом, решетчатым станком для надежной фиксации скота и другими приспособлениями, остро пахло краской. Стоящий в этом загоне иссиня-черный бык без единой

белой или рыжей метки настороженно озирался по сторонам. Впрочем, держался он в целом спокойно, видимой ярости не проявлял.

В соседнем загоне мирно хрустел сеном рыжий бык без единого черного или белого пятнышка.

Климентий Евдокимович сидел на деревянной скамье у стены сарая, ожидая, когда придут эйнхерии, чтобы выгнать тура в степь для божественной охоты. Он хотел увидеть это своими глазами.

Огромная птица, белая снизу и бело-пестрая сверху — впрочем, сверху на нее смотреть некому, — кружит в лазоревой, утренней, послерассветной вышине.

Она сыта: умение выдерживать дневной свет вовсе не мешает ей охотиться ночью. Она просто летит. Просто смотрит.

Видит и слышит все.

Мелкая птаха чертит трепетанием крыл зигзагообразный путь над верхушками высокотравья. Не ее добыча.

Суслик привстал на задние лапки, вытянулся столбиком, засвистал-закричал, предупреждая других зверьков о какой-то померещившейся ему опасности. Смерть, парящую в небе над ним, не замечает. Он мог бы стать ее добычей, но…

пусть. Зоб и так уже полон до отказа, а суслик не настолько соблазнителен, чтобы забыть об этом.

У подножья выветренного камня (совсем не добыча), контурами напоминающего человеческую, женскую фигуру, простерт человек (не ее добыча). Он почти неподвижен, на нем большой плащ под цвет травы и дополнительно утыканный настоящими травинками, однако эта маскировка, конечно, не от совиного взгляда.

Перед человеком, упираясь ему в плечо, лежит длинный предмет, из которого убивают. Буникту никогда не пытались убить, но она видела, как это бывает. Поэтому заложила над человеком более высокий круг, чем сперва намеревалась.

Впрочем, тут же ощутила, что для человека она значит не больше, чем давешняя мелкая птаха — для нее. Все его внимание было устремлено вперед, вдоль предмета-убийцы, на равнину меж холмами. Там, далеко даже для Буникты, движутся, медленно сближаясь, крупные тела.

А еще она слышит из поднебесья далекий для человеческого, но не ее слуха железный лязг. Он доносится со стороны хорошо знакомого ей загона, который нужно избегать, потому что там живет странный конь с безумным зверем внутри. Похожих животных тут много, для некоторых она

безразлична, другие, впервые увидев ее, в полете устремляющуюся к плечу хозяина, пугаются, но сама она привыкла их не замечать. Однако, когда Буникта как-то присела на один из столбов этой ограды, обитатель загона начал подкрадываться к ней, почти по-кошачьи мягко переступая. Ей хватило ума взлететь за миг до того, как он прыгнул, люто клацнув челюстями.

Проскрежетал в тяжелом замке ключ. Потом дважды стукнули засовы. И тут же с грохотом распахнулись ворота от удара с разгона. А затем — перестук копыт. Двойной.

Буникта не смотрит туда: там точно нет ее добычи. Но на новом круге в ее поле зрения попадают те, кто скачет сейчас по степи. Их двое: рослый вороной конь с небольшим всадником на спине и во весь опор преследующий его странный конь с безумным зверем внутри.

Скок вороного много резвее. Вскоре он отрывается от странного коня настолько, что уходит за пределы его видимости, и — Буникта продолжает видеть их обоих — вдруг резко сворачивает, скачет не туда, куда направлялся прежде.

Преследователь, ощутив безнадежность погони, уныло останавливается посреди степи. Он весь в пене. Он стар и утомлен скачкой. Он

хорошо понимает, что больше не суждено ему это счастье — запустить зубы во что-то живое, ощутить его податливую, сладкую хрупкость.

Внезапно конь вскидывает горбоносую голову, хищно поводит ей из стороны в сторону. Буникта видит, как жадно трепещут края его ноздрей, как оскаливается страшная пасть…

Он уже у основания холма с фигурой каменной бабы на вершине и лежащим человеком под ней. Внимание человека по-прежнему устремлено куда-то вдаль, в направлении, противоположном тому, где сейчас оказался странный конь.

И конь начинает красться, бесшумно если не для ушей Буникты, то для нечуткого человеческого слуха. Почти различимо, как с каждым шагом безумный зверь, ликуя, рвется прочь из своей конеподобной оболочки. И наконец выплескивается наружу, одновременно несясь вместе с конем — в стремительном, счастливом, яростном галопе.

Даже зверю не превозмочь конскую старость, поэтому ясно: этот галоп сегодня — последний. Но доскакать до своей цели сил коню хватит, и сделать с ней все, что намеревался, — тоже. Это зверь рассчитал точно, он такое умеет.

Крупные тела в далеком далеке к тому времени

еще не сошлись в единое пятно, но уже сблизились почти вплотную.

Никакое из них не ее добыча — и белая птица, равнодушно скользнув по ним взглядом, летит прочь.

Александр Белкин. *ОШИБКА*

— Мы выходим на рассвете, из Сахары дует ветер, — напевал, а скорее хрипел гауптштурмфюрер Отто Майер, — поднимая нашу песню до небес.

На зубах скрипел песок, в горло лез песок, а к небу поднималась не песня, а все тот же песок, клубящийся из-под гусениц танков. А настроение было прекрасным. Местным оборванцам наваляли, лягушатников спасли, ни одной машины не потеряли.

Хотя оборванцы эти, берберы они там или арабы, шайтан их тут разберет, дерутся неплохо. Французам вставляют только так. Лягушатники — те еще вояки. Хотя что с них взять? Они ж арийцы всего на четверть. А в этом их легионе и французов-то днем с огнем не сыщешь — наскребли всякий сброд по задворкам империи.

А местные теперь вооружены до зубов, их англосаксонские плутократы снабжают. Границу закрыть все не получается: пустыня же. Подплывают к берегу, перегружают все на верблюдов — попробуй отследи. Или еще проще — через Испанское Марокко. Вот такая фигня со здешней

пустыней, раньше-то она никому особо и не нужна была, а как газ нашли…

А черт с ним со всем, сегодня победили и ладно. Вместо завтрака была тревога, но «есть у каждого в резерве деньги, водка и консервы». И коньяк. Вот что французы умеют — так это коньяк делать. Не совсем никчемная нация. Коньяк здесь не роскошь, а средство выживания.

Гауптштурмфюрер нырнул в люк, нашарил на сиденье фляжку, приложился. Снова вылез. Через тримплексы ни черта не видно, а он командир роты, должен владеть ситуацией. Да и душно внутри, а песка не меньше. Коньяк прошелся по жилам, прочистил мозги. Жизнь прекрасна, еще два года в этом пекле — и куда-нибудь переведут. К тому времени и штурмбанфюрера получишь — майора, если по-армейски.

А вернутся они как раз к обеду, воду вчера завезли, так что и песок с себя смоют. Настоящий ариец — он и в Сахаре живет со всеми удобствами. А уж когда переведут в более приличное место, в Париж, например, или хоть в Каир…

Вот и база. Ворота распахнуты, первая рота втянулась внутрь. Дежурный офицер поднимает руку, водитель притормаживает.

— Отто! — кричит дежурный, перекрикивая

шум моторов. — Тебя срочно в штаб! Опять этот приехал, — добавляет он, взмахивая руками, как будто крыльями.

Гауптштурмфюрер мрачнеет. Птицей на базе прозвали Эрнста Фогеля. Из-за фамилии. Ну, и потому что в гестапо он и впрямь важная птица. Целый штандартенфюрер. Как командующий базой. Сюда приезжает нечасто, хватает дел в городах на побережье. Хотя с командующим он дружит, когда-то воевали вместе в Сирии и Ираке. Фогеля там ранили, вот его и перевели на сидячую работу. Хотя в этом богом проклятом Алжире особо не засидишься даже на сидячей гестаповской должности. Террористы местные обнаглели вконец — недавно танкер в оранском порту взорвали. Так что на базу Фогель приезжает уж в самом крайнем случае. Как тогда.

Тогда все кончилось, можно сказать, анекдотом. И хорошей попойкой. Прибежал тогда ординарец:

— Господин гауптштурмфюрер, срочно в штаб! К командующему! И… Приказали книжки захватить. Синенькую и красненькую.

Что за напасть? Книжки-то как раз не запретные. Скорее наоборот. Но стеснялся Отто Майер, книжки свои особо никому не показывал. Ребята

тут простые, если что и читают, так детективчики какие, или французские журнальчики смотрят, ну, такие, знаете, с картинками. Где на картинках девушки — очень красивые, но рассеянные. Одна лифчик забыла надеть, другая — еще что-нибудь. Или все сразу. Нет, Отто девственника из себя не строил, журнальчики эти тоже листал. Но и другие книжки читал. Ребята знали, конечно, что за книжки Отто читает, посмеивались беззлобно. А когда Карл Баум про эти книжки донес, тут уж хохот стоял на всю базу.

Карл Баум — политофицер. До пятьдесят первого части СС от этой напасти были избавлены. Считалось, что там и так люди достаточно идейные, национал-социализму преданные. Но Боров — это не Старик. Толстопузый рейхсмаршал авиации хоть и был еще и обергруппенфюрером, причем дважды — и в СА, и в СС, но эсэсовцев не любил. С Гиммлером был на ножах, да и с Гейдрихом тоже. А власти брал все больше и больше. Официально считался преемником, а на самом деле…

Вот и удружил. В вермахте политофицеры есть, а СС чем хуже? Теперь приходится терпеть. Раньше эту должность в батальоне занимал Фердинанд Лямке, безобидный такой старичок,

фронтовик с кучей ранений. Лекциями особо не докучал, понимал, что ребятам, только что вернувшимся из рейда, не лекции нужны, а хорошая выпивка. Или просто поспать. А за национал-социализм они и так чуть не каждый день воюют. И кровь порой проливают, между прочим.

Но Лямке просто выслуживал срок до пенсии, а здесь, в Алжире, год шел за два. Баум же был здоров как бык, приходился кому-то там племянником и мечтал сделать карьеру. Потому рвался в бой. А в рейды его не брали. Ничего ж молокосос не умеет, а словит пулю — как с его дядей объясняться?

А Бауму-то что делать? Заговорщиков на захолустной базе не водилось, шпионы тоже туда не рвались. Ребята все простые, все больше про баб думают. В национал-социализме разбираются слабо, но одобряют его на все сто. И духовного вождя Адольфа, и нынешнего фактического руководителя Геринга — всех одобряют.

На этом фоне гауптштурмфюрер Отто Майер, командир второй роты третьего танкового батальона, был просто находкой. Недоучившийся студент Берлинского университета имени Гумбольдта, факультета математики и естественных наук — и пошел в танкисты? Подозрительно,

очень подозрительно. Оно, конечно, любой нормальный шпион, попав на естественнонаучный факультет главного германского института, факультет, откуда вышли все почти немецкие физики-ядерщики, держался бы за него зубами и когтями в надежде устроиться в какую-нибудь лабораторию, участвующую в ядерном проекте, и получить доступ к атомным секретам рейха. Но шпионы — они хитрые. И иногда окольные пути оказываются короче прямых.

Опять же песенка эта, написанная в прошлом веке, кем бы вы думали? Английским плутократом и, может быть, даже евреем Редьярдом Киплингом. И не про пустыню там поется, а про поля какие-то. Откуда честный немецкий пусть даже студент взял такой текст? А теперь это еврейское сочинение поет вся база! Ну, и книжки эти. Одна в синем переплете, а другая и вообще в красном.

Тогда Майер явился к командующему, держа в руках обе книжки. Довольно толстые. Вошел, доложил по всей форме. А командующий не один, с ним Фогель, птичка гестаповская — полный капут!

Но настроены штандартенфюреры благодушно. На столе перед ними закуска, бутылка коньяка

— судя по настроению, уже вторая. И его за стол пригласили. Сел, книжки рядом положил. Командующий коньяк разлил.

— Выпьем, — говорит, — за тягу к знаниям. Знания, они — сила!

А гестаповец все на книжки косится. Командующий улыбается таинственно: ты, мол, выпей сначала, книжки почитать всегда успеем.

Выпили. Закусили. Гестаповец книжку схватил. Которая наверху лежала. Красненькая. Посмотрел. Усмехнулся. Командующий захохотал. Да уж, Эрвин Роммель, «Боевые операции в Северной Африке и на Ближнем востоке. 1940–1942». Самая подходящая для танкиста книга, особенно если воюет танкист в пустыне.

— Я, — говорит командующий, отсмеявшись, — и сам такое почитываю. Очень там много полезного.

— Идиот этот Баум, — цедит сквозь зубы гестаповский полковник. — Мог бы и посмотреть сначала, что за книжки.

— Да не бери в голову. «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Когда бы ты еще ко мне вырвался? Помнишь, как Евфрат форсировали? Ох, извини…

— Да ладно, хорошее было время, хоть и словил

я тогда пулю. А теперь… Воюем не пойми с кем, людей не хватает, просишь прислать, а потом таких присылают…

— Да уж, Баум — дурак патентованный, всех уже здесь достал. Убрал бы ты его от нас, а?

— Так куда ж я его уберу? В городах-то, слышал, что творится? За французскими легионерами тоже глаз да глаз нужен. А у тебя часть надежная, глядишь, еще и перевоспитаете парня.

— Мы б перевоспитали, взяли б разок на дело, там бы сразу… Так ведь запретили его в бой брать. Вот и бесится с безделья, доносы строчит.

— Да, — посерьезнел Фогель, — а вторая книжка? Чтобы уж покончить с этим дурацким доносом.

— О! — воскликнул командующий. — Тут надо выпить еще! За автора этой книги.

— Все шутишь? — Гестаповец пристально посмотрел на бывшего однополчанина.

— Не бойся, старый друг тебя не подставит! — усмехнулся командующий. — Верно, Отто?

— Э-э-э… — протянул опешивший гауптштурмфюрер. — Так точно!

Командующий снова разлил коньяк по рюмкам. Отто не знал, что делать. Он младший по чину, разливать вроде как положено ему. Но

раз командующему угодно разыгрывать из себя хозяина и отца-командира… Опять же, и шуточки довольно сомнительные, особенно в присутствии этой птички залетной…

— За автора этой книги! — торжественно провозгласил командующий, поднимаясь из-за стола.

Отто тоже вскочил на ноги. Гестаповец поколебался, состроил гримасу, но тоже поднялся. Выпили. Поставили на стол рюмки. Фогель тут же сцапал синенький томик. Глянул на обложку. Посмотрел на командующего. Очень выразительно.

Потому как на синей обложке тусклым, затертым золотом, великолепным готическим шрифтом было выведено: «А. Гитлер». Чуть пониже: «Мемуары арийца». Еще ниже: «Том IV».

Вот так. Шутку гестаповец оценил. Но смеяться не стал. Командующий тоже не рискнул. Отто Майер так и вообще застыл по стойке смирно. Потом, конечно, выпили еще.

На этом все и кончилось. Отто про инцидент молчал, но ребята все равно узнали, и политофицера Баума, где бы он ни появлялся, всегда теперь встречала эта песенка. Про ветер из Сахары.

Казалось, выеденного яйца дело не стоило. А

теперь опять. Что случилось? Достали бедного Баума вконец, и наябедничал подлец прямо своему дяде? А у дяди и забот других нет, кроме как разбираться, что там случилось с его любимым племянником в далеком гарнизоне? А, ерунда. Измену тут пришивать даже гестапо замается, в крайнем случае переведут куда. А куда отсюда переведешь? Хуже только в Норвегии — там холодно. Еще, пожалуй, в Югославии — там бандитов еще больше, чем в Алжире. Никак вывести не могут, с сорок первого года так и воюют. Но и в Норвегии, и в Югославии — горы. Там танкистов много не надо. А, ладно, что прежде смерти умирать, посмотрим сначала, что за новая напасть…

Доведя роту до ангара, Отто передал командование заместителю, оберштурмфюреру Бруно Фуксу. А сам потащился в штаб. Мыться и переодеваться не стал. Только-только из боя вернулся, пусть посмотрят. К тому же велели срочно.

Постучался. Вошел. Доложил. А у командующего — та же идиллия: коньяк, бутылка почти пустая, закуска, оба штандартенфюрера воротники расстегнули.

— Здравствуй, здравствуй, герой, — улыбается командующий. — Забирает тебя тайная полиция,

говорят, без тебя никак.

Отто тоже расслабился. Командующий — мужик нормальный. За своих людей горой. Если б его офицеру реально застенки пыточные грозили, так бы себя не вел. Но что значит забирают? Нет, гестапо он уважает, нужное дело ребята делают: вон террористов сколько развелось. Но сам он к такой работе не имел ни малейшей склонности. И способностей таких в себе не чувствовал. О чем и сказал.

Гестаповец рукой ему махнул, мол, садись, гауптштурмфюрер, разговор долгий будет. «Тут, — говорит, — такое дело, нет худа без добра. Когда донос этот дурацкий на тебя пришел, я твое дело до последней буковки изучил. Сам понимаешь, служба. И с тобой беседовал тогда. А теперь один человек из Берлина, хороший человек, порядочный, я его давно знаю, и чин у него немалый, попросил меня найти специалиста. Младшего офицера, надежного, решительного, с боевым опытом, идеологически грамотного, преданного идеям национал-социализма. Еще желательно, чтобы увлекался военной историей рейха и хоть немного разбирался в физике».

Да, чудны дела твои, Господи. А дела высоких начальников — еще чуднее. Сначала Майер хо-

тел сразу отказаться. Но… Все же гестапо — не то ведомство, которое можно просто так послать подальше. Даже герою-фронтовику. Надо как-то деликатно, слова нужные подобрать. И… А что ему тут светит? Года через два дадут майора. Может быть. Переведут в Каир. Может быть. А тут — сразу Берлин. Хотя…

Выпили коньяку. Разговор пошел откровенный. Кому мог понадобиться в Берлине недоучившийся физик? Гестапо вряд ли. Зачем? Обеспечивать безопасность атомных лабораторий рейха? Так отбоя нет от желающих в те лаборатории попасть. Хоть бы даже и стукачом. Можно выбирать из доучившихся. А военный опыт и знание военной истории там уж совсем без надобности.

В разведку? Но у Шелленберга с Мюллером отношения, мягко говоря, не совсем доверительные. Генштаб или абвер тоже бы с гестапо связываться не стали. Как и с СС. В общем, ясно, что дело темное. И можно вместо славы и почестей угодить как раз в эти самые пыточные застенки. А с другой стороны…

Вся его семья погибла в сорок шестом в Гамбурге. Никто по нему не заплачет. А может ведь и повезти. Если уж на то пошло, голову сложить и здесь запросто. В резерве-то у них не только день-

ги, водка и консервы. Но и «могилы, занесенные песком», как поется в той проклятой песенке. Очень точно сказано, ни прибавить, ни убавить — сам воевал, наверное, этот чертов англосакс…

И может быть… Как тогда, когда профессор Арнольд объяснял ему, что физика из него не получится. «Физику надо любить, — сказал профессор, — я восхищаюсь вашим упорством, но мне кажется…»

Майер тогда жутко обиделся. А потом подумал, что и в самом деле… Сколько ж можно долбить эти проклятые формулы, все равно не даются. Не его это. А отомстить проклятым англосаксам можно и другим способом. Потому решил поступить в СС. Как довольно образованного — все-таки два курса естественнонаучного факультета, — его сразу направили в школу юнкеров СС в Брауншвейге.

Учиться было трудно, но интересно. После заумной теоретической физики так приятно было заняться чем-то реальным. Ощутимым. Стрелять из пистолета, оборудовать стрелковую ячейку. Водить автомобиль. Или танк. В танки он просто влюбился. Мощь и сила — самые главные войска. С увлечением изучал техническую документацию, тактику действий. Перечитал в

библиотеке все, что было про Роммеля и его поход на Восток. Когда Роммель в марте 1941-го прорвал английский фронт, а в апреле занял Бенгази и блокировал Торбук, фюрер понял, что именно здесь возможен решающий успех. И сразу после захвата Греции, отложив на время даже десант на Крит, послал в Ливию сильные подкрепления.

Не зная об этом, генерал Уэйвелл начал крупное наступление с целью деблокирования Торбука. Контрудар Роммеля явился для него полнейшей неожиданностью и буквально опрокинул английский фронт. Попытка остановить немецкое наступление на сильно укрепленных позициях под Эль-Аламейном успехом не увенчалась во многом благодаря восстанию, поднятому антибритански настроенными египетскими офицерами в Каире и Александрии.

Оказавшись фактически в окружении, Уэйвелл все же прорвался к Суэцу, потеряв большую часть техники и артиллерии. Остановить Роммеля на линии канала он также не смог и был вынужден отступить еще дальше, в Иорданию. Но Роммель, получая все новые и новые подкрепления, продолжал наседать, а английский Средиземноморский флот, потерявший много кораблей и базу в Александрии, не мог действовать эффек-

тивно. В довершение всех бед премьер-министр Ирака, давно поглядывавший в сторону держав «оси», произвел государственный переворот и немедленно получил помощь от немцев. Части Уэйвелла снова оказались почти со всех сторон окружены противником и были с большим трудом эвакуированы на Кипр.

Да, Восточный поход Роммеля — великий триумф немецкого оружия, прекрасное, романтическое время. Теперь не то. Нет, повоевать и Майеру удалось всласть. До оскомины. Сразу после юнкерской школы попал в Судан.

Судан в сорок шестом разделили по 15-й параллели, а про его столицу договориться не смогли, и район Хартума оставили в англо-египетском совладении. Два губернатора, патрули совместные и все такое. Ну и то ли губернаторы между собой разругались, то ли патруль совместный между собой подрался, теперь уж и не вспомнишь, а только заварушка получилась знатная: три года за этот городишко воевали. И вокруг него.

Вот туда Майер и попал. В дивизию СС «Рамзес». Дивизия была укомплектована в основном местными суданскими неграми — черными, как страшный грех. Командиры — египтяне и итальянцы, немцев совсем почти не было.

Майер, зеленый совсем унтерштурмфюрер, получил под свое командование новенький танк M17/51 — дешевое итальянское барахло, каким в основном и комплектовали туземные африканские части. Экипаж тоже был новеньким — не умел совсем ничего.

Майер за дело взялся круто, негров гонял день и ночь. Не столько даже о карьере думал, а просто выжить хотел. Понимал, что будет с этими детьми природы в первом же бою. И с ним тоже. Негры его возненавидели, но кое-чему научились. И первый бой его экипаж пережил. Единственный из всех пяти танков взвода. Тогда негры его зауважали. Оказывали чуть ли не божественные почести, но главное — учиться стали охотнее.

Войну Майер кончил уже командиром взвода, двое из его первого экипажа погибли, другие двое — стали командирами машин. Поскольку город Хартум в результате боевых действий превратился почти в равнину, границу договорились провести строго по 15-й параллели, без всякого там района Хартума. На этом войну решили закончить, посчитав цели ее выполненными.

Три года Майер спокойно служил в Каире, дослужился до командира роты. А потом в Алжире нашли газ, там тоже началась заварушка, и его

перебросили туда. И вот зачем-то он понадобился кому-то из берлинских боссов. Что ж, его дело солдатское: никому не навязываться, ни от чего не отказываться…

Огромный транспортник, очередной гигант фирмы «Мессершмидт», с жутким ревом оторвался от бетонных плит аэродрома города Алжира. Настроение на борту было приподнятое — летели в основном отпускники. Бутылки, фляжки, какая-то закуска передавались из рук в руки. Немцы, французы, итальянцы — все кричали, смеялись, пели. Хриплыми нестройными голосами кричали марш про девушку Эрику, прекрасную, как цветок вереска. Итальянцы проорали свои «Батальоны М» — бодрый и довольно мелодичный марш, про итальянские отборные батальоны, готовые умереть за своего Муссолини. Видел он эти батальоны в Судане: бежали от врага быстрее негров… Но что делать — союзники. Легкомысленные французы пели все больше про своих Мари, Жанет и Клодин. Шум стоял неописуемый. Какой-то полковник время от времени командовал всем заткнуться, и шум на какое-то время стихал. Потом все начиналось снова.

Итальянцы вышли в своем Риме, сброд из Иностранного легиона выгрузился в Париже. Немцы

тоже к тому времени угомонились. Только где-то в задних рядах продолжала упрямо пиликать чья-то губная гармошка. Отто Майер старался много не пить — ровно столько, чтобы удалось спокойно уснуть под многонациональную какофонию, потому в аэропорт Темпельхоф прибыл относительно бодрым. Даже проснулся минут за десять до посадки и, поскольку сидел около иллюминатора, вполне успел насладиться широкими прямыми проспектами и величественными зданиями столицы мира — Германии.

— Герр гауптштурмфюрер, мне приказано вас встретить!

Навстречу Отто Майеру шагнула среднего роста блондинка в хорошо подогнанной эсэсовской форме. Протянула раскрытое удостоверение:

— Унтерштурмфюрер Линда Вайс!

Отто Майер тщательно изучил удостоверение. Черт его знает, может, это тоже проверка. Бдительности. Внимательно рассмотрел фотографию, перевел взгляд на девушку. Нет, хороша чертовка! Особенно после потасканных тварей из полевого борделя. Настоящая немецкая девушка!

— Что ж, камерад Линда, поступаю в ваше распоряжение… — усмехнулся Майер.

Из аэропорта они уехали на автобусе. Видимо, его еще не считали достаточно важной персоной и специального автомобиля не предоставили. А может, так надо было для конспирации. Зато в маленьком ресторанчике на старой Курфюрстендамм расплатилась Линда. Точнее, Великий Германский рейх, выделивший средства на ужин алжирского героя.

Номер в гостинице тоже был оплачен, даже с бутылкой шампанского и легкой закуской. Очень кстати, так как после ужина они с Линдой довольно долго гуляли по улицам Столицы мира, любовались величественно несущей свои воды рекой Шпрее, отдыхали на скамейках в многочисленных парках.

Линда расспрашивала об Алжире, восхищалась его мужеством. Между делом вставляла вопросики про политику, про его отношение к международным делам. Майер отнесся к этому спокойно: что ж делать, у каждого своя работа. Ругал англосаксонских плутократов, которых, впрочем, действительно искренне ненавидел. Вспомнил несколько анекдотов про тупых славян и глупых русских комиссаров.

Но больше рассказывал про свои алжирские приключения, про боевое братство СС, про ун-

терштурмфюрера СС, очень красивую и умную девушку, с которой его свела счастливая судьба. Несколько раз он эту очень красивую девушку даже слегка приобнял в порыве братских чувств. Девушка, тоже увлеченная разговором, этого вроде как не заметила. Или сделала вид.

В общем, закуска и пенистый напиток, дар братской Франции, были очень кстати. Во всех отношениях. И, конечно, галантный герой-танкист не мог оставить голодной такую милую девушку. А милая девушка не стала особо жеманничать и согласилась разделить с Майером позднюю трапезу. И выпить чуть-чуть шампанского.

Утром Майер проснулся поздно, с удивлением обнаружил себя на огромной кровати, увидел огромное окно, стены какого-то дикого светло-персикового цвета… Вспомнил. Перевернулся на другой бок, но Линды рядом с собой не обнаружил. Паниковать не стал — мало ли какие у девушки утром дела. Тем более у унтерштурмфюрера. Прикинул, о чем вчера болтали. Ничего вроде крамольного, прихвастнул немного про свои подвиги, но это нормально. Поднялся, нашел ванну, принял душ. Когда выходил, Линда была уже в комнате, но, к сожалению, в форме. Увидев Майера в костюме Адама, она для порядка игриво

ойкнула, но от страстных объятий уклонилась, велела одеваться и следовать на завтрак. Отто был немного разочарован, но решил, что завтрак — это тоже неплохо.

За завтраком Линда сообщила, что решение еще не принято. Значит, снова прогулки по Берлину, который теперь — Столица мира Германия. И беседы. Снова беседы. Беседовали обо всем. Семья Линды, как оказалось, тоже погибла тогда в Гамбурге, когда подонки-англичане решили продемонстрировать, что у них есть атомная бомба. Линде и Отто еще повезло, их обоих не было в тот день в городе. Линду вырастила тетка, мамина сестра, жившая в Дрездене. А у Отто не осталось никого — его воспитал гитлерюгенд. Проклятые плутократы получили ответный удар по своему драгоценному Лондону, согласились наконец заключить мир, но погибших это не вернуло. Да и мир… Хорош мир — конфликты то в Африке, то на Ближнем Востоке. Где могут, там и гадят. Хуже русских большевиков: те хоть свою бомбу где-то на полигоне испытали…

Да, нерадостная тема. Рейд Роммеля на Ближний Восток был последним крупным успехом. Позиция у него была великолепная: из Ирака можно было ударить и на Кавказ, и на Иран, кото-

рый большевики и плутократы поделили между собой. Вот только если ударить на Кавказ, можно было получить от англичан подлый удар в спину. А если ударить по англичанам, то нож в спину воткнули бы большевики с Кавказа. На русско-германской границе обе стороны ощетинились укрепрайонами, минными полями, колючей проволокой. Десант в Англию был невозможен из-за превосходства английского флота. Англию еще и американцы подпирали, хотя формально войны с ними не было.

Но до сорок шестого года еще была надежда на полную и окончательную победу. А потом появились эти бомбы — позорное оружие трусов. Вот так и беседовали три дня. Возможно, Отто был слишком эмоционален. Возможно, наговорил лишнего. Ну и ладно. Он танкист, а не дипломат…

Но, похоже, все он говорил правильно, потому что на четвертый день за ужином Линда сообщила, что сегодня вечером они выезжают в Мюнхен. Ночным поездом. Больше Линда ничего не сказала, возможно, и сама не знала. Но было очень хорошо, что дело сдвинулось, что едут они вместе и ехать будут всю ночь. Скорее всего, в отдельном купе, так что…

Так и оказалось. Купе отдельное, Отто Майер с детства любил поезда, этот стук колес, ночные огни станций, тревожно-заливистые трели гудков… Ну, и Линда. Он вдруг понял, что никогда еще в жизни не встречал такой девушки. Не просто хорошая любовница, а друг, товарищ по борьбе. Такая не подведет. С такой… С такой можно пойти в разведку. Или в танковый рейд. Ну, или куда их там пошлют…

Да, а куда? И Мюнхен, почему Мюнхен? Начальство все в Берлине. Там есть, конечно, гауляйтер, где-то в Баварии находятся заводы Мессершмитта, но кому из них мог понадобиться танкист? Будь он еще летчик… Или… Ведь там есть еще и… Но нет, этого не может быть. И все же…

— После Мюнхена мы поедем в Берхтесгарден? — спросил он Линду.

— Нет! — быстро ответила девушка. — С чего ты взял? — Засмеялась. — Спи, завтра все узнаешь…

У вагона их никто не встречал, но у входа в вокзал ожидал автомобиль: «Хорьх», чуть аляповатый лимузин, сверкающий бронзой и хромом. Хорошая, мощная машина. Шофер из машины не вышел. Из соображений конспирации, должно быть. Или из соображений субординации. У таких машин и шоферы непростые. Запросто могут

оказаться в таких чинах, что бегать открывать двери для всяких капитанов им совсем и не с руки. Ну и пусть, Отто Майер и не считал себя такой уж большой шишкой. Во всяком случае пока.

Ехали на юго-восток, и вскоре стало очевидно, что едут они действительно в Бергхоф — легендарную резиденцию фюрера. Последние годы он вообще оттуда не выезжал, доверив все государственные заботы своему преемнику — Герингу. А Гитлер писал мемуары. Ему было что вспомнить: готовился к изданию уже восьмой том.

Дорога петляла между гор, зеленеющие луга перемежались хвойными рощами, сосны и ели подступали к самой дороге, упрямо лезли на близлежащие склоны, а вдали величественно синели голые каменистые вершины. Да, нет на свете ничего прекрасней Германии!

Приехали около двенадцати. Охранники переговорили с шофером, тщательно изучили его документы. Заглянули и в пассажирский салон, тоже проверили документы. Машина въехала внутрь, несколько раз повернула, поднялась на небольшую возвышенность и остановилась перед большим, но довольно симпатичным домом.

На этот раз водитель вышел из машины, любезно открыл дверцу для Линды. Отто не стал

дожидаться, выбрался сам. Водитель и впрямь оказался немаленького чина, на его плечах красовались погоны штурмбанфюрера. Отто вскинул было руку в приветствии, но водитель быстро мотнул головой, тихо сказал, что кричать не надо, фюрер, возможно, еще отдыхает, и, попросив подождать, вошел в дом. Вскоре он появился снова, пригласил их войти.

«Господи, как же он постарел!» — подумал Отто. Ну да, портреты-то не старели. На портретах Гитлер был все тем же моложавым пятидесятилетним мужчиной с решительным и волевым лицом. Старик, однако, довольно бодро двинулся к ним, сияя доброй, хотя и чуть кривоватой улыбкой.

— Хорошо, как хорошо, что вы прибыли. Завтрак ждет!

Вслед за фюрером они прошли в следующую, тоже очень большую комнату. Сели за огромный стол. В огромные кресла. Накрыт стол, правда, был только на троих. Но еды хватало. Сладкий сдобный хлеб, сдобные булочки, сыр, масло, мармелад.

Молодые люди, изрядно проголодавшиеся, набросились на еду. Гитлер ел мало, больше говорил. Евреи, англосаксы и русские все же обманули

Германию. Нация, которая должна была владеть всем миром, вынуждена довольствоваться всего лишь половиной Европы и жалким огрызком Африки. Война с англичанами шла слишком долго, на русской границе приходилось держать огромные силы, строить укрепления. Русские тоже зарылись в землю, великое противостояние зашло в тупик. И все же надежда еще была. Если бы не атомная бомба — подлое еврейское оружие. И всего горше, что создали ее для американцев их же немецкие ученые. Подлые изменники! Потом бомба появилась и у русских. Украли, конечно, или у нас, или у американцев. Но от этого не легче. История пошла по неправильному пути.

Тут Гитлер вдруг замолчал. Съел два маленьких кусочка сдобного хлеба, запил ромашковым чаем. И пригласил своих друзей на прогулку. Линда и Отто, естественно, согласились. Гитлер провел их еще через несколько огромных комнат, уставленных роскошной мебелью, и вывел на улицу, прямо в живописный лес. Они пошли по уютной асфальтовой дорожке.

— Я покажу вам, сейчас я вам покажу! Там, в доме, я не мог говорить, они подслушивают меня, преданные товарищи по партии. Все докладывают Герингу. Но я, я обманул их всех! Они думают,

это игрушка! А это… Вы ведь изучали физику? Вы должны знать, что время — это четвертое измерение, такое же, как длина, ширина или высота.

— Э-э-э… — промямлил Отто. Кое-что из физики он еще помнил, в частности и графики с осью времени. Но ему всегда казалось, что это всего лишь удобная математическая модель.

— Тогда, — продолжил фюрер торжественно, — вы должны понять. Машина времени существует! И это шанс! Шанс исправить великую ошибку!

— Э-э-э… Я…

Гитлер остановился, достал откуда-то запечатанный конверт. Передал его Отто.

— Вы передадите этот конверт Ему. То есть Мне. В 1941 году. Я тут все написал. Не надо было увлекаться успехами Роммеля. Надо было тогда напасть на Россию. Успех был гарантирован. А после захвата России Ближний Восток сам бы упал нам в руки, как созревший плод.

Отто не знал, что и думать. Не верить фюреру было невозможно. Поверить — тоже. И… А как же Линда?

— Линда отправится с тобой, — Гитлер как будто прочитал его мысли. — Было бы жестоко разлучать вас… И потом, присутствие девушки… Вызовет больше доверия… Хотя, конечно, вру-

чить письмо должен мужчина. Кстати, письмо вы должны вручить лично в руки. Ни в коем случае не вскрывайте его, если что-нибудь пойдет не так, уничтожьте. Вам все понятно?

— Да, мой фюрер! — отрапортовал Отто. — Но, мой фюрер, ведь вы могли бы отправиться туда сами. Вы сумели бы…

— К сожалению, машина может отправлять людей только в прошлое. Я не смог бы вернуться. А два фюрера для одного мира — это слишком много…

— Мой фюрер, — сказала вдруг Линда. — Вы сказали, мы попадем в 1941 год. Значит… Значит наши семьи там живы?

Отто спрятал письмо во внутренний карман кителя. Пройдя еще немного, они подошли к маленькому кирпичному домику. Гитлер достал из кармана ключ, отпер железную дверь. Почти все место внутри занимало странное сооружение, что-то вроде стенки в виде огромной буквы П. Кругом змеились провода, отовсюду торчали лампочки, какие-то датчики, тумблеры, рычаги и рубильники.

— Войдите внутрь, — велел Гитлер.

Они повиновались. Места как раз хватило для двоих. Гитлер подошел к одному из концов буквы

П, начал энергично щелкать переключателями, вращать ручки, совмещать какие-то стрелки. Наконец решительно переключил самый большой рубильник.

Творилось что-то невообразимое. Лампочки мигали, контакты искрили, в воздухе возникло что-то вроде призрачного свечения. Все это было настолько глупо, что Майеру стало страшно. А вдруг все эти темные слухи… Вдруг все это правда? И фюрер действительно свихнулся?

Но лампочки мигали все быстрее, приборы, стены, потолок — все кружилось в каком-то безумном вихре.

— Отто, мне страшно, — прошептала Линда. Ее рука нашла его руку, крепко в нее вцепилась. Он в ответ тоже сжал ее руку. А что ему еще оставалось?

Внезапно все прекратилось. Странный аппарат куда-то исчез. Домик тоже. Отто и Линда стояли на аккуратно подстриженном газоне, крепко держась за руки. Как влюбленные гимназисты.

Некоторое время ничего не происходило. Потом из-за поворота выскочила молодая веселая собака — скорее даже щенок. Промчалась по траве рядом с дорожкой, подбежала к путешественникам во времени, радостно тявкнула и

принялась обнюхивать новых друзей.

Потом из-за поворота вышел человек.

— Блонди, ко мне! — рявкнул он недовольно. — Не смейте ее кормить!

— Да мы…

— Блонди, ко мне! Кому говорю?!

Так как Блонди на команды никак не реагировала, радуясь новым друзьям, человек подошел сам. Не узнать его было невозможно — он выглядел точь в точь как на многочисленных портретах. Маленькие усики, характерная челка, взгляд исподлобья.

— Кто вы такие? Что здесь делаете?

— Мой фюрер! — Отто шагнул навстречу Гитлеру, протянул ему запечатанный конверт. — Мы должны передать вам письмо.

Гитлер взял письмо, посмотрел на печать, хмыкнул. Вскрыл конверт, поднес листок бумаги к глазам. Близоруко прищурился.

— Что за ерунда? А…

Фюрер неожиданно покраснел, бросил быстрый взгляд на застывших по стойке смирно Линду и Отто.

— Кто это писал? Что это значит?

— Мой фюрер, все написано в письме, — отрапортовал Отто.

Гитлер что-то проворчал, снова поднес бумагу к глазам. Внезапно он оживился, на лице появилась его чуть кривоватая улыбка.

— Я знал! Они… Они все уговаривают меня. Редер, Риббентроп, даже Гейдрих… Но это знак. Знак свыше! Сейчас или никогда!

Отто Майер, теперь уже штандартенфюрер и командир одного из лучших танковых полков, сидел в командирском танке. Высунувшись по-походному, внимательно рассматривал в бинокль противоположный берег реки. Его переполнял восторг. Фюрер — великий человек! Даже совершив ошибку… А ничего себе ошибка — почти вся Европа и половина Африки! Но фюрер прав: германская нация должна править всем миром! И ради исполнения этого фюрер поставил на дыбы пространство и время! Теперь ошибки не будет. Теперь все будет правильно. Первый шаг — Россия. Этот колосс на глиняных ногах упадет за два или три месяца. Потом Ближний Восток. После этого англичане уж точно сдадутся. Останется Америка. Но вместе с японцами, владея всеми ресурсами Евразии… А янки ведь готовы к войне еще меньше, чем Россия. Они тоже не продержатся долго и бомбу свою сделать не успеют. Его семья не погибнет. И семья Линды

тоже. Линда осталась в Бергхофе, фюреру и там нужны преданные соратники. Но разлучены они ненадолго. В этот раз война сильно не затянется.

Там, на другом берегу, в первых рассветных лучах уже цветут взрывы артиллерийских снарядов, бегут и падают фигурки в шинелях. А мост… Мост захвачен! И вот наконец в наушниках звучит условный сигнал. Началось.

— Вперед, ребята! — кричит Майер в рацию. — Вперед, к славе!

Победно урча моторами, танки двинулись на Восток.

Егор Альтегин. *ВЫДУМЩИК*

Не успел Андрей занять позицию у оконного проема — разбитого, покореженного недавними взрывами, — как начался дождь, неторопливый, прохладный, какой часто бывает в августе.

«Некстати это», — подумал он. И так в сумерках ни хрена не видно, так еще и шум дождя звуки глушит.

Немцы где-то недалеко, и если им вздумается проверить окрестные дома, если заметили, куда ушла их группа, если поняли, что с ними раненый…

Шансов вовремя их обнаружить не слишком много.

Впрочем, обнаружит он их, и что?

Откроет огонь, забросает гранатами, отвлечет?

Уведет от укрытия, наконец?

Ну, и героически погибнет.

«А что, вариант», — усмехнулся Андрей. Хотя лучше, конечно, героически выжить. Граната, кстати, одна, а одной гранатой забросать как-то трудно. Практически невозможно.

Да и фраза сомнительная: «открыть огонь». Почему закрыть огонь нельзя, а открыть можно?

Интересно, найдется сейчас в его голове хоть одна не очень дурацкая мысль?

Где-то грохотала артиллерия, но это было далеко, на окраине города; за месяц этот, который вместил в себя столько, что вся прошлая жизнь обзавидуется, Андрей научился это определять по звуку.

Скорей бы уже ночь: ночью немец не полезет их искать. «Ночью воевать немец не любит», — говорил сержант Смирнов, а сержант зря не скажет. Наши, конечно, тоже ночью не любят. Да и днем воевать никто не любит: ни наши, ни немцы. «Ладно, — подумал он, — не будем развивать мысль».

Ни к чему хорошему такие рассуждения не приводят. Вот кончится вся эта гребаная война, тогда и порассуждают те, кто выживет.

Андрей завидовал сержанту, и Васе Черных тоже завидовал, да и всем остальным — завистью легкой и незлобной. Умудрялись же они как-то среди этого ужаса, когда жизнь висела на истертой ниточке случая, спокойными оставаться, несуетливыми.

Рядом пули летят, снаряды рвутся, товарищи их боевые гибнут, а они продолжали ловко и обыденно делать работу войны, тяжелую и гряз-

ную. Нет, он понимал, они тоже смерти боялись — нельзя ее не бояться, чушь это все. Но умеют же не показать слабину, загнать внутрь этого сукиного сына по имени страх. А он не умеет.

Трус он, видимо.

Сержант после первого его крещения боем сказал: «Придумываешь много, студент. А на войне придумывать не надо. Вот победим…»

Фразу не закончил, махнул рукой, но и так было ясно, о чем он.

Никому Андрей не говорил, что пишет рассказы. Каждый день что-то в блокнотик записывал. Но узнали каким-то образом. На войне среди своих секретов не бывает, это он уже позже понял.

Он тогда насмешек ожидал, подначек, но не было их. Ну, почти не было.

Ироничный интерес был, это да.

«Наш писатель».

Ага. Толстой.

Лучше бы проще называли, грубее: сочинитель, бумагомаратель, сказочник.

Выдумщик, наконец.

Выдумщик — самое точное, пожалуй.

Андрей привстал, перебежал к другому оконному проему, меняя позицию; особого практического смысла в этом, впрочем, не было — так,

размяться.

И днем-то улица просматривалась так себе, но он не столько смотрел, сколько вспоминал: эти улицы с детства помнил, вырос здесь, школу окончил, школа рядом была — пять минут быстрым шагом.

Сейчас так не говорят — быстрым шагом.

Перебежками, ползком, бегом — так теперь говорят.

Опять он о всякой ерунде думает.

А что не ерунда? А не ерунда, что в школе его у немцев какой-то передовой пункт, позиция важная. Собственно, группа их и должна была проверить подходы к зданию, что да как, и если бы Васю Черных не зацепило…

Город воевал уже месяц, город был распилен пополам. Много знакомых, приятелей Андрея были там, под немцем. Выражение-то какое тошнотворное: «под немцем».

И Ира была тоже там.

Ира, Ирочка, Иринка, одноклассница, любовь его тайная. Хотя какая тайная?

Ира точно чувствовала. Девчонки — не парни, они такое сразу понимают. Да и все остальные, у кого глаза на нужном месте, тоже.

Общались, правда, дружески, не больше: не

решался Андрей перейти линию.

«Никогошеньки у меня не осталось, Ирка, кроме тебя», — подумал Андрей, пытаясь вспомнить, когда же он ее видел последний раз.

Но тут чуть скрипнуло битое стекло. Сержант Смирнов появился, как привидение — даже в темноте он умудрялся двигаться почти бесшумно.

Разведка, что тут говорить. Впрочем Андрей теперь тоже разведчик. Скажи кто такое год назад, посмеялся бы. Да какой год — месяц.

— Лыкин, ты же местный? — тихо спросил Смирнов.

— Так точно.

Смирнов отлично знал, что Андрей местный, на задание его взял именно поэтому: никаких других достоинств, кроме знания города, у Андрея, увы, не было.

— Держи, — сержант передал ему пакет. — Передашь нашим. Мы с Черных здесь ждать будем.

Он немного помолчал, и Андрей вдруг понял, что сержант, сержант Смирнов — такой же пацан, как и он, ну, чуть старше, чуть опытнее…

— Васька плохой совсем, паскудное ранение, крови натекло, — глухо сказал Смирнов. — На тебя надежда.

— А немцы же под утро… — начал Андрей, но

Смирнов его перебил:

— До утра еще дожить надо. Ты же быстро — город знаешь. Так что давай.

— Так точно, — как попугай, сказал Андрей. Вот же, черт, заладил, да и не «так точно», а «есть», но Смирнов только чуть усмехнулся и не по-уставному добавил:

— Немца там быть не должно. Но ты, Лыкин, все равно… это… Поберегись.

Задача была простая — вернуться к своим по знакомым-презнакомым улицам. И не требовалось от Андрея подвига — взять «языка» или еще что-то в этом роде, но мандраж от этого меньше не становился. Страху, знаете ли, все равно, страх снова вязал, лез в нутро, унизительный и стыдный, и ничего с этим поделать Андрей не мог.

На людях было легче, там он больше боялся показаться трусом, чем словить пулю. А вот когда один…

«Немца там быть не должно», — вспомнил он слова Смирнова и, передвигаясь по темным дворам, проговаривал про себя эту фразу, как мантру.

А немцы знают, что их тут быть не должно? А то неувязочка может получиться.

Стемнело уже окончательно, дождь вбирал

звук шагов, плащ-палатка намокла, неудобно в ней было.

Пригнувшись, Андрей перебегал от здания к зданию — дома здесь выстояли почти все, даже стекла у многих остались целы.

«Я же не за себя боюсь, — думал он. — Я осторожничаю, потому как мне не дойти нельзя. Не дойду — информацию не передам, и сержанту с Черных хана, найдут их немцы. И погибнут парни куда более достойные, правильные, нужные, чем я, выдумщик, фантазер».

«Угу, — буркнул внутренний голос. — Трудно, брат, себе врать, да? За себя ты боишься, за шкуру свою драгоценную, за головушку светлую.

Вот осветят сейчас фонарем, крикнут: «Хальт!», потом автоматная очередь. И не будет никакого рассвета, и этот дождь в черноте будет последним в короткой, бестолковой жизни, ничего-то ты не выдумаешь больше».

А настоящий выдумщик бы этот мир заново придумал, чтобы войны не было, отменил бы весь этот кошмар, мир сочинил настоящий, где только мир. Толстой, который Лев Николаевич, написал «Войну и мир», а я бы «Мир и мир». Скучновато, но, уж извините, многовато приключений стало.

Что-то зашумело впереди, звук был непо-

нятный, а может, и не было никакого звука, послышалось.

Сквозь дождь полоснуло по глазам молнией, осветило здание почтамта в конце улицы, мельтешение рядом.

Наши или немцы?

Их группа шла на задание другой дорогой, Смирнов почтамт обошел, и Андрей вспомнил: в ходе уличных боев здание переходило из рук в руки, удобная была позиция, чтобы держать под контролем прилегающую площадь и окрестные улицы.

С изгибов покореженной водосточной трубы хлестала вода, булькающий звук гасил остальные шумы, но что-то прорывалось сквозь; теперь Андрей не сомневался: рядом люди.

Надо было по той дороге идти.

Но назад уходить было поздно, а дома стискивали улицу плотно, во двор не уйдешь.

Вот кто сказал, что трус умирает каждый день много раз? Верно же сказал.

Снова полыхнула молния, теперь еще ближе — Андрей увидел дверь подъезда рядом, обычную дверь. И все случилось как-то само собой. Потянул ручку — пружина давно порвалась, дверь болталась туда-сюда — и втиснулся в пещерный

мрак подъезда.

В июне сорок первого Андрей окончил первый курс педагогического.

Те первые дни почему-то помнил плохо — много всего смешалось: разговоры, споры… Жизнь задвигалась в другую сторону, против течения, мир хрустнул и раскололся, как сухое полено. Военкоматы загудели — полкласса парней ушли добровольцами. Он пошел тоже, но не взяли, не пропустила медкомиссия: у Андрея с детства были проблемы с легкими.

Помнил облегчение, смешанное с обидой, когда хмурый врач вынес вердикт. Чего шел вообще, хотя понятно: сработало то самое общественное мнение, пружина чести, как Пушкин писал. Не идти было стыдно, хотя, подумать, не всем надо быть солдатами. Ну что, не так разве?

Да и говорили тогда, что война продлится недолго, отобьем немца обратно, не впервой, ну, на крайний, пиковый случай, встанем позиционно, накопим силы — сил-то у нас больше. Парни шутили, что и до фронта доехать не успеют, не хватит медалей на их новенькие гимнастерки.

Какие же дураки все они были.

Андрей продолжал учиться, и, хотя аудитории поредели, а сводки Информбюро и похоронки

стали нормой, это была отчасти еще та, прежняя жизнь.

Тягостно шла эта учеба, неуместно. Девчонки смотрели, как казалось, презрительно, насмешливо, хотя, скорее всего, он это придумал себе. Опять сработала привычная мнительность: выдумщик, он и есть выдумщик.

А война не кончалась, хуже того, ее становилось все больше, и спустя полтора года Андрей все-таки пробился сквозь медкомиссию.

Распределили в учебку, в связь, но уехать не успел: немцы уже входили в город.

И Иру увидеть напоследок он тоже не успел.

Ира стояла, закутавшись в шаль. Это была прихожая ее квартиры, и даже комод, накрытый белой плетеной салфеткой, тот самый, со слониками, был на месте.

— Здравствуй, — сказала она. Просто сказала, обыденно, словно они расстались вчера.

Не могло ее быть здесь, дом ведь совсем в другой стороне, на немецкой части города.

Он с ума сошел, что ли?

— Заходи, что стоишь.

Ира отступила в сторону, повернулась, приглашая в комнату — неестественное ее спокойствие ошарашивало.

«Так не бывает», — подумал Андрей.

И что теперь? Зайти нельзя, не зайти…

Не зайти невозможно.

Ну, а если на минутку увидеть, поговорить?

Стены ее квартиры дрожали, кружились вокруг, Андрей стоял, словно в центре карусели: или про него снимают фильм, только кадры не черно-белые, а цветные.

Ненужное оставалось за кадром, как и полагается в кино.

Вот он в коридоре, вот в комнате — той самой, маленькой, узкой, как пенал.

— Ты придумал мир, в котором нет войны, — сказала Ира.

В комнате становилось светлее, пошел снег: мелкие снежинки уродливой формы касались ее лица, белого, как луна, и не таяли.

Андрей вспомнил слова Васи Черных: «Эй, писатель. Сочини, что война кончилась. Хочу на бункере Гитлера расписаться».

Андрей тогда сказал, что у Гитлера бункер под землей, а расписаться можно на рейхстаге, но Черных только щербато улыбался — плевать ему было на все эти детали.

«Хотя нет, Вася говорил не так», — подумал Андрей.

Да, точно. А как?

Вася Черных, который сейчас…

— Ир, мне нужно идти, — услышал Андрей свой голос. — Но я вернусь.

— Куда? — спросила она.

— Что куда?

— Куда тебе нужно? Я же здесь.

И правда, куда?

Андрей подумал, что надо снять плащ-палатку, но никакой плащ-палатки на нем уже не было, только пиджак. Толстый, теплый пиджак в крупную клетку. Провел рукой — узел галстука, рубашка…

— Тебе не нужно никуда идти, — сказала Ира. — Ты все уже сделал. Ты молодец.

Комната разъехалась в стороны, стены закачались, растворились, и Иры больше не было, а снова была ночь. И в углу другой, той комнаты в полуразрушенном доме на груде битого кирпича сидел Вася Черных.

Хотя нет, это был не он.

«Да это же Игорь», — подумал Андрей. Точно, в Васиной гимнастерке сидел Игорь Агеев — друг, одноклассник, единственный, кому он показывал все свои рассказы.

Игорь, который писал стихи, с которым спо-

рили до хрипоты, как лучше передается мысль — прозой или поэзией. Смешно теперь было вспоминать это.

— Да почему? — сказал Игорь. — Вспоминай, нам это надо.

«Нам? Кому нам?» — хотел спросить Андрей, но вслух сказал другое:

— Игорь. Я придумал мир, в котором этой войны нет.

— Не, Андрюха, — усмехнулся Игорь. — Ты мирок выдумал. Уютненький такой, карманный мирок. Помнишь, ты сказал, что писать надо тогда, когда есть шанс придумать что-то стоящее, что-то большее, чем ты сам, то, что лучше тебя сегодняшнего?

— Я? Не помню.

— Может, и не ты, — сказал Агеев. — Но мне бы хотелось, чтобы ты.

Снега больше не было, потолок снова сочился дождем.

— А ты почему в Васиной гимнастерке?

Игорь поморщился:

— Да, в своей не успел… Помнишь, на вокзале смеялись, что до фронта не доедем, война кончится. Я и не доехал — эшелон разбомбили. Даже похоронки от меня не осталось. Так что…

Андрей закрыл глаза: пол качался, карусель продолжала двигаться.

А когда открыл, увидел отца, каким он его видел незадолго до смерти: отец курил, щурил глаза, сжимая папиросу желтыми пальцами.

— Отец… Ты говорил, что война — это страшно, что нужно делать все, чтобы ее не было. Война началась, но я ее отменил, потому что каждый из нас, живущих, должен любой ценой…

Он замолчал — голос фальшивил, дребезжал, как ложка в стакане плацкартного вагона.

— Любой ценой, говоришь? — сказал отец. — Ты вот, Андрюха, умный вроде, а дурак. Нет никакой «любой цены», пойми. И похуже войны случаются вещи.

Карусель вращалась все медленнее, словно из последних сил, и снова была груда битого кирпича, Черных сидел на том же месте.

— Ну, студент, дурья башка, — беззлобно сказал он. — Ты все попутал, не говорил я этого: «Сочини, что война кончилась».

— А как ты говорил?

— Не, браток, ты уж сам вспомни. Только не придумывай. Это будущее придумывать треба, а прошлое треба помнить. Инакше не одолеть нам фашиста.

Андрей потер виски, зажмурился, а когда открыл глаза, снова была Ирина комната. Только теперь где-то рядом звучал патефон, доносились звуки: сначала тихо, потом чуть громче, кто-то пел на чужом, на очень чужом и очень знакомом языке с фальшивой беззаботностью, что-то очень легкое и ненужное.

Книжные полки стояли на месте, но книг там уже не было, и Андрей подумал, что Пушкин, Толстой и все остальные ушли не прощаясь: не с кем тут было прощаться. Вместо них лежали какие-то газеты, листовки, отпечатанные на тонкой желтоватой бумаге.

Андрей посмотрел на Иру: лицо ее оставалось белым, только прогалины глазных впадин чернели неживым.

— Ты закончил войну, — снова прозвучал ровный голос.

Андрей покачал головой:

— Я ее еще даже не начинал.

Не было ни квартиры, ни подъезда.

Андрей стоял, прижавшись к стене. Все вернулось как было, только плащ-палатка намокла еще сильнее и висела на плечах, как свинцовая.

«Почему обязательно свинцовая? — думал он. — Что за банальные метафоры у вас, товарищ

писатель? И небо у вас свинцовое, и пули свинцовые. Хотя про пули — это не метафора. Это я зря».

Он снова посмотрел на здание почтамта, вросшее в знакомый город, и наконец вспомнил, что сказал Черных: «Придумай, как мы победим. Как по Берлину пройдем, как на бункере распишемся».

«Дался, Вася, тебе этот бункер, — подумал Андрей. — Да и куда мне, выдумщику, такое придумать, не под силу такое одному — тут всем бы справиться. Но я все равно что-то придумаю. Капельку, кусочек, кирпичичек — может, и такая малость на что сгодится».

Вот смотри, Вася, в кармане у меня фонарик — трофейный немецкий, со стеклышками, разноцветными такими. И есть условный сигнал «свой-чужой» — пароль такой. И если там, в здании этом, наши, то и они мне просигналят.

Тебе продержаться там всего ничего, понимаешь?

Ну, а немцы если там? Ну, тогда дальше будем придумывать. Ну ладно, думать — знаю, что сержант это слово не любит.

Что, Вась? Нет у меня никакого фонарика, говоришь? Только у Смирнова? И у тебя есть? Так, ну… Ну, ты же мне свой дал. Да, и пароль я знаю. Как

не давал? Вася, кто из нас выдумщик, ты или я? Ну вот, так-то лучше.

«Вот и все, — подумал Андрей. — Сюжет готов, можно работать».

Он вытер с лица воду, вытащил фонарик, перекладывая гранату в правый карман.

И двинулся вдоль кирпичной стены к почтамту. Дождь уже лил как из ведра, и чтобы те, кто был в здании, увидели сигнал, надо было подойти ближе.

Виктор Колюжняк. *СОЛДАТСКАЯ ВЬЮГА*

Все заметает солдатская вьюга из взмерзших капелек крови, крупинок махорки и пороховой пыли. Приправлена ветром перемен, с четким запахом спирта и дуновением надежды. Заволакивает поля сражений, закрывает глаза мертвым, хоронит их, унося с собою души, средь которых уже начались братания. Подхватывает последний вздох, доносит слова, слетевшие с губ, до родных и близких, чтобы знали. Чтобы помнили.

Лишь два человека, кутаясь в промокшую, пропахшую гарью одежду, ползут от мертвого к мертвому, собирая патроны. Один — почти старик — чуть подволакивает ногу и морщится каждый раз, когда неудачно задевает разбросанное оружие или упавшие тела. Другой — более молодой и сильный — беспрестанно оглядывается по сторонам. В глазах его застыл страх, а губы дрожат и шепчут бессвязно.

Оба ранены. Один — в тело, другой — в душу.

— Хватит, Михалыч. Хорош. Набрали больше, чем расстрелять успеем. Уходить надо, — мо-

лодой говорит тихо, голос его дрожит, а руки дергаются.

— Тебя бы расстрелять, — беззлобно ругается Михалыч. Задевает ногой о чью-то винтовку, чертыхается, замирает. — И куда уходить будем, Гришка?

— Назад. К своим.

— Те свои тебя положат как чужого. Ты ж дезертир.

— А ты сдать меня вздумал? — на миг в глазах Гришки появляется страх вперемешку со злостью. Рука неосознанно тянется к винтовке.

Михалыч ухмыляется и отворачивается:

— Сам себя сдашь. Нервный больно.

— Прорвемся.

— Ты б так при атаке думал.

— Да хватит уже! — молодой сам пугается своего вскрика. Вьюга разносит его далеко-далеко по округе, но лишь мертвые слышат.

— Ну, пойдем, Гришка, — Михалыч встает в полный рост и идет назад. Туда, где свои.

— Сдурел?! — вновь кричит молодой, но уже тише. — Совсем сдурел, старый? А ну, ляг! Ляг и ползи, говорю!

— Отвали, — отмахивается Михалыч. — Вьюга спрячет. Стрелять некому. Паникер.

Он уходит все дальше, и вот уже силуэт начинает расплываться и пропадать.

— Подожди! — Гришка вскакивает, спотыкается, падает, едва не напоровшись на торчащий из руки мертвого штык, и тут же, забыв об этом, бежит догонять Михалыча.

Бушует солдатская вьюга. Воспоминания покрываются ледяной коркой, страх вымораживается, отвага не горячит кровь. Лишь спокойствие и равнодушное оцепенение. Двое бредут среди мертвых, да и сами от них недалече. Михалыч, несмотря на боль в ноге, шагает быстрее своего спутника. Тот мысленно не здесь, а потому бредет еле-еле, и старшему приходится подстраиваться под его шаг, останавливаться, чтобы догнал.

— Я что, первый, кто струсил? — спрашивает Гришка внезапно. Голос глух, но чувствуется в нем затаенное несогласие.

— Не первый, — Михалыч не оборачивается. — Да и не последний. От этого легче, что ль?

— Нет, — говорит Гришка, хотя на самом деле да.

— Ну а что тогда?

— Я о матери вспомнил. Я у нее один остался.

— И что? Побежал искать?

Гришка молчит, насупившись. Затаил обиду

и злобу, хотя чувствуется, как она волнами разбегается от него, теряясь среди вечной вьюги. Разбивается о скалу спокойствия Михалыча. А тот рассуждает дальше. Извлекает слова и складывает их в соответствии с мыслью.

— То не беда, что ты о матери вспомнил. Обычно дело — о родных вспоминать перед смертью. То беда, что ты ею трусость свою прикрываешь. Кабы была у тебя храбрость, то жизнь готов был бы отдать, лишь бы враг до матери не добрался. А ты бежать удумал. Смалодушничал. Слишком себя любишь, не привык за счастье драться. Один в семье был?

— Один, — отзывается Гришка.

— Вот то-то и оно.

— И что теперь, клеймить меня всю жизнь будут?

— Да кому ты нужен. Расстреляют, и все, — смеется Михалыч. — И матери твоей придет письмо не о том, что погиб героем, а что смалодушничал. Что, дескать, не воспитала она достойного сына отечества. — Он кашляет, останавливается, сплевывает и стоит с открытым ртом, вдыхая прогорклый морозный воздух. Снежинки залетают в рот и тают. Хочется пить.

— А у тебя семья есть, Михалыч?

— Да кто ж его знает.

— Это как?

— А так. Эвакуировали всех, а я на фронте. Писем никаких не доходило. Может, живы, а может, уже и того. — Вновь сплевывает и заканчивает жестко, с оттенком горечи: — Не важно сейчас это. Смирился я уже, что нет их. И все. Воевать легче. Похоронил заранее, и душа не болит. И не страшно. А коль закончится все хорошо, домой вернусь и живы они окажутся, то это ж еще больше счастья.

— Странный ты, Михалыч.

— Страннее видали. Глянь-ка, а то у меня зрение не очень, чего там вдалеке светит?

— Не знаю, — Гришка прищурился. — Свет какой-то.

— Ровный?

— Ровный.

— Значит, фонари. В ту сторону заворачивай.

— А вдруг фашисты?

— Тебе не все одно сейчас? Люди же.

— Какие люди? Звери.

— Не наговаривай. Звери токмо ради еды убивают. Пошли.

Метет в лицо солдатская вьюга. Застилает взгляд, закрывая проблеск света. Бьет в глаза

ледяной крошкой, заставляя наклоняться вперед. Ничего нет, кроме нее, и кажется, что так целую вечность будет, пока не упадут Гришка и Михалыч. Да и когда упадут — все одно. Разве что никто этого не увидит.

А в какой-то момент, будто сдавшись, расступается, и вываливаются солдаты в спокойствие и тишину морозной ночи. Будто бы и не вьюга то вовсе, а лишь стена, отделяющая благополучие мира от безнадеги войны.

— Гляди, Михалыч, деревня.

— Сам вижу.

— Чудная только.

— Вот то-то и оно.

Дома выстроились аккуратными рядами. Поблескивают стекла. Повсюду чистота и уют, словно нет рядом войны, а Михалыч с Гришкой вывалились из совсем другого мира.

И тишина. И улицы пустынны. Лишь где-то вдали, спрятавшись в теплом хлеву, мычит корова.

— Не наша деревня, Гришка.

— Я городской.

— Да не. Совсем не наша.

Михалыч показывает пальцем на табличку с номером дома. Номер обычный. Две цифры — три и четыре. А название улицы вычерчено никак не

кириллицей.

— Фашистская, — говорит Гришка.

— Откель знаешь?

— Немецкий учил.

— Грамотный, значит. Что написано?

— Яблочная улица.

— Понятно.

А Гришке непонятно. Он уже и позабыл о своем проступке в прошлом. Сейчас мысли его стукаются друг об друга и путаются, скатываясь в клубок. Только неясно, за какую потянуть, чтобы распутать.

— Откуда ж фашистская? Мы ж под Тулой были. Откуда там фашистская деревня?

— Не знаю. Да только вот она, — Михалыч хмурится. Щурится, вглядываясь в чужие буквы, а затем снимает с плеча винтовку. — Держись настороже.

Гришка, путаясь в ремне, торопливо вооружается и поглядывает по сторонам. Все тихо.

— Куда? — спрашивает шепотом Михалыча.

— Туда, — кажет тот пальцем. — Не слышишь, что ль?

Молодой напрягает слух и различает где-то вдали голос. Ровный, четкий, привыкший руководить и подчинять.

— А зачем нам туда? — Гришка сглатывает. — Еду найти — и дальше, к своим.

— К своим успеется, — Михалыч вновь кашляет и сплевывает на снег. Слюна буро-желтая, с комочками слизи. — А пока к чужим сходим.

Он поворачивается и идет, не оглядываясь на спутника. Тот поначалу крадется к дому, намереваясь разжиться чем-нибудь, а потом, тихо выругавшись, бросается за удаляющимся Михалычем. С ним спокойней.

Вьюга не ушла безвозвратно. Она где-то рядом воет, не способная проникнуть внутрь деревни. Но никто не слышит ее плача-угрозы. Все внимают человеку в черном.

Он стоит посреди площади, внутри квадрата таких же черных людей. Вокруг толпятся, судя по одежде и позам, жители деревни. Они внимательно слушают и, кажется, мысленно находятся не здесь, а там, куда их ведет человек в черном.

— О чем говорит? — спрашивает Михалыч.

Гришка морщит лоб, вслушивается в чужую речь, тщась различить смысл:

— О Солнце.

— Так ночь же.

— У них крест, свастика который, — это древний символ Солнца.

— Про свастику, что ль, рассказывает?

— Нет. Про то, что немцы — избранный богом народ и Солнце им принесет удачу.

— То-то я гляжу, они тогда с утра пораньше напали, — Михалыч сплевывает. Красноты, кажется, уже больше. — Только про это говорит?

— Нет, про то, что Солнце вскоре будет вечно светить.

Михалычу сейчас хорошо. Они сидят на лавке за углом дома и слушают человека в черном. Просто сидят и слушают. И даже нога не болит: удалось ее удачно пристроить.

— Говорит, взорвут Луну с помощью ракет, и она Солнце закрывать перестанет, — Гришка тревожно смотрит на Михалыча. Тот смотрит, запрокинув голову, в звездное небо.

— Вона как удумали. Слушай, Гришка, а ты случаем не шпион?

— Чего?!

— Не кричи. По-ихнему разумеешь, про свастику знаешь, вот и завел меня сюда.

— Да ты ж сам впереди шел, Михалыч.

— Но к своим-то ты меня звал али нет?

Гришка молчит, не зная, что сказать. С тем, что он трус и дезертир, худо-бедно свыкся, а вот что его еще и к шпионам причисляют — это уже

другое дело. Это уж точно несправедливо.

— Я к тому, — продолжает Михалыч, — что ежели ты шпион, то давай сейчас пойдем, ты меня сдашь, в лагерь отправят, но так хоть выживу. А то ведь неизвестно, как иначе повернется.

— Да не шпион я. Студент. Филолог.

Пауза, во время которой Михалыч искоса поглядывает на Гришку. Затем вздыхает и отворачивается. Только тут студент замечает, что винтовка товарища направлена на него.

— Ты чего? Ты меня? Ты…

— Тихо, — обрывает Михалыч. — Обознался, с кем не бывает. Ну, коли ты не шпион, студент, то пошли, значит, Луну спасать. Мне парторг говорил, что Бога нет. А раз нет, никто этих, — кивок за стену, — не выбирал.

— Их там человек двадцать охраны только.

— Опять трусишь?

— Да не трушу я. Но как мы вдвоем? Зря только ляжем. Надо к своим пробиться и доложить.

— Складно говоришь. А все одно пошли. Свои далече, а мы тут. Рядышком.

Все заметает солдатская вьюга. Страх и сомнения укрыты решимостью, а холодное дыхание смерти не различить средь морозного воздуха. Оттого и не страшно. Твердая корка спокойствия

покрывает Михалыча, а Гришка, глядя на него, спрятал подальше свой стыд. Все можно исправить.

— Ты, Гришка, с той стороны заходи, а я с этой останусь. Нога болит далеко ходить. Гранаты есть у тебя?

— Да, — связка оттягивает руку.

— Возьми себе парочку, а мне остальные оставь.

Гришка не спрашивает зачем. Догадывается, гонит эту мысль от себя, но не спрашивает, чтобы удостовериться. Надеется, что ошибся.

— И деревенских не трогай, — напутствует Михалыч. — Ни к чему.

— Хорошо. — Гришка кивает, затем, вытянувшись по струнке, отдает честь и идет в обход дома.

— Студент, — плюется Михалыч. Но беззлобно. Скорее даже весело.

Винтовка выцеливает человека в черном, да только выстроились рядом с ним защитники — на себя удар оттягивают.

— Ну и принимайте, — бормочет Михалыч, выстреливая.

И тут же с другой стороны дома доносится второй выстрел. У старшего — убитый, у младшего

— раненый.

— Молодо-зелено, — охотничий азарт охватывает Михалыча, который выискивает черную фигуру среди упавшей на землю, но враз вскочившей и заколыхавшейся толпы. Стреляет еще раз, но мажет. Приговаривает наставительно:

— Луну они взорвать удумали, ишь чего! А спать когда? А с девками кувыркаться? А яблоки у соседей воровать? Нет, брат-фашист, так дело не пойдет.

Гришка тем временем пристреливается. Еще двоих кладет: ранеными или убитыми — не разобрать. Но и немцы не сидят спокойно. Командира прячут в ближайший дом, охрану выставляют, а сами рассыпаются по кустам-канавам и крадутся к стреляющим. А вперед себя, словно стадо, гонят огромную толпу деревенских. Те боязливо жмутся друг к другу, оглядываются по сторонам, то один, то другой падает и отказывается идти.

— Заварили кашу, студент! — кричит Михалыч.

— Целый котел! — отзывается Гришка.

— Вот то-то и оно, — и отцепляет гранату.

Солдатская вьюга бьет по разбитым окнам, задувая внутрь дома. Наметает на головы снежно-стекольную крошку. Доносит звуки выстрелов и

немецкую речь. Иногда наперекор вьюге влетают и пули. Впиваются в противоположную стенку и застывают навеки в спокойствии.

— Чего брешет? — спрашивает Михалыч.

— Предлагает сдаться. Жизнь обещает.

— Добрый какой, — дыхание перехватывает, но спустя секунду отпускает. — Ну что, студент, спасли мы Луну?

— Не знаю, — Гришка пожимает плечами, быстро вскидывает винтовку и стреляет в ночную темень. — Может, и не они взрывать собирались. Может, просто рассказывали людям, чтобы не пугались, когда случится.

— А я все-таки думаю, что спасли, — Михалыч кивает своим мыслям. — Вот ты, Гришка, молодой. Тебе ведь мечтать положено. Мечтаешь?

— Мечтаю, — помедлив, соглашается тот.

— О девках, поди? — слово это — «девки» — звучит у него по-доброму. Почти ласково. Гришка же не отвечает. Делает вид, что не расслышал, но Михалычу не нужен ответ, он продолжает свою мысль: — О девках тоже хорошо мечтать. Чему бы нет? Дело-то молодое. А я вот думаю: победим мы фашистов и отстроим страну заново. И мои все живы окажутся. Настроим своих ракет, но только чтобы не взрывать, а чтобы на эту самую Луну по-

лететь или еще куда дальше. И будут они стоить, ну, три копейки. Как на трамвае скататься. И вот правнуку моему или праправнуку на десять лет подарят настоящую ракету, и отправится он на Луну. Прилетает, выходит, смотрит, как там все, и думает: «А вот если бы не дедушка, не было бы ничего». Красиво, а?

— Красиво, — соглашается Гришка. — А почему именно на десять лет?

— Да так. Для ровного счету.

Они разом вскакивают, стреляют, а затем падают на дощатый пол, вжимаясь. Пули проносятся мимо, засыпают товарищей щепками, свистят пронзительно.

— Ты вот что, студент, ты главное запомни: Воронов Василий Михалыч. Если что, разыщи моих, скажи, отец Луну спасал, — смех Михалыча переходит в кашель.

— Чего удумал? — спрашивает Гришка. — Куда я денусь? Да и дом окружили.

— Сейчас разокружат. А ты побежишь. Я все одно не жилец уже, — сплевывает, и становится видно, что слюна ярко-алая.

— Сам дезертиром обзывал, а теперь бежать принуждает. Я останусь.

— Дурак ты, студент. Хоть и умный, а дурак. Ко-

гда вместе со всеми воюешь, тогда и погибнуть не жалко. А когда один остался, главное — выжить.

— Я не один.

— Сейчас будешь.

Михалыч подтягивает к себе ближе связку гранат. Прицепляет часть к поясу, а остальные в руках держит.

— Ползем к выходу. Я выбегаю, кидаю, а тут и ты бежишь, пока прячутся. Ясно?

— Не брошу я тебя.

— Дурень. Погибнешь, а семье никто не сообщит.

Гришка молчит. Он понимает, что Михалыч прав. Что геройство сейчас не нужно и ни к чему. Геройствовать выпало старшему. А ему выпало постараться выжить, что труднее. Свой шанс Гришка сегодня уже упустил, а потому то, что ему надо сделать, еще больше бьет по совести.

— Понял? — переспрашивает Михалыч.

— Да, — бурчит Гришка.

— Вот и отлично. Поползли.

Все заметает солдатская вьюга. Заметет она и следы той чудной тропы, что вывела Михалыча и Гришку из-под Тулы прямо в немецкий тыл. Скроет силуэт, бредущий назад, к своим. Разметает по всей планете слова Михалыча. Луна достанется

одним, ракеты по три копейки — другим, а правнуки — третьим.

Гришка ковыляет, опираясь на винтовку, как на костыль. Попали все же в ногу, когда убегал. Не все отвлеклись на Михалыча с гранатами. Гришка помнит его ухмылку, его рассуждения, желание во что бы то ни стало победить. Видит, словно наяву, прямую спину и шаг широкий, с отмашкой.

Все останется в памяти, и никакая вьюга не укроет этот образ. Да она и не собирается.

Юлия Зонис. *ГОВОРЯЩИЙ С ВЕТРОМ*

В его сердце пел ветер.

«Се ра. Се ра шанс куо на мори».

Ветер пах пыльной травой, сухими, пропеченными солнцем венчиками соцветий. Ветер пах горами в синей дымке с белыми просверками ледников на вершинах. Се ра… Это было давно.

Малек на Лабад по прозвищу Синий Лис не любил вспоминать резервацию, потому что за воспоминанием всегда следовала боль. Лучше вспоминать интернат. Стоя на крыше переговорной станции, за низким железным ограждением, Малек зачастую вспоминал интернат.

В интернате их было всего семеро. Семеро мальчишек из разных концов страны, из трех оставшихся резерваций. Мужчины и женщины его племени редко рожали детей. Как шутили л'амбар — люди, смертные, — остроухие плохо размножаются в неволе. Глядя на кипящую полосу прибоя внизу, в черных, обточенных морем камнях, Малек вспоминал интернат.

Если семеро мальчишек, детей вымирающего племени, живут в одном доме, логично предположить, что они станут друзьями. Однако было

не так. Нижние, аль-ра, Дети Равнин, никогда не дружили с верхними, имман-ра, Детьми Гор. Да и между собой не слишком дружили.

Переводя взгляд с каймы белой пены, жмущейся к скалам, на высокое чернильно-синее небо в белых крапинках звезд, Малек думал о Хорихе. Их с Хорихом забрали из одной резервации, расположенной в равнинных землях у подножия Хейт-ваан, Обрывистого Хребта. Их матери дружили, их отцы пасли скот на одной скудной земле. Их деды и прадеды входили в Совет племени. Но Хорих не был его другом. Хорих вечно был недоволен: кормежкой, учителями, запахом в дормитории. В черных глазах Хориха плясали гневные искорки, временами разгоравшиеся в темный огонь. Когда их с остальным классом возили на экскурсию в город, Хорих кривил губы и шипел: «Это не нам показывают их. Это им показывают нас. Диковинных зверюшек». Из семерых воспитанников интерната Хорих больше всего походил на л'амбар. Сними с него унылую школьную униформу — мешковатые брюки из бурой ткани и такую же куртку — и переодень в клетчатую рубашку и шорты — он вполне бы мог сойти за одного из тех пацанов, что пялились на их автобус из-за беленых оград. Если бы не

чернота глаз, беспросветно-темных, без белка. У самого Малека в глазах плескалась чернильная синева ночного неба. У верхних глаза были пронзительно-голубые, как вода их горных озер, питавшихся от самих ледников.

И все же Хорих был примерным учеником, а он, Малек, не преуспел ни в одной науке, кроме той, ради которой их и собрали в интернат. Все они вырастут и станут переговорщиками. Их наймут богатейшие корпорации. Их будут использовать на правительственной службе и особенно в армии. Л'амбар не умели говорить с ветром, а их «радио» не умело хранить секреты.

Стоя на крыше переговорной станции и глядя то на бушующее внизу море, то на плоский, усыпанный валунами берег, то в небо, налившееся такой же, как у него в глазах, синевой, Малек пытался понять: почему он так часто думает о Хорихе? Может быть, все дело в том, как тот покинул интернат? Может, Малек ему завидовал? Может, надо было поступить как Хорих, а не покорно сидеть на уроках, пялясь в окно на опадающую листву кленов и слушая монотонную бубнежку учителя? Может, не стоило пропускать мимо ушей все эти «кормишь их, кормишь двадцать лет… проклятые остроухие, когда же

они, наконец, повзрослеют? Когда возьмутся за дело?» Может, не надо было покорно принимать назначение и ехать на островок в море Эккайя на почти заброшенную переговорную станцию под дурацким названием Жемчужная Гавань? Самое смешное заключалось в том, что тут не было никакого жемчуга. Ни раковин жемчужниц, ни ловцов жемчуга — только военные самолеты и военные корабли.

Может, и надо было поступить, как Хорих. Иначе почему в последние дни он так часто думает о Хорихе?

Я обыграл толстого полковника в карты. Это было особенно приятно потому, что потливый жирный хрен никогда не упускал случая меня поддеть.

— Рихе, — говорил он, — почему ты не носишь черные очки? Тебе надо носить черные очки, и тогда никто не поймет, что ты из рьеханов.

Р'ха — Говорящие — так он коверкал имя моего народа. За одно это следовало его обчистить и пустить голеньким плясать по палубе.

Смахнув со стола карты, полковник забормотал что-то о расписке. Я улыбнулся. Моя улыбка всегда нервировала л'амбар. Сами они гордо именовали себя людьми, не подозревая, что на

нашем языке слово «л'амбар» означает не только немой, но еще и недоумок. И полковник был, конечно, неправ. Нацепи я хоть три пары темных очков, улыбка меня мгновенно бы выдала. Зубы у нас острее, чем у этих всеядных, пожирателей падали, клубней и травы. Даже их наука подтверждает, что травоядные всегда тупее хищников.

Полковник Такеси Того все же отдал мне деньги и, недовольно морщась, развернул на заляпанном столе карту. Махнув рукой, чтобы отогнать от лица наполнивший каюту табачный дым, он ткнул коротким и толстым пальцем в одинокий островок. Островок был частью архипелага с непроизносимым человеческим названием, но полковника интересовал только один порт. Жемчужная Гавань. Еще одно недоразумение л'амбар. Никакого жемчуга там отродясь не водилось, и эти недоумки не понимали, откуда взялось такое название. Жемчужный, цвет жемчуга — серебристо-серый. Мои одноклассники были не слишком внимательны на уроках истории, а вот я времени даром не терял. В отличие от других островов архипелага, этот островок когда-то был частью полуострова — западной оконечностью континента, который мы считали своей родиной. Когда-то из его гавани на Запад уплыли белые

корабли. С тех пор материки сдвинулись, и море затопило перешеек, стерев с лица земли поселки и города. Однако память моего рода оказалась воде не по зубам. Я помнил, как помнили мой отец, и дед, и дед деда: тысячелетия назад огромный флот покинул Серебристую Гавань, и где-то за белой полосой прибоя и бесконечностью волн жили наши.

Перед отплытием тот, кто вел корабли, поклялся, что сожжет все суда и никогда не вернется на оскверненную землю. Он уплыл, уплыли и те, кто пошел за ним. Мы остались. Неверный выбор.

— У них там есть переговорная станция, — прокаркал мой полковник.

Голая электрическая лампочка под потолком мигнула и вспыхнула ярче. Каюта полковника была тесна, но все же он ухитрился впихнуть сюда эти вечные человеческие *ментос* — выцветшие фотографии в траурных рамках. Со стены над заправленной койкой смотрели женщины, дети, старики, позирующие перед одноэтажными домиками с плоскими крышами, с маленькими бассейнами, с уродливыми статуями божков. За рамку одной фотографии даже был заткнут сухой букетик какой-то дряни. Сентиментальность присуща сволочам, а мой полковник был той еще

сволочью. Я знал это прекрасно, ведь он курировал меня последние пять лет.

— Рихе, ты должен нейтрализовать их переговорщика.

Еще он любил красивые ученые слова. Нейтрализовать… Обычно под этим подразумевалось убить, но не сейчас. Просто заглушить. Я снова препогано ухмыльнулся. Заглушить — нет проблем. Недаром еще в интернате я был лучшим учеником в своем классе, хотя наставник и хвалил другого. Хвалил до того самого дня, когда…

Бессмертным нет дела до человеческих войн. Слишком краток и суетлив век л'амбар, сложно уследить за всеми их бессмысленными поступками. В тот год, когда родился Малек — один из последних отпрысков захудалого племени, — как раз отгремела одна великая война. А когда их класс заканчивал обучение, на горизонте замаячила вторая. Малек мало знал об этой близящейся войне и вообще плохо различал смертных. Знал, что те, чьи налоги шли на его обучение, ходили в клетчатых рубахах и джинсах, жевали жвачку и очень любили свои права, обозначенные в конституции. Их противники говорили по радио лающими голосами. Их другие противники кричали еще яростней, и даже по радиоволнам

доносился их неприятный рыбий запах, смешанный с запахом кишечных газов и горелой травы.

Неподалеку от интерната тоже были горы. Хорих, вечный заводила, прокопал ход под колючей проволокой. Как-то ночью все они, семеро мальчишек, сбежали. Миновав поля с шепчущей кукурузой, стали подниматься все выше и выше по узкой тропе между сосен. Белые камешки скатывались из-под ног. Светила луна. Воздух делался все холодней, а Малеку становилось все неуютней: он не любил высоты. Даже четверке верхних было, кажется, не по себе: они двигались плотной группкой, жались друг к другу и тихо переговаривались на своем щебечущем языке. Только Хорих бодро мчался вперед, прыгая с камня на камень и подставляя лицо луне. Когда, миновав опасный участок с осыпью, они выбрались на плоскую седловину, Хорих дождался Малека и тихо сказал ему:

— Знаешь, что там, на той стороне хребта?

Малек пожал плечами. Какое ему дело до той стороны хребта — вся его жизнь проходила в стенах интерната и на голой игровой площадке за учебным корпусом. Сейчас на ветреном и холодном просторе ему было зябко и хотелось вернуться в дом.

Глаза Хориха блестели, как вкрапления слюды в горной породе. Может, отражали луну, а может, горели собственным внутренним огнем.

— Там военный аэродром, где испытывают новые модели истребителей. И переговорная станция.

При словах «переговорная станция» Малек чуть оживился. Может быть, его направят туда после окончания учебы?

— Слышал иногда рев в небе? Видел белые полосы над горами?

— Пойдем домой, — тихо попросил Малек.

Он дрожал от холода. Хорих презрительно улыбнулся. Острые белые зубы сверкнули.

— А где твой дом, аль-ра? Ты хотя бы помнишь, как наши предки получали имена?

Малек вздрогнул еще сильней. Найр-ха, Ритуал Посвящения, когда дети народа аль-ра уходили в бесконечные, заросшие травой равнины и там встречались с ветром. Один на один, без свидетелей, и ветер принимал их и давал им подлинное, настоящее имя.

— Ты не пойдешь на равнины, — проговорил Хорих, и это не было вопросом. — Ты не узнаешь, как тебя зовут на самом деле. Ты будешь как раб сидеть на переговорной станции и передавать

сводки с цифрами и словами, значения которых не понимаешь. Ведь так?

Прежде чем Малек успел ответить, Хорих развернулся и побежал вниз по тропе — только камни запрыгали из-под ног. Черная тощая фигурка в белом свете луны на горном склоне, и никого вокруг… Малек подумал тогда, что Хориху не надо уходить ни на какие равнины, чтобы остаться в одиночестве и говорить с ветром. Он всегда был один, даже рядом с другими. Как, впрочем, и любой из них, выживших, сумеречных… синдар? Кажется, так называли их народ когда-то, до того, как белые корабли покинули Серебристую Гавань. Но это было давно. Изменился их облик, язык и даже память, и только ветер все так же гудел над огромной равниной, некогда покрытой густым лесом, а теперь пустынной и голой. Покачав головой, Малек начал острожный спуск вниз, к душному теплу их неродного дома. И в этот миг ветер тихонько шепнул ему на ухо: «Прощай. Прощай навсегда, Синий Лис».

Больше они с Хорихом не разговаривали до того самого дня, когда…

В самый разгар нашей интересной беседы с полковником дверь каюты распахнулась. Из коридора пахнуло машинным маслом, а на пороге

выросла широкая фигура. Фуражка с высокой тульей зацепилась за косяк и чуть не слетела у фигуры с головы. Фигура заругалась на лающем языке. Душка Отто — он никогда не стеснялся в выражениях.

Сняв фуражку с головы, оберштурмбанфюрер обтер потный лоб, шагнул в каюту и бесцеремонно отодвинул низкого и круглого полковника в сторону.

— Хорьхе, — сказал он, и шрам на его щеке забавно задергался в такт словам, словно издыхающий под каблуком червяк.

Отто был драчуном в студенческие годы, и шрамом его наградил какой-то безвестный противник, слишком хорошо владевший шлегером. Жаль, что не угодил в глаз. Хотя я не сомневался, что Душка Отто предусмотрительно нацепил защитные очки. Он всегда страховался и всегда падал на четыре лапы, с какой высоты ни швырни. В отличие от господина Того, он мне нравился, хотя был куда большей сволочью, чем мой неказистый полковник.

— Хорьхе, скажи мне, что твое маленькое эльфийское сердечко трепещет.

Я кисло скривился. Когда меня называли эльфом, я хватался за пистолет — в самом бук-

вальном смысле, за свой Вальтер П–38, который таскал уже года три.

— И с чего бы ему трепетать?

Отто расплылся в улыбке, отчего червяк на его щеке принял окончательно непристойные очертания.

— Совсем скоро мы встретимся с нашими союзниками.

Я картинно заломил бровь. Серьезно? Я должен радоваться встрече с авианосцами Ямато? Которых и было-то всего три штуки: империя, как ни пыжилась, не успела отстроить нормальный флот к началу кампании. Возможно, этого достаточно, чтобы захватить врасплох базирующуюся в порту Жемчужной Гавани эскадру. Возможно. Однако для полномасштабного сражения с флотом моей дорогой бывшей родины силенок у «наших союзников» — соплеменников господина Того — было явно маловато.

Примерно в таком ключе я и высказался. Полковник и оберштурмбанфюрер переглянулись, и мне этот обмен взглядами очень не понравился. Игра в гляделки завершилась тем, что полковник уставился в пол, а Отто театрально расхохотался.

— Нет, — сказал германец, продышавшись. — Я говорил не о военно-морском флоте Ямато, наш

остроухий дружок.

Мои пальцы почти коснулись кобуры, когда корабль вдруг задрожал. Застонали переборки, палуба под ногами заходила ходуном. Будь наше судно легонькой яхтой, я решил бы, что мы попали под удар шквального ветра. Но «Окумия» был тяжелым крейсером, и вдобавок еще пару часов назад на море царил полнейший штиль. Какого…?

— Выгляни и посмотри, — ухмыльнулся Отто. — Выгляни, мальчик мой, и посмотри.

В тот день интернат наводнили люди в серо-зеленых армейских униформах. Может, пришельцев было не так уж и много — наверняка не больше двадцати, — но их присутствие было громким, наглым и непривычным, поэтому казалось, что л'амбар повсюду. На самом же деле они, согнав учеников в один класс, оцепили школу, и внутри осталось лишь двое. Один высокий и костистый, и что-то неуловимое — легкая острота черт, чуть-чуть иной запах — показывало, что в жилах его течет сильно разбавленная кровь народа р'ха. Такие союзы случались еще в прошлом столетии, и лишь после великой войны их окончательно запретили. Возможно, прадед или прабабка высокого жили в той же резервации,

откуда забрали Малека и Хориха. Жили тогда и живут по сей день, а вот этому не досталось долгого века. Оттого такие полукровки были особенно злы.

Второй — низенький, одышливый, налившийся нездоровой кровью — был чистопородным л'амбар и поглядывал на товарища косо. Еще одна причина для ненависти.

Первого звали полковник Джефферсон. Второго — капитан Крик. Еще в аудитории остался наставник-переговорщик Серкан но Лониль. Больше никого.

Полковник Джефферсон, сцепив за спиной длинные руки, прошелся перед грифельной доской. Он покачивал головой и был очень похож на богомола, которого Малек поймал однажды в степи.

— Надеюсь, мне не надо объяснять вам, — начал Богомол скрипучим голосом, — какие огромные деньги государство тратит на ваше содержание и обучение. Надеюсь также, что вам понятна важность задач, которые мы поставим перед вами в будущем, и в первую очередь — необходимость хранить строжайшую секретность.

Малека тут же потянуло в сон, как и всегда, когда наставники говорили слишком длинно и

скучно. Оттого-то он и считался худшим учеником в классе. Безразмерные человеческие слова просто не лезли в уши, а обучение проходило на языке л'амбар — это было одним из школьных правил. Может, дело в том, что в наречии р'ха просто не было тех понятий, что учителя пытались вдолбить в головы нерадивым ученикам.

Малек оглянулся на Хориха. Тот сидел за своей партой в правом ряду, ближе к двери и слушал внимательно, как всегда. Только глаза у него блестели… нехорошо блестели, почти как той ночью на горе.

— Нам стало известно, что один из учеников школы сумел подслушать переговоры, ведущиеся на станции «Клифф–12», и что информация попала в нежелательные руки.

Он так и сказал «нежелательные руки». Малек глупо ухмыльнулся: ему тут же представился л'амбар с лишней парой рук. У л'амбар была длинная и острая физиономия полковника Джефферсона, и картинка вышла очень правильной, ведь у богомолов по шесть лап.

Полковник вскинул голову и обвел класс внимательным взглядом:

— Я хочу, чтобы тот ученик или те ученики, которые в этом замешаны, сами встали и призна-

лись в совершенном преступлении. И далее, мне хотелось бы знать мотивы, сподвигшие вас на предательство, и уяснить…

Человек не договорил, потому что Хорих медленно, с ленцой встал из-за парты и сказал:

— Это сделал я. А почему, ты все равно не поймешь, полукровка. Если уж кто тут и совершил предательство, то не я, а ты и такие, как ты.

В аудитории воцарилось молчание. Стало слышно, как бьется о стекло ошалевшая осенняя муха. И Малек понял, только сейчас понял, что все это серьезно, что это не шутка и не очередное испытание — как презрительно замечал Хорих, проверка на вшивость. Что все так и есть. Се ра. «Се ра», — пропел ветер в его сердце. Се ра, и оконные стекла задрожали под шквальным ударом. Малек еще успел подумать, что это, должно быть, ветер прощается с Хорихом, а может, рвется внутрь, чтобы пропеть обреченному сыну народа р'ха его подлинное и единственное имя…

Хориха в тот день забрали, и Малек больше о нем ни разу не слышал. Потянулись мучительные месяцы проверок, годы недоверия… и вот война. Война все списала, потому что л'амбар не умели говорить с ветром, а их «радио» не умело хранить секреты.

А Хориха, наверное, казнили. Смертные очень любили казнить. Их жизнь — короткая, как пляска светляка, — не имела для них никакой цены. Так почему же, стоя на крыше переговорной станции «Жемчужная Гавань» и глядя на фосфорический прибой, где миллионы и миллионы мелких существ растрачивали свой огонь на бессмысленное свечение, Малек так часто думал о Хорихе?

Это был смерч, но такого смерча я никогда не видел. Огромная воронка, перекрывшая полгоризонта и увенчанная короной лиловых молний. Молнии освещали море прерывистым светом, и поднятая в воздух водная масса была полупрозрачна, как опал. Опал высотой с гору. Наш крейсер плясал на волнах, словно ореховая скорлупка. Матросы суетливо носились по палубе, разносились свистки и вопли офицеров. Самое жуткое в смерче было то, что он ворочался над морем в полном беззвучии. Эти миллионы тонн воды должны были реветь, грохотать, безумствовать, как худшая из горных вьюг. Однако смерч молчал. Я оглянулся на полковника. Вцепившись в поручень и побелев до того, что сейчас вполне бы сошел за германца, Того отвалил челюсть и выпучил глаза. Стоявший рядом Отто казался

невозмутимым. Он снова нацепил фуражку на свою густую черную шевелюру и смотрел на смерч, оценивающе прищурив глаза. «Союзники», — говорил он. Какие, Ульмо их побери, союзники могли устроить такое?!

К нам подбежал взмыленный вахтенный офицер и, пуча глаза, совсем как Того, пролаял:

— Капитан просил уточнить приказ.

Отто царственно воздел руку, указывая на гигантскую водяную стену:

— Идем туда.

Офицер мотнул головой, словно его укусил москит, и умчался на мостик. Я ощутил, как губы невольно расползаются в усмешке. Самоубийство, но какое красивое. Да, Душка Отто знал толк в красоте. По лицу хлестнули водяные брызги. Я откинул голову и расхохотался, потому что это было весело, да, очень весело, господа!

— Эй, Малек!

Малек оглянулся. По имени к нему обращался только один человек — радист, веселый рыжеволосый парень из Яблочного Штата. Кажется, этому парню — Джеку, Джону? — было совершенно плевать на то, что рядом с ним работает нелюдь. Он даже, не боясь дурного глаза, показал однажды напарнику фотографию своей девушки:

такой же курносой, рыжей и веснушчатой и, наверное, такой же веселой. Джек-Джон принимал обычные радиосводки, отчеты метеорологов и прочую незасекреченную информацию. Малеку досталась более трудная миссия и, вероятно, более почетная, только никто не спешил почитать его за выполненную работу.

— Мал, только что мне свистнули с метеостанции. Похоже, они засекли ураган, который движется в нашу сторону. Слезал бы ты с крыши.

Джек-Джон говорил, откинув крышку люка, ведущего вниз в рабочие помещения. Из люка бил свет. Антенна за спиной человека начала низко гудеть. Малек ощутил странную щекотку, напряжение, разлитое в воздухе. По коже словно бежали электрические змейки. Гроза, похоже, и правда будет сильной.

Ковырнув ногой покрывающий крышу гудрон, Малек ответил:

— Сейчас спущусь.

— Ладно. Давай.

Человек скрылся в люке. Малек, сощурив глаза, всмотрелся в горизонт. Все та же полутьма-полусвет, фосфорическое свечение у самой кромки прибоя и чернильный мрак вдалеке. Ни шороха, ни дуновения, лишь чуть заметная дрожь — как

будто мыльная пленка этого мира рвалась под напором изнутри. Немного похоже на то, что он когда-то чувствовал в Гранитных Зубцах… Откуда такие мысли? Р'ха хмыкнул. Вот так, вспоминаешь, вспоминаешь и довспоминаешься до того, что стирается граница между настоящим и прошлым, реальностью и воспоминанием и даже своей памятью и чужой. Таков уж дар народа р'ха — в каждом из них, как солнце в капле воды, отражались все минувшие поколения.

Но это воспоминание принадлежало самому Синему Лису.

Мы шли сквозь огромную волну, раздавшуюся, словно воды Тростникового Моря в легенде л'амбар. Матросы старались не смотреть. Я не отводил глаз, но видел совсем другое. Вместо водяной стены с мертвецким лиловатым отблеском в глубине я видел вздыбившийся лед. Я видел воинов в светлых кольчугах, спотыкавшихся, падавших, резавших руки и ноги в кровь об эти острые льдины, и все же продвигавшихся вперед. Я видел оставшиеся позади тела с побелевшими лицами, с глазами, запорошенными пургой. Я знал имя — Хэлкараксэ, — но не понимал, почему вдруг во мне проснулась чужая память.

А потом и это стало неважно, потому что мы

миновали стену воронки, и я увидел корабли.

Они громоздились в водяном тумане, в самом зрачке смерча, как небывалый, всплывший со дна город. Черные бастионы над бастионами, ряды орудийных башен, дула бесчисленных пушек и дымовые трубы, закоптившие небеса до цвета грязного тряпья. От кораблей несло гарью и жаром, словно из жерла гигантской топки. И они были громадны — каждый раз в десять больше нашей «Окумии». Как они вообще держались на воде? Как эти плавучие крепости не переворачивались, не ломались пополам под собственным весом? Я не понимал.

Самое странное, что, несмотря на грубую материальность угольно-черных чудовищ, было в них что-то неверное, призрачное, словно, прорвавшись к нам из другого мира, они еще не до конца обрели плоть. Но даже в этом виде корабли были ужасны. Ужасны и прекрасны одновременно.

В дымовых тучах над ними парили аэростаты и низко гудели самолеты, похожие на стаи ос. Между машинами помельче виднелись темно-брюхие колоссы, мало уступавшие кораблям внизу. Бомбардировщики? Транспортники? Матки в осином рое…

Из-за плеча раздался хрипловатый голос обер-

штурмбанфюрера:

— Что, Хорьхе, хороши?

Я обернулся. Полковник, утратив дар речи, пялился на невозможную флотилию. Во взгляде Отто сияло торжество, но имелась там и немалая доля опаски. Что бы германец ни ожидал увидеть здесь, в зрачке смерча — получил он гораздо больше ожидаемого. Я облизнул пересохшие губы и спросил:

— Кто они?

Оберштурмбанфюрер осклабился:

— Сейчас увидишь, Хорьхе, сейчас увидишь.

Оглянувшись через плечо, он проорал:

— Шлюпка готова? Шевелитесь, черти узкоглазые, мне не терпится поприветствовать наших союзников!

И снова мне почудился страх в его вечной браваде. Я покосился на полковника. Если он и обиделся на «узкоглазых чертей», то виду не подал. Узкоглазые, остроухие… я ухмыльнулся. Для Душки Отто, похоже, весь мир был большим зоопарком. И экспонатов в нем только что прибавилось.

Заскрипела лебедка — матросы спускали шлюпку. С удивительным единством они отворачивали лица от черной флотилии. Кое-кто делал

знаки от дурного глаза. Эти жесты я успел хорошо выучить, ведь обычно ими встречали меня.

Шлюпка, плеснув, закачалась у правого борта. Отто, развернувшись, зашагал к трапу. Я пожал плечами и пошел за ним. Вода за бортом была свинцово-серой, глянцевитой и гладкой, словно залитая маслом. И еще — здесь не было ветра. Совсем. Ветер молчал.

...Тогда они с Хорихом еще жили в резервации. Неподалеку от общинного пастбища за высохшим руслом реки высились каменные зубцы. Серый гранит, пропеченный солнцем, отбрасывающий бледную тень на травяную равнину внизу. Протиснувшись в треугольную щель между двумя зубцами, где при любой жаре снаружи всегда было сыро и холодно, оказывался на маленькой полянке. Здесь росли папоротники и пахло землей и влагой, и сюда почти никогда не падал солнечный свет. Кругом поднимались каменные стены, а на стенах пестрели рисунки. Звери и птицы, и совсем непонятные твари с распростертыми крыльями, с узкими ящериными головами. Настоящие ящерки тут тоже водились — изумрудно-зеленые с яркими бусинками глаз. Таких не встречалось на равнине снаружи.

Хорих вообще говорил, что это волшебное

место, кусочек *астар* — былого. Говорил, что смертные сюда войти не могут. И взрослые тоже не могли, но это как раз понятно: им ни за что бы не пролезть в тесную расселину между скал.

— Кто же оставил рисунки? — спрашивал Малек.

Хорих, сидя на корточках и водя пальцем по горбатой спине нарисованного бизона, спокойно отвечал:

— Такие же, как мы. Дети. Они ждали найр-ха, надеялись и боялись, и молились здесь своим детским духам. Потом, когда ветер называл им истинное имя, они забывали.

Малек наполовину верил, наполовину — нет.

А однажды Хорих добыл где-то синюю и черную едкую глину и сам сделал рисунок. На высоте глаз, на маленьком свободном участке. Он нарисовал синего лиса, бегущего по степи, и парящего в небе над ним черного коршуна и сказал:

— Это будут наши тайные имена до тех пор, пока ветер не откроет настоящие. Ты будешь Синий Лис, а я Черный Коршун. Никто, кроме нас, не должен знать. Поклянись.

И Малек поклялся. И Хорих тоже поклялся. Потом ему часто казалось, что Хорих забыл клятву. А вот Малек помнил. Никто не знал, что его зовут

Синий Лис. Его звали Синим Лисом до сих пор, потому что ветер так и не дал ему истинного имени. И об этом не знал никто, кроме Хориха, но Хорих был мертв, а значит, не знал никто вообще.

Я смотрел на татуировку на его щеке. Для этого приходилось задирать голову — он был намного выше даже немаленького Отто. Темные волосы без седины, правый глаз цвета весеннего, набрякшего влагой льда. Левый глаз заменял механический протез — яркий сапфир в платиновой оправе. И эта татуировка… косой кельтский крест, солнечное колесо… свастика. На нем была фуражка с высокой тульей и черный мундир, так похожий и непохожий на мундир Душки Отто, что сразу становилось понятно, где копия, а где оригинал. Мне ни к чему было гадать по птичьим внутренностям или спрашивать у ветра, откуда принесло чужаков и кто они такие. Но Отто повел себя странно. Когда мы вошли в каюту, он замер у самого порога, вскинул руку в знакомом каждому салюте и проорал:

— Приветствую вас, партайгеноссе Штерненхиммель! Рад наконец-то лично встретиться с председателем общества «Ультима Туле», оказавшего столь значительную поддержку нашему делу…

Дальше я уже не слушал.

Звездное небо. Звездный свод. Звездный купол. Хорошее имя для того, чей отец сам заделался звездой…

Татуировка искривилась — высокий эльда улыбнулся. И ответил на чистейшем германском:

— Благодарю, Отто. Особенно я благодарен за то, что ты привел мне свою ручную зверюшку.

Оба глаза — серый живой и пронзительно-синий механический — уставились на меня. И неожиданно мне стало пусто и холодно, словно ветер, певший во мне с самого рождения, ветер, рыдавший над равнинами задолго до того, как дед моего деда появился на свет, — как будто этот ветер иссяк. Как будто его втянуло в неведомую межпространственную дыру, отрыгнувшую в наш мир черные корабли.

Я попробовал вспомнить хоть несколько слов на синдарине, но в голову не лезло ничего, кроме детской колыбельной. «А Элберет Гилтониэль…». Да уж. И тогда я сказал на языке тех л'амбар, что до сих пор считались моими согражданами, хотя продали и предали меня так же, как я продал и предал их. Я сказал:

— Корабли должны быть белыми, Полуэльф.

Зачем ты покрасил свои корабли в черный цвет?

Отто нервно дернулся. Он отлично понимал британский, но меня он не понял. А оберштурмбанфюрер, первая лиса, почетный диверсант и провокатор Третьего рейха, очень не любил не понимать.

Высокий чужак прищурил правый глаз. Странно, что мысленно я называл его чужаком, хотя общей крови у нас было куда больше, чем у меня и смертных.

— Я не перекрашивал корабли, маленький авари. Я выполнил свое обещание и сжег белые корабли сразу после того, как мой народ ступил на землю Амана. Но это не означает, что я не желал вернуться и отомстить.

Этола ар ачарна. Вернуться и отомстить. Он перешел на синдарин. Я заметил не сразу, а когда заметил, не очень удивился тому, что понимаю, ведь этот язык шелестел в моей крови вместе с тысячей других языков и имен. Зато Отто задергался сильнее и начал оглядываться через плечо, но тяжелая металлическая дверь каюты за его спиной уже захлопнулась.

Эльда улыбнулся и провел кончиками длинных и тонких пальцев по столу с расстеленной картой. Его кожа, казалось, чуть светилась в полумраке

каюты. Высокая фигура в черном, с призрачно мерцающим лицом выделялась в сумраке так резко, что очертания других предметов терялись. Я лишь смутно различал кресло с высокой спинкой, горбатые тени приборов на столе и какую-то картину на стене… Парусник, море, небо с одинокой звездой… Память об его отце, Эарендиле?

Заметив, куда я смотрю, эльда кивнул:

— Ты прав. Сильмарилл. Для начала нам следовало вернуть сильмарилл. Моргот Бауглир не зря охотился за ним, как и большинство властителей Первой Эпохи. Тебе не представить, авари, какая сила кроется в этом камне. Он не просто светоч, а источник неисчерпаемой, первобытной, стихийной энергии, капля крови самой Эа. И мы сумели его вернуть.

Оберштурмбанфюрер испуганно вякнул:

— Партайгеноссе, не могли бы вы перейти на понятный мне язык?

Не обращая на смертного внимания, эльда шагнул ко мне. Боги, каким же он был высоким — на две головы выше меня! А ведь он тоже всего-навсего полукровка, бледная тень Перворожденных.

Владыка черных кораблей повел рукой.

— Все, что ты видишь, создано с его помощью.

Мы копили мощь. Мы ждали. Мы искали союзников, а когда не могли найти, сами их создавали. Этот глупец… — он поднял подбородок, указывая на жмущегося к двери Отто, — …имеет наглость считать, что его фюрер купил нас. Предложил за содействие в войне весь западный материк. Все то, что осталось от нашей — твоей и моей — земли. Этот жалкий эдан даже не догадывается, что его организацию я придумал за один вечер за бокалом чудеснейшего вина. В прошлом году виноград на склонах Пелори уродился особенно сладким…

Он улыбался, называя имена, которые были для меня даже не памятью — легендой. Так, наверное, почувствовал бы себя смертный, отправившийся порыбачить на лодке и наткнувшийся на Левиафана. Он и сам был похож на Левиафана: невообразимо древний, со светящейся кожей и сердцем из чистого яда. Ветер, замолкший было во мне, проснулся и вздохнул — робко, как первый утренний бриз, чуть тревожащий листья акаций.

— На что он похож, ваш Аман? — тихо спросил я на языке, забытом дедом моего деда.

— Тебе не вообразить, авари. Тебе не понять. Мы сровняли горы с землей и подняли из земли

новые горы. Там, где тянулись голые пустоши, мы отстроили города. Твердыни Форменоса не сравнятся даже с моей привратницкой. Мы создали небывалые металлы, легче воды и тверже алмаза. Мы сконструировали механизмы, которые и не снились смертным. Нам служат огонь и пар, мы подчинили ветер, и волны, и самый солнечный свет…

— Вы подчинили ветер?

Эльда снова улыбнулся. Свастика на его щеке дернулась, будто лапки издыхающего паука.

— Я осведомлен о твоем маленьком таланте. Какая-то мутация, должно быть. Никогда не слышал, чтобы эльдар, синдар или авари говорили с ветром… Хотя, конечно, причем здесь ветер? Обычная передача мыслей на расстоянии.

Это все для меня и решило.

Отто у двери продолжал скулить и даже, кажется, потянулся к кобуре.

Интересно, неужели германец действительно полагал, что сможет убить того, кто прожил несколько десятков тысячелетий? Хотя потерял же он как-то глаз…

Мысль промелькнула и исчезла. Эльда все еще говорил. Я не слушал. Не слышал. Крепко зажмурившись, я призывал ветер.

Первый шквал обрушился на здание переговорной станции так неожиданно, что чуть не смел Малека с крыши. Р'ха удержался, вцепившись в железный костяк антенны, и на четвереньках пополз к люку. Люк не открывался. Малек ошалело оглянулся через плечо. Тьма над морем разверзлась, и из ее бездонной глотки пахнуло ледяным ветром. В ветре слышался голос, но Малек не успел разобрать чей, потому что люк рвануло под пальцами. Крышка распахнулась, и рука Джека-Джона втащила его внутрь.

Оба кубарем скатились по скользкой железной лестнице. Стены задрожали от второго шквального удара. Свет замигал, и Джек-Джон проорал р'ха в самое ухо:

— Там настоящий ад! Метеорологи потеряли связь с самолетом. Последнее, что летчик успел им передать: «Я вижу вход в бездну, и он захлопывается». И еще нес какую-то чушь про черные корабли и ветер, посланный богом…

Малек отпихнул его трясущиеся, влажные от пота руки и встал. Голос в ветре крепчал, усиливался и нес слова: «Эдайн де фера. Эдайн фьорле. Иска мале пер тог сонновайр».

Предупреди авиацию. Предупреди флот. Добейте тех, кто останется.

Прощай. Прощай навсегда, Синий Лис.

«Се ра. Се ра шанс куо на мори».

Ветер безжалостно ломал стены переговорной станции.

Мальчик бежал вниз по освещенной луной тропе.

Потом мальчика не стало. Остался один ветер.

Юрий Иванов. *РАЗБУДИТЕ ХЕРЦИНА!*

Хенерал Ведмедев прочел доклад столичного снабженца и смачно выругался. Наложенное поверху указание Воеводы «принять решительные меры» зело встревожило: за неисполнение могли запросто уволить из войска! Сгоряча надумал было пустить виновника в расход, но потомственный собаковод Ведмедев превозмог в себе осторожного службиста. Распорядился пока держать пса в клетке и выгуливать только ночью, чтоб ни одна посторонняя сволочь не увидала. И еще наметил оторвать свой начальственный зад от кресла и, несмотря на зиму, лично наведаться в питомник, чтоб воочию во всем убедиться. Пес-то, как писал полуполковник Хохолев, ценный, однако хотелось бы понять, из-за чего рискуешь…

Год тому назад нашел собаку прапорщик Вес Белицкий, из Князевского питомника который. В аккурат под зимний перелом солнечный отправился он в соседнюю поросячью военчасть за мясом. Запряг в сани полковую клячу Надью, и покатили — не на горбу же своем туши таскать!

Выписал наряд на мясо. А как дело до отбора

дошло, чернявый поросячий ефрейтор хитрованского племени указал на угол хлева, где лохматая бурая хрюшка кормила выводок поросят:

— Молочных брать будете? — и хитро поглядел на прапорщика.

В наряде значился один поросеночек: у полуполковника Хохолева день рождения близился, на пятую дюжину лет заходил начальник питомника, полагалось стол накрыть от души.

Среди хвостиков-завитушек, подрагивавших от усердного сосания, прапорщик сразу выделил прямой короткий хвост, хотя бы оттого, что его обладатель был крупнее собратьев и заграбастал самый дойный сосок.

— Беру этого, — не раздумывая, заявил Белицкий. В наряде значилось: «Молочный порось — одна штука», а приглянувшаяся штука была весьма мясистой и аппетитной.

Ухватил бравый прапорщик поросенка за ногу да чуть не испугался. Вместо копытца — когти!

— Чертенок, что ли?! — брякнул невпопад Белицкий и поднял тяжеленького молочника повыше.

И точно — не поросенок оказался! Извернувшись в воздухе, животное клацнуло зубками и уставилось на прапорщика любопытным взгля-

дом карих глаз.

— Смотри-ка, песик! — изумился Белицкий. — Откуда он тут?

— Кто знает, — пожал лукавый сержант плечами, — приблудный, может, из трубы вылез. Так как, берете?

Про трубу Вес знал, но немного. Была она гладкой, будто вырезанная из неизвестного серого камня. В полсажени в поперечнике уходила труба в землю под малым уклоном в сторону реки Мошковолжи. Если умом пораскинуть, под ней и проходила. Потому как на другом берегу другой такой же конец ее выступал как раз у драконоводческого гарнизона.

До провала еще, когда в несколько лет земля просела почти по прямой от Дубены до самой Мошковы́, никакой трубы не было и в помине. Потом в самых глубоких местах огромной канавы хлынула снизу вода: вблизи Икоши, Выхромы и еще кое-где. А когда провал заполнился, потекла вода из Мошковы́-реки в Вологу. Недолго думая, назвали новоявленный водоем рекой Мошковолжей да пользовать стали. Вскорости концы трубы и стали выпирать, будто река ее собой придавила в глубине.

Драконоводам-то вообще все по бубну — про-

сто устроили из трубы поганую яму. Куда-то ж надо драконий навоз девать! В первые годы, когда часть только разворачивали, селяне забирали дерьмо на удобрение. Урожай получался несметный! Но когда у сельских детишек новорожденных стали крылья на спине прорастать, зареклись селяне да новые пашни подняли, от греха подальше. А старые поля забросили да в наделы переименовали — дракон наделал, значит. Военные тогда просто задачу разрешили — в трубу дерьмо сваливать! Верно говорят: где появляется дракон, там порядок кончается.

На восточном берегу реки любопытства особого к трубе не проявляли: ну, труба, ну, из серого камня. Мало ли непонятностей на свете! Главное, жить никому не мешала и оборонная мощь Росси́ от нее не страдала.

— Беру. А ну, поехали, посмотрим, где он выполз, — скомандовал Белицкий солдату. А на полуполковниково празднование решил потом что-либо сообразить.

Ефрейтор пожал плечами и согласился. Начальства своего он, видать, не опасался. Хитроване мастера вино делать, да в подарок его подносить. Спускалось им, чего уж. А хитрость его прапорщик уж после понял: списали-то поросенка, а

отдали приблудную собачку. Навар, однако, особливо когда неучтенный порось подрастет!

Посадили песика на дровни, поехали. По пути глядит Белицкий, а пес-то еще молодой, щенок, можно сказать. Даром что с полпуда весом. Доверчивый, за палец покусывает, у прапорщика на груди сиську ищет. А какая у прапорщика сися — смех один. Вот если дородную жену его Марусю взять — вот тогда да! Правда, молока от нее не дождешься, порожняя она, но насчет потискать — самое милое дело. Знал Вес, что кое-кто из охотников до жениной груди порой до нее добирался, а то и не только до нее.

Не успел Белицкий вздохнуть горестно по поводу непутевой жены, как из-за кустов появилась труба. Конец ее был завален снегом почти доверху, на локоть только дырка темнела. Земля рядом, вывороченная рыжими комьями, от когтей следы. Прапорщик заглянул туда, лучиной зажженной посветил — ничего не видать. А щенюшка тут скулить принялся да с дрог спрыгнуть норовит. Хитрованец его с трудом удерживает, прапорщика зовет.

Взял Белицкий щенка на руки, к трубе поднес. Совсем взбесился песик — пищит, от трубы воротится, вырывается. Не стал прапорщик мучить

собачку, погрузились и в часть родную поехали. А как до дому добрались, решил оставить щенка у себя, в питомник не сдавать. Потому как породы пес неопределенной, по всему, нездешней, и для какой военной надобности сгодится, только время покажет.

Жена Маруся подобрала собаке кличку:

— Были в древности, я слыхала, два великих бударя — Белицкий да Херцин, кого хошь на ратное дело поднять умели, — объяснила Маруся мужу. — Хоть кляклого-размяклого, хоть целое войско на конях, если надо. Раз, Весенька, ты Белицкий, то вот тебе дружок Херцин, он тебя по тревоге поднимать станет, не все ж мне тебя расталкивать! Хоть высыпаться буду.

Это она в отместку так назвала, за первую служебную собаку мужнюю. Черная с темно-рыжим подпалом херманская козявка так глянулась Весу, что души он в ней не почаял: умна, послушна, работяща. Он тогда только сватался к Марусе и, чтобы невзначай не назвать суженую другим именем, собаку тоже Марусей именовал. Девица поначалу отказывала Весу, говорила: «Есть у тебя уж одна Маруся, с ней и любись». А потом уступила. Стало две Маруси у Белицкого — собака да жена. Одна верная, другая погуливала.

Терпел Вес, попивал только порой, когда совсем невмоготу становилось. Его жалеючи, полуполковник Хохолев властью данной ажно развести суженых грозился — прилюдно, перед строем. Однако ж слово обручальное было Весом дадено, а прапорщику росскому не след от слова отступать! Терпел.

Так бы и шло оно, да позор, однако, случился.

В питомнике в конце полевого года подводят итоги, лучших собак выбирают. И вот Хохолев при всем честном народе оглашает, что сукой года признается Маруся прапорщика Белицкого. Половина военных — в хохот, другая — молчит смущенно. Тут Вес и понял, что врут люди — не со всем гарнизоном погуляла его благоверная, а только с половиною. С тою, которой не до смеха было.

Понятно, почему не до смеха. Не смотри, что увалистый и косолапый, Белицкий весил с дюжину пудов, был крут да сноровист, и под горячую ногу ему бойцы старались не попадаться. А вот Марусю свою жалел нежно, пылинки сдувал, ни разу пальцем не тронул, хошь и было за что.

Тут бы и разойтись ему с Марусей, ежели не по сердцу, а по уму поступить. Но сердце уму не соратник. Всего и сделал тогда Вес, что служебную

собаку переименовал в Верную. Чтоб, значит, животное не срамить. Теперь-то собака померла, а верность ее прапорщик помнил! И от Херцина того же ожидал.

Дело прошлое, да живучее. Высыпалась с тех пор нагулявшаяся жена, Херцин Веса и впрямь будил. И рос пес, рос! Шерсть темная, с серебристым отливом. За год больше доброго хряка вымахал. С полдюжины пудов, тулово плотное, лапы крепкие и шустрые, даром что внутрь развернутые сильно. Ни дать, ни взять — второй прапорщик, только на четырех ногах ходит. Подшучивали служивые, мол, Херцин — это Белицкий после полуведра браги.

Послушный, ни на шаг от Веса не отходил. И боец бесстрашный. Правда, драться ему не давали: ни один даже бульбуль бурский ему не соперник — чего ради слабым кости крошить?

А с месяц тому жена Весова ушла. Из-за пустяка, казалось бы. Сказала, к столичному снабженцу. Чудно́! Тому теперь женские ласки как нож острый. Супротив зубов Херцина и самая большая берцовая кость не сдюжит. Тем паче, похотливая конечность, за которую пес ухватил кобелястого снабженца, когда тот воровато выскользнул из двери дома Белицкого. По запаху отработал, ум-

ница! Посчитал, видно, что суетливый носатик уносит что-то из имущества хозяина. Ведь все, что пахнет Весом, это его достояние! И жена тоже. А на кой ляд мужику достояние, которое само раздаривает себя направо и налево — не собачьего ума дело. Рванул зубами, и ладно.

С того случая Херцина по приказу хенерала Ведмедева поместили в клетку, где пес тут же задрых на месяц, а Белицкий на тот же месяц запил, ожидая неизбежных разборок: снабженец — та еще штучка придворная…

Утром уходящего года направился прапорщик Вес Белицкий с обходом к собачьим клеткам. Голова разваливалась со вчерашнего надвое, снег противно скрипел под ногами, солнце выбивало слезу из покрасневших глаз.

Жить не хотелось совсем, подкосил служивого уход Маруси. Если б война какая шла, так напросился бы в самое пекло — геройски голову сложить. Но Хохолев поведал, что войны нынче не предвидится, и самое большое, что может сложить Вес, коли не бросит пить, так это звание прапорщика и причитающееся продуктовое довольствие.

Война, не война, а дневальному по питомнику от обязанностей не уйти. Как говорится, утренний

обход не отменяется, даже если больная голова вообще забыта дома на тумбочке. Грело токмо, что через три недели день начнет прибавляться — все ж повеселей на душе станет.

Смутно припоминалась прошлая хмельная ночь и сон, с нею пришедший. Приснилось прапорщику, будто бы направился он с Херцином к трубе, а оттуда стали вылезать зеленые чертики, все шустрые и носатые, как злосчастный снабженец. Знатно погонял их Вес по белой равнине, вихри снежные кружа! Выли черти, плакали аки дети, а все едино Вес с собакою загнали их обратно в трубу. А оттуда вдруг Маруся его как закричит: «Вот и спасибо тебе, Весюшка! С ними мне не скучно будет!» На том и проснулся.

Только прапорщик свернул за угол, к клеткам с ищейками, как послышался скрип ворот, и в питомник вкатили крытые дроги противодраконовой пятнистой окраски. «Снабженец ябеду накатал, — от мгновенной догадки сердце Белицкого тревожно екнуло, — ну, теперь дознание начнется по полной!»

Тяжелая повозка на мягких колесах, шурша по утоптанному снегу, прокатилась еще чуток и замерла. Из открывшейся двери и впрямь показалась хенеральская коса с двумя вплетенными

алыми лентами, заколотыми двуглавым золотым петушком. Промеж себя в питомнике военные шутили, мол, придуман сей знак во времена великой государыни, одновременно и на благо Отечества ловко крутившей головами как Государя-батюшки, так и Воеводы-дядюшки.

А тут и весь остальной хенерал Ведмедев ступил на снег питомника. Рядом с ним образовался невысокий серый человечек, пристально зыркающий по сторонам из-под меха бровей. Тайная служба! Пока Ведмедев принимал доклад полуполковника Хохолева, серый, будто знал заранее, сразу направился к клетке нумер восемь дюжин четыре. Со злорадной усмешкой проверяющий удостоверился, что в ней дрыхнет здоровенный пес непонятной породы. Пожелтевшие перья домашней птицы, выбившиеся из плетеного тюфяка, возносились горячим дыханием животного к потолку клетки и, кружась вперемешку с пушистыми снежинками, оседали на лохматом собачьем боку.

— Что за чудо в перьях?! — строго поинтересовался серый у Белицкого. — Дворняга?

— Это чудо природы зовут Херцин, — пояснил прапорщик, не моргнув глазом. — Только не дворняга он, а боевая норная собака. Да вот, тут

все сказано.

Прикрученная дратвой к загородке, отделяющей клетку от остального мира, белая планка дегтевыми буквами сообщала: «Кличка — Херцин, порода — хихантский чаво-чаво, боевой вес — шесть пудов, назначение — норный штурмовик». Выходило все по военному правилу, ибо собака без предназначения в войске ни к чему.

— Похож на хряка, — с сомнением отметил гость, — только когти вместо копыт. Как черт, только толстый. А по какой статье расход оформляете?

— Ест, сколько требуется для поддержания боевой формы. Кормим как штатную собаку, из общего котла.

— Теперь понятно, отчего в докладе снабженческой службы отмечены огромные растраты! Такая бесполезная туша все нормы сожрет, — серый еле заметно скривил губки. Как и всякий проверяющий, он искал повода придраться, хотя сам-то понимал, что один неучтенный пес ну никак не объест четыре дюжины дюжин собак, содержащихся в питомнике.

— М-м, штурмовик, — недоверчиво процедил он. — И какие же боевые действия могут быть… хе-хе… в норах?! Подземные короли какие-нибудь

на нас нападут, что ли?

— Это военная тайна, господин проверяющий! — не растерялся прапорщик. — Ежели хенерал Ведмедев дозволит, сообщим.

А тут и бас хенеральский за спинами послышался.

— Кто тут меня всуе?.. Об чем беседа?! — поинтересовался подошедший Ведмедев.

— Да вот, прапорщик ваш скрывает что-то касательно этой собаки, — повел серый подбородком на храпящего Херцина. — А сокрытие сведений — вопрос государственной безопасности! — он указал в небо пальцем. — Мое, стало быть, ремесло.

— Гм…э… кхе… — замялся хенерал, любуясь диковинным зверем. — Прапорщика понять можно, — он живо представил себе картиночку, как пес обесценивает снабженца, и с трудом упрятал усмешку в усы, — у Белицкого с этой собачкой личное связано, не расскажет.

— Не прелюбодеяние ли?!

Белицкий напружинился и сжал кулачищи. Серый и впрямь пальцем в самое небо попал, и от того подозрения еще обидней сделалось.

— Говорит Белицкий, твое высокоблагородие, будто тебе ведомо военное назначение сего про-

жорливого пса, — с подозрением поглядел снизу вверх серый на хенерала, — и будто бы где-то поблизости угроза для Росси из-под земли исходит!

Тут Ведмедев понял, что наврал Белицкий с полкороба. Надо как-то выкручиваться, а опасно! С другого боку глядеть — собака и верно знатная. Такую на развод бы, да телохранителей для государей выводить! Слава-почет на века!

Решил хенерал, пусть прапорщик сам выкручивается, а там поглядим.

— Ну, Белицкий, ответствуй, — разрешил он, — господин тайный советник имеет право.

Теперь и прапорщик озадачился: одно дело — на клетке дегтем мудреные слова царапать, а совсем другое — тайной службе лапшу в уши вправлять. Ох, и несдобровать Весу, коли серый подлог раскусит! Была не была — решил. Херцин ему все ж как брат меньшой, отступаться негоже!

Пришел тут ему на ум сон ночной…

— Лезут, господин тайный, лезут из-под земли. Окорачиваем доблестно!

Ведмедев ажно поперхнулся! Ведь про военные действия докладывать государю надобно, особливо с иномирцами ежели.

— Кто лезет? — елейно пытает тайный.

— Дак ить… — прапорщик понизил голос до шепота, — зеленые человечки!..

Хенерал заскрипел зубами, готовый за наглое вранье немедленно взгреть прапорщика по пятой точке. Пресловутых зеленых никогда живьем не видели, и летучие блюда ихние ни разу дракон не сбивал наземь. Дабы пресечь сомнения в войсках, Воевода запретил упоминать сии явления даже вслух, уж не говоря про писаные доклады.

— Другой день, по два, по три вылезают. Противные такие! Носатые. Росту небольшого… — Вес приложил ребро ладони к груди, и как раз вровень с макушкой проверяющего получилось. Хенерал скрытно показал Белицкому кулак, и ладонь прапорщика сразу опустилась до пупа.

— Вы тут не до чертиков ли допились вдали от стольного города?! — осерчал тайный, принюхиваясь, и Белицкий похвалил себя мысленно, что утром не забыл дубовой коры пожевать для отводу запаха. — И чего зеленые хотят? — снова задал каверзный вопрос проверяющий.

— Знамо чего — мяса! — не растерялся Вес. — Ворую-у-ут! Кости-то поросячьи мы на санях к лесу вывозим, шкуры селянам сдаем на дубление, а в столовой только сало дают. Все думали, куда же мясо девается? Собакам тоже поросятину

нельзя, — тут, заслышав про недостачу, хенерал грозно насупил брови, и прапорщик извинительно развел руками: — Мы уж думали, что теперича велено так ро́стить поросей, чтоб без мяса совсем. А как-то глядим — человечки зеленые от задов столовой что-то тащат. Мы их вязать, а они шустрые такие — шасть, и в трубу!

Насчет поросятины прапорщик привирал не сильно: бывшая жена Маруся в столовой стряпухой работала, но, сколь ни пытал ее Вес, так и не призналась, куда мясо девается. Не полуполковник же Хохолев его съедает в одиночку! «А снабженец-то, наверное, не за одной только Марусиной грудью охотился! — догадался теперь Белицкий. — Мясная у них любовь-дружба, выходит. Уж не за тем ли Маруся к нему подалась, чтоб завсегда при достатке быть? А заодно на Херцина все убытки списал, мразь носатая!»

— Как поглядеть, вы тут все бурые и пушистые, а на деле-то рыльце в пушку! Покрывательство налицо! — со злорадством употребил серый новомодное государево словечко, которое простые вояки с обидой воспринимали как намек на неуставное размножение.

Белицкий непроизвольно потрогал ладонью подбородок и убедился, что и впрямь волос на

нем мягкий и шелковистый как пух. Непонятно, что имел в виду проверяющий: не то вышел указ снова брить бороды, не то иное что?

— Ну уж будет, господин тайный, напраслину возводить, — встрял за Белицкого Ведмедев, разобидевшись за «покрывательство», — воров среди моих служивых нету! Насчет зеленых человечков, кхе… конечно, разбираться будем…

Тут из-за клетей послышались крики, сдобренные незатейливым сквернословием, и вскоре к беседующим выбежал полуполковник Хохолев с выпученными, как от ужаса, глазами. Малый снежный завихорь крутился за его спиной. Доброго служаку до такого состояния мог довести разве что налет вражьего драконотряда, да и то навряд ли. К тому ж, и время мирное, и до границы три месяца пешком идти…

— Господин хенерал, разрешите… — начал запыхавшийся полуполковник и, получив одобрительный кивок Ведмедева, продолжил: — Поймали лазутчиков! Двух. Из-под земли выскочили! Из трубы, то есть.

— Кто такие? — вопросил хенерал сурово.

— Неизвестно. Мычат, не разобрать что. Зеленые из себя, носы огромные! — полуполковник изобразил в воздухе рукою нечто, напоминающее

хобот индусского лефанта. — И в белых мелкотканых одежах! — Хохолев многозначительно икнул, мол, такого богатства ни в жисть не видал. — Разрешите предъявить?

Опешивший Ведмедев только позволяющее махнул рукой. Полуполковник, увлекая за собой снежный завихорь, умчался исполнять.

Белицкий, отгоняя наваждение, потряс тут же отозвавшейся болью головой. «Я ж пошутил, — подумал он, — для пользы токмо. Неужто накаркал?..»

Серый проверяющий подозрительно поглядел на обоих, засопел и заложил многозначительно руки за спину. «Сговорились все, — гласило его поведение, — сейчас я вас на гладкую воду выведу!»

Вскоре из-за угла показались Хохолев и двое рослых служивых, которые держали за холку невысоких, как подростки, лазутчиков, подталкивая их вперед. Руки пленных были заведены за спину и, видать, связаны дратвой. И впрямь на них были одежи из ровной чисто-белой ткани, только ступни охвачены светлым и ворсистым. Но главное — головы!

Серо-зеленого цвета гладкая кожа покрывала безволосые черепа, на которых наличествовали

два огромных плоских глаза и ребристый длинноющий нос, конец которого уходил под одежи, не иначе чтоб не путался под ногами во время вылазки. Ушей не виднелось, но там, где им надлежало быть, зеленая кожа выпирала сильнее.

На шеях у пленных висели на кожаных ремнях диковинные составные штуковины из дерева и, судя по тревожному запаху, кованого железа. Деревянная половина была затейливо обстругана наподобие детской лапты. Железная была прямой и нетолстой, с продолговатыми дырами по всей длине. Снизу посредине к штуковине крепился боком плоский железный тоже кругляш шириною с крынку.

— Вот они! — Хохолев показал на пленных.

Был бы серый трусом — не служить ему тайным советником! Он подошел поближе к зеленым человечкам, и со стороны стало видно, что ростом лазутчики все ж пониже его вышли. Проверяющий обошел пленников кругом, поглядел с ухмылкой на белые гладкие ладони, стянутые за спинами бечевой. Поцокал неодобрительно языком, увидев, что на их тыльной стороне волосы почти не растут. Потом пригляделся к зеленой коже на голове, сравнивая ее с кожей на руках, и, с усмешкой взглянув на хенерала,

сделал страшное…

Подцепив ногтем сзади на шее у одного из лазутчиков кожу, он резко дернул рукой, и… зеленое, чавкнув, сорвалось с головы вперед и опало, как тряпка, раскачиваясь на трубчатом носу! Военным предстал краснокожий человечек с голубыми испуганными глазами. Волосы его были очень короткими и светлыми, как у северных норгов, и совсем не росли на лице. Пленный отдувался и затравленно озирался по сторонам. Впрочем, лицо его быстро белело, и взгляд становился все увереннее.

— Кто таков?! — пробасил Ведмедев.

— Здравия желаю, товарищи обезьяны! — пропищал пленник и, помолчав, добавил: — Комвзвода разведроты лейтенант Пантелеев.

— Что за чушь он понес? — спросил хенерал непонятно у кого. Проверяющий тем временем — даром ли их тайную службу живодерами величают! — сделал спускание ложной кожи второму пленнику. Тот оказался таким же краснолицым, но смуглым, чернявым, как хитрованцы, и кареглазым. Прищурившись, лазутчик бойко пропищал:

— Рядовой Анорбаев!

— Вроде по-нашему балакают, а не понятно! —

осерчал хенерал. — Этот, чернявый, он главный по ряду… по отряду, что ли? Толмач в гарнизоне имеется?

— Толмач нам не положен, — ответствовал полуполковник Хохолев, — с собаками мы молча управляемся, силой мысли. Однако сдается мне, что первый вам, ваше высокоблагородие, пожелал здоровья, а потом назвал себя. Важная птица, видать — четыре слова целых!

— А зачем он сказал, будто я должен искать для него какой-то товар?

— Это не вы должны, господин хенерал, а какой-то безьян, — догадался Белицкий и подумал, что второй помладше чином будет, раз его имя короче, и того вполне могли посылать за товаром, — полагаю, напарник евоный.

Он указал рукой на чернявого, отчего тот сразу помрачнел, злобно сверкнул глазами и прошипел сквозь стиснутые зубы непонятное:

— Я не обезьян, я узбек!

Тем временем серый потянул за тесемки белой ткани первого плененного, и одежа опала, явив под ней зеленую! Но не кожу, а тоже ткань, доходившую до шеи! Ниже подбородка на зеленом виднелись полоски черного цвета, а на оных — агатовые камушки о четырех углах.

— Крепко у них тайная служба работает, — проворчал проверяющий, — столько обличий на одного лазутчика выделяют!

— Товарищи, — снова выступил первый пленный, — мы же русские! И вы, видимо, русские, хоть и обезьяны. У нас война там, — он мотнул головой в сторону, откуда их привели. Должно быть, имел в виду трубу. — Мы направлялись на запад, чтоб выйти немцам в тыл, но под каналом имени Москвы враг совершил газовую атаку…

Белицкий, слушая речь пленного человечка, все больше проникал в смысл его речи. Когда лазутчик сказал про какую-то атаку и сморщил свой длинненький носик, прапорщик будто почувствовал ужасную вонь, которую могло производить только драконье дерьмо. Так вот куда их занесло — к драконоводам!

— С кем война? — спросил Белицкий, не по чину беря переговоры на себя.

— С Германией же, — удивился человечек, пожав плечами, и продолжил рассказ: — Мы надели противогазы и пошли вперед, но враг стал заваливать трубу, и мы повернули назад, но вышли не к своим, а… сюда вот.

— Чудно́, господин хенерал, — доложил Белицкий, — я понял, что они тоже росичи, воюют с

Херманью, которая будто бы сразу за Мошковолжей. Разрешите допросить?

— Валяй! — с интересом согласился Ведмедев: громадному прапорщику мелкие лазутчики все выложат без утайки, коль жить хотят. — Про военные хитрости спроси, какие у них пользуют. — И пробурчал в усы: — Это ж надо, Хермань до Мошковы допустили!..

Белицкий подошел меж тем к пленным и, ухватив трясущегося Анорбаева за белый край одежи, вопросил:

— Эта ткань пошто?

— Так ведь маскировка! — удивился снова тот, что назвался Пантелеевым. — На снегу чтоб не обнаружили.

Белицкий представил себе, что могла бы означать «маскировка», и ему привиделось, как Пантелеев ползет по снегу. В небе с ревом кружит дракон с крестами на крылья, и не видит Пантелеева, в которого хочет метнуть огонь или сбросить мертвящее дерьмо. «Вот дурень, — подумал Вес, — тебя ж по-иному все равно видно!»

— Глупо, — сказал он Пантелееву и отвел глаза. То есть уставным военным приемом стал невидимым. Затем сбросил глазотвод и, снова появившись, спросил: — А так почему не делаете?

Назвавшийся Анорбаевым тихо завыл: «Шайта-ан, шайтан!», и в сознании Веса нарисовался чертенок, но почему-то с копытами. А Пантелеев потряс головой и сказал восхищенно: «Вобла!» или что-то вроде того, и Белицкий, пытаясь понять слово, почему-то вспомнил бывшую жену Марусю. Во всяком случае, незаковыристая военная хитрость поразила лазутчиков.

— А это пошто? — прапорщик потрогал зеленую ткань на Пантелееве.

— Так ведь гимнастерка, — удивился лазутчик, — военная форма. Это — знаки отличия, — попытался он подбородком дотронуться до агатового камушка. К тому же зима, — он передернул плечами, — холодно!

Белицкий показал на вплетенную в его бурую косу прапорщицкую двойную желтую нить, на густую шерсть, покрывавшую все его могучее тело с ног до головы:

— А так если? — спросил он.

— А так не получится, — ответил с сожалением Пантелеев, — мы уже от вас произошли.

В голове Веса при этом промелькнул ряд намалевок, показывающих сначала прапорщика, ползущего на четвереньках, потом его же стоящего на ногах, но сильно полысевшего и с дубиной

и так далее, пока Вес не превратился в голого и бесшерстного маленького Пантелеева. Белицкого передернуло от отвращения.

— Господин хенерал, — доложил он, — эти лазутчики — тоже люди. Похоже, наши родичи. Они обороняют свою Мошковý. Токмо не пойму как. Простых военных навыков не имеют, слабые, мерзлявые, да еще в драконье дерьмо вляпались.

— А что за неведомое у них на шеях болтается? — встрял тайный советник, тронув из опаски за деревянную часть странной штуковины. — Уж не амулеты ли какие запрещенные?

— Оружие, — понял вопрос Пантелеев, — автомат пэпэша.

Он повернулся спиной, прося, видимо, снять дратву с рук. Хенерал кивнул служивым, и те развязали пленного. Пантелеев чуть отошел в сторонку, направил штуковину железякой к лесу, и тут как загрохотало! Запахло паленым льном, на снег попадали желтые горячие кругляшки.

— Вот! — гордо показал Пантелеев на будто кем срубленные юные деревца на опушке.

Хенерал поковырял в ухе, в котором поселился звон и не хотел выходить. Серый советник понимающе покачал головой. Прапорщик пожал плечами.

— А если так? — спросил он, ныряя под время. Под временем Вес неспешно добежал до опушки, переломил березку толщиной с лошадиную ногу, вернулся обратно, и вынырнул в тот же миг, что и нырял. — Так разве не могете? — показал он на заваливающееся в снег дерево.

— Так не могем! — вздохнул Пантелеев и сокрушенно мотнул головою. Анорбаев согласно закивал, а потом что-то шепнул своему старшему в ухо. Тот понял.

— Товарищи… русские! — Пантелеев, похоже, едва не выпустил на волю непонятное слово «безьяны», — Родина в опасности. Позади Москва, отступать некуда. Окажите помощь военной силой, будьте людьми! Есть приказ форсировать канал и провести наступление в направлении Дмитров-Клин. Сегодня, шестого декабря тысяча девятьсот сорок первого года, вы можете внести исторический вклад в победу над германским фашизмом!

— Господин хене… — начал Белицкий, но Ведмедев его прервал:

— Да ясно все! Не совсем же я дурак, — пророкотал он. — Мошкова́ — святое. Хоть и не наша, а все ж росский стольный град. С такими пукалками, — указал он ногтем на пэпэша Пан-

телеева, — вам его не оборонить! Помогли бы вам охотно, да в войну встревать без государева повеления неможно. Покамест решаю, в столицу доложим, разведку проведем, а там, глядь, и решение из Мошковы приспеет.

— Вот если прапорщик Белицкий с собакой пойдет? — предложил тут же находчивый Хохолев. — Ладно ли будет? Он у нас холостой теперь, а и все одно Маруся не зарыдала бы.

Прапорщику не шибко заохотилось воевать не за свою Россь. Однако ж он сам просился у полуполковника на войну! Отказаться от своего слова честь прапорщика не позволяла. А и позволила бы, так потом совесть замучает, коли вместо Веса кто-то другой падет на войне. И как жене убитого потом в глаза смотреть?!

Анорбаев снова зашептал Пантелееву на ухо.

— Согласны, — ответил старший лазутчик, — такой воин один стоит целой роты!

— Он стоит много больше вашего рота, — со значением пробасил хенерал. — Решено! Развяжите второго, — приказал он бойцам, — да будите пса этого, как его, Хе…

— Херцина, — подсказал Хохолев.

— Вот-вот. Был такой Херцин в древности, разбудил в месяц Стужень родовых князей на

правое дело. С того времени пошла наша Россь крепчать да славиться силою. Стало быть, и в этот Стужень суждено собачке Белицкого поднять войско росское.

— И у нас Герцен разбудил декабристов, надо же… — подивился Пантелеев.

— А собачка злая? — опасливо посмотрел Анорбаев вслед убежавшему к клеткам воину.

— Собачка справная, — ответил полуполковник Хохолев. — Почитай, второй прапорщик Белицкий.

Еще постояли, постояли воины. Наконец появился посланный боец, развел руками — не могу добудиться, мол. Тогда тихонько присвистнул Белицкий, и тут же всхрапнула в испуге кляча Надья, а через миг вихрем вылетел из-за угла радостный Херцин и прямиком к Весу! Подбежал, встал на задние лапы, в лицо лизнул.

— Мам-ма, — пропищал оробевший Анорбаев.

— Это же не собака, а медведь! — воскликнул Пантелеев, схватившись за оружие. — Медведей мы не… того. Боязно!

— Так вот что за зверя вы скрывали под видом собаки, — заключил проверяющий, не особо воодушевляясь. Видать, понял, что по навету судить собирался. К тому ж, дело посурьезней растрат

образовалось.

— Чудно́! — пробасил хенерал Ведмедев, отмахнувшись рукой от обвинителя. — А я читаю в родовой книге берестяной, что пошел наш род от какого-то ведмедя, а в толк не возьму, что бы это значило. Теперь своего прародителя узрел, от как! Стало быть, у вас там, в трубе, мои предки живут…

— Не в трубе, а за трубой, — уточнил Пантелеев и повел рукой, будто дорогу над Мошковолжей проложил. — За ней. Встречаются. Ну что ж, в путь, товарищи?

В путь, не в путь, а побеседовать пришлось: уж больно скоро слаживалось дело, подозрительно! Помучались, пока поняли странные слова, мелкими воинами произносимые.

Рассказали пришлые человечки, что трубу ту проложили, еще когда русло для Мошковолжи копали — по тайному приказу Товар Ища Берии, знатного, по имени судя, купца. В трубе еще несколько дюжин воев притаилось, ждут возвращения Пантелеева и его указаний. Старшим у них остался политрук Жбанов, да не гораздый на литры вести счет выпитому, как подумалось Белицкому сначала, а наоборот, тверезник.

Войска росские да херманские — несметные,

даже счесть невозможно! Хермань, которой правит какой-то хитрый Хитлер, обманом напала на Россь, Советским Союзом называемую оттого, что правят государством все сразу и посоветовавшись. «Неужто и стряпухи тоже?» — подивился Белицкий, вспомнив, как ловко Маруся хранила мясную тайну да крутила мужней головой. Оказалось, да. Однако есть в той Росси товарищ Сталин с Партией, которые вдвоем приглядывают, чтоб стряпухи правили как дóлжно. «То есть лодырничают?» — уточнил серый. «Еще как работают! И по ночам даже», — не внес ясности ответ Пантелеева.

Красная армия оказалась войском, но не красой блещущим, а штыками. Красный — это такой кумачовый оказался цвет. И рубиновый, и агатовый, и алый — все цвета схожие, красоту дающие. Ведмедев тут показал свою двойную алую ленту в косе — красно ли? «Так точно, товарищ генерал!» — ответили пришлые.

Товар искать, оказывается, совсем даже не предлагалось, а обращение «товарищ» — это вроде как к человеку, с которым имеешь общее — товар ли, думы ли. «А жены тоже общие?» — вновь спросил о наболевшем Белицкий. «Нет, — рассмеялся Пантелеев, — это заблуждение, уже изжитое.

Жен положено по одной иметь». Куда положено и сколько их всего бывает у воина — переспрашивать постеснялись.

Тут солнце к вечеру склонилось, в дорогу засобирались воины.

Бывшие лазутчики вытащили из закромов своих тканых одежд нахлобучки наголовные. На оных спереду держались пятиконечные камушки цвета запекшейся крови с серпом да молотком. Видать, и такое оружие у пришлых имелось.

Надели нахлобучки, приложили свои ладони пальцами к виску. Хенерал, а за ним и остальные служивые додумались как-то, что это не знак усеченного ума, как принято для смеху показывать на Росси дуракам, а воинское приветствие. В ответ перекинули они из-за спины наперед свои косы с двуглавыми золотыми петушками и по разу стукнули кулаком в гулкую грудь.

— В путь, — сказал Пантелеев.

— И я с вами, — почесав шерстистый серый бок, молвил со скрытой хитринкой тайный советник, — засиделся в теремах государевых. Заодно посмотрю насчет угрозы неведомой — нет ли ее в той трубе?..

Первыми полезли разведчики. Пришлось немного разгрести лаз, который день ото дня все

уменьшался — труба уходила обратно в землю. Пантелеев сказал, что канал имени Москвы, прорытый как раз в том месте, где в мире Белицкого текла Мошковолжа, наполнен теперь водой не шибко, чуть выше человеческого роста. Оттого, видать, труба стала уходить обратно в землю. В любое время может скрыться совсем, и из нее уж никто не выберется.

Пантелеев достал еще одну странную угловатую штуковину, называемую фонариком. Она давала слабый желтый свет, в котором Пантелеев находил дорогу впереди. За ним полз Анорбаев, трясясь и подвывая. Поразмыслив над его пугливостью, следом за ним Вес пустил не Херцина, а тайного советника. Сам пес, памятуя недоброе, видно, прошлое, рыкнул в трубу — не то для острастки, не то с испугу — и лезть не заохотился. Но Вес урезонил его, мол, надо Херцин, надо, и тот юркнул в темное круглое чрево.

Шествие замыкал Белицкий. Хотя, какое ж это шествие, когда ползком на брюхе?! Поползновение, да и только.

Вскоре достигли основного отряда во главе с политруком и приказали всем ползти дальше в трубу. Еле раздались бойцы, чтобы пропихнуть вперед Пантелеева, который занял место во главе

и повел отряд за собой. Как вскоре оказалось, к отвалам драконоводства.

Как только труба пошла вверх и запах стал нестерпимым, маленьким воинам было велено надеть свои зеленые кожи, сиречь противогазы. А еще через некоторое время Херцин забеспокоился, зарычал и… пропал. Вес ощупал место, где только что был пес, и нашел, что труба как бы расходится под потолком, и там есть еще пространство. Мысленно поднатужившись, он увидел нутряным чутьем еще одну трубу, примыкающую к этой и уходящую в обе стороны. Вот откуда провалились к нам незадачливые маленькие воины, догадался он!

— Эй, вои! — крикнул Белиций. — А ну, по одному ползи сюда задом!

Тайный советник, поскольку был ближним, подозрительно принюхался к воздуху наверху.

— Ох, не росским духом оттуда тянет, — проговорил он, ныряя в новое пространство.

— Можно подумать, драконье дерьмо пахнет по-росски, — пробормотал Белицкий, подсаживая в дырку политрука. Тот оказался не робкого десятка и принял помощь страшного и волосатого Белицкого без особого испуга. А вот следующих героев-разведчиков пришлось уговаривать, для

чего задержался Анорбаев. Он подсаживал братьев по оружию, подставляя им свою спину, а прапорщик сдал назад и считал, пока все три дюжины воев не были отправлены наверх.

Последним показался Пантелеев.

— Хитро устроен мир! — воодушевленно сказал он, содрав ставший ненужным противогаз. — Получается, труба как бы раздваивается в этом месте. Верхняя труба уходит к нам, к каналу, а нижняя — сюда, к Мошковолже. Только не пойму, как это получается, ведь все четыре конца уходят вверх!

— Буквой хе получается, — ответил Белицкий. — Я посмотрел темным взглядом, переворот в этом месте происходит. Когда полезешь вверх, осторожничай! На потолок верхней трубы упадешь.

Пантелеев полез — и верно, чуть головой не приложился. Упал на спину, перевернулся на живот и понял, что не на потолке лежит, а на новом полу.

— Чудеса! — сказал. — Давай за мной!

Прапорщик не заставил себя ждать.

Выход из трубы выпал на ночь.

Воины заработали железными лопатками, иначе не пролезть. Херцин же неведомо как уж

просочился через остаток пространства, и ожидал остальных, волнительно утаптывая снег, снаружи.

Пока копали да поодиночке выбирались, труба несколько раз, ухнув басовито, опускалась, и грести приходилось снова и снова. Наконец все выбрались, и Белицкий, вынося на себе комья глины, последним выпрыгнул в темноту. Херцин бросился к нему, виляя задом и ластясь, как никогда. С чего бы это? Сказать чего-то хочет?

Огляделся прапорщик в ночи и тут увидел темным взглядом, что вокруг полно вражьей силы: людей дюжины дюжин и железных телег немало. И еще он уразумел, что маленький отряд Пантелеева врагами обнаружен и вот-вот будет нападение!

«Побьют ведь, не назад ли нам податься?!» — подумал Вес. Но тут позади утробно чавкнуло, и труба окончательно скрылась под землей, лишь комья глины, осыпаясь в яму, выдавали, что она тут была… «Стало быть, судьба, — решил Белицкий, — коли назад ходу нет, биться будем!»

— Пантелеев, — шепнул он лейтенанту, — сейчас на нас херманцы нападут! Они про нас знают! Я с собакой побегу в ту сторону, отвлеку, а вы держите оборону. Как зайду хермани в тыл, вам

легче станет. Не робей, воин! — и, присвистнув Херцину, побежал на север, ломая сучья и голося по-оленьему.

Тут как затрещало, засверкало, зарокотало с херманской стороны! Вспыхнул яркий свет, будто солнце зажглось в ночи, и стал следовать за Белицким, освещая его и Херцина. Послышались крики:

— Дас ист айн шнееман! Шнееман унд бэр! Шиссен!

Сильно ударило в плечо, пронзило болью, будто заклятием колдовским долбануло!

Белицкий не стал искушать судьбу, нырнул под время, увлекая за собой Херцина. Сел, отдышался, осмотрел плечо. Спереди и сзади кровоточили дырки, сильно болело. Разводить огонь и прижигать раны не стал, торопился Вес — хоть время теперь не поджимало, но силы здесь утекали быстро, будто в прорву. Да и на запах кровососы могли слететься — отмахивайся потом от них!

Дал Херцину быстро зализать раны, чтоб заразу прибить. Затем наложил краткий лекарский заговор и, не дожидаясь, пока кровь запечется, побежал херманским воям в тыл, роняя на снег вневременья алые капли.

Плохо запомнилось, как вынырнули с Херци-

ном в тылу у херманцев. Как рвал их руками и зубами, нагонял мыслью своей ужас, заставлявший человечков в серых одежках падать и трястись в беспамятстве, биться аки в падучей. Как верный пес прикрывал спину, добивая врагов. Как поднялись, завидев ярость Херцина, залегшие было вои Пантелеева и пошли, пошли с боем!

Плохо запомнилось, ой плохо…

Уж к исходу шел месяц Просинец, когда труба снова выперла из земли в питомнике. Промозглой ночью вылез из нее прапорщик Белицкий. Один, без Херцина и тайного советника. Грязного, израненного и обессилевшего, подхватили его под буры руки караульные бойцы. Отнесли в дом, на кровать уложили. Запрягли Надью, за врачевателем военным отправили нарочного.

И без лекаря бы можно, коли была б Маруся дома! Зализала б она Весовы раны, заговорила, отвела бы хворь мужнюю за порог дома родного. Спасла бы.

Увидала б Маруся, что окромя золотого двуглавого петушка Весова воинская коса заколота пятиконечным камнем цвета запекшейся крови, в середке которого вылеплен в сером железе не то Пантелеев, не то Анорбаев со штуковиной

пэпэша в руках.

Долго бы слушала она Весовы рассказы о войне на другом свете. Про рычащие железные самоходные дровни, что плюются огнем. Про херманских ревучих драконов, что мечут смерть не дерьмом, а разрывным железом. Про маленьких и слабых безволосых воинов, отчаянно гибнущих ради жизни на своей Росси.

Но не было Маруси.

А потому прапорщик Вес Белицкий споро уплывал то ли во дрему, то ли в небытие — поди отличи их! И виделось ему, как нашедший свою семью Херцин дрыхнет с первогодками братом и сестрой под корнями вывороченной снарядом ели. Как Пантелеев с Анорбаевым бредут раскисшими дорогами войны от Мошковы на Хермань. А тайный советник, имени которого Вес так и не узнал, убитый лежит обок с мертвым политруком на том берегу реки Мошковолжи.

На то́м том берегу. Который хошь и не на этом свете, а все едино — Родина.

Ирина Соколова. *ЛЕСНИК И НЕМЦЫ*

«Пришел лесник и всех разогнал…»
Народное творчество

Где-то в конце века

Кабинет начальника сквозил нищетой и безнадегой, как и все прочие присутственные места провинциальных райотделов уже не милиции СССР, но РФ. На втором десятке лет с начала перестройки, трансформировавшейся в катастройку, оперы и следаки разделились на три группы. Микроскопическую, что, скрепя зубами и пряча глаза от бедствующих родных, продолжала добросовестно, без взяток и подношений, исполнять офицерский и гражданский долг. Чуть большую, что высматривала любые, причем чаще всего немалые, возможности заработать или, если новоязом, «подняться» с использованием занятых все более жиреющими задницами кресел и постов. И основную, которая компромиссила между искушениями и совестью.

Виктор Сомов пытался понять, к какому типу относится сидящий перед ним капитан Царьков

Олег Николаевич. От этого зависело, как лучше строить разговор и, следовательно, выполнение поставленной руководством задачи. По отсутствию мобилы и даже пейджера, дешевенькому компьютерному монитору, еще советским наручным часам, единственному — обручальному — кольцу, прочим бросающимся в глаза признакам выходило, что служака, в общем, честный. Хотя… некоторые умеют так маскироваться, что не сразу-то и определишь. Может быть, именно он и крышует местную банду «подставщиков». Отчего те так нагло и действуют. По одной из машин уже четвертое представление на выплату! А всего — больше сотни, и все заявлены как происшествия на небольшом, пара десятков верст, участке дороги между Приречьем и Заводском. Такого естественным, нормальным порядком не бывает. Вот потому-то компания и отправила сюда лучшего «безопасника»: разобраться, выявить и пресечь. Крайне желательно с взысканием понесенного ущерба с виновных. Это кроме их обязательной посадки на максимально возможные сроки.

— А, — кивнул Царьков, — подозреваешь, мошенники работают. Но какая в этом выгода? Ну, ясно, когда угон. И машину втихую продал,

и выплатой второй раз ее цену получил. А тут? Сломал, отремонтировал — паритет!

— Не паритет, — вздохнул Сомов, гадая, то ли капитан правда не понимает, то ли играет в дурачка. — Выплата по иномаркам у нас идет по текущему курсу валюты. И оценке работ авторизированным сервисом. А ушлые ребятки ремонт, скажем, у дяди Пети в соседнем гараже за бутылку делают. Если делают вообще. А потом опять к нам. Вон, этот уже четвертый раз. Совсем не только совесть, но уже и страх потерял.

— Кто это? — капитан перегнулся через стол, взял документы, хмыкнул. — А, Михалыч! Ему говорят: «Да не езди ты там! Машину пожалей!» А он: «А что я буду кругаля делать, время терять. Страховщики все равно заплатят, не обеднеют».

— Знаете его? — насторожился Виктор.

— А то, — с некой гордостью выдал Царьков. — Конечно, я тут почти всех знаю. Район-то маленький. Но только вы ошибаетесь. Никакого криминала тут нет. Тут другое!

— А что? — настало время «закидывать удочку». — Если поможете, да хоть бы просто подскажете, мы вас не обидим.

— То есть? — на этот раз насторожился полицейский. — Об чем вы это… На что намекаете?

Началась самая деликатная часть разговора. А может, и вербовки. Тут уж как сложится.

— Ну, у страховщиков есть так называемый РПМ, он же резерв предупредительных мероприятий, — начал с самой безопасной части искуситель. — За счет него мы финансируем все то, что повышает эффективность пожарных, медиков, полиции. То есть снижает наши выплаты. К примеру, мы можем купить и передать вашему райотделу новую оргтехнику, мебель и даже автомобиль. Все это абсолютно официально и законно.

— Машина — это, конечно, неплохо, — согласился хозяин кабинета. — А то все уазики на ходу рассыпаются. Да и мебель…

Скривившись, глянул на развалюху-стол, за которым сидели, крашенные ядовито-зеленой краской стеллажи с документами, древний, еще сталинских времен, сейф в углу. Показалось Виктору, что надеялся капитан на нечто другое, потому почти шепотом выдохнул:

— Ну, и просто деньгами можем кому-нибудь помочь, если надо. Наличными. Причем и в валюте. Такие возможности у нас имеются. Но это, сами понимаете, неофициально и конфиденциально. — Быстро добавил, сторожась возможно

ведущейся втихую магнитофонной записи: — И, понятно, не сотруднику или иному обличенному властью должностному лицу, а…

При этом отрицательно мотнул головой, показывая, что все можно решить любым способом, если будет такое желание.

— И такое бы неплохо, — неожиданно согласился Царьков. Выдвинул ящик стола, явственно запахло нашатырем и чем-то для сердечников. — Ладно, давайте так: вечером просто поужинаем в местном кабаке. Том, что в гостинице, и я вам все честно расскажу. А как дальше быть, сами решайте. И счет, понятно, за вами. Представительские, или как такое у коммерсов называется…

На том и согласились.

…В ресторан блюститель порядка несколько неожиданно заявился с женой.

— Ирина, — представил он полненькую брюнетку лет сорока, а может, моложе или даже старше — из редко встречающихся фемин такого сорта, что в одной поре и виде от двадцати и чуть ли не до полтинника, и пояснил: — Она у нас как эксперт пройдет. По этим самым вопросам. Ну, и мне спокойнее — убедиться, что я не просто пьянствовать или там по бабам умелся, а с солидным человеком по серьезному делу общаюсь.

Ну, не Виктору возражать. Если бы всем отделом заявились, тогда да, можно возмутиться. А счет на двоих или на троих — тут разница в сумме непринципиальная.

Кормили в местной харчевне, в общем, неплохо. Расположились в отдельном кабинетике, взяли бутылочку, судя по этикетке, армянского коньяка, пригубили, перейдя естественным образом на «ты». Салатики, нарезки, горячее. Страховщик с детальным — по теме — разговором не спешил, дабы не спугнуть клиента. Как размягчится алкоголем да сытными заедками, сам начнет.

Царьков и начал.

— Вот, — слегка рыгнул, виновато покосился на поморщившуюся супругу, — Виктор, вот давай, как, может, тебе покажется, немного издалека начнем. Вот какая у нас тут главная река?

— Нева, — подыграл Сомов.

— То у вас, в Питере. А у нас?

— Волхов, видимо?

— Ага. А с чем это название у тебя ассоциируется?

— Ну, волх…вы, наверное?

— Правильно. А знаешь почему? Потому они тут и кучковались. Главное место. И славянских

волхвов, и местных нойдов.

— Ну, допустим, — клиент пока вел беседу не о том, но, что радовало, уже очевидно разговорился. — А нойды — это что за звери?

— Не звери, — показалось, что полицейский даже обиделся. — Это кудесники местных племен. Чуди, веси, карел. Разница с волхвами в том, что те получали магию сверху, от богов. Велес там, Даждьбог. А эти — снизу, от умерших предков и от природы. Как шаманы. Такие дела. Но потребителям, как говорится, оно без разницы.

— Совсем издалека заходишь, — развеселился Виктор. — А мои дела тут каким боком?

— Так вот, слушай. Пока волхвы да нойды были в силе, они берегли Новгородчину. От самодурства киевских, владимирских и прочих князей и от чужаков — норманов, данов, литвы, орды. Никто из них не доходил до Ильменя с захватом. А потом православие потихоньку отвратило народ от старых вер, подточило эти корни. И пал тогда Великий Новгород. А кудесники, спасаясь, иные имена взяли, крестики стали носить, замаскировались кто как мог. Только под оболочкой суть у них та же осталась. Мистическая там. Магическая.

«Пустышку тяну, — понял Сомов. — Балабол

какой-то. Ну ладно, хоть доложу, что личные приязненные связи с главментом таки установлены — все же попьянствовали вместе. А дальше без него придется копать…»

— Так вот, слушай, — капитан зацепил вилкой соленый груздь, кинул в рот, не жуя проглотил. — Жил тут до войны, той самой, один дед. Лесник. Как раз из замаскировавшихся кудесников…

Ирина Царькова неожиданно наклонилась к столу, снизу заглянула в лицо Виктора. Глаза ее — болотные, блестящие — расширились. Теплым и тяжелым накатило изнутри, набатом ударило в голову, затуманило зрение и сознание. Расплылись, исчезли стены, циферблат часов на них, смазались в пятно фигура женщины, ее лик. Сомов уже ничего кроме двух зеленых омутов — очей с редкими игольчатыми искрами, не видел.

— Опоили, что ли? Зачем? — успел подумать, проваливаясь в озера изумрудной радужки — колодцы бездонных зрачков…

Где-то в середине столетия

И сейчас Вепсский лес — самый большой в Европе, если не считать приуральских, в которые, по сути, на востоке и переходит. А ранее он располагался от Ладоги да Онеги на севере до

лесостепи на юге. От Чудского озера на западе и на восход далеко за Белоозеро, где некогда осел Синеус. Тот самый, званный в эти земли вместе с Рюриком и Трувором. И всегда неотъемлемой частью этого «зеленого моря» то ли хозяевами, то ли служителями, а по-ученому — симбиотами, были потомственные шаманы. Именно данного Приреченского бора — обрусевшая «чудь белоглазая», семья Веселовых, до крещения род Вельсов, передающая его уже тысячи лет от одного главы клана к другому.

Мирскими делами, а тем более политикой они не интересовались. В войнах, бунтах и сварах не участвовали. Соседей из окрестных сел и деревень, с одной стороны, строжили, чтобы те в их владениях не безобразили. С другой, существенно помогали. Лечили тех, кто правильно, с уважением и вовремя, не запуская болезни, обращался. Находили и возвращали заблудивших корову или тем более людей. И случаев нападения диких зверей не то что на человека, а даже на скотину в округе не припоминали.

Власть из старожилов разумно делала вид, что эту семейку не замечает. При возможности легализовывала под видом егерей, лесников, обходчиков. Новики — то исправники, то церков-

ники, то военные, — несмотря на предостережения, иногда пытались «выстроить» живущих на глухом лесном хуторе отшельников. Но быстро кто поумнее или, со временем, кто поупорнее от этого отказывались.

Зла от Веселовых, ежли их не тревожить, не было. Особенного прибытка, кроме порядка в лесу да пользы аборигенам, впрочем, тоже. Так и жили, по принципу «вы нас не трогаете — ну, а мы вас».

В ежовские времена прибыл из Ленинграда начальником в район нервный горбоносый брюнет. Попытался в плане борьбы с суевериями отщепенцев прищучить. Но повестки или приказы прибыть в село те игнорировали. А попытка взять их по месту жительства привела к тому, что на третьи сутки блуждания опергруппы в оказавшемся бескрайнем бору возглавлявший ее брюнет внял мольбам отощавших подчиненных. Попросил показать дорогу к жилым местам, слезно поклявшись, что больше сюда ни ногой и про этих колдунов отныне навсегда забудет. Тем и спасся. А то так бы и блудили, пока снег не выпал, замерзая и голодая. Потому как не только зайцев и птицу с их пути лесовой уводил, но даже ягоды и грибы прятал.

Брюнет такого упадка авторитета вытерпеть не смог, через месяц перевелся в Новгород, на должность рядовую, но подальше от приречья. Но потом, скорее всего, отомстил. Это уже весной 1941 года было. Премировали Веселовых к Первомаю как ударников производства талонами в магазин. За сохранение и приумножение лесного фонда. Но получать награду нужно было в областном центре. За тканью, новым тульским самоваром и того же производства ружьишком поехали супруга и сын лесника. Там и пропали. Милиция сказала, товар получили, но в гостиницу не вернулись. Так их и не нашли. Может быть, это и какие бандиты отметились.

Остался Василий Иванович Веселов бобылем. Ну, с годовалой дочкой еще. И сказал: пока его будущий внук, как наследник мужского рода, в силу не войдет, то есть сам сыном не обзаведется, ему из этих мест отлучаться даже на минуту нельзя. Это значит — преемника ждать не менее полувека. Потому как бабы шаманские поздно рожают. Кто за тридцать лет, а бывает и позже. Зато почти не стареют — с виду, понятно. Внутри-то организм все равно изнашивается. Еще однолюбы все. Как с мужской стороны, так и с женской. Да, с тех пор Василия Ивановича дедом Вельсом

и стали кликать. Он не возражал.

…Ну, а потом война. Немец до наших мест быстро дошел, четырех месяцев не прошло.

Фронт еще дальше на восход и север откатился, к самой Ладоге. Здесь оккупанты, при них коллаборанты появились. А вот партизан особых не было. Так, по-честному если, больше по лесам прятались. Если и налеты, то чтобы едой, керосином да мануфактурой разжиться. Желательно без смертоубийств, дабы не ожесточать. Веселов почему-то проходил как пострадавший от Советской власти, потому фрицы поначалу его не трогали. А может, и еще по какой другой причине. Но, когда по своей привычке стал игнорировать передаваемые через селян приглашения, потом приказы явиться в управу, таки добрались.

Рассказывают, поехал к нему на «Ганомаге» прибывший из Берлина офицер со знанием как русского языка, так и местных наречий. Из той конторы, что мистикой занимается. Разговор у них жесткий получился. Немец упирал на то, что Вельсы не славяне и должны быть на стороне родственных им по крови финнов и венгров — союзных арийской расе, которая вернет древние обычаи и традиции. А Василий Иванович предложил из его леса убираться подальше, чтобы хуже

не было. Офицерик схватился за кобуру, потом глянул в лицо лесника, побледнел, махнул рукой — мол, быстро уходим. И на выезде мало часть ограды снесли, так и пса гусеницей насмерть придавили. Случайно или нет — неизвестно.

Берлинский гость, как вернулся, сутки лежал, подняться не мог. Потом дал команду — доставить ему этого типа силой. Вместе с дочкой, чтобы было чем на него давить. Первыми пошли полицейские. Три дня по снегу плутали, хутор, говорят, не нашли, замело все, и сами заблудились. Пожалел их дед Вельс, вывел к дороге. Попросил передать, что следующим, кто за ним пойдет, так не повезет. А за задавленного пса — ходу германской технике не то что в его лес, а даже мимо не будет.

Потом специальный егерский отряд по душу отшельника прибыл. С ними еще печальнее оказалось. Совсем не вернулись. Говорили, что их останки потом далеко на севере нашли. В лесотундре полярного Урала. Сгнившая форма, ржавое железо, косточки песцами, птицей и мышами растасканы.

А у немцев проблемы с техникой начались. Как едет что от Заводска до Приречья или кругом леса, так обязательно ломается. Для начала вет-

ку порывом ветра принесет — окна побьет или радиатор, сучок какой хитрый — и покрышку, и баллон насквозь проколет. Гусеницы, те через каждые полсотни метров слетают. Чем глубже в чащобу, тем хуже. Шланги рвутся, электропроводка коротит, и это, как правило, с пожаром. Цилиндры взрываются, карданы лопаются. В общем, к концу оккупации немцы здесь только на гужевом ездили. Все остальное, что забредало, приходилось прицепом вытаскивать. Причем тоже лошадьми да «в быстром темпе». Ну, если трофейную технику использовали, у той еще получалось своим ходом отсюда выбираться. Но лишь в тех случаях, когда за руль наших военнопленных садили.

После войны тут только на «своих» да ленд-лизовских колесах катались. Если «Цюндап» или «Опель» какой, то доезжал исключительно на буксире. Потом потихоньку затихать стало. А вот когда отечественный автопром стал при Ельцине заменяться импортным, опять началось.

И снова в конце века

Отключился Виктор, ежели по часам смотреть, не более чем на полминуты. А по увиденному в этом провале сознания и не определишь: будто

на полноформатный фильм сходил. Может, и многосерийный.

На женщину он теперь смотреть опасался. Даже искоса. Потому обратился к сочувственно разглядывающему его мужчине.

— И что это было? — требовательного тона не получилось, охрип баритон непонятно с чего.

— Да ТО! — хмыкнул Царьков. — Со слов ты мне не верил. А вот эдаким способом проняло. Проняло же?

Дискутировать с этим утверждением желания не было. А вот к сути показанного вопросы возникли.

— Не идет! — минуту повспоминав, заявил гость. — Среди пострадавших машин есть «Вольвы», «Пежо» и пара «японок».

— В том и вопрос, что несколько из сотни, — сразу согласился капитан. — Вот именно эти, если что, как раз естественным путем в ДТП попали. Но остальные-то наверняка «немцы»?

Вместе прикинули пропорции. Получилось 94% — тевтонский автопром. То есть все прочее, кроме этой полудюжины.

— Все равно не сходится, — упирался Сомов. — Я сюда как раз на «германце» приехал. И без проблем!

— Ну, ежели там пару раз за неделю мелькнешь, лес пропускает, — уточнил полицейский. — А вот если чаще туда-сюда… да вдобавок в машине что немецкое, рок или попсу, на всю дурь включить… тут точно попал!

— Ладно, допустим, — продолжил Виктор. — А вот если оно все так, этому деду нельзя как-нибудь объяснить, что война давно закончилась? И с партизанщиной пора прекращать?

Царьков скептически сморщил нос, тронул супругу:

— Как, Ириша, думаешь?

— Пробовали, — сразу откликнулась та. — Не слышит. Он уже давно человеческий вид потерял, с лесом сросся. На старых обидах оба живут…

Продолжить не получилось, потому как очевидная нелепость разговора «взорвала» пришедшего в себя Сомова.

— Да бред какой-то! — быстро взял он себя в руки, буркнул под нос: — Только время тут с вами теряю…

— Не торопись судить, — капитан предостерегающе поднял поросшую рыжим волоском руку. — Вот просто устрой эксперимент. Завтре снова прокатись до Приречья. Да музыку какую подходящую погромче включи. Именно немцев.

«Чингисхан», там, или хотя бы «Карл-Маркс-Штадт». Или этот… как там… «Рамштайн» — вот эта беда вообще с первого предъявления срабатывает, причем насмерть — цилиндры вразнос уходят. Нормально доедешь — можешь меня при всем коллективе старым дураком обозвать. Но ты не доедешь, особенно если с этими… которых последними назвал. Но тогда с мотором можешь сразу прощаться!

— Ладно! — согласился страховщик. Спорить дальше не было ни сил, ни смысла. Не удержался, напоследок поддел ставшую непонятной супружескую пару: — А давайте пари! Доеду нормально — с вас, скажем, месячный оклад. Не доеду — с меня два номинала! Если цилиндры рванут — три! У меня как раз запись последнего концерта «Тиля-со-товарищи» есть — ее всю дорогу крутить и буду!

Капитан глянул на жену, уловил ее кивок — на том и порешили.

После ухода приезжего еще с полчасика посидели, собрали с тарелок: что себе доесть, что собакам-кошке, что поросенку.

— Что думаешь? — уже перед сном поинтересовался Царьков у довольной проведенным вечером жены.

— Да все хорошо! — сразу же ответила та. — Деньги он точно отдаст, как раз к рождению внучка и пригодятся. А как первенец на свет появится, так сразу главенство рода перейдет к нашему Васечке. Только внука обязательно надо назвать Иваном, как моего дедушку. Семейная традиция, сам понимаешь. Ну, а потом Василий Олегович переймет власть над лесом у Василия Ивановича и наведет порядок с этими немцами.

— Дай бог, чтобы тесть таки успокоился, — слушая дыхание задремавшей супруги, последней женщины клана Вельс, надеялся Царьков. — А насчет навести порядок с немцами — это во всех смыслах точная фраза. Судьба, видимо, у нас такая — постоянно этим делом заниматься.

Дарья Странник. *СЛЕЗЫ ДЛЯ КРИГА*

В их семье с едой не шутили. Прабабушка Федора и бабушка Лена наголодались во время войны, скрываясь несколько лет на болотах в белорусских лесах. Прадед Иван, проведший те годы на солдатской похлебке, тоже ценил еду обильную и сытную.

Когда дочь Лены подкинула старикам маленькую Машу на присмотр, воспитывали правнучку в том же духе.

На завтрак: яичница, жареная картошка, молочная каша или свежие гренки — никаких бутербродов, только горячее, сытное. В обед меню из трех блюд: борщ или суп, каши, вареники, пирожки и обязательно десерт — кисель, печенье, компот. Ужин был полегче, завершаясь в обязательном порядке обильным чаепитием с вареньем и выпечкой.

Трапезы эти сопровождались традиционными прибаутками прадеда: «Когда я ем — я глух и нем», «Горячо? Студи, дурачье!» — и другими, запомнившимися и полюбившимися навсегда.

Когда Машу припугнули: «Не выходи со двора, а то цыгане украдут!», то это вызвало только один

вопрос со стороны девочки: «А они есть давать будут?»

Желание кормить женщины распространяли не только на своих родных, но и на всех окружающих, в том числе животных — как домашних, так и приблудных. Во дворе обычно собирались дюжины кошек и собак со всей округи. Для них Федора специально варила кашу, состоящую из самой дешевой крупы и объедков со стола.

Бабушка Лена особенно баловала собак.

— Звери иногда лучше людей, Машута, — однажды поделилась она, потрепав по голове крупную дворнягу. И обычно неразговорчивая бабушка рассказала: — Когда мы прятались в лесу, я сильно заболела… Лихорадка, сил не было встать. А тут крик: немцы! Мама пыталась нести и меня, и сестру, но я оказалась слишком тяжелой… И она оставила меня в кустах.

— Бросила тебя? — ужаснулась Маша.

Рассказ казался ей странной сказкой.

— Иначе бы всех троих поймали, Машута. Тяжелые времена заставляют принимать непростые решения…

— А дальше? — Маша понимала, что все закончилось хорошо: ведь и прабабушка, и обе ее дочери живы. Но все равно было жутко.

— Немцы собак вперед пустили… Страшно это было. Лес наполнился лаем… собачьим и человеческим. Одна овчарка легко нашла меня, и я решила: все, конец. А собака носом в меня ткнулась, и вижу: глаза у нее влажные, словно плачет… А потом она убежала прочь, не залаяла. Немцев увела. Все наши в тот день спаслись: не взяли собаки их след. Я думаю, не захотели.

Потом она замолчала. Притихла и Маша, только с удивлением смотрела на пирующих дворняг, словно видела их впервые.

А прабабушка Федора кормила кого-то еще, когда уже темнело. Было это необычным, ведь после наступления темноты никто в поселке без серьезной причины дом не покидал. Во-первых, не видно ни зги, разве что ясно светит луна. Во-вторых, ночью в садах и огородах могли орудовать бомжи или наркоманы. Обычно они действовали относительно безобидно, воруя немного съедобного и все, что забывалось во дворах или незапертых летних кухнях — белье, посуду, детские игрушки — вероятно, на продажу. Но, застигнутые врасплох, могли и покалечить нежеланного свидетеля.

Бабушка Лена эти ночные кормежки не одобряла, каждый раз ворчала и беспокоилась, до тех

пор пока мать не возвращалась в дом. Иван же, казалось, не знал об этих вылазках вовсе, так как спать ложился очень рано.

Поведение Федоры казалось странным и от этого, конечно, неимоверно интересным.

— А кого ты кормишь ночью? — спросила однажды Маша прабабушку.

— Приблудную кошку, — отмахнулась Федора, выходя в темный двор с небольшим свертком в руках. Но девочка ей не поверила, поняв, однако, что расспросы бесполезны.

Как только начинало смеркаться, небольшие, но многочисленные окна в доме плотно завешивались толстыми занавесками. Выглядывать на улицу после наступления темноты запрещалось.

— Еще не хватало, чтобы бандюги снаружи сквозь щели высматривали, что плохо лежит, — наставляла бабушка Лена.

— Нечего там смотреть, ночью в саду призрак бродит, — пригрозила куда более понятно и эффективно прабабушка Федора.

Призраков девочка боялась. Настолько, что ей не раз снились кошмары. Но любопытство превратилось однажды в смелость, и Маша, отодвинув уголок занавески в темной комнате, с замирающим сердцем осмотрела двор.

Прабабушка стояла в дальнем углу, где росли кусты смородины. Она опустилась на колени и, как догадалась девочка по жестам, позвала кого-то. Холодный свет молодого месяца и звезд создавал зловещие тени. Знакомый двор выглядел чужим и угрожающим. Кусты зашевелились, что-то осторожно выбралось из зарослей, но тень мешала рассмотреть зверя подробней. Он был гораздо больше кошки. Сначала животное ластилось, а потом вскарабкалось на все еще коленопреклоненную женщину, обняло ее за шею и начало облизывать лицо Федоры. Ее плечи вздрагивали, и Маша скорее догадалась, чем рассмотрела, что прабабушка плачет. Маша отпрянула от окна, зажмурилась и попробовала убедить себя, что ей показалось. Не могло у зверя быть таких лап… Лап, которые больше походили на человеческие руки, если бы не длинные темные когти вместо ногтей.

Она представляла себе призрака другим, но все равно поняла, что это именно он.

Но, наверное, он не такой уж и плохой, если прабабушка… да, а что она, собственно, делала? Навещала его? Кормила? Чем? Разве что слезами…

Об увиденном Маша никому не рассказала,

опасаясь, что ей влетит за подглядывание. Но ночные страхи стали сильней.

Иногда в тишине снаружи раздавался топот — может, бегал один из псов, а может, и нет… Порой кто-то скребся в дверь и окна.

— Кошки, — объяснили Маше бабушки.

Из окон девочка после наступления темноты уже не выглядывала, опасаясь, что в тот же момент неизвестная тварь стоит перед окном. Почему-то страшнее всего казалось увидеть морду этого животного. Да, честно говоря, днем она тоже начала побаиваться лазать одной по закуткам сада. Однажды, увидев, как собака бешено лает на куст смородины, девочка бегом бросилась в дом и зарылась лицом в передник прабабушки, пекущей пирожки.

— Ты чего? — удивилась Федора. А после объяснения только рассмеялась и потрепала правнучку по кудрявым волосам: — Там мышь или ящерица, собаки иногда дурят.

Немножко Маша успокоилась: не стали бы ей врать, будь вблизи настоящая опасность. Но ходить в темноте боялась все равно.

А потом прабабушка слегла. Так и не определенная врачами болезнь протекала быстро, и вскоре стало ясно, что Федора уже не оправится.

Тогда Маша наконец и решилась спросить:

— А когда тебя не станет, кто будет кормить призрака?

Прабабушка рассмеялась. Маша и не знала, что можно грустно смеяться.

— Любопытная ты… Ну, это, может, и хорошо. Увидела, значит, Крига. Это я кличку дала, — пояснила Федора.

Маша виновато кивнула.

— Некому будет его кормить — оно, может, и лучше… Лена и видеть его не хочет. Он ее чуть не сожрал. Чуть нас всех не сожрал…

— И тебя?

— И меня… Но я ему не далась, а вот прогнать совсем сил не хватает.

— Значит, он злой? — спросила Маша.

— Он то, что он есть. Злы те, кто сыплют ему корм.

— А что он ест? — прошептала Маша.

— Слезы, и боль, и смерть… Цени мир, Машенька.

После смерти Федоры бабушка Елена по ночам дом не покидала. Она не обращала внимания на постукивание и царапанье в дверь и окна, знакомая отговорка о кошках повторялась все чаще, но не успокаивала ни внучку, ни, похоже,

саму Елену.

Однажды ночью у прадеда прихватило сердце, и бабушка помчалась к дальней соседке — единственной обладательнице телефона во всем поселке — чтобы вызвать скорую.

— Запри за мной дверь, — приказала она перепуганной внучке, — и не открывай никому, кроме меня.

С этими словами она шагнула в ночь, а Маша дрожащей рукой закрыла тяжелую металлическую задвижку. Снаружи донесся гневный бабушкин голос:

— Да отвяжись ты, скотина!

Ее шаги затихли, скрипнула калитка. Кто-то поскребся в дверь. Девочка бегом пустилась в прадедову спальню.

Бледный Иван полулежал-полусидел на кровати и тяжело дышал.

— Маша, открой форточку, — прошептал он.

Внучка послушно подвинула стул к окну, взобралась на него и замерла в неуверенности. На всех окнах имелась плотная сетка от мух, натянутая тройным крепким слоем, чтобы выдерживать регулярные атаки кошачьих когтей. Так что, скорее всего, никто — даже призрак — внутрь забраться не сможет. Но если он там…

Маша решительно зажмурила глаза и на ощупь отодвинула занавеску, нашла ручку форточки, повернула и потянула ее на себя. В комнату заструился холодный свежий воздух.

— Куша-а-а-ать, — жалобно проскрежетал незнакомый голос, и от испуга и неожиданности девочка распахнула глаза, отдернув руку от окна. За тонкой преградой стекла на нее смотрела кошмарная морда Крига. Покрытое шерстью лицо напоминало кошачью морду, но странные пропорции придавали ему гротескный, внушающий страх вид. Плечи и лапы — или все же руки? — были голыми и очень походили на человеческие. Совсем нечеловеческими были когти. Нижние конечности разглядеть не удалось — существо встало на задние лапы, чтобы заглянуть в окно. Его взгляд встретился с Машиным, и она утонула в этих темных глазах. Перед ней, как в телевизоре, замелькали картинки: горящие дома, разрушенные города, плачущие женщины, больные дети, мертвые солдаты…

Маша испуганно отпрянула, чуть не упав со стула, вскрикнула и задернула занавеску. А потом забралась в кровать к Ивану. Тот поморщился, но обнял правнучку одной рукой. Переводя дыхание, тихо заговорил, стараясь успокоить:

— Не бойся, сейчас он безобидный. Объедки доедает. А скоро уйдет. Надеюсь, если не навсегда, то надолго.

— Куда? — прошептала Маша. Ей было важно услышать «далеко».

— Туда, где кормят получше. Всегда найдется такое место.

Скоро вернулась бабушка, прибыл и врач. К счастью, инфаркт оказался не самым тяжелым.

Еще несколько ночей выдались беспокойными. Спящим притворялся только прадед.

— Куницы на чердаке орудуют, — отрезала Елена и просила внучку сделать телевизор погромче. Они провели несколько ночей в креслах, сначала перед телевизором, а после окончания передачи бабушка ставила пластинки. Но все равно заглушить топот, царапанье и стоны вокруг дома не удалось.

А потом призрак пропал. Остались только кошмары, в которых Маша видела Крига, жрущего где-то — «Пожалуйста, — просила она во сне, — пусть это будет очень далеко!» — свою любимую еду: слезы, боль и смерть.

И любовь, и кровь



Далия Трускиновская. *ТАЙНЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ ЗНАК*

Разговор состоялся в кабинете писателя Короленко, куда заранее телефонным звонком был приглашен адвокат Карабчевский. Встреча была не совсем на равных — знаменитый писатель и адвокат, пусть модный, пусть известный, но все же в глазах общества стоящий на пару ступенек ниже. И Карабчевский шел к Короленко, предполагая, что его наймут для судебных дел. Он не ошибся.

— Если не вы, Николай Платонович, то и никто им не поможет. Ваша способность выискивать и сопоставлять мельчайшие детали… Это не всем дано! — воскликнул Владимир Галактионович. — Это особая точность и цепкость взгляда. Ваши судебные речи — готовые романы…

— Где главные герои — невинно оклеветанные? — усмехнулся Николай Платонович. — Ох, верите ли, ни разу не пришлось мне защищать чистого ангела. Такого не случалось, чтобы оклеветали безупречного человека.

Короленко слыхал, что Карабчевский иногда

из чистого азарта берется защищать убийц, прекрасно зная, что они убийцы, но вытаскивая их буквально из камеры смертников. Он даже хвалился этой своей способностью. Собственно, сейчас именно это и требовалось: дело шумное, вся либеральная общественность за ним следит, и славно было бы оставить в дураках судей с чиновниками.

— Эти бедные вотяцкие крестьяне, скорей всего, тоже не ангелы. Но они не убивали Конона Матюнина, и не отрубали ему голову, и не вытаскивали у него потроха.

— Вы убеждены? Кто-то же вытащил!

Владимир Галактионович Короленко задумался.

— Конечно же, мы очень мало знаем о тайной жизни вотяков. Я предоставлю этнографические очерки, все необходимое, я знаю в Петербурге людей, что бывали в тех краях, в Ижевске и окрестностях, и могут много порассказать. Прислать к вам их?

— Пришлите, пожалуй. Но я читал, что в древности там бывали человеческие жертвоприношения. Что вроде бы таким манером вотяки ублажали каких-то водяных богов. Я еще раз спрашиваю: вы убеждены, что обезглавленный труп

— не жертва какому-то допотопному божеству? Убеждены, что этого демона не попотчевали легкими покойника? Впрочем, когда беднягу начали разделывать, он ведь был еще жив. Бр-р!

— Конечно, возможно, что необразованные люди, все знания которых заключаются в суевериях, совершили убийство — не от злобы, не ради мести, а из лучших побуждений. Но я прошу вас: изучите это дело! Если уж вы — вы! — не найдете аргументов в пользу вотяков, то эти семь человек отправятся на каторгу по заслугам. Но вы найдете! Вы умеете находить!

Карабчевский улыбнулся: похвала такого человека, как писатель Короленко, была приятна адвокату. А поскольку он и сам собирался написать роман, Короленко был для него учителем, стоящим на недосягаемой высоте.

— Хорошо, пришлите мне все, что можно найти по этому делу. Там, наверно, уже томов не меньше, чем в собрании сочинений Понсона дю Террайля.

— Гонорар, — сказал Короленко. — Не беспокойтесь, гонорар будет. Считайте, что я лично вас нанял.

— Я буду работать без вознаграждения.

Владимир Галактионович улыбнулся: опять

этот франт привлечет к себе своим бескорыстием внимание всей России. Еще бы, знаменитое «мултанское дело». А такое внимание автоматически увеличивает суммы всех будущих гонораров.

— Итак, вам придется выехать в городок Мамадыш, там задумано провести третье разбирательство дела. Дорогу-то хоть позвольте оплатить.

— Мамадыш?

— Да, верст двести от Ижевска. Отчего избрали сей уездный городишко — не спрашивайте, не знаю. Оттуда до Мултана те же двести верст, но уже не по тракту, а бог весть по каким медвежьим тропам. И имейте в виду, когда будете беседовать с местными жителями, им больше нравится, когда их называют удмуртами.

В ожидании обещанных Владимиром Галактионовичем сведений Карабчевский провел собственные изыскания. Он обнаружил, что его подзащитные тихого нрава, миролюбивы, дружелюбны, тихи, скромны и бережливы. Такими они предстали перед этнографами.

Но миролюбие, покорность и даже некоторая забитость удмуртских крестьян вызывали у образованного Карабчевского сомнение. Он обнаружил, что прадеды попавших в беду вотяков прекрасно воевали в пугачевщину на стороне

самозванца. А в захолустном Мамадыше сам Пугачев бывал, оттуда он пошел на Арск и дальше — на Казань. Мятежники же установили в Мамадыше свою крестьянскую власть, которая продержалась чуть ли не два месяца, из города их выбили пушечным огнем. Все это было прекрасно, однако для защитительной речи в суде совершенно не годилось.

Когда же прибыли обещанные бумаги, оказалось, не столько нужно сопоставлять показания свидетелей, противоречия в которых сразу бросились в глаза опытному адвокату, сколько определиться с допотопными богами — сохранили ли они былую кровожадность. Потому, прибыв в Мамадыш, он прежде всего пошел в храм Михаила Архангела, рассудив, что священники, искореняющие местное язычество, должны четко представлять, что именно они искореняют.

— Точно ли эти люди молятся сегодня Николе Чудотворцу, а завтра божеству Курбану? — спросил Карабчевский.

Мамадышские батюшки несколько оробели перед напористым и энергичным столичным гостем. И понемногу выяснилось, что слово «курбан» означает жертву. Жертвы, стало быть, непокорными удмуртами в лесах приносились,

но кому? На выбор были двое — Кереметь и Акташ. Оба не то чтобы злы и грозны, но могут быть опасными…

Это была тайная роща — удмуртские крестьяне очень боялись, что городское начальство прикажет ее сжечь. А ведь сюда и приходить-то можно было лишь в особые дни, которые как-то определяли старики, и рубить деревья воспрещалось, и скот пасти, и ягоды с грибами собирать. Да что грибы! Каждый упавший с дерева сучок имел особый смысл, его можно было сжечь только на священном огне. А человек, по глупости наломавший там березовых веток на веник, вскоре помирал.

И вот в роще-луд неподалеку от Старого Мултана, что выросла на холме и была окружена сплетенной из ветвей изгородью, шел в ночном мраке особый разговор. Собеседникам не было нужды видеть друг друга. Эти трое могли перекликаться на расстоянии в несколько верст. Их голоса были как шорох ветвей и листьев, как легкий скрип древесины. И только особенно бдительный охотник удивился бы, отчего весенняя листва шуршит так же, как сухая осенняя.

Но сейчас они предпочли собраться.

Один сидел в кроне старой березы посреди по-

ляны, свесив ноги в искусно сплетенных лаптях. Другой устроился у подножия. Третий лежал на траве.

— Братья, это не кончится добром, наши люди под угрозой, — сказал тот, что у подножия. — Если семерых осудят, большие городские начальники придут сюда и уничтожат рощу, чтобы наши люди не могли больше поклоняться нам. Потом начнут уничтожать другие священные рощи. Вы же знаете, в городах у нас полно врагов. И станем мы бездомными. А еще через два поколения, когда умрут последние знающие правду старики, мы и вовсе уйдем из памяти.

— Нет, из памяти мы так просто не уйдем, — возразил тот, что на березе. — Это дело с убийством нищего и больного человека помнить будут долго. Таких страшных убийств уже лет триста не было, и тогда их совершали редко. Значит, и нас вспоминать будут долго.

— Не нас, а Кереметя, — поправил третий. — Городские люди считают, что так могли бы принести жертву Кереметю. А нас помнят только наши люди — пока приходят в нашу рощу.

— Не зови Кереметя, Куазь, — попросил тот, что сидел на березе. — Не очень-то я рад тому, что приходится делить с ним мое дерево. Он плохой

сосед.

— Кылдысин, он этой ночью все равно не явится, — успокоил Куазь. — Он обходит куалы во дворах, проверяет, не принесли ли ему в жертву курицу и не оставили ли на полочке куриные перья. Ты ведь видел его, когда шел сюда, братец Инмар?

— Видел, — подтвердил сидящий у подножия березы. — Но не пришлось бы просить помощи у Кереметя. Приказывать ему в таком деле я не могу. Я не знаю, как мы еще можем спасти эту рощу. И все другие — тоже.

— Если даже ты, Инмар, так говоришь… Если даже ты, высший и старший из нас… — Куазь затосковал.

— А что, если поставить знак? — спросил Кылдысин. — Я всего лишь ведаю пашнями, огородами и урожаем, но через меня в знак может прийти сила земли.

— Знак? Кому?

— Тому городскому мужчине, который ходит и задает вопросы про Кереметя. Он ведь приехал, чтобы защитить наших людей. Странно: городской мужчина решил их защищать. До чего же занятно и смешно он одет!

— Защищать наших людей нужно, — согла-

сился Инмар. — Нам без них нельзя. Полагаете, братья, у него получится?

— Если пометим его знаком, то получится.

Человек, случись ему в эту ночь забрести в священную рощу неподалеку от старого Мултана, услышал бы только шорох и увидел три дерева — крепкую березу, ухитрившуюся вырасти чуть ли не из ее корней сосенку и накрывшую разлапистыми ветками край поляны ель.

— Да, в знаке — сила. Но можно ли ставить знак чужому? — усомнился Куазь. — И что скажет на это Кереметь?

— Мы имеем право на свои знаки, хотя… — Инмар задумался. — Вокруг старого знака возникает сияние, Кереметь его издали увидит. Поди знай, что у него на уме.

— Сияние — от спрессованного времени. Братья, что если для такого дела нам создать новый тайный знак? — спросил Кылдысин.

— Нарисовать можно что угодно, а как влить в новый знак силу?

— Я же сказал, могу влить в него силу земли. И не обязательно рисовать. Рисованный знак неподвижен, нужен иной.

— Ты умеешь?

— Я научусь. Нужно же спасать наши рощи!

Глядите…

Городской мужчина, кому предназначался тайный знак, сидел в это время в самой чистой деревенской избе, какая только нашлась в Старом Мултане, и работал с бумагами. Хозяева отдали в его распоряжение обеденный стол и даже придвинули этот стол поближе к окну. Весенняя ночь выдалась теплой, окошко было приоткрыто. И ничего удивительного в том, что в комнату влетел свежий березовый листок, Карабчевский бы не увидел. Но он не заметил листка. Он сопоставлял показания свидетелей — те, что были ранее, и те, что появились лишь теперь. Он уже понимал, что бедного крестьянина убили, чтобы перессорить жителей двух деревень — Старый Мултан и Анык. Он уже был готов бороться за семерых удмуртов, оказавшихся на каторге. Не до весенних сквозняков ему было.

А листок лег ему на плечо, словно приклеился, и потихоньку стал таять.

— Вот, вот оно! — воскликнул адвокат. Все в его умозрительных построениях вдруг сошлось и срослось.

Теперь можно было начинать составлять защитительную речь, которой бы остался доволен сам Короленко.

— Тебя как звать?

— Иваном, а тебя?

— Я Саша, вот он — Митя, это — Леночка.

— И вы что же, все из Москвы?

— Из Москвы…

Молодежь знакомится быстро, особенно «на картошке». Но нерадостными были те встречи осенью 1941 года.

— А ты откуда? — спросил Саша.

— Я из Мултана, по комсомольской путевке. Сейчас все комсомольцы в Ижевск едут работать. Вон сосед мой, Сенька Кондратьев, на металлургический завод попал. Ему еще даже восемнадцати нет, его сразу — в «фабзайцы», сказали: «Полный курс училища, может, потом окончишь, а пока хоть первый, чтобы поскорее тебя в цех». А вы с какого завода?

По выговору и повадкам Иван понимал, что ребята нездешние. В Ижевск летом и осенью сорок первого приезжали целыми эшелонами киевляне, бакинцы, одесситы, подольчане вместе со своими станками, за неделю станки ставили, на следующую неделю уже выпускалась первая продукция. Два десятка предприятий успели уйти от врага. Самого Ивана распределили на Подольский механический. Но ждали еще эшелоны,

городу следовало позаботиться о продовольствии, и молодежь отправили копать последнюю картошку. Тут выяснилось, что москвичи не взяли с собой теплую одежду и обувь, а по утрам уже случались довольно сильные заморозки, и парням приходилось вгонять лопаты в землю, покрытую инеем.

— Мултан? — переспросила Леночка.

— Да. Про нас сам Короленко писал, — похвалился Иван. — Мы вот — Самсоновы, моего прадеда Короленко от каторги спас.

— Ты удмурт?

— Да, я удмурт.

— Я думала, вы другие.

— Какие?

Леночка Ивану нравилась, хотя и была одета в грязный ватник, обута в опорки сапог, да еще коротко стрижена, как большинство городских девушек. В Мултане эту моду пока что не одобряли. Вот только рост… Леночка вытянулась вверх, а Иван уродился в обоих дедов — и по отцовской линии, и по материнской. Он был девушке до виска, худощав, сутуловат, лицо изжелта-смуглое, волосы рыжие и жесткие.

— Ну…

На самом деле Леночка ожидала увидеть тем-

новолосых, похожих на якутов или на казахов людей. В московских институтах был сущий вавилон: туда съехались студенты со всех концов страны. И сейчас ей вдруг стало неловко.

— А вы откуда? — спросил Иван.

— Мы из «бауманки».

— Откуда?

— Из Московского механико-машиностроительного института имени Баумана.

— Студенты?

— Студенты. Нас всем институтом эвакуировали.

— Тут до вас уже приехали студенты — будущие артиллеристы.

— Ага! Они наши помещения заняли! Мы думали, будут аудитории, как полагается, приезжаем, а там ленинградское артучилище, — подтвердил Саша. — Ничего, придумают, куда нас деть. Скорее бы хоть в цеха. Там теплее…

— Ноги страшно мерзнут, — пожаловался Митя. Он был обут в тонкие грязные спортивные тапочки.

По полю бежал к ним высокий парень.

— Сашка, посчитай, сколько ребятам нужно пар лаптей! — крикнул он и понесся дальше.

— Лапти? — удивилась Леночка.

— Это удобно, — объяснил Иван. — У нас плетут. Если как летом в поле, одной пары хватает на неделю. А в цеху зимой, наверно, недели на две.

— Но лапти?..

— Их на онучи надевают. На онучи можно старое байковое одеяло пустить, будет не хуже, чем в валенках.

Студенты явно не поверили.

Когда стало темнеть, за ними прислали две подводы. В телеги погрузили картошку, посадили девочек, ребята шли рядом, говорили о вещах непонятных для Ивана, окончившего всего лишь семилетку. Он слушал краем уха, но думал о своем.

Иван, как всякий деревенский житель, мечтал побывать в большом городе Ижевске и поесть городских заедок. Особенно хотелось сходить в кинотеатр — большой, настоящий, и посмотреть «Светлый путь» на большом экране, а не в клубе на простой натянутой простыне, и чтобы звук без помех. Такой кинотеатр, он уже узнал, устроили в бывшем Александро-Невском соборе, сняв с него купол и колокольню. Но никак не удавалось дойти, и видел Иван только Михайловскую колонну — ее мудрено не заметить, она в трех шагах от оружейного завода.

Если же познакомиться с хорошей девушкой, сводить ее в кино, а потом на прогулку у Ижевского пруда, куда от бывшего собора можно спуститься по лестнице, то самое время рассказать страшную историю о промоине в плотине, которая случилась невесть когда, еще до прадедовой каторги. Из десятка парней, что ныряли в промоину, один погиб, и сразу всем стала ясна причина. Когда-то тут тайно зарыли убитого сына местного то ли шамана, то ли просто лекаря-травозна́я, из тех, кто поклоняется деревьям в священных рощах. Старик просил откопать тело, потом проклял это место, и вот проклятие сбылось: первого покойника земля с водой к себе утащила. Кто-то додумался: с землей надо мириться, надо улестить ее хлебом, древесным углем и дорогими вещицами — ожерельями и кольцами. Много этого добра покидали в провал и как-то справились с бедой.

Иван, хоть и комсомолец, старикам, ходившим в священную рощу-луд и рассказавшим ему эту историю, верил. Что-то они такое понимали, чего в «Комсомольской правде» не вычитаешь. Тут, в городе, таких стариков, пожалуй, уже нет. Зато есть прекрасные места, чтобы назначать девушкам свидания: под большими часами на

Главпочтамте, например, или под часами на трамвайной остановке, что на улице Труда. Наручных у Ивана пока что не было, наручные — это значит, что ты уже работаешь и получаешь хорошую зарплату.

Если бы не война!..

Ведь в Ижевске было все то, что составляет роскошь для образованного человека: свой удмуртский театр, своя филармония, свое радио. Иван даже хотел поступить в Удмуртский педагогический: вернешься в Мултан учителем, сразу станешь уважаемым человеком. А попал в большой город только потому, что война…

Иван — человек деревенский — не боялся долгого рабочего дня. А студенты и преподаватели, попав на ижевские заводы, выдерживали с трудом: подъем в пять утра, с шести до восьми вечера работа, обеденный перерыв час. После такой работы по свиданиям не побегаешь да и книжку в руки не возьмешь.

— А вот ребята из Тульского механического чуть ли не все ушли на фронт, — тихо сказал очкарик Митя. Он брел, спотыкаясь и держась за край телеги.

— Ты почем знаешь? — спросила Леночка.

— Костя рассказывал. Несколько туляков поза-

вчера приехали. Их к нам присоединят.

— Вам еще хорошо, — сказал старик-возчик. — Вы вот в тепле будете, каждый день покормлены. А моя дочка поедет железную дорогу строить, от Ижевска до Балезина. Где ж это видано — зимой дорогу строить? У нас тут такие вьюги…

— Так для фронта же дорога! — сердито ответил Саша. — Она соединит Пермскую магистраль с Казанской. Технику будет проще на фронт возить!

— На фронт… — Митя вздохнул.

— На фронт, — повторила Леночка. — Ребята, мы же комсомольцы! А в тылу сидим! Подумаешь, диплом! Война кончится — доучимся!

Иван промолчал. Он понимал так: студенты должны работать и учиться, они нужны стране образованные, а он парень простой, может только работать — так для чего ему сидеть в Ижевске? Хозяйка домишки, где его поселили с двумя такими же деревенскими, получила похоронку на сына, ревет не переставая и на квартирантов нехорошо смотрит: ишь, вы-то живы, в тылу отсиживаетесь потому что!

Когда доехали до студенческого общежития, двое деревенских, живших вместе с Иваном, пошли прочь, прихватив со дна телеги полдюжины картошин. Студенты потащили наверх мешок

картошки, девушки пошли следом, возчик повез прочие мешки куда-то в сторону площади Пастухова, бывшей Михайловской.

А вот Леночка осталась с Иваном.

— Ты ведь тоже на фронт хочешь, правда? — спросила она.

— Надо, — ответил он.

— Узнай, где тут военкомат, пойдем вместе. Я ведь ворошиловский стрелок, два раза с парашютом прыгала! Меня должны взять! Ну, если санитаркой — тоже ничего. А ты?

— Не было у нас парашютов. А стрелять умею, ходил с батей на охоту.

— Ну вот! Только Митьке не говори: за нами увяжется. Понял? Ему нельзя, у него сердце слабое. Ему и тяжелое поднимать нельзя. Видел, он только половину корзинки с картошкой носил?

— Нельзя. Я же тут по комсомольской путевке. Должен там работать, куда пошлют.

— Эх ты… Струсил, да?

— Не струсил. А просто непорядок.

— Да ну тебя. А я-то думала…

Девушка ушла. Иван остался стоять в тяжких раздумьях. Он еще не знал, где военкомат. Узнать несложно. Но было малость не по себе.

Он не умел ходить по городу — еще не научил-

ся. Однако пошел из улицы в улицу, отлично понимая, что рискует заблудиться. Зачем — сам не знал. Конечно, на ходу лучше думается.

Ижевск притих. Все способные трудиться были на заводах, заводы работали в три смены. Город спешил дать фронту побольше авиапушек, пулеметов — «березинских» и «максимов», противотанковых ружей — «дегтяревских» и «симоновских», пистолетов.

На пустых улицах не гуляла молодежь, молчали репродукторы на столбах, даже собаки не лаяли. Прогулка кончилась тем, что Иван нарвался на патруль и долго объяснял, что он не какой-нибудь немецкий шпион или, еще того хуже, предатель Родины. К домишку, где он жил с товарищами, Иван попал только в третьем часу ночи.

При мысли, что придется пробираться наощупь, будить ребят, будить хозяйку, ему стало не по себе. Он сел во дворе на лавочку. Лавочка и вбитый в землю стол стояли под двумя березами. Березы уже понемногу теряли золотую листву.

— Ну, что, — сам себе сказал Иван. — Надо, выходит, идти… Вон Мишка Кузнецов пошел же добровольцем… И Ванька Кузнецов тоже… Хорошо бы там, на фронте, отыскать Мишку…

Мысль об односельчанах развлекла его, он

улыбнулся. Шорох березовых ветвей, свисающих длинными прядями, был почти неслышным. И вдруг порыв ветра взметнул эти пряди, с них сорвалась и полетела листва — на запад, вдогонку удмуртским парням.

Но один листок спланировал, вопреки ветру, вниз и прилип к пыльному ватнику Ивана.

Священная роща-луд была жива. И живы были люди, приходившие почтить вниманием Инмара-сосну, Куазя-ель, Кылдысина-березу.

Иван Андреевич Самсонов уже плохо двигался сам, приводили его внук и внучка. Вернее, привозили, насколько это было возможно.

Вернувшись с войны целым и невредимым, он выучился в педагогическом институте, полвека преподавал у себя в селе историю с географией, случалось — и математику в младших классах. Очень не хотел выходить на пенсию, но стал слаб ногами.

В роще он подходил к старой березе и клал руку на почерневший ствол. Была у него с той березой тайная связь, которую он не мог бы объяснить словами.

Когда пуля ударила его в левое плечо, почти что в сердце, он упал. Взвод пробежал мимо, спеша в атаку, Иван Андреевич сделал несколько глубо-

ких вдохов, пошевелился и понял, что, кажется, уцелел. Подхватив с земли свою «мосинку», он побежал за товарищами. Вечером, у костра, он наконец ощупал плечо и удивился тому, что боли от удара нет, и снял гимнастерку.

Там, куда угодила пуля, было темное, чуть отдающее зеленью пятно в виде березового листка — с черенком и зазубринками.

Это пятно осталось на всю жизнь.

Евгения Халь, Илья Халь. *ВЛЮБЛЕННАЯ ПУЛЯ*

Медовые августовские травы налиты тяжелым соком. Вдохнуть терпкую сладость, зарыться в нее лицом, потом перевернуться на спину, вглядеться в бесконечную синь неба. Но вместо этого приходится рыть окоп.

— Что же ты вздумала воевать в такую летнюю красотищу, Родина? — с сожалением сказал Володя Леонидов, закусил сочную травинку и вонзил саперную лопатку в жирную землю.

Со всех сторон послышался смех.

— Мы всегда в августе на дачу выезжали, — продолжил Володя. — Бывает, валяешься в гамаке с книжкой, две строчки прочтешь и засыпаешь, а с веранды такой запах доносится! Такой аромат! Мама варенье варит, густое, вкусное, а за забором смех: соседские девчонки на реку бегут купаться.

— А почему ты за девчонками на речку не бежал? — Жора Саркисян озорно блеснул черными глазами, продолжая энергично копать.

— Да малой он еще, — рассмеялся Егорыч — самый старший из бойцов, за что его уважительно

прозвали Батькой. — У него еще женилка не выросла, оттого в башке книжки да варенье. Одно слово — студент.

Володя смущенно кашлянул и порозовел.

— Ты гляди, как краской залился, ну, точно девка! — Егорыч воткнул саперную лопатку в край окопа, вытащил из кармана кисет, ловко свернул самокрутку, вкусно закурил, выпустив густой дым.

— Батька, можно у тебя махрой разжиться? Свою всю высмолил, етить твою недолгу! — Федька устало прислонился к стене окопа.

— А то как же! — разрешил Егорыч. — Мужики, налетай на курево!

— У меня тоже есть, — Володя открыл вещмешок. — Возьмите, мне выдали пайку, а я некурящий.

— Спасибо, друг! — обрадовался Жора. — А как насчет того, чтобы немножко перекусить? У нас говорят: голодный воин — плохой воин.

— Лейтенант сказал рыть и укреплять окоп, потому что завтра он для нас станет или могилой, или этой… как ее… — Федька закатил глаза, словно на небесах было написано трудное для деревенского парня слово.

— Цитаделью, — негромко подсказал Володя.

— Во! — обрадовался Федька. — Цитаделью, етить твою недолгу! Хороший он мужик, наш лейтенант, образованный, как ты, Володька, тожа, видать, из студентов. Только как вот закрутит слово какое, так как будто по башке оглоблей огрели, аж звезды из глаз сыпятся, етить твою недолгу!

Егорыч вскрыл банку тушенки, прижал к груди буханку хлеба, аккуратно отрезая щедрые ломти. Все он делал неспешно, с крестьянской обстоятельностью, словно перекидывая мостик из той, другой жизни, в которой не было войны. После ужина закурили. Леонидов достал из вещмешка томик Есенина, обернутый газетой, любовно огладил обложку, стряхивая пыль. От книги пахло домом и мирной жизнью. Володе повезло, что книгу опального поэта не отобрали при досмотре личного имущества. Лейтенант с интеллигентным уставшим лицом, проводя досмотр, лишь мельком взглянул на обложку и шепнул:

— Оберните газетой.

— Володя, почитай что-нибудь душевное, — попросил Жора.

Володя прочитал по памяти, не заглядывая в книгу:

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…

…Володя всегда любил рассвет. Гулкую есенинскую рань, когда в прозрачной чистоте воздуха слышны даже самые потаенные мысли, и кажется, если задержать дыхание и прислушаться, можно услышать, как по мокрой от росы мостовой процокает копытами розовый конь из снов, которые Леонидов видел с детства.

На фронт он ушел тоже на рассвете, так и не решившись разбудить мать. Она бы не пустила его на войну. Она бы раскинула руки, закрывая собой дверь, и, плача, молила бы остаться. Володя тихо собрался, побросав в вещмешок белье, документы, задумчиво остановился возле книжной полки, любовно огладил корешки и наконец, выбрав маленький, размером с ладонь томик Есенина, положил его в вещмешок. Книги были страстью Володи. С детских лет он знал, кем будет, когда вырастет, — учителем литературы. Выскользнув в коридор коммуналки, он прокрался к двери, держа ботинки в руках, стараясь не задеть огромный железный чан для стирок, висевший на стене. В ванной горел свет. Тетя Фира, несколь-

ко лет назад переехавшая в Москву из Одессы, всегда вставала раньше всех, чтобы не стоять в длинной очереди к умывальнику. Она вышла из ванной с огромным тюрбаном из полотенца на голове, в шелковом халате с грузными, как сама хозяйка халата, кистями. Халат пережил революцию, НЭП, торгсины и не собирался сдаваться, как и тетя Фира.

— Ой, он таки собрался на войну! — тетя Фира вскинула руки и прижала их к необъятной груди, халат неодобрительно зашелестел от резкого движения.

— Тише, пожалуйста! — взмолился Володя.

— Разве приличные мальчики уходят на войну на рассвете, не сказав ничего ни матери, ни соседям? Как какие-то босяки, которым не с кем попрощаться?

— Тетя Фирочка, я прошу вас, не кричите!

— Подожди, — соседка понизила голос, — я принесу тебе камфорное масло и полотенце! Там же все время дует, а ты болеешь ушами с детства. Так будешь ставить себе компрессы. Чтоб ты мне был здоров! И не надо со мной спорить, потому что это никому еще не помогало!

Володя шел по предрассветной Москве, ощетинившейся заколоченными окнами, испуганно

прикрывшейся мешками с песком, а за ним, понуро опустив голову, брел розовый конь…

— Красивые стихи! — негромко сказал Жора. — У каждого мужчины должны быть три вещи, с которыми он никогда не расстанется и не поделится: конь, женщина и оружие — так мой дед говорил.

— Это не просто конь, — Володя лег, подложив под голову мешок. — Это душа Есенина. У всех души выглядят по-разному: птица, зверь диковинный, а может быть, даже жук.

— А у меня? У меня какая? — заволновался Федька.

— Сапог сыми, — негромко сказал Егорыч, подмигнув остальным.

— Зачем это? — привычный к насмешкам Федька недоверчиво глянул на Егорыча, чуя подвох.

— А чтоб душу твою увидеть! Она ж у тебя в пятках засела, вот я и говорю: сапог сыми — и увидишь.

— Ничего не в пятках! — вскочил Федька. — Че ты брешешь, Батька? Етить твою недолгу!

— Да успокойся, Федь! Пошутил он! Сядь на место и не ори! — принялись утешать Федьку товарищи.

— Не, а чего он? А? Я даже пулям не кланяюсь,

как некоторые! Вот свистит она, зараза, над ухом, а я все равно не кланяюсь!

— Прямо так и свистит? — спросил ни разу не бывший в бою Володя.

— А то!

— Ты, студент, свиста не бойся, — Егорыч пыхнул самокруткой. — Если она свистит, значит, не твоя. По чужую душу пришла, мимо тебя проскочила. Не в тебя она, гадина, влюбленная!

— Как это — влюбленная? — рассмеялся Володя. — Это ведь не девушка.

— Пуля — она тоже баба, в смысле женску полу. Отец мой славным был солдатом. И в Первую мировую воевал, и в белофинскую. Так вот рассказывал мне отец, что у каждого солдата есть своя пуля, которая только для него отлита. Вроде как невеста, что с рожденья каждому *там* приготовлена, — Егорыч поднял глаза к небу.

— Хорош заливать, Батька! — прыснул Федька.

На него зашикали со всех сторон.

— Так вот, — Егорыч строго посмотрел на притихшего Федьку, — пуля эта, которая твоя, она в тебя влюбленная. Кровь твою чует, о тебе думает и ищет. Не всех, конечно, находит, но если вдруг отыщет, а ты успеешь ей в черные окаянные глаза заглянуть, то она тебя пожалеет и помилует. Одна

беда: жалость ее гибельная, закрутит, зачарует, морок наведет, в темное царство утащит. — Егорыч раздавил окурок. — Ладно, мужики, давайте спать.

Володя не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок. Война немного отступила в сторону, дав ему небольшую передышку. От волшебной истории, рассказанной Егорычем, пахло домом, пыльным уютом университетской библиотеки, мирной жизнью, наполненной книгами и мечтами, привычной, как старый плед. Несколько лет Володя собирал материалы, мечтая написать работу о научной основе сказок. В звенящую фанфарами эпоху развенчания мифов у него даже был шанс ее напечатать. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

Сказки, легенды, мифы — в них было так много несуразностей и смешных глупостей. Скатерть-самобранка — на первый взгляд чушь, но если присмотреться и подумать, то и она, и шапка-невидимка — все это осколки каких-то иных, древних знаний, спрятанные в мифах. Некоторые из них уже стали реальностью, как ковер-самолет, например. Или телевизор. Чем не говорящее зеркало? «Кто на свете всех милее?»

Люди просто придумали новые имена для ста-

рых мифов и назвали это наукой.

Новые реалии — новые сказки. Как пуля может превратиться в женщину? Так же, как и лягушка в царевну. Душа пули в женском обличии, словно Хозяйка Медной горы. Она ведь тоже, по сути, духом горы была. Но что значит «в темное царство утащит»?

...Немецкие танки появились на рассвете. Они шли клином: впереди неспешно двигались приземистые, с низкой посадкой, похожие на варанов Т–3. Сзади легкая бронетехника и цепочки пехоты. Володя затаил дыхание, припав к прицелу винтовки.

— Приказ командира: танки пропускать, пехоту гасить, передай дальше! — пронеслось шепотом по рядам солдат.

В воздухе повис тяжелый металлический лязг, от которого сводило живот и ломило зубы. Володю стошнило. Танк неумолимо приближался, еще немного, и он раздавит его, втопчет в рыжую пыль.

— Сейчас над головой пройдет, — прошептал Жора. — Ты, главное, пригнись и не высовывайся. Не бойся! Он тебя не тронет!

Володя хотел ответить, но сухой ком сдавил горло, и он лишь молча кивнул. Танк добрался

до окопа, гусеницы чуть помедлили, словно раздумывая: давить или не давить. Володя вжался в дно окопа, свет померк. Темнота, сердце почти остановилось, поднявшись к горлу, удар, еще удар, горячий пот по спине. Вот она — его могила! Накрыло, как муху в банке. И ничего больше не будет: ни рассветов, ни закатов, только темнота и лязг над головой. И вдруг сверху ударил солнечный свет. Лязг переместился назад.

— Ну, понеслась душа в рай! — заорал Жора.

Сзади тяжело ухнула противотанковая пушка ЗиС. Грохнули советские винтовки, в ответ зачастили немецкие винтовки и автоматы.

— Ты как, студент? — прокричал Егорыч в ухо Володе. — Портки-то хоть сухие?

— Да.

— Это хорошо! Многие по первому разу сразу в штаны напускают.

Какой-то рыжий парень высунулся из окопа, крикнул:

— Прикройте, мужики!

Он упал на землю, пополз навстречу немецкой бронированной самоходке, подпустил ту поближе и, вскочив на ноги, швырнул гранату. Машина взорвалась, рыжий пополз обратно. И когда оставалось пару шагов, чуть приподнялся,

чтобы спрыгнуть в окоп. Володя протянул ему руку, хотел помочь и вдруг увидел, как рыжий вздрогнул и дернулся. Голубые глаза его остекленели. Парень так и замер с протянутой к Володе рукой. Леонидов высунулся из окопа, рядом просвистела пуля.

«Если слышишь свист, значит, она не твоя», — всплыли в памяти слова Егорыча.

Володя стащил рыжего в окоп. Худенький легкий парень вдруг стал грузным, тяжело привалившись к земляной стене. Леонидов никогда не видел мертвых. Его поразил этот остекленевший взгляд — рыжий и после смерти продолжал смотреть на него. Он походил на большую куклу, которой вдруг заменили живого, подвижного парня. Володя не мог осознать эту странную метаморфозу, эту мертвую кукольность, которая вдруг сковала еще недавно живое тело.

— Отматерился, браток! — Егорыч прикрыл глаза рыжего.

Сверху раздался тяжелый гул самолетов. Громыхнула бомба, и противотанковая пушка захлебнулась и замолчала.

— Юнкерсы, етить твою недолгу! — закричал Федька.

— Где наша авиация? — закричал Жора. — Они

же обещали авиацию!

— Там же, где и танки! — крикнул лейтенант, спрыгивая в окоп. — На подходе!

Лейтенант ошибся. Ни танки, ни авиация не пришли на подмогу. Немцы превосходили их по численности. Танки зашли с флангов. Замолчали уничтоженные ЗиСы. Немецкая пехота под прикрытием танков добралась до окопов. Густой дым превратил день в ночь. Сначала погиб Жора Саркисян. Он выскочил из окопа, выстрелил почти в упор в здоровенного фрица, но, падая, немец скосил его автоматной очередью. Невысокий, но ловкий Егорыч вогнал в немца штык. Другой немец навалился сзади, Егорыч выхватил из-за пояса остро заточенную саперную лопатку, ткнул назад, немецкий солдат, захлебнувшись, скорчился на земле. Но рядом с Егорычем разорвалась граната. Его подняло в воздух, швырнуло на дно окопа. Обезумевший от ужаса Володя подскочил к нему, и его едва не вывернуло наизнанку: у Егорыча не было ног, от них осталось окровавленное месиво.

Володя даже не успел попрощаться с погибшим другом. На него набросился немец.

Володя ткнул штыком в мягкое, в горле взбух тугой ком. Немец охнул и осел, обхватив Леонидо-

ва за колени. И вдруг спину охватило холодом, по шее поползли мурашки. Еще не повернувшись, Володя уже знал, что сзади стоит враг. Он не слышал звука затвора, не мог услышать, но где-то там далеко, через много весен и зим, в поднебесье испуганно всхрапнул конь. Леонидов повернулся — на него уставилось, ощерясь, черное дуло винтовки «Маузер».

Сердце метнулось испуганной птицей.

…Я теперь скупее стал в желаньях…

Голубые, с белесыми ресницами глаза немца смотрят сквозь Володю из-под соломенной челки, словно его уже нет.

…Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..

Палец немца давит на спусковой крючок.

…Словно я весенней гулкой ранью…

Окоп вздыбился огромным черным обрывом, и по краю заскользил, срываясь и плача, конь. Время замерло, время охнуло, время вскрикнуло и захлебнулось на самой высокой ноте. От дула автомата отделилась пуля и медленно, с ленцой двинулась к Володе.

…Проскакал на розовом коне…

Полыхнуло. Ударило. Ослепило. Ледяным когтем вошло под сердце. Вздохнуть. Как же хочется вздохнуть! Но воздуха нет — лишь вязкое, плотное марево. Володя упал на спину.

Над ним склонилось бледное лицо с черными, слегка раскосыми глазами. Длинные черные волосы прикоснулись к Володиному лицу. Ему стало хорошо и спокойно, он закрыл глаза. Его подхватило и понесло на ласковых волнах. Но где-то далеко заржал конь, осыпались под копытами сухие камни, ухнул вниз с обрыва пласт земли, увлекая коня.

— Нет! — закричал Володя и протянул руки, пытаясь выхватить коня у жадного зева пропасти. — Нет!

— Что ты, милый? Что ты, дорогой? Я здесь, с тобой! Все кончилось! Володенька, открой глаза!

Володя вскочил, оглядываясь. Уютная комната, обои в ромашках. Радостно тикают трофейные часы-ходики с кошачьими глазками. Обеденный стол накрыт ажурной скатертью. Такие же ажурные салфетки заботливо прикрывают радиоприемник. В углу громоздится в утреннем зябком свете довоенной работы шифоньер. Володя сидит на кровати с железной спинкой, украшенной затейливыми шишечками. Рядом с ним жена

Вера. А страшный сон, который преследует его с войны, грязными клочьями выползает в приоткрытое окно.

— Опять приснился *он*? — Вера нарочно не говорит: «Тот самый немецкий солдат, который тебя ранил». Эти слова у них под запретом.

Володя лишь молча кивнул.

— Сейчас чайку соображу! С пирожками! Они теплые еще, я их с вечера в твою старую шинель укутала!

Вера метнулась с кровати. Накинула на плечи шаль, взяла со стола чайник — пузатый и важный, словно кайзер, — и побежала на кухню. Володя накинул на плечи полотенце, взял бритву и помазок, намереваясь выйти в коридор и занять очередь к умывальнику. Но, открыв дверь, вдруг заметил движение в зеркале на стене, словно кто-то быстро пробежал за его спиной. Володя подошел к зеркалу. Ничего! В зеркале буднично отражалась комната. Однако он вдруг почувствовал холод и вкус земли на губах…

…Звонок уже прозвенел, но дети не вставали, продолжая зачарованно слушать учителя литературы Владимира Михайловича Леонидова. Володя стоял у окна. Классная комната купалась в лучах солнца. Блестели чисто вымытые

во время весеннего субботника стекла. Война закончилась не тогда, когда армия гордо прошла военным парадом по Красной площади. Война закончилась, когда с московских заколоченных окон сняли маскировку и счастливые хозяйки, водрузив на головы пилотки из газет, принялись мыть уцелевшие стекла. С тех прошло пять лет. Москва торопилась жить. А за партами сидели худенькие военные дети с взрослыми глазами и, улыбаясь, смотрели на любимого учителя. Штопаные, но чисто выстиранные белые носочки, разноцветные бантики в косичках, чернильные, а не пороховые пятна на пальцах.

— Урок окончен!

Дети, толкаясь и шумя, пошли к дверям. Володя сел за стол и открыл журнал. Нужно было заполнить его, проставить оценки, написать учебные планы. Все это можно было сделать завтра, но домой идти не хотелось, хотя Вера, которая всю неделю работала на ночных дежурствах в больнице, наверняка приготовила вкусный обед и ждет его возле окна. Преданная Вера, терпеливая, все понимающая Вера. Она выхаживала его в военном госпитале, почти не отходя от постели, даже когда военный врач печально покачал головой и тихо сказал:

— Не жилец!

— Выкарабкается! — Вера упрямо поджала губы, поправила непослушную черную прядь, упавшую на глаза.

Возвращаясь из небытия и снова соскальзывая в него, Володя каждый раз видел ее черные, слегка раскосые глаза.

— Ты выживешь, Володенька! — шептала она, смачивая ему губы.

И он ей верил. Разве можно не верить женщине по имени Вера?

Свадьбу сыграли в госпитале, который расположился в здании сельской школы. Мастерицы-медсестры сшили невесте платье из довоенных тюлевых занавесок, найденных в бывшем кабинете директора. Вместо фаты и шляпки сплели венок из ромашек.

Когда Володя закончил привычную бумажную канитель, школьные коридоры затихли. Он достал из портфеля пухлую папку с начатой недавно работой «Научная основа мифов». Он задумывал ее еще до войны. С тех пор папка распухла, наполнившись заметками и выписками. Володя развязал тесемки и достал пачку листов с переводом научной статьи из иностранного издания, чудом попавшего в закрытую, наглухо

зашторенную страну.

Ветер войны расшевелил железный занавес. Солдаты, прошедшие всю Европу, везли домой осколки сытого буржуазного комфорта: стеганые халаты, серебряные ложки и прочую утварь. А некоторые чудики везли книги и иностранные журналы. В нескольких таких журналах Володя с замиранием сердца прочел о квантовой механике. Вот оно! Зарубежные физики научно обосновали то, о чем он, филолог, лишь догадывался: множественность миров, возможность своим собственным ежечасным и ежеминутным выбором создавать параллельные, альтернативные реальности. Как в сказках: что выберешь, то и получишь. Налево пойдешь — смерть найдешь, направо пойдешь — коня потеряешь, прямо пойдешь — счастье найдешь.

Володя задумчиво посмотрел в окно. Остаться здесь до вечера, чтобы спокойно поработать? А там, глядишь, и с Верой разговаривать не нужно будет. Она уже на работу уйдет. Совесть тонкой иголочкой кольнула в сердце.

«Нет, нельзя, — вздохнул Володя, — не по-людски получается. Она меня там с обедом ждет».

В школе было тихо. Лишь на первом этаже мерно шлепала по полу тряпка уборщицы. Володя

вышел из класса, прошел мимо пустой учительской, подошел к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж, и вдруг заметил мужчину в другом конце коридора. Мужчина стоял у окна спиной к Володе. На нем была потертая гимнастерка, запыленные солдатские сапоги.

— Вы кого-то ищете? — Володя остановился, держась за перила.

Мужчина молчал.

«Контуженный, наверное, не слышит», — Леонидов пересек коридор, остановился за спиной мужчины, кашлянул и протянул руку, намереваясь дотронуться до плеча. И в этот момент мужчина повернулся. Володя вскрикнул, выронил портфель, попятился и едва не упал. Перед ним стоял Жора Саркисян. Лицо его было бледным, а на гимнастерке запеклась кровь.

— В верности погибель! — шепнул Жора и шагнул сквозь стекло.

Володя сжал виски. Сдернул очки, яростно протер их.

«Нужно выспаться! Хотя бы одну ночь не видеть странных снов, после которых встаешь разбитый и усталый, — думал он, продолжая натирать чистое стекло. — И тогда ты не увидишь снов наяву и погибших товарищей».

Володя вышел на улицу. Здесь царило радостное весеннее оживление. Все скамейки на бульваре оказались заняты. Мимо спешили радостные весенние девушки в легких туфельках и светлых плащах. В первые послевоенные годы на улицах было много мужчин в гимнастерках и женщин в перешитых из шинелей пальто. Этой весной военные цвета поблекли вместе с кошмарами войны, затаились в шкафах и чуланах, уступив место белому и кремовому, не покрытому пеплом войны.

Возле румяной мороженщицы столпились прохожие. Володя тоже купил порцию. Сливочный брикетик между двумя вафлями немедленно начал таять, и Володя торопливо облизывал его со всех сторон, глотая сладкую кашицу. Призрак убитого друга начал таять вместе с мороженым.

— Газировка! Сладкая газировка! — весело выкрикивала крупная лоточница в кружевном переднике и белой шапочке.

Ее крик заглушила гармонь. Возле лоточницы пристроился безногий инвалид на деревянной тележке. Перед ним лежала потертая кепка с медяками, стояла бутылка водки. Он лихо растянул меха, заиграл популярную песенку.

— У самовара я и моя Маша, — хрипло затянул

инвалид. — Подходим, товарищи-граждане! Пособим фронтовику! Эй, братишка, дай папироску! Курить охота, аж мочи нет! А ты, шляпа, подкинь на поправку здоровья! Я ж за тебя на фронте кровь проливал!

Голос инвалида показался Володе знакомым. И он сразу понял, кому этот голос принадлежит. Понял, но еще не поверил. Он выбросил остатки мороженого в урну, медленно подошел к безногому, присел на корточки. Сомнений быть не могло: перед ним сидел Егорыч.

— Егорыч! — выдохнул Володя. — Егорыч, жив, курилка! Елки-моталки!

Инвалид испуганно посмотрел на него. Гармонь жалобно всхлипнула и замолчала.

— Это же я, Володька Леонидов, студент! Ты что, не признал меня, Егорыч?

Егорыч схватил бутылку, свинтил пробку, глотнул водки, закашлялся, утерся рукавом и шепотом сказал:

— Не трожь меня! Я ж ни в чем не виноватый! Нет на мне смерти твоей!

— Да ты что, Егорыч? — засмеялся Володя. — Я живой! А тебя мертвым считал!

— Не живой ты, Володька, — тихо сказал Егорыч, в глазах блеснули слезы.

Егорыч всхлипнул, глотнул еще водки и сипло сказал:

— Мы с тобой вместе в госпитале лежали после того боя. При мне тебя хоронили. Я тогда еле до могилы дополз, ноги-то мне отхватили по самое не балуй. Проводил я тебя, Володька, помянул по-людски, чтобы земля пухом.

Володя медленно встал, глядя сверху на Егорыча. В коленях появилась слабость. Он взглянул под ноги: земля разверзлась жадным зевом пропасти. Володя стоял на краю обрыва. Пласт земли начал съезжать вниз, Леонидов упал на спину, перевернулся, ухватился за край. Егорыч плакал, глядя на него.

— А как же вся моя жизнь? — спросил Володя. — Я же стал учителем в школе, окончил институт.

— Это пуля, Володька! Влюбилась она в тебя и заморочила! Душу твою забрала! В темное царство утащила. Морок это, не настоящая жизнь.

— Не слушай его! — На краю обрыва появилась Вера. Она оттолкнула Егорыча, протянула руку Володе. — Хватайся! Я тебя вытащу!

— Не слушай ее, Володька! Все равно это не жизнь!

Снизу послышалось ржание. Володя посмотрел вниз — там метался розовый конь.

— Скажи мне правду, Вера! — взмолился Володя.

— Давай руку!

— Не дам, пока не скажешь правду!

— Да кому она нужна, эта правда? Какая тебе разница? Ты чувствуешь себя живым, остальное не важно.

— Важно! Я хочу знать: была эта жизнь или не была?

Конь начал медленно взбираться по круче. Он оскальзывался, поднимался на шаг и съезжал вниз, но продолжал упорно карабкаться по отвесной стене обрыва.

— Не было ее, Володя! — Глаза Веры залила чернота, руки вдруг начали обрастать железом. — Я показала тебе, какой она могла быть, если бы ты вернулся живым. Но для тебя она была реальна. И если ты сейчас протянешь мне руку, я сделаю так, что ты все забудешь. И мы снова будем жить вместе долго и счастливо! Только конь твой… не может он с нами остаться.

Конь оторвался от стены обрыва, взлетел и замер в воздухе возле Володи, ткнувшись мягкими губами ему в ухо.

Налево пойдешь — смерть найдешь, направо пойдешь — коня потеряешь, прямо пойдешь

— счастье найдешь.

Там, на войне, стоя перед белесым немцем, как перед камнем, Володя пошел прямо, на пулю. И она вместо того, чтобы убить, за секунду до смерти создала для него другую, параллельную нашей реальность. Темное царство между жизнью и смертью. Только души в ней нет. Не может душа в мороке выжить. Но можно ли назвать это жизнью?

Конь поднырнул под него, и Володя прижался к животному, обхватив руками теплую шею.

— Налево! — прошептал Володя в шелковую гриву.

— Зачем? — прошептала Вера, тая, словно мороженое. Только черные глаза неотрывно смотрели на Володю, медленно сливаясь и превращаясь в дуло немецкой винтовки.

Голубые, с белесыми ресницами глаза немца смотрят сквозь Володю, словно его уже нет.

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Палец немца давит на спусковой крючок.

Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Игорь Вереснев. *ЛЮРИКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА*

Откуда он появился, Вероника не поняла. Медведь стоял в двадцати шагах от нее, перегораживая путь к глайдеру. Матерый самец смотрел на девушку в упор, словно прикидывал, кто перед ним: опасный противник или добыча? Наконец что-то решил для себя, сделал шаг, второй, третий, уменьшая и без того невеликое расстояние. Вероника облизнула вмиг пересохшие губы. Какого лешего ее занесло сюда, на уступы прибрежной скалы? Птичий базар вблизи посмотреть захотелось? Вот и посмотрела, орнитолог доморощенный. Она позавидовала люрикам, тоже заметившим медведя и поднявшим гвалт за спиной. Ну, почему люди не летают, как птицы — без глайдера?!

Однако стоять столбом и ждать милости от самого опасного в здешних местах хищника было совсем глупо. Закричать, броситься навстречу, попытаться испугать? Как же, испугаешь эту громадину в полтонны весом. Идея проскочить мимо медведя тоже не годилась: неповоротливым тот

мог показаться разве что человеку, увидевшему его впервые. За три месяца вахты Вероника убедилась: соревноваться с полярным хищником в проворности — самоубийство. Что остается? Не может такого быть, что положение безвыходное! Она, дипломированный климат-инженер, человек, вооруженный научно-техническими достижениями середины середины XXII века, уступит какой-то зверюге?

Будто в голове щелкнуло: используй стелс! Вероника осторожно приподняла левую руку, потянулась к запястью правой. Медведю ее движение не понравилось. Пасть зверя приоткрылась, демонстрируя желтоватые зубы. Клац! От неожиданности медведь присел на задницу. Добыча, мгновение назад стоявшая перед ним, исчезла, хоть деваться ей с каменного пятачка, нависающего над ревущим прибоем, было некуда.

Впрочем, замешательство зверя длилось считаные секунды. Медведь вскочил, ноздри втянули воздух. Человек был по-прежнему рядом, пусть он его не видел, но чуял превосходно. Хищник свирепо рыкнул и ринулся в атаку. Девушка едва увернулась, проскользнула у самой звериной морды, с ужасом отмечая, как та поворачива-

ется следом. На миг сперло дыхание от смрада из раззявленной пасти. Она заставила себя не оглядываться: не хватало оступиться, упасть! Зато слышала, как хрустит каменное крошево под тяжелыми лапами — ближе, ближе. И рык — в самое ухо!

Вероника на ходу заставила дверь кабины открыться, нырнула рыбкой, захлопнула за собой. Лишь тогда оглянулась. Медведь стоял в пяти метрах от машины, ревел рассерженно, но подходить ближе пока опасался. Дожидаться, чем все закончится, она не собиралась. Умостилась в кресле, активировала двигатель. Бесшумно, как большая серебристая птица, глайдер взмыл в небо, развернулся, помчал в глубь острова, в самое сердце ледника.

Полярный день заканчивался, а вместе с ним и вахта Вероники. Скоро она вернется к привычному комфорту мегаполиса, к друзьям, институтским коллегам, просто знакомым людям. И незнакомым, тысячи которых видишь каждый день, не задумываясь об этом. К начатой диссертации по ретроспективной гляциологии вернется. Пока же единственный человек поблизости — Аркадия, начальник базы. И белое безмолвие вокруг. Впрочем, безмолвными назвать можно

исключительно ближайшие окрестности. Достаточно пролететь каких-то сорок километров — и поймешь: первое впечатление об Арктике ошибочно. Птичьи базары с сотнями, тысячами, десятками тысяч чаек, глупышей, люриков, лежбища тюленей и моржей, несметные стада белух. Еще нерпы и морские зайцы, лемминги, пуночки и, конечно же, бродяга Севера белый медведь.

Воспоминание о медведе заставило Веронику нахмуриться. Пожалуй, Аркадии о сегодняшнем приключении лучше не рассказывать. Хотя сделать это будет нелегко: начальник базы — практикующий психоэмпат. Мысли она, конечно, не читает, но…

На счастье, Аркадия была занята в библиотеке, и Вероника беспрепятственно прошмыгнула к себе в лабораторию. Плюхнулась в кресло, вывела на экраны динамическую карту ледовых полей. Однако впечатления о неудачной экскурсии к побережью были чересчур свежи, мешали погрузиться в работу. Поэтому она скомандовала искину базы:

— Радиоперехваты за последние трое суток! В порядке актуальности.

Первая же аудиозапись заставила забыть о медведе.

Костик словно попал в кошмарный сон, выкарабкаться из которого не получается. Началось все, когда они с Левой и Леной сидели в твиндеке, обсуждали предстоящую зимовку — первую в их жизни! — и спорили, кому повезло больше с распределением и чья полярная станция важнее для Севморпути. Неизвестно, чем бы закончился спор, но тут бабахнуло и тряхнуло так, что Лева полетел на пол, больно приложился затылком. Вскочил, потирая ушибленное место: «Это что, мина?!»

В твиндеке было полно женщин и детей, поднялся гвалт, паника. Костик с Левой попытались помогать краснофлотцам заводить пластырь, но только под ногами путались, и их прогнали. Когда подорвался тральщик конвоя, они все еще оставались внизу. Выбрались на палубу, уже когда на пароход привезли раненых. Зато как от второго взрыва на тральщике сдетонировал боезапас и многометровый столб воды, дыма и пламени взметнулся к небу, увидели превосходно.

Затем командир конвоя приказал начать эвакуацию людей на оставшиеся два тральщика. В первую очередь в вельботы грузили детей и женщин. Чтобы не терять времени, мужики взялись спускать на воду принайтованные на палубе кун-

гасы. Помощь радистов-практикантов и здесь не понадобилась. На первый рейс кунгасов ребята не попали: желающих оказалось слишком много, их оттерли. Рассудив, что рано или поздно с поврежденного парохода заберут всех пассажиров, они отошли в сторонку и принялись ждать своей очереди, кутаясь в бушлаты от промозглого ветра. Тут их и заметила Ленка, уже спустившаяся в вельбот, курсировавший между пароходом и тральщиком: «Ой, давайте мальчиков наших заберем. Они худенькие, много места не займут». Лейтенант, старший в вельботе, смерил их взглядом, кивнул.

На маленьком тральщике людей собралось — яблоку упасть негде, считай, половина пассажиров с парохода, если не более. О том, чтобы спуститься вниз, в тепло, нечего было и мечтать, там разместили женщин с детьми. Пришлось остаться на палубе. «К счастью», — сообразил Костик четверть часа спустя, когда смог хоть что-то соображать. А до этого палуба внезапно поднялась на дыбы и швырнула его вверх. Ошарашенный, он летел сквозь огненный смерч и картечь обломков, орал во все горло и не слышал собственного крика. Или не вверх летел, а вниз? Потому что врезался в ледяную воду,

хлебнул полный рот, забарахтался, не понимая куда. Вырвался к воздуху, но глубина потянула его обратно. И не за что ухватиться, кроме как за воздух. Но воздух — слабый помощник.

Все же махал руками он не зря. Его заметили, схватили за шиворот.

— Давай, хлопче, давай! Держися за лодку!

Пожилой краснофлотец с сильно побитым оспинами лицом втащил его в шлюпку. Костик упал на дно, в лужу соленой воды, ничего не соображая, только кашлял надрывно и ловил ртом воздух. Он даже не понял, когда обзавелся соседом — таким же насквозь промокшим парнем в тельняшке. Нога парня была то ли перебита, то ли ранена и сильно кровоточила. Он скрипел зубами, пытаясь зажать рану. Потом толкнул Костика в плечо:

— Помоги!

Помощь требовалась, чтобы оторвать рукав тельняшки и перевязать рану. Добротная ткань не поддавалась. На счастье, у рябого нашелся нож, и общими усилиями они забинтовали парню ногу. За этим занятием и познакомились. Молодого краснофлотца звали Федор, пожилого — дядько Марк.

— Матерь божья, что на свете творится, — дядь-

ко Марк покачал головой, рассматривая обломки тральщика. — Сколько ж деток разом загинуло? А жинок!

— Может, спаслись какие, — неуверенно возразил Федор. — Вон, вон, гляди, плывет!

— Не, то неживая. Бач, лицом донизу.

Костик тоже взглянул невольно. И узнал. По форменному бушлату узнал. Охнул беззвучно, перегнулся через борт, норовя дотянуться до проплывающего мимо тела.

— Куды?! Лодку перекинешь! — возмутился дядько Марк. Но помог, поддел тело веслом. Вдвоем они втащили девушку в шлюпку, перевернули на спину. — Казал же, мертвая! Взрывом убило.

— Может, просто воды нахлебалась, — неожиданно возразил Федор. — Сейчас откачать попробую. Я умею!

— Ну, пробуй. — И уже Костику: — О, а вон в самом деле живой хтось, рукой маше! Бери весло, погреблы!

Шторм понемногу усиливался, волны становились выше и круче, грести труднее, а рука, взывающая о спасении, была так далеко. Но сил Костику хватило. Возможно, оттого, что где-то посередине пути Федор известил: «Живая, дышит!»

Они нашли спасательный плотик, на котором

лежали, судорожно уцепившись, черноволосая остроносая девушка в одной нижней рубахе и… Лева! Вернее, девушка и цеплялась, и махала призывно, и время от времени подтягивала норовившего соскользнуть Левку. Когда подплыли ближе, Костик понял почему: правая рука товарища висела безвольной плетью.

Девушку звали Наташа. Она то и дело хваталась за грудь, кашляла с надрывом так, что дядько Марк спросил настороженно:

— Ты что, чахоточная?

Девушка отрицательно замотала головой:

— Спиной меня сильно ударило, когда взорвалось. Дышать больно.

— А-а-а. То ничего, до свадьбы заживет.

— Я замужем! — вскинулась Наташа и зарыдала. А Костик вдруг увидел красное в уголках ее рта.

Непонятно, заметил кровь дядько Марк или нет. Привстал, огляделся:

— Живых больше не видать. Погребем до наших, и так далеко отбились, не ровен час потеряемся… Матерь божья… — застыл внезапно. Начал медленно приседать.

Костик оглянулся и тоже обомлел. В полукабельтове от них из свинцово-серой воды всплы-

вала, вспенивая буруны, такая же серая рубка подводной лодки. Не мины то были, получается.

Дядько Марк опрокинул на дно шлюпки и его, и Леву, и Наташу, навалился сверху.

— Тихо всем! Може, не заметит фриц, не станет стрелять. Подумает, мертвые мы.

Сколько они так лежали, прижавшись друг к другу, Костик не знал. Поодаль прогремел взрыв, и Федор попробовал приподняться, посмотреть. Дядько Марк не позволил:

— Нишкни!

Потом был еще взрыв, а они все лежали, лежали, лежали. Только когда ноги и руки свело судорогой от холода, дядько Марк осторожно приподнял голову вровень с бортом шлюпки. Затем и вовсе сел на лавку. Ни кораблей, ни фашистской подводной лодки на горизонте не было, лишь болтались среди волн кунгасы и вельботы. Не поймешь, есть там живой кто или всех немцы постреляли.

— Куда грести теперь? С какой стороны берег? — дядько Марк посмотрел на Федора, признавая за младшим превосходство в мореплавании.

Федор отвернулся.

Начальник базы выслушала рассказ Вероники с деловитым выражением, словно та докладывала

о ледовой обстановке в Карском море. Кивнула, когда девушка закончила:

— Это война, милая моя. На войне люди гибли, гибнут и будут гибнуть во все времена. Предотвратить это не в наших силах, тем более не в наших полномочиях. Мы можем только посочувствовать родственникам погибших.

— А живые?! Те, кто уцелел при взрывах?

— Ты же сама сказала, начата спасательная операция, самолеты в воздухе, корабли в море. Их найдут.

— Найдут?! При здешних архаичных поисковых системах? Там одну шлюпку унесло далеко на север — ее точно не обнаружат!

— Что ты предлагаешь?

Вероника растерянно пожала плечами:

— Не знаю. Но нужно же что-то сделать! Пожалуйста!

Аркадия помедлила, кивнула:

— Хорошо, я подумаю.

Час спустя советская база ВМФ получила радиосообщение от поискового гидросамолета с координатами потерпевших кораблекрушение. Неотличимое от настоящего.

Вместимости шлюпки для шести человек хватало с избытком. На этом хорошее заканчи-

валось. Потому что ни спаскомплекта, ни хотя бы емкости с пресной водой в ней не оказалось. Зато соленой было в избытке: волны захлестывали суденышко, и приходилось непрерывно вычерпывать. Чтобы грести, сил не оставалось. Да и куда?

У Федора начался жар: рана загноилась. Он терпел сколько мог, но, проваливаясь в забытье, начинал стонать и просить пить. Пить хотелось всем. Пить было нечего. Они слизывали конденсат, остающийся после туманов.

На пятый день шторм стал стихать, тучи истончились, сквозь них наконец-то пробилось солнце. Костик обрадовался, надеясь, что удастся высушить одежду. Однако северное солнце оказалось обманчивым, его тепла хватало, чтобы испарить капли пресной влаги, но не согреть.

Лена так и не очнулась. С каждым днем дыхание ее становилось слабее. Костик смирился, что спасти подругу не удастся, что она умрет посреди холодного злого моря. Первая из них. Но он ошибся. Первой умерла Наташа, тихо и незаметно. Костик проснулся среди ночи и понял, что не слышит ставшего привычным кашля. Помедлил, протянул руку, потряс женщину за плечо. Та не шевельнулась. А утром дядько Марк

пробормотал:

— Отмучилась. Ненадолго чоловика пережила. В море ее надо…

Костик понимал, что последнее адресовано ему: провалившийся в очередное беспамятство Федор и однорукий Лева — помощники никудышные. Что именно он должен привстать, взять мертвую за ноги, поднять, перевалить через борт. Но делать этого не хотелось. Ничего не хотелось — только лежать, свернувшись калачиком. Он уже понял: вслед за Наташей умрет Лена, потом — Федор, потом… они все. Не будет ни берега, ни спасателей. Собственно, они должны были умереть еще неделю назад, когда фашистская подлодка потопила тральщик. Они не спаслись, надежда выжить им только померещилась.

Дядько Марк повторять не стал. Повозившись, стянул с умершей свой бушлат, закутался в него, затих. Заснул? Костик не знал, смотрел в пустое синее небо. И вдруг увидел…

— Они их не нашли! Из-за шторма корабли повернули назад!

Вероника ворвалась в кабинет начальника базы, нарушая субординацию, правила хорошего тона, этику темпоральных экспедиций. Тем не менее Аркадия ее не одернула. Склонила голову,

произнесла:

— Очень жаль. Что ж, царствие небесное душам…

— Царствие небесное?! Там еще есть живые! И даже умерших мы, наверное, сможем реанимировать! Мы…

— Не сможем.

Вероника запнулась на полуслове, растерянно уставилась на начальницу.

— Мы сделали все, что могли, — продолжила та. — Вызванные нами возмущения темпоральных потоков и так были на грани критических. Я пошла на этот риск ради тебя. Но на этом все.

— Но там же люди погибают — наши!

— Наши? — Аркадия вопросительно приподняла бровь. — Весь мир охвачен огнем. В этой бойне на смерть обречены десятки миллионов ни в чем не повинных людей самых разных народов и национальностей. Кого из них ты считаешь своими, а кого чужими? Это не наша война, милая моя. И не наше время. Обитатели его давным-давно умерли, потому относиться к ним как к своим современникам некорректно. Для нас они скорее персонажи исторического фильма. Понимаю, ты первый раз попала в прошлое, тебе трудно с этим смириться. Но иначе нельзя.

Вероника так и застыла с открытым ртом, не в силах найти ответ. Поняв, что возражений не последует, Аркадия кивнула, поднялась из-за стола:

— Постарайся об этом больше не думать. Сейчас я дам тебе успокоительного, и садись за составление динамической карты Великой Сибирской полыньи.

Наверное, Аркадия была права. Наверняка права! Спорить с ней Вероника не умела и не хотела. Дождалась, когда начальница ляжет спать, загрузила в глайдер кибер-ассистентов и улетела. Прочее было делом техники: найти терпящих бедствие, сбросить вниз кибера, чтобы закрепил леера, поднять шлюпку и отнести к острову. Там, пока ассистенты ставили палатку-времянку, Вероника осмотрела спасенных. Их было шестеро: трое парней, средних лет мужчина и две девушки. Здоровье парней опасений не вызывало: сломанная рука, рваная рана на бедре и начинающаяся пневмония без труда лечатся амбулаторно. С девушками было значительно хуже. У блондинки Вероника диагностировала клиническую смерть, брюнетка и вовсе умерла несколько часов назад. Но надо хотя бы попытаться! На базе лучшее медицинское оборудование, какое только есть в Союзе!

Вероника не надеялась, что удастся надолго скрыть от начальства содеянное, тем более наличие посторонних в реанимационных боксах. Не удалось даже ненадолго — за завтраком, как раз между овсянкой и манговым соком, Аркадия поинтересовалась:

— Ты хоть понимаешь, что натворила?

Вероника постаралась придать голосу уверенность:

— Понимаю. Я спасла людей. И не надо на меня так смотреть, я не глупая, искин просчитал вероятность того, что спасение нескольких человек — не исторических личностей, самых рядовых! — вызовет критические изменения в континууме. Она ничтожна! Аркадия, это не катастрофа — всего лишь спасение человеческих жизней.

Начальница кивнула:

— Я рада, что ты не забыла провести предварительный расчет последствий вмешательства. Надеюсь, в массив исходных данных ты включила информацию о том, что эти несколько человек теперь знают о нашем присутствии, более того, им известны пространственно-временные координаты базы?

У Вероники холодная испарина выступила. Эти данные она упустила. Не приходилось решать

подобные задачи на практикумах по прикладной физике времени: в круг полномочий вахтенного инженера прямой контакт с аборигенами темпоральных локаций не входит. А повлиять на результат такая поправка могла радикально. Квантовая природа времени означает, что для любого события существует неисчислимое количество непроявленных вариантов. Нет линейной взаимосвязи между причиной и следствием. До определенного порога воздействие на прошлое бесследно растворяется, но если порог превышен, последствия могут оказаться непредсказуемыми.

А еще квантование времени означает, что целенаправленное смещение возможно лишь в прошлое, по цепочке проявленных событий. Стоит изменить направление, и окажешься перед массивом вероятных вариантов будущего, найти в котором «свой» невозможно. Единственный страховочный канат, позволяющий путешественнику во времени вернуться в исходную точку, — темпоральная база, существующая одновременно в прошлом и настоящем… Страховочный канат для Вероники и Аркадии, но не для спасенных с потопленных кораблей. Для них исходная точка — здесь и сейчас.

— Может быть, ты надеялась отправить этих

людей к нам? — продолжала допытываться Аркадия. — Нет? Понимаешь, что это невозможно? Но что-то же ты планировала?

Вероника опустила глаза:

— У меня не было времени планировать. Я просто спасала людей. И надеялась, что ты поможешь найти правильное решение.

Начальница молчала. Медленно потягивала сок из высокого стакана, разглядывала подчиненную. Только когда стакан опустел, спросила:

— Где остальные?

— На побережье. Там, где гнездовье люриков. Аркадия, пожалуйста, сделай что-нибудь!

— Хорошо, я подумаю. Будет тебе правильное решение.

Костик уверен был, что видит сон. Большая серебристая птица зависла над ними. В днище ее открылся люк, и в шлюпку спрыгнул громадный паук с длинными гибкими лапами. Нет, не паук — самодвижущийся механизм! Засновал взад-вперед, умудряясь не наступить на лежащих людей; принялся крепить к бортам веревки, тянущиеся от брюха птицы. Заерзал дядько Марк, стараясь отодвинуться от невиданного гостя подальше, тихонько заскулил Лева. Костик механического паука не испугался: это же сон!

Закончив работу, паук забрался обратно в люк, тот закрылся, и… шлюпка взлетела! Птица подняла ее над водой, понесла. Костик и этого не испугался. Пусть отнесет подальше от холодного Карского моря в какие-нибудь жаркие страны. Да хоть на само Солнце! Лишь бы согреться наконец… И чтобы там была пресная вода.

Мечта о жарких странах не сбылась, полет оказался коротким. Несколько минут — и под днищем шлюпки зашуршали камешки. Самолет-птица приземлился рядом, выпустив из брюха короткие лапы-опоры. Теперь уже два паука подбежали к шлюпке, бережно вынули из нее людей, положили на землю. Пожалуй, здесь было еще холоднее. По одну сторону громыхало прибоем все то же Карское море, по другую — галдел «птичий базар». А впереди искрился на солнце огромный, сколько глаз хватает, ледник.

Потом Костик увидел человека. Костюм его искрился наподобие ледника, не разглядишь издали. Лишь когда человек подошел ближе, склонился над Костиком, тот понял, что это девушка. Самая обыкновенная: серые глаза, вздернутый носик, ямочка на подбородке, румяные от морозца щеки. Довольно симпатичная. Хоть Лена красивее, конечно.

Девушка приподняла его руку. Костик ощутил прикосновение чего-то твердого. Тут же кольнуло легонько, по телу пробежала электрическая дрожь.

— Пить… — прошептал он.

Девушка кивнула, приложила к губам бутылочку. Вкус у воды был горьковато-кислый, не очень приятный. Но стоило проглотить, и от желудка по всему телу растеклась теплая нега.

Очнулся Костик уже не на холодной прибрежной гальке. Он лежал на мягком и одновременно упругом матрасе, над головой вместо неба — купол просторной палатки приятного лазоревого цвета. Главное, здесь было тепло и сухо! Ни жажды, ни голода Костик не ощущал.

Рядом на таких же матрасах лежали Лева и Федор. У Левы правая рука была залеплена чем-то желтоватым, непохожим на гипс. У Федора эта субстанция покрывала верхнюю часть ноги. Четвертый матрас пустовал. Дядько Марк стоял у выхода, осторожно выглядывал наружу, чуть отодвинув полог. Услышав, как Костик заворочался, оглянулся, спросил:

— Проснулся? Как самочувствие?

— Нормально. А девчата наши где?

— Забрала она их. Сказала, вылечит. Хоть они

вроде неживые были? — дядько Марк покачал головой, вернулся к своему матрасу, присел на него. — Однако ж с тебя она хутко лихоманку выгнала.

— И у меня не болит почти! И пальцы двигаются! — Лева пошевелил пальцами пострадавшей руки.

— А у меня свербит под повязкой, или что это такое. Рана заживает, наверное, — вставил свое слово Федор. Оглядел товарищей по несчастью, спросил: — Так что, тут правда баба была? А то я плохо соображал, сейчас только очухался. Кто она такая, интересно.

— Девка молодая. На русском разговаривает, но как-то не так. Не все слова понятные. Союзники, должно быть, — предположил дядько Марк.

— Американцы? Нет, будь у них такие самолеты, они бы со вторым фронтом не тянули, Берлин бы уже взяли, — не согласился Лева. — Может, она вовсе не с Земли, а с Марса, например? Вот в романе писателя Алексея Толстого…

— Начитался сказок! — отмахнулся дядько Марк. — Союзники, ясное дело. Больше некому.

Кажется, Федор был с ним согласен. С авторитетным мнением краснофлотцев Лева спорить не решился. И Костик не спорил. Хотя сразу по-

нял, откуда появилась незнакомка. Не с Марса, разумеется.

Как-то так получилось, что посредником между Вероникой и спасенными стал молоденький радист-практикант Костик. Другие держались настороженно, помалкивали, старались лишний раз из палатки не выходить. Зато Костик смело изучал окрестности лагеря, пробовал лазить по скалам. Откровенно радовался, когда Вероника прилетала проверить, как идет выздоровление, привозила продукты. Подбегал встречать, едва глайдер опускался, старался помочь. Даже предупреждающих сигналов киберов не пугался, пришлось добавить парня в их список распознавания — от греха.

В третий ее визит Костик заявил:

— Я знаю, откуда ты на самом деле. Ты из будущего!

На взгляд Вероники, это было очевидным. Но парень смотрел с такой гордостью, что она невольно подыграла ему:

— Как ты догадался?!

— Я читал роман о путешествии во времени. Только будущее Уэллс неправильно изобразил, потому что он в Советском Союзе не жил. Никаких морлоков и элоев не будет, а построят на всей

Земле коммунизм, правильно? Только почему у тебя на шевроне написано не «СССР», а «ЕАС»? И на самолете. Это что означает? Единая армия советов… или академия…

Не удержавшись, Вероника хихикнула:

— Нет, всего лишь Евразийский Союз.

Костик наморщил лоб, размышляя, кивнул:

— Правильно, Гитлера разбили, и во всех странах Европы и Азии социалистические революции победили. Но тогда должно быть Евразийский Социалистический Союз, ЕАСС.

Скривился: звучание самим же предложенной аббревиатуры не понравилось. Веронике тоже не хотелось рассказывать правду о судьбе горячо любимой им страны. Она сменила тему:

— Почему ты не спрашиваешь о своих спутницах?

Костик замер.

— Лена и Наташа? Они… живы?

— Конечно живы! Идут на поправку! — выпалила Вероника, радуясь, что в этом врать не требуется. Почти.

Блондинка вышла из комы на четвертые сутки пребывания в реанимационном боксе. Увиденное так ошеломило ее, что и вопросы задавать не решилась, таращила на Веронику голубые глази-

ща да губы поджимала. Самое время отправить ее в лагерь на побережье, там Костик придумает правильные ответы.

Однако сделать задуманное Вероника не успела — у начальницы имелись другие планы:

— Для тебя срочное задание на сегодня. Слетаешь в Аргентину, заберешь Пильмана.

— Но я хотела отвезти…

— Этим я займусь. Давно пора познакомиться с твоими спасенышами.

Путь от Северной Земли до Буэнос-Айреса неблизкий, даже если летишь на глайдере. И обратный ничуть не короче. Вдобавок Пильман опоздал к точке изъятия, пришлось ждать его без малого два часа. Знать истинное имя криптоисторика Веронике не полагалось по рангу: секретность! Тем более расспрашивать о чем-либо. Но в самом конце полета, когда до базы оставалось меньше часа, она не удержалась:

— Вы ведь специалист по Второй мировой войне, правильно? Скажите, осталась какая-нибудь информация о русском конвое, погибшем в Карском море?

— Советском конвое — старайся придерживаться правильной терминологии. Запутанная история. Неизвестно, сколько именно человек

плыло, сколько погибло при взрывах, сколько умерло в море. Почему тебя заинтересовал этот эпизод? А, это же как раз сейчас происходит, неподалеку от базы! Хочешь поучаствовать в спасательной операции, верно? Увы, нельзя.

— Нельзя спасать гибнущих людей? Почему? Это приведет к некомпенсируемым изменениям в темпоральных потоках?

Пильман хмыкнул, огладил пышную черную бороду:

— Смотри-ка, подкованная, основы физики времени выучила. Да, создавать артефакты чревато непредсказуемыми последствиями. Но дело даже не в этом. Вот ты стала свидетельницей войны. Но разве все войны остались в прошлом? В нашем времени не рвутся снаряды и бомбы, но борьба за глобальный паритет, битвы альянсов и противовесов, компромиссов и компроматов не менее безжалостны. А теперь подумай: база на Северной Земле не единственная, где-то пробиты такие же тоннели во времени наших геополитических соперников. Каждый наш промах, каждая оплошность фиксируется. Если нашу страну уличат в нарушении договора о невмешательстве в прошлое, это чревато очень серьезными последствиями: экономическими санкциями,

международной изоляцией. Допустить подобное было бы преступлением.

— Но должно же быть какое-то решение!

— Какое? Изъять спасенных из их времени и переместить в прошлое? Это проблему не решит, наоборот, усугубит.

— А если в будущее? Так далеко, чтобы возмущение континуума не могло повлиять на наше настоящее?

— В будущее, ты серьезно? В какой именно его вариант они попадут, можешь предсказать? И никто не может.

— Раз точка назначения однозначно не определена, должен действовать эффект наблюдателя…

— Гипотеза! Кто ее проверил? Но если и так, какой вариант ждет обитателей столетия, породившего фашизм, коммунизм и оружие массового уничтожения? Тот, где им уготована роль подопытных кроликов? Или где их запрут в психушке пожизненно? Или зачистят сразу, как выявят, — во избежание. Даже мне, специалисту, криптоисторику, имеющему за плечами опыт двадцати семи экспедиций, было бы опасно соваться в такое будущее, а эти троглодиты там обречены. Нет уж, пусть они спокойно умрут в своем времени, а мы будем спокойно жить. И

заниматься каждый своей работой.

Вероника задохнулась от возмущения:

— Вы так рассуждаете, словно речь идет не о людях, а… а… о люриках каких-нибудь!

Криптоисторик тихонько засмеялся:

— Горячая. И сравнение колоритное подобрала — надо же, люрики! Рискую показаться циником, однако все обстоит именно так. Люди, люрики — для истории принципиальной разницы нет.

Первое, что обнаружила Вероника по возвращении на базу, — реанимационные боксы пусты.

— Да, милая моя, — подтвердила Аркадия. — Я все устроила, доставила твоих спасенышей на материк. Всех пятерых. Кстати, их уже нашли, я записала для тебя радиоперехват, можешь послушать. А сейчас у меня с Пильманом сеанс хронодекомпрессии, три часа нас не беспокоить.

Она ушла в кабинет, а Вероника бросилась в рубку слушать запись. Пилот летающей лодки докладывал своему командованию о людях с погибшего конвоя. Значит, все закончилось хорошо, Аркадия придумала способ снизить риск искажения темпорального потока до приемлемого уровня. Но почему она сказала, что спасенных пять? Их ведь шестеро. Оговорилась? Да, наверное. Но вдруг… Вероника прокрутила запись

трижды, пытаясь понять, сколько именно человек спасено. Так и не услышав ответ, полетела к побережью.

От временного лагеря не осталось и следа, Аркадия провела зачистку артефактов скрупулезно. Но при повторном облете девушка заметила движение у прибрежных скал. Человек! Он пытался спрятаться. Когда понял, что замечен, побежал. Вероника посадила машину прямо перед ним. Человек шарахнулся назад и увидел, что прижат к обрыву. Замер. Девушка выпрыгнула из кабины, поспешила к нему:

— Ты чего убегаешь? Это же я, не узнал? Тебя что, потеряли?

И остановилась. На лице Костика была ненависть пополам со страхом.

— Потеряли… Не добили мы вас, фашистов, получается! Только не ври, что ничего не знаешь! Самолет такой же, как у тебя, и тоже «ЕАС» написано. Я думал, это ты прилетела, побежал к самолету, а из него — пауки. Меня не тронули, сразу к палатке кинулись. Вынесли оттуда уже всех мертвыми, в шлюпку положили. И Лену с Наташей из самолета… Потом самолет шлюпку поднял, подальше в море отнес и перевернул там — мол, все утопли! Я видел!

У Вероники дыхание перехватило. Хотелось заорать, что это вранье, что такого быть не может! Но по лицу парня видела — правда. Вызывать Аркадию, требовать объяснений? «Будет тебе правильное решение…» — всплыло в памяти. «…Не думай больше об этом», «…пусть спокойно умрут в своем времени», «…для нас они — персонажи исторического фильма». Да, наверное. Но кто тогда мы — для себя?

Первое, что пришло в голову, — немедленно отвезти парня к ближайшему поселению, и будь что будет. Как же, отвезешь! Стоит глайдеру удалиться от острова, и Аркадия получит сигнал о несанкционированном полете. А также о количестве людей на борту. Соображает начальница быстро, а лететь далеко. Вполне успеет заблокировать управление и вернуть глайдер на базу. Со всем последующим… Так что же делать?!

Костик вдруг обмяк, опустил голову:

— Чего ждешь? Ты же добить меня прилетела? Давай, стреляй. Я знаю, мне все равно отсюда не выбраться. Лучше бы сразу всех утопила, зачем было издеваться…

Вероника закусила губу:

— Я не собираюсь тебя убивать. И никому не позволю это сделать. Спрячься в скалах и жди

меня. Я скоро!

Больше всего времени ушло на то, чтобы подобрать и подготовить аутентичные одежду и экипировку, если можно говорить об аутентичности в задуманном мероприятии. С документами и платежными средствами было и вовсе швах, так что Вероника решила с этим не заморачиваться, сориентироваться на месте. Когда они с Костиком добрались до кабины темпоратора, заветные три часа почти истекли. Или совсем истекли… Набрать координаты точки назначения она все же успела.

— Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?

Вероника резко обернулась, вскинула благоразумно прихваченный парализатор. Пильман стоял в трех шагах от кабины, смотрел на табло.

— Вы не сможете нам помешать! Отойдите, или я выстрелю!

— Не выстрелишь. Наоборот, отдашь мне оружие, я поставлю разряд на минимум и выстрелю в тебя. А ты, — он перевел взгляд на парня, — должен крепко ее держать. После выстрела закроешь дверь кабины и нажмешь вон ту красную кнопку.

Девушка ошарашенно уставилась на криптоисторика:

— Что за бред? Почему мы должны вас слушаться?

— Потому что ты представляешь, куда попадешь, а он — нет.

Время шло, отсчитывая секунды. Каждая могла оказаться непоправимо лишней. Вероника протянула оружие рукояткой вперед.

— Ты что делаешь?! — просипел Костик.

Ответить она не успела. Никогда не думала, что разряд парализатора — это так больно!

Аркадия вылетела в коридор растрепанная и босая: сигнал о срабатывании темпоратора прервал ее отдых после сеанса.

— Кто разрешил?! — заорала.

— Твоя подчиненная сбежала, — пожал плечами Пильман, пряча оружие в карман. — Она была не одна. Ты плохо зачистила.

— Дура! Она не понимает, что, куда бы ни сунулась, я буду ее там ждать?

— Это вряд ли.

Аркадия недоуменно покосилась на криптоисторика. Поняла, бросилась к кабине, вывела на экран логи последнего переноса.

— Сумасшедшая… Самоубийца!

Очнуться Веронику заставили энергичные шлепки по щекам. Она инстинктивно оттолк-

нула чужую ладонь, открыла глаза, села. Костик смотрел на нее испуганно:

— Ты как?

— Нормально. Только жарко.

С унтами и кухлянкой она в самом деле переборщила: белье уже промокло от пота. Тундра была километрах в трех дальше, а они сидели на самой обычной зеленой лужайке. Вероника быстро обернулась.

По эту сторону начинался город. Парки, ажурные мосты и виадуки, дома-башни, искрящиеся в лучах солнца… Нет, не солнца! Полярное солнце застыло у самого горизонта, а город заливало светом и теплом висящее в зените орбитальное зеркало-отражатель.

— Куда мы попали? — прошептал Костик.

— Порт Тикси. Ты же сюда плыл на практику? Вот я тебя и доставила… кажется.

Парень посмотрел недоверчиво, но сказать ничего не успел. Широкая тень накрыла их. Грузовой глайдер завис над лужайкой, снизился беззвучно. В открывшееся окно кабины высунулась рыжая вихрастая голова:

— Привет, комсомольцы! Судя по шубам, приезжие? Заблудились тут у нас? Вам куда, в штаб стройки? Могу подвезти!

Вероника покосилась на Костика, но тот был слишком ошеломлен увиденным, в советчики пока не годился. Она кивнула:

— Подвезите.

К ним тут же упал трап. Девушка первой вскарабкалась по нему. Оказавшись в кабине, предупредила на всякий случай:

— Только заплатить нам нечем. Денег при себе нет.

Парень посмотрел на нее озадаченно. Потом расплылся в улыбке:

— А, понял, вы студенты-историки! Как же, читал рубрику «Историки шутят» в «Меридиане». У нас много приезжих. Как трансарктический монорельс комсомольской стройкой объявили, так молодежь чуть не со всех континентов к нам рванула.

Едва они разместились на заднем диванчике, глайдер взмыл вверх, полетел, огибая по широкой дуге заполярный город-сад. Костик мигом прилип к окну, Веронике захотелось последовать его примеру. Да, она знала, куда попадет, вводя пространственно-временные координаты. И не знала.

Костик оглянулся, тихо, чтобы не услышал водитель, прошептал:

— Это твое время?

Вероника помедлила. Покачала головой:

— Скорее твое. Твое будущее, не ставшее моим настоящим.

Вряд ли Костик понял объяснение. Неважно! Главное — у них получилось. Мир, о котором он мечтал, оказался возможен. Потому что будущее, в отличие от прошлого, не предопределено. Каким оно получится, зависит от выбора каждого из нас. Если мы люди, а не люрики.

Ирина Лунинская. *НЕ ВСЕМ РЕКАМ*

Незримый дом качается между бытием и небытием, выше земли, но не на небе.

Я спустился сюда посмотреть.

Галочка позвала.

Прерывается сиротство, смерть остается где-то там, за скобками.

И думаю, как же хорошо.

Не прошу у Бога ничего другого — да и это прошу тихо, шепотом, как просил тогда, рассыпая свое безверие в окопах, словно табак из дырявого кисета.

Не все ручьи впадают в реки. Не всем рекам кормить моря.

Оставь мне еще год. Оставь все как есть, еще немного, оставь это воскресение — половинчатое, зыбкое, бестелесное.

Дай спасти и спасенным быть.

От памяти — осколки, лоскутки, крошки со стола.

…Жаркий сентябрь, поле, обтянутое золотым горизонтом, дырявые ведра, бодрые, веселые звуки: удар картофелин о дно ведра, хруст ботвы под сапогом. Мешки пузырятся боками, порой

из тонкой прорехи выпадает желтоватый плод — обратно в землю.

Почему-то часто именно это.

Галочка родилась в декабре, самом злом из всех, и война рвала, грызла ее крохотную жизнь на части, терзала студеными лапами той черной зимы, придуманной в канцеляриях ада. Аню мою, жену, декабрь тот подобрал, а ангелы Галочки оказались удачливы — согрели случайными дровами буржуек, святыми людьми, не потерявшими человеческое, накормили опилочным хлебом…

Долгие эшелоны эвакуаций снились мне скупыми ночами, и в снах выживали все.

Я увижу Галочку в мае сорок шестого.

В этот самый день.

Берег реки, мертвые лодки с пробитыми днищами. И почему запомнились? Опухшие от слез глаза дочки — она плакала как взрослая, от счастья. Дети не плачут от счастья, не умеют. Только те, что проросли сквозь черную от крови землю.

Худенькие ручонки уцепились в рукав.

Сколько таких вот Галочек, Сашенек, Витенек не случились, остались в несбывшемся?

Родившиеся умирают, но иногда урывают кусочек бессмертия, а нерожденным даже смерть не по карману — не спасти им детей, и спасения от

детей тоже ждать нельзя.

Даже чудо должно иметь корни, вырасти из той самой картофелины, упавшей обратно.

У Вальки Кузнецова, который вытащил меня, контуженного, оглохшего, из засыпанной землянки, — а бомбы еще выпалывали живое и неживое окрест, — не проросло.

Не продлился в родне, не пришлось, не случилось, и порвалась ниточка, и нет той памяти, что его, сгоревшего годом позже под Сталинградом, вытащит посмотреть на будущее, которое он смог защитить, но не смог увидеть.

А Реваз? Длинный, узкоплечий. Близко посаженные карие глаза, казалось, ерзали над горбатым носом. Он хотел, чтобы мы называли его «Биджо» — этот до невозможности самолюбивый пацан.

В Сухуми была невеста, обещала ждать.

Наваристая июльская ночь, мы ползли с выключенными фарами, Реваз шел в голове, белое полотнище на заднике кузова хоть как-то позволяло полуторке цепляться за дорогу.

Немцы ударили по всем правилам: по головной и по замыкающей. Я был в середине и уцелел, продержался до подхода своих.

Юрка Конев. Жена его пропала в Минске, с тех

пор он не улыбался, не говорил больше трех слов подряд. Только раз, когда под спирт в медсанбате разговорились, точнее я разговорился, бросил: «Я и при жизни болтать не умел».

Был приказ на отход, и молоденький лейтенант замешкался: надо было оставить кого-то прикрывать, а такого он не умел, не научился оставлять людей на смерть. И тогда в первый раз Юрка улыбнулся…

От многих не осталось даже черточки между датами.

Галочка, ничего у меня не получится. Но — спасибо.

Смотрю на внука, как он спит, поджав ноги, ворочается с боку на бок — худой, жилистый старик, с колючим кадыком.

Май нынче жарок и тороплив, спешно наливается зеленым, прошлый был сух и студен. Они все разные, эти маи, и все они одинаковы: квартира, комната, усталый от своей потерянности внук.

Последний дом, в котором меня помнят.

Он просыпается, сбрасывает ноги на пол, кряхтит — он здорово сдал за этот год, пожелтел, опустел лицом.

Смерть его присела на стул, зевает. Нескорая, недоспелая смерть. Не будет у нас с Игорем боль-

ше мая. Хрупкого года старухе хватит, чтобы обосноваться, сожрать моего внука. Не спеша — так она тоже умеет.

Да, говорят в этом славном будущем, шестьдесят четыре — не срок, но мерка не равна на всех.

Мне было сорок девять, но искромсанное тело уже сдавало: укатали сивку крутые горки, а одним духом держатся только в сказках.

Галочка не плакала. Отплакала дочка моя свое раньше. Держала за руку и пыталась улыбаться.

Игорь проходит к окну, смотрит сквозь мутноватые стекла на пустую улицу.

«Галочка, ничего не выйдет», — думаю я.

Да ты же и не для этого меня позвала, сотворив это странное чудо: место ли мертвым среди умирающих?

Не для этого пришла туда, наверх, в день своей смерти, когда семьдесят девять твоих лет аккуратно улеглись в вечность, как усталый кот.

Это случилось пятого мая, а девятого, уже после похорон, Игорь сидел один: никто не был ему нужен в этот день, да и он никому — одичавший, обмелевший, полый внутри, проржавевший от ненужности своей.

И теперь он снова будет пить, сутулясь, как вопросительный знак. Мальчишка, которого я

помню пятилетним, спрашивающим: «Деда, а ты на танке ездил?»

Телевизор гремит горьковатой бравурой, внук шаркает по комнате.

Сейчас он сядет за стол с липкой клеенкой, скрутит винтовую пробку у бутылки.

— Дед, — опять скажет он, опрокидывая стопку в поредевший рот. — Дед, почему ты был человеком, а я нет.

И безголосый я опять ничего не скажу — мертвым нельзя бросать живых, но и помочь им нечем. Только раз в год, в этот самый день, приходить безмолвно, слушать. Уже пять лет слушать.

Бесплотный дух, дышу его жизнью, его горестями и буднями, заботами.

«Живые могут все, — говорю я в никуда. — Живые могут исправить».

Звонок в дверь — Игорь радостно вздрагивает.

«Господи, — говорю я себе. — Не твоя доброта, а людей».

Пятилетняя Галочка входит в комнату. Игорь держит ее за руку осторожно, как фарфоровую чашку.

Другая и та же.

Господи, не по доброте суди своей, а за дела… Но и по доброте тоже суди.

— Дед, а что сегодня мы делать будем? — говорит Галочка, и глаза у нее опять радостные, ждущие.

Никто не виновник наших бед, Господи, но мы же только люди.

— Вспоминать, — говорит Игорь. — Я расскажу тебе про твоего прапрадеда.

Не все ручьи впадают в реки, не всем рекам дано упасть в море.

Но мы пытаемся.

Дмитрий Осин. *ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*

1945 год

Снова нахлынуло чувство раздвоения. Как будто невидимое лезвие вошло в сознание и с опытностью профессионального хирурга разделило его на две половины.

Это ощущение впервые овладело лейтенантом, тогда еще сержантом, Виктором Грачиком 15 сентября 1942 года. Немцы начали наступление по всему фронту и мимоходом смахнули с обжитых позиций их батальон. То был настоящий ад, обрушившийся на головы бойцов сотнями бомб, снарядов и мин.

Но самое главное, это был тот день, когда погибла Маша.

Главная подлость заключалась в том, что он еще мог бы успеть, мог бы спасти Машу, кабы не завернул на командный пункт переждать обстрел. Полчаса, не меньше, он провел там, перебрасываясь ничего не значащими фразами с ротным. А потом…

Он прибежал к тому месту в залеске, где пряталась санчасть, и увидел на месте палатки

чудовищную воронку от фугасной авиабомбы. Из воронки нестерпимо смердело чем-то кислым, а временами налетал тошнотворный запах горелой человеческой плоти. Далеко по сторонам были разбросаны деревянные щепки от самодельных кроватей и неопределенные лохмотья.

Маша, Машенька, что же это? Я не верю! Этого не должно было случиться!

Что было потом, он плохо запомнил. Фриц, казалось, пер отовсюду. Виктор словно бы со стороны видел себя то бегущим наперерез серой цепочке немцев, то забившимся в какую-то земляную щель, а вокруг все завывало, трещало, грохотало. Потом что-то ахнуло чуть ли не под самыми ногами, его приподняло взрывной волной, изо всех сил ударило спиной о землю. И лязгающий ад сменился божественным покоем.

Он пришел в сознание уже в эвакогоспитале, в глубоком тылу. «Где Маша?» — спросил он, но вместо слов вышло какое-то невнятное сипение и бульканье. Медсестричка, менявшая ему повязки, нахмурилась и строго сказала:

— Лежите тихо, товарищ боец. У вас ранение в шею, сильная контузия и касательное ранение головы. Ни слова. Если хотите пить — кивните.

Он послушно кивнул. Сестра чуть заметно

улыбнулась.

— Опасности для жизни нет. Все у вас будет хорошо.

И тогда он вспомнил все, что произошло. И понял, что врет сестричка, что все хорошее осталось для него в прошлом и никогда уже не повторится.

Через полтора месяца он вернулся в свою часть, похудевший, непривычно молчаливый и с этой странной трещиной в сознании, с чувством полного несовмещения того, что есть, с тем, что быть должно.

Очень часто он стал видеть сны, в которых ему являлась живая Маша. Они шли рука об руку по незнакомой улице, и она рассказывала, как ей было страшно и одиноко в том месте, где она очутилась после своей смерти. Это была не жалоба, а бесхитростный рассказ о событии очевидном и всем давно известном.

— Я так хочу к тебе вернуться, — говорила она на прощание, и уходила, уходила…

Вот и сегодня Виктор вскочил с постели, словно бы слыша эти слова наяву. Он пулей вылетел из комнаты, чуть не опрокинув по пути чопорную фрау Райхен, владелицу дома, где он квартировал, в один миг очутился на разбитой танковыми

гусеницами улице, пролегавшей ровно по центру этого то ли городка, то ли деревни, и остановился на пороге, озираясь. Кого он искал? Он не знал и сам. Вокруг были наполовину разрушенные домишки, а на западе, на пределе видимости, чадил хвостами пожаров осажденный Кенигсберг.

Через час он уже принимал у сменщика дежурство по штабу.

Проверив все линии связи, Виктор поудобнее устроился за столом, на котором находились три телефонных аппарата и письменные принадлежности. Также в комнате имелась вестингаузовская рация, поставленная союзниками по ленд-лизу, но была эта рация сущим барахлом, ломалась на каждом шагу. К тому же весила под три пуда. Виктор покосился на нее с неодобрением.

Привычно текли минуты и часы дежурства. Виктор уже намеревался достать из планшета сверток с галетами, переложенными тушенкой, как некстати затрещал сигнал вызова.

Виктор поднял трубку и прислушался. Что-то гудело, потрескивало на линии, затем неожиданно громко рявкнуло, ухнуло, словно от недалекого взрыва, и в наушнике возник отчаянный до звонкости голос:

— Промежуточная, это Грачик говорит! Свя-

зист первой роты Виктор Грачик! Как меня слышишь?

Ему что-то ответили, но совсем уже тихо. Да Виктор и не старался вслушиваться. Давешнее чувство вошедшего в мозг лезвия, расщепившего сознание, накатило с новой силой.

Он лихорадочно соображал. Однофамилец? Да к тому же и тезка? Бред, не бывает таких совпадений. Был бы еще какой-нибудь Вася Иванов, но не Грачик же… Сенька-Зуммер из второго батальона решил разыграть? Невероятно. Сенька хоть и охламон, но не до такой же степени, чтобы лезть со своими шуточками в штаб дивизии. Остается одно объяснение, самое немыслимое из всех. Но именно в нем можно найти хоть крупицу смысла, свести концы и начала.

Он нажал на клапан передачи и, запнувшись, резко спросил, почти выкрикнул:

— Повторите еще раз, кто говорит?

1942 год

Шел дождь. Даже не дождь, а этакая противная морось, сущее наказание для любого фронтового человека. Под навесом для дизельного движка сидели трое. Движок молчал, так как топливо давно закончилось, а новое подвозить не спешили.

Сухопарый и русоволосый парень лет двадцати, то и дело горделиво косившийся на свои новенькие сержантские лычки, оживленно жестикулировал и рассказывал своим приятелям что-то смешное. Те пыхали «козьими ножками» и время от времени лениво посмеивались. Один из них вдруг выпучил глаза, закашлялся и мотнул головой куда-то вбок.

— Гляньте-ка только, люди добрые! — наконец воскликнул он.

Добрые люди тут же глянули и словно окаменели.

Чудное зрелище предстало их взору! Из-за ротной кухни вывернула на глинистую проплешину маленькая, явно женская фигурка, закутанная в плащ-палатку, с объемистым бачком в руках, и заковыляла в сторону санитарной палатки.

— Из новеньких фельдшериц, видать. Совсем молоденькие девки. Позавчера только прибыли. Ну и картина!

Действительно, картина была впечатляющая. Казалось, что бачок, увлекаемый неодолимой инерцией, двигался сам по себе, а девушка беспомощно и бесполезно моталась вокруг него, то и дело спотыкаясь и запинаясь. Капюшон от плащ-палатки наполз на лицо до самого подбородка,

поэтому она через каждые три шага задирала голову вверх, как норовистая кобылица, чтобы хоть что-то видеть перед собой.

А когда они увидели ее сапоги… На несколько размеров больше, чем требовалось, они смотрели носами в самых произвольных направлениях, а по временам и вовсе разворачивали задом наперед, и тогда девушка становилась похожа на вконец потерявшего меру Чарли Чаплина.

Удержаться просто не было сил. Из-под навеса грянул строенный взрыв хохота.

Девушка в очередной раз запнулась, совершила вокруг бачка замысловатый пируэт, похожий на круг почета, наконец плюхнула драгоценную ношу в грязь. Снова закинув голову почти до самых лопаток, она отыскала взором весельчаков и крикнула тонким прерывающимся голоском:

— Жеребцы проклятые! Чтоб вы лопнули!

Махнула на них рукой и снова вцепилась в злополучный бачок.

Тогда сержант нахлобучил на стриженную голову плоскую как блин пилотку, легко перемахнул через чахлые кустики и приблизился к ожесточенно сопящей медработнице.

— Позвольте помочь, мадемуазель, — сказал он светским тоном, слегка дурачась.

Из-под капюшона сверкнул сердитый взгляд.

— Без сопливых обойдусь. Помощник выискался! А ну прочь с дороги!

Она яростно сопела, кряхтела, даже как бы подвывала, но бачок увяз в грязи намертво. Вскоре сопение сменилось иными звуками, подозрительно напоминающими всхлипывания.

— Да ладно тебе, чего в одиночку корячишься? Я ж помочь, от всей души…

— Провалиться тебе со своею душой, — выпалила она, одновременно стараясь вытереть локтем выступившие от злости слезы. — Сейчас вот как двину по наглой морде.

Сержант начал закипать:

— Отдай, кому говорю!

— Щас, разбежалась.

Тогда он сделал самое зверское лицо, на какое был способен, и рявкнул так, что у самого заложило уши:

— Смирно! Товарищ санинструктор! Я вам приказываю отойти от бачка! Немедленно выполняйте приказ старшего по званию!

Девушка, даже не пикнув, послушно шагнула в сторону и остановилась, приоткрыв рот и тараща из-под капюшона испуганные глаза.

— В травмпункт? — спросил он обыкновен-

ным голосом. Девушка молча кивнула. — Кстати говоря, меня зовут Виктор Грачик. Связист, а по-научному выражаясь — специалист по коммуникациям. Сержант, как видишь. А ты кто такая?

— Мария Платонова, военфельдшер. Кстати говоря, старший сержант медицинской службы, — она со значением выделила голосом слово «старший».

Воин отнесся к этому сообщению легкомысленно.

— Да ладно тебе, чего нам чинами мериться. Познакомились, вот и ладушки. Дело молодое.

Мария заметила, что, насколько ей помнится, они не пили с ним брудершафт.

— Так выпьем еще! — воодушевился он. — Чего лучше!

На повороте возле глубокой рытвины, до краев наполненной жидкой грязью, Мария сунулась помочь нежданному помощнику, но вдруг ойкнула и отшатнулась.

— Товарищ ефрейтор, да на вас вши кишмя кишат! Какой ужас!

— Что? А, да, вши… Что с ними поделаешь. Одно слово — паразиты.

— Немедленно отправляйтесь в баню, а одежду — на прожарку.

Виктор подивился девичьей наивности:

— Насчет бани это ты, сестричка, погорячилась. Разве что недели через две, когда мыло привезут. Ничего, я вот их припарю керосинчиком — вмиг поменяют дислокацию.

Пока они тащились до санитарной палатки, Виктор условился, что зайдет за Машей сегодня в девять часов, после дежурства, получил согласие и очень довольный отправился выполнять свой воинский долг.

Ровно в девять он явился на свидание, источая ошеломительные волны тройного одеколона вперемешку с керосиновой вонью.

По каким-то тактическим причинам Маша явилась не одна, а с известной красавицей и матершинницей Люськой, с которой, как видно, успела подружиться. Люська все время морщила нос, воротила на сторону свою красивую морду и ворчала что-то неодобрительное.

Гуляли, вели разнообразные и необязательные разговоры.

Виктор рассказал, как вчера ротный заловил на краже спирта у своего же напарника известного ширмача и проходимца Бородина, более известного под кличкой Боров. Напарник возмущенно взмахивал руками, призывая окружающих к чув-

ству справедливости и предлагая жуткие кары в ответ на обиду, а Боров стоял тут же, рядом, покачивался и смотрел на происходящее как на некий кинофильм.

— Ты взял спирт? — грозно спросил ротный.

— Н-н-н, — проникновенно замычал Боров, — н-никак н-нет. Я, твр… др… дрищ лейт-нант, не пьющий, ни капли…

При этом заплывшие его кабаньи глазки глядели в разные стороны, каждый наособицу, вроде как у хамелеона.

Вконец разозлившись то ли на очевидное вранье, то ли на неслыханное слово «дрищ», ротный самолично начистил ему рыло и присовокупил два наряда вне очереди на рытье нового штабного блиндажа.

В ответ Люська рассказала, как они лечили одного раненого немца, и спела песенку, которую от него услыхала:

— Гитлер капут, Сталин зер гут,

Маньку берут, в лес волокут.

И при этом насмешливо посматривала на Машу.

Уже совсем стемнело, когда они вышли на берег неширокой речушки, по другую сторону которой расположились немецкие позиции. Взлетели в

небо красные осветительные ракеты, соря огненными брызгами, и тут же коротко простучала пулеметная очередь.

— Трусят, твари, — презрительно сказала Люська, а потом вдруг заявила, что у нее слипаются глаза, что время позднее, что они не маленькие, не заблудятся и что можно сдохнуть от этой керосино-одеколоновой вонищи.

И отбыла.

И хорошо сделала.

Потому что вместо отбывшей Люськи остался тихий весенний вечер, романтически мерцающие звезды над головой и упоительное чувство близости двух юных существ, женщины и мужчины. И никакая война не смогла бы помешать этому обстоятельству.

Они встречались почти каждый день, насколько позволяло фронтовое житье-бытье. Многое узнавали друг о друге, о многом только догадывались и старались каким-нибудь неловким словом не нарушить взаимного доверия.

Оказалось, что оба они попали на фронт прямо со студенческой скамьи и оба были добровольцами. Только Виктор учился в МГУ на механико-математическом факультете, а Маша — в химическом техникуме. Он шутил по этому

поводу:

— У нас будет образцовая академическая семья! Давно назрел вопрос о слиянии физики, химии и математики. Это дело ближайшего будущего! А вон как раз и кустики погуще, в самый раз. Айда за мной, сольемся ради науки.

И пел люськину песенку, переиначив имя:

— Гитлер капут, Сталин зер гут,

Машку берут, в лес волокут.

Она нарочито сердилась:

— Язык у тебя как помело. И потом, сколько уже раз я просила не называть меня Машкой. Так только коз в деревне зовут.

— А что тут такого? Дело молодое, обижаться некогда. Ах ты, козочка моя ненаглядная!

Однажды у них случился не совсем обычный разговор. Сидя на своем любимом пригорке на опушке леса, они как зачарованные наблюдали невероятно многозвездное сияющее небо. Вдруг сверху соскочила одна искра, потом вторая, третья…

— Как трассирующие пули, — заметила Маша.

— Это лириды.

— Что еще за лириды?

— Метеорный поток, наблюдаемый в середине весны. Звездопад, как говорят в народе. Знаешь, я

до войны ни разу не видел собственными глазами звездопад. Это участь всех жителей крупных городов: дым, гарь, световой фон от освещенных улиц не дают им такой возможности. Несправедливо.

Они немного помолчали.

— Когда я в детстве гостила у бабушки в деревне, — наконец сказала Маша, — то слышала легенду, будто это ангелы слетают с небес, чтобы забрать к себе в рай добрые души.

Виктор обнял ее за плечи и теснее прижал к себе.

— А ты сама веришь ли в ангелов? Точнее, в ангелов-хранителей?

— Не знаю. Может быть. Я ведь комсомолка, нам не положено верить в такие сказки, но иногда…

Она умолкла, не закончив фразы.

— Сказки, — задумчиво повторил Виктор. — Я хочу рассказать тебе одну случившуюся со мной историю, которую не рассказывал никому на свете. Это произошло еще в Севастополе, где я жил в детстве, в тот день, когда мне стукнуло двенадцать лет.

Да, ровно двенадцать исполнилось Виктору Грачику, по поводу чего его старший брат, курсант военного училища, выразился так:

— Знаменательная дата! Целую дюжину лет

ты, братец, валял дурака, влачил жалкое полудетское существование. Но этому пришел конец, и ты можешь по праву гордиться таким фактом. Ибо отныне тебя с полным основанием можно называть человеком недюжинным.

И с грубоватой лаской потрепал его по затылку.

Друзья надарили ему кучу подарков, и среди этой кучи он мгновенно выделил одну поистине бесценную жемчужину: грампластинку с записью его любимой песни из фильма «Дети капитана Гранта». Когда все разошлись, он в радостном предвкушении поставил пластинку на вертушку, завел патефон и аккуратно опустил иголку. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер», — жизнерадостно запел Роберт, и Витя словно бы наяву перенесся на палубу яхты «Дункан», услышал плеск волн, свежий норд-вест взлохматил непокорные волосы.

Но тут произошло непредвиденное. Не успел Роберт допеть «Кто ищет, тот всегда найдет», как звук вдруг пропал, что-то явственно щелкнуло и послышалось пронзительное свиристение, которое Витя сразу же узнал. Дело в том, что иногда, забавы ради, он или придерживал пальцем пластинку, от чего получались унылые тягучие

звуки, как бы речь некоего ленивого бегемота, или как можно быстрее раскручивал, что и вызывало подобное свиристение. И так до самого конца записи. Половина песни исчезла.

Витя был сообразительным мальчиком, а теперь еще в придачу и недюжинным, поэтому решил произвести серию экспериментов. Использовав вместо пальца бархотку, с помощью которой брат непрестанно драил свои пряжки и пуговицы, он произвольным образом тормозил вращение пластинки, пока наконец не разобрал нечто осмысленное. Это были слова. Мужской надтреснутый голос с неприятными металлическими обертонами явственно произнес: «Слушай меня внимательно, Тюха! Это не шутка и не розыгрыш, от этого зависит твое здоровье и, может быть, сама жизнь, и не только твоя, но также твоих дворовых приятелей-корешков. Завтра тебе предложат сходить поплавать на мол, но ты должен отказаться. По возможности отговори остальных. Придумай причину сам, тебе там виднее, но уясни главное: чтобы близко не подходил…» Щелкнул автостоп, игла подпрыгнула, пластинка остановилась.

Стоит ли говорить, что Витя был потрясен, больше того — испуган. Сам факт заводского брака,

может быть, не произвел бы особого впечатления, но была одна деталь, которая поставила его в тупик. Домашнее прозвище Тюха (от фамильярного Витюха) знал только его брат и еще разве что родители. Витя считал это прозвище очень обидным и однажды, выбрав подходящий момент, когда брат пребывал в благостном расположении духа, категорически потребовал при посторонних это слово не употреблять.

— Ишь ты, цирлих-манирлих, — ответил брат и величественным мановением руки отпустил от себя младшего. — Ладно, гуляй. Живи.

Тогда в голову ему прокралось подозрение, что брат специально сходил на фабрику граммофонных пластинок и записал обращение, изменив голос. Тоже бред. Кто и, главное, зачем пустит его на фабрику? Да и нет у них в Севастополе никаких граммофонных фабрик.

В конце концов Витя бросил ломать голову над этими неразрешимыми загадками и с удвоенной энергией продолжил эксперименты. Результат не замедлил явиться: через два часа он неосторожно повернулся и разбил пластинку об угол патефона.

На следующий день события обернулись трагической и даже жуткой стороной.

Корешки действительно рано утром зашли за ним, позвали купаться к молу. Витя соврал, что нужно выполнить какое-то домашнее поручение, и робко попытался отговорить остальных от этой затеи. Куда там! Ехидные подначки и непонятное слово «штрейкбрехер» стали ему ответом. А ближе к вечеру пришла страшная весть, что внезапный шквал, пронесшийся по побережью, ударил мальчишек о бетонные блоки. Один утонул, двое сильно покалечены. Было о чем задуматься.

Второй случай произошел через несколько лет, когда семейство Грачиков уже перебралось в Москву. Вите стукнуло пятнадцать, мысли его как-то неожиданно для него самого переключились с излюбленных математики и физики на девочек, на эти загадочные создания, которые, кроме вечного хихиканья и вопиющей вредности, оказались способны привнести в мир нечто новое, волнующее. Находясь в состоянии романтической рассеянности, он шагнул на проезжую часть, чтобы перейти улицу.

День был воскресный, и по этому поводу повсюду гремели и звенели репродукторы, услаждая слух граждан легкой и бодрящей музыкой типа «Жить стало лучше, жить стало веселей». Вдруг

музыка оборвалась, последовала секундная пауза, а затем на всю улицу грянул оглушительный мужской голос с характерным дребезжанием:

— Стой, Тюха! Ни с места! Приказываю тебе стоять! Замри!

И Витя замер. Просто от неожиданности, не вникнув еще в смысл произнесенного. А через мгновение, истошно гудя сигналом, буквально в полушаге от него пронесся громадный грузовик, перескочил через бордюр и со скрежетом воткнулся в ближайший фонарный столб.

Когда Витя вышел из состояния ступора, бодрая мелодия снова оглашала окрестности, а несколько ближайших прохожих с разнообразными криками и возгласами вытаскивали из покореженной кабины окровавленного, но вполне живого и даже ругающегося черными словами шофера. Витя не сомневался: голос из репродуктора и голос на пластинке принадлежали одному и тому же человеку.

Этот случай тоже прочно отложился в памяти, но, как и предыдущий, никакого внятного объяснения не получил.

А третье загадочное событие случилось перед самой войной. Уезжая служить на Дальний Восток, старший брат передал в его, Витино,

безраздельное пользование старенький фотоаппарат ФЭД, который, впрочем, чаще называли просто лейкой. Витя на какой-то период буквально заболел фотоманией. Не выходил из квартиры без фотокамеры, снимал что нужно и что не нужно, в общем дорвался.

Больше всего ему нравился процесс проявления снимков. Промывка пленки в специальном крутящемся бачке, фиксация, закрепление и самое волшебное — момент, когда на белой фотобумаге, погруженной в кювету с реактивами, возникает изображение предметов и людей, когда-то привлекших Витино внимание. Это было сродни магии.

Как-то раз они с одноклассниками устроили двухдневный турпоход за город. Витя прощелкал всю пленку и, вернувшись домой, решил сейчас же напечатать снимки и раздать ребятам. Повесив пленку на просушку, он бегло проглядел ее на свет и обратил внимание на один кадр, очень светлый по сравнению с другими, явно недостаточно экспонированный. В подробностях разглядеть изображение и с чем-то его идентифицировать было затруднительно.

Естественно, первым делом он решил напечатать именно этот снимок. Какой-то незнакомый

мужчина, пожилой, даже старый, совершенно лысый. Перед собой держит табличку, на которой что-то написано. Витя, подняв фотоувеличитель почти до отказа, дал максимальное разрешение и прочитал: «22 июня 1941 года начнется война с Германией. Попробуй уговорить родителей эвакуироваться. Держись, Тюха».

Ну и как же все это понимать? У нас с Германией прекрасные отношения, в одной газете, по слухам, тиснули даже статью под заголовком «Товарищ Сталин в личном послании поздравил товарища Гитлера с победой над буржуазной Францией». А тут вдруг война. Уж не происки ли врагов народа? Витя терялся в догадках.

Он сделал с негатива три снимка обычного формата: общий план, отдельно лицо таинственного мужчины и отдельно — надпись. Что ж, думал он, до 22 июня осталась неделя, так что посмотрим.

— И, конечно, 22 июня я все увидел, вернее, услышал по радио, — закончил он свой рассказ. — А снимок я на всякий случай сохранил и ношу с собой.

Маша сосредоточенно морщила лоб, что-то соображала, затем потребовала снимок. Заслонившись полой шинели и подсвечивая себе самодельной зажигалкой из патронной гильзы,

она внимательно изучила фото.

— Что это у него на лбу? Похоже на шрам.

— Понятия не имею. Пятно какое-то или, может быть, просто царапина на пленке.

Маша вернула снимок, ничего не сказав.

— Вот поэтому я и спросил тебя про ангелов-хранителей. Как-никак, а он дважды спас меня если не от смерти, то от сильных увечий.

— Это все странно и непонятно, — наконец произнесла Маша. — Но ангелы… Ты когда-нибудь слышал про ангелов, занимающихся фотоделом?

После этого вечера прошло еще полгода. За это время их часть мотало с фронта на фронт, половина личного состава сгорела в топке войны — этого самого бесчеловечного человеческого занятия, а из глубоких тылов, в основном из Сибири и Средней Азии, нескончаемой рекой лилось пополнение.

Кто-то из великих сказал, что война и любовь несовместимы друг с другом по своей природе. В отношении Маши и Виктора это утверждение явно не работало. Летом они подали комбату рапорт, в котором просили зарегистрировать их отношения, но комбат только развел руками и сказал, что для такого рода документов существует ЗАГС. Как только часть отправят в резерв, в

тыл, пусть оформляются. Погодите маленько.

Им не оставалось ничего другого, как ждать.

В тот день 15 сентября 1942 года, который впоследствии станет самым черным днем его жизни, Виктора срочно вызвали на командный пункт. Он догадывался, в чем дело. Еще со вчерашнего вечера на стороне немцев началось какое-то шебуршание и шевеление. Все чаще стрекотали пулеметы, ухали гаубицы, в небе беззвучно барражировала вездесущая «рама». Среди бойцов пронесся слушок о готовящемся немецком наступлении.

Виктор, ставший к тому времени уже старшим сержантом, шагал на КП, сохраняя на лице озабоченное выражение. По пути миновал фордовский грузовичок, в котором деятельная Люська размещала раненых. Какой-то боец, худющий как сучок, заморенный, прилип к ней, словно банный лист, и все втолковывал:

— Ты, сестричка, главное, махры не забудь захватить, как обратно поедешь.

— Привезу, привезу, не гоношись, — буркнула Люська.

— А также картошечки. Огурчиков там, сало либо консерву. Мыло опять же…

Люська полуобернулась к настырному, смерила

его с ног до головы суровым взглядом и гаркнула на все расположение:

— А по…аться тебе заодно не привезти, болезному?

Солдатик нисколько не растерялся, а напротив, довольно осклабился:

— А как же, это первое дело. Небось, не утянет.

И оглядел фигуристую Люську своими голубыми ласковыми глазами. Та только фыркнула.

Виктор не стал больше задерживаться.

Неужели фрицы пойдут на прорыв, обеспокоенно думал он, шагая сбоку вусмерть раздолбанной колеи. И в ту же секунду, как бы в ответ на его опасения, из-за недалеких холмов, словно из-под земли вынырнуло звено юнкерсов и медленно стало расходиться по сторонам, чтобы охватить как можно большую площадь поражения. Тут же ударила артиллерия, воздух моментально наполнился свистом приближающихся снарядов и мин. Преисподняя разверзлась на русских позициях.

Виктор влетел на КП, ожесточенно протирая глаза от копоти и пыли. Ротный что-то орал в трубку, затем с остервенением швырнул ее на аппарат и рявкнул:

— Грачик! Наконец-то! Мухой на линию, исправь связь с артбатареей, там где-то порыв.

Инстинктивно пригибаясь, Виктор тяжелой пробежкой рысил среди сплошных клубов дыма и гари. Сквозь левую ладонь он привычно пропускал телефонную жилку, уже не ощущая в горячке боя, как рвут кожу многочисленные узелки старых соединений. Пальба вроде бы начала стихать.

— Дай-то бог, — пробормотал он.

Провод вдруг выскочил из руки. Ага, место порыва, а вот и вторая нитка. Зубами зачистив концы проводов, он наскоро переплел их, стащил со спины завернутый в мешок телефонный аппарат и подсоединил клеммы.

— Промежуточная, это Грачик говорит! Связист первой роты Виктор Грачик! Как меня слышишь?

Сквозь треск и гудение прорвался слабый голос:

— Промежуточная на связи! Слушай, Грачик, скажи третьему, что у нас тут…

Тут вдруг что-то щелкнуло, и в трубке возник другой голос, дребезжащий, какой-то металлический, но удивительно отчетливый:

— Повторите еще раз, кто говорит?

— Сержант Грачик. Третий, это ты?

К этому времени ветерок стал рассеивать дым-

ную пелену, прогудел самолет и развесил над русскими позициями осветительные бомбы. Вдали булькнул миномет, затем еще один. Засекли, сволочи!

Виктор снова схватился за трубку и нажал клапан передачи:

— Третий, как слышишь меня? Отвечай! С тобой не может связаться…

— Где ты находишься, Виктор Грачик? — перебил его голос. — Только точно. Да, какой у тебя сейчас год и какое число? Да не молчи ты, обалдуй с Покровки! Быстро говори!

Виктор совершенно растерялся. Это еще кто такой? Может, начальника какого-нибудь на КП принесло? Хрен разберешь, что у этих начальников на уме.

— 1941 год, 15 сентября, высота 21.

Голос словно бы задохнулся на миг, но тут же рявкнул оглушительно:

— Немедленно закругляйся! Быстро беги к Маше! И не вздумай заходить на КП! Прямиком к Маше! Понял меня? Выносите раненых из палатки и скорее в лес. Не теряй ни секунды. Но главное — сбереги мне Машу!

— Да кто это та… — начал было Виктор, но сразу же умолк. Он вдруг понял кто.

А голос гремел:

— Молчать! Молчать, Тюха, мать тебя в перемать! Бегом к Маше, я тебе прика…

В трубке снова щелкнуло и снова возникла Промежуточная:

— Так третьему и скажи! Да пусть снарядов подвезут, у нас полный капец…

Но Виктор уже не слушал. Наскоро обмотав соединение изолентой, он вернул телефон снова в мешок и опрометью кинулся обратно, не выпуская из руки путеводного провода. В голове вертелась одна мысль: только бы успеть.

1945 год

— Бегом к Маше, я тебе приказываю! — срываясь, крикнул лейтенант Грачик и замер. В трубке молчали, грохот взрывов исчез.

Мысли его бежали как по заколдованному кругу: этого не может быть… это все-таки есть… нет, этого не может… На негнущихся ногах он подошел к висевшему на стене зеркалу, оставшемуся от прошлых хозяев, достал из кармана кителя фотографию. Некоторое время поочередно всматривался то в нее, то в свое отражение. Сложно было сказать что-то определенное — очень большая разница в возрасте. Он машинально потер

лоб и ощутил под пальцами неровность от давно зажившего шрама. Сейчас шрам скрывала густая поросль волос, но через сколько-то лет, если он облысеет… Опять в голове завертелась карусель догадок и предположений.

Осталось единственное средство прекратить это мыслекружение. Он выскочил с КП, бросив на ходу дремавшему вестовому: «Подмени на полчаса», и побежал к своему дому.

Фрау Райхен долго не открывала, а когда соизволила впустить постояльца внутрь, ледяным тоном уведомила его, что она не глухая и что совершенно незачем так громко колотить в дверь. Виктор, не слушая ее ворчания, шагнул в прихожую и замер, потому что из глубины помещения раздался голос, который он никогда не спутал бы ни с каким другим:

— Кто это, фрау Райхен?

Из спальни вышла женщина, остановилась, оглядывая Виктора. У него чуть не остановилось сердце. Женщина чуть нахмурилась и тревожно спросила:

— Витя, что случилось?

И в этот момент проклятое лезвие вышло из его сознания, две тропинки судьбы совместились и образовали дорогу, ведущую в одну-единствен-

ную реальность, лучше которой не было ничего на свете. Он обнял женщину, крепко притиснул к груди и прошептал, стараясь изгнать из голоса предательскую дрожь:

— Господи, Машенька, как же я по тебе соскучился.

Прошло две недели. Кенигсберг был успешно взят, русские подсчитывали свои потери и отлавливали власовцев, которых оказалось на удивление много в этом бастионе Восточной Пруссии.

В один из поздних вечеров, когда Маша уже уютно посапывала в кровати, Виктор сидел за столом, бессмысленно наблюдая за шатающимся огоньком в керосиновой лампе. В голове его царил сумбур.

Итак, путешествие вспять по стреле времени допустимо, но только не для физических тел, а для проявлений электромагнитного поля… Но как это возможно? Остается предположить, что по соседству с нашим пространством существует другое пространство, целая вселенная с неопределенной метрикой и неясными свойствами, где функция времени имеет обратный ход… Видимо, электромагнитное взаимодействие способно входить в контакт с этой вселенной, какое-то

время существовать по ее законам, а потом возвращаться обратно… Вселенная-медиатор… К тому же что это за неведомая сила, способная выбирать ключевые моменты для вмешательства? Изменять прошлое и, значит, настоящее? Человеческое желание или воля? А может… Он посмотрел на спящую Машу. Как закоренелый материалист, он не допускал мысли, что такие отвлеченные понятия, как желание, воля и любовь, могут подчиняться физическим законам… Он вдруг вспомнил, что у гностиков существовало своеобразное разделение людей на пневматиков и психиков и что психики имели какую-то почти нечеловеческую силу в области управления душой и ее устремлениями… Невероятная каша получается. Можно еще и максвелловы уравнения попробовать… Нет, так не пойдет, тут нужно все привести в систему.

Стараясь не потревожить Машу, он достал из чемоданчика толстую тетрадь, прихваченную им в счет репараций из развалин какой-то конторы, очинил фаберовский карандаш и крупно вывел на чистом листе:

«НЕКОТОРЫЕ
ЧАСТНЫЕ
СЛУЧАИ РЕТРОГРАДНОГО (РЕТРОСПЕКТИВНОГО)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ».

Подумал немного, и перед словом «взаимодействия» нарисовал нечто вроде трезубца бога Посейдона. Греческую букву Пси.

А до смерти четыре шага



Сергей Игнатьев. *МАЯК ДЛЯ НАГЛЬФАРА*

Die
Schlacht, sie tobt so wunderbar,
mit berstender Gewalt.
Feurig blitzend, donnernd, krachen
naht das Ende bald!
Equilibrium[1]

— Си-до-ров, — пробормотал особист по слогам, как считалочку, — Маркус Иванович.

Так, будто пробовал на вкус. Будто произносил его имя в первый раз за прошедшие двое суток.

«Сыграл со мной батя шутку, — подумал капитан. — Большой был оригинал. Все в роду испокон веку Иваны: и отец, и дед, и прадед. А меня Маркусом назвал: в честь товарища Маркса, автора книги “Капитал”, и товарища Кустодиева, автора

---

[1] Notes: 1
Строчка из песни «Blut im Auge» (из альбома «Sagas», 2008) немецкой группы «Equilibrium»:

«Битва бушует так великолепно
с сокрушительной мощью.
Пылая молниями, грохоча громами,
скоро наступит конец!»

картины “Большевик”».

«Новую жизнь строим, радостную», — говорил батя, приходя с работы.

«Лес рубят — щепки летят», — отвечал он на тревожный бабский шепот, классово чуждый.

«Это ошибка, Зинаида, ТАМ во всем разберутся. Скоро вернусь», — сказал он в прихожей, вбивая твердые, намозоленные руки в рукава пальто. Уходил в сопровождении людей со смазанными, не в фокусе, лицами.

Не разобрались. Не вернулся.

Теперь, видать, капитана черед пришел.

Особист пристально разглядывал содержимое раскрытой папки. Так, будто и ее видел впервые.

— Что ж мне с тобой делать-то, Маркус Иваныч?

Капитан промолчал. Попробовал поймать взгляд следователя, но тот быстро, умело отвел глаза.

У него было улыбчивое румяное лицо в россыпях веснушек и оттопыренные малиновые уши. Лет двадцать — сидоровский ровесник.

«На Рязанцева похож, — подумал Сидоров. — Такой же конопатый. Как он там? Спросить? Вряд ли скажет».

— Вижу ведь, что не враг, — продолжал особист

дружелюбно. — Вижу, что наш, советский человек… Ордена у тебя, ранения. Цельную саперную роту доверили. Двадцать с небольшим, а уже капитан! Как умудрился-то?

Сидоров разлепил губы:

— Быстро учусь, гражданин следователь. Мне еще на курсах говорили.

— Ню-ню, — хмыкнул особист. — Даже вон к звезде тебя представляли! Так что ж ты мне… Что ж ты мне сказки-то эти, а… Зачем усугубляешь-то?

Сидоров медленно поднес ладонь к лицу, потер двухдневную щетину.

За спиной у особиста постукивали гигантские напольные часы, покрытые сложной резьбой. Рядом каминный портал, оленьи и кабаньи головы. Между камином и часами пыльные рыцарские доспехи, а выше фотопортрет плешивого контр-адмирала Кригсмарине при рыцарском кресте, кортике и монокле. Адмирал, похожий на птицу-секретаря, заносчиво пялился на капитана сверху вниз.

Особист перехватил взгляд Сидорова, обернулся на портрет, довольно крякнул:

— Спросишь, почему не снял?

Капитан не собирался спрашивать.

— Пускай смотрит! Пусть видит, фриц, кто теперь в его хоромах сидит. Ишь, рожа-то довольная! — Он обвел комнату смакующим взглядом. — Устроились, а? — зашарил по столу, взял портсигар. — Скажи, Иваныч? Картин понавешали, вазы вон, портиеры. Орестократея гребаная… Курить будешь?

Сидоров кивнул.

Особист раскрыл портсигар, дал папиросу, прикурил ему, затем себе, откинувшись, пустил в потолок дымную струю.

— А ты вот все молчишь, — сказал он с неудовольствием. — Не хочешь ты все-таки идти мне навстречу.

«Не мытьем, так катаньем, — подумал Сидоров равнодушно. — Скорей бы все это закончилось, что ли?»

— Все рассказал, гражданин следователь. Все как было. Слово в слово.

Особист охотно закивал, поглядел в папку, приоткрыл было рот, но тут за дверью послышался невнятный шум, протестующие возгласы часового.

Дверь, скрипнув, распахнулась.

Капитан краем глаза отметил стремительное движение, почувствовал запах одеколона.

Особист глянул, гневная тень сменилась на лице застывшим казенным выражением. Поспешно вскочил, грохоча креслом по паркету, встал навытяжку.

— Пойди погуляй, лейтенант.

Особист кивнул, тряхнув русым вихром, подхватил фуражку, пропал из поля зрения.

Дверь закрылась с аккуратным скрипом.

Пришедший — Сидоров чувствовал затылком — неподвижно стоял у входа в комнату, смотрел на него.

По паркету прогремели каблуки. Обогнув стол стремительной тенью, показался незнакомый майор в расстегнутой шинели.

Он с чувством выдохнул, как человек, уставший после долгой дороги, добравшийся до места назначения, где теперь предстоит сложное, ответственное дело. Стоя перелистнул несколько вложенных в папку листков. Снял фуражку с синей тульей, пригладил темные волосы, зализанные назад. Сел в кресло. Все эти действия у него получились стремительными, в то же время экономными и точными.

Положив на стол руки в черных перчатках, он впился Сидорову в глаза цепким, пронзительным взглядом.

В нем было что-то неправильное, в этом майоре. Что-то от артистов трофейных черно-белых фильмов. Выглядел он гладко, даже глянцевито, и чувствовалось в нем нечто заграничное — принципиально, бесповоротно чужое. Иссиня-бледный цвет лица только подчеркивал это ощущение.

Будто солнца избегает, подумал капитан, глядя в тусклые глаза.

— Иванов, — коротко представился майор. — Заманали вас особисты, я смотрю. Спали хоть, Маркус Иваныч?

— Спал, товарищ майор, — хрипло соврал Сидоров.

Задним числом отметил, что опять по привычке перескочил с «гражданина» на «товарища». Но майор его не одернул, как тот, предыдущий.

«Этот не мальчишка, — подумал капитан. — Этот всерьез за меня возьмется». Робости перед прибывшим он в себе не ощущал. Спать уже почти не хотелось. Скорее хотелось проснуться.

— Рапорт прочитал, пока добирался. Можете не пересказывать. Вижу, не раз уже приходилось. Хреновая история вышла, ничего не скажешь. За бойцов не волнуйтесь, на контроль взял. Одному операцию вчера сделали, пацан совсем… Как его,

Рязанов?

— Рязанцев, — тихо сказал капитан. — Как он?

— Выкарабкается, — майор все в той же порывистой манере выдвигал ящики стола, мельком заглядывал в них. — Ох ты…

Вытащил бутылку коньяка.

— Будете?

Сидоров не понимал, что за игру тот затеял. Ждал всякого. Кнута, положим, еще не применяли. Решили начать с пряника?

Майор разливал по рюмкам, извлеченным из того же ящика. Выставил одну перед капитаном:

— Давайте-ка. За здоровье ребят ваших!

Сидоров твердой рукой взял рюмку, медленно поднес ко рту, выпил.

Почувствовал, как расползается внутри теплая волна. Пружина медленно распрямлялась. Кошмар, начавшийся двое суток назад, стал не рассеиваться, вовсе нет, но переходить на новый уровень — вглубь, во тьму, не оставляя надежды проснуться в блиндаже от сыплющегося на лицо песка, гула канонады на «передке» и бормотания толстого и вислоусого заместителя Маслаченко, трясущего за плечо.

Майор уже разливал по второму кругу:

— Я вам верю, Сидоров… Ну, еще по одной!

Принимая рюмку, капитан попытался осмыслить услышанное.

В дверь деликатно постучали.

— Старшина, ты?

— Тахтощна, нащальника! — ответили из-за двери, кто-то шикнул там (особист подслушивает, догадался Сидоров), и старшина поспешно добавил: — Таварища маиорама!

— Заноси! — Иванов подмигнул капитану. — Я уж насчет жратвы распорядился. А то выглядите вы препаршиво.

Вошел сержант-таджик, прошедшие два дня карауливший Сидорова. Камерой ему служил винный погреб внизу, где помещались титанических размеров бочки и царила кромешная тьма.

Капитан наконец осмыслил услышанное:

— Верите, товарищ майор?

Вчера ночью, размышляя о своем положении, он решил, что сошел с ума.

Ответственности это с него не снимало, но зато так проще было смириться с увиденным. Признав себя сумасшедшим, успокоился.

Это было логично — трехнуться умом: после двух ранений, после контузий — сколько их было? — он попытался сосчитать и сбился. И вот появляется этот странный майор, похожий на

черно-белого американского артиста, и говорит, что верит ему. Один из их хитрых приемчиков?

Он просто не может верить мне, потому что я сам не верю в то, что видел.

— И вы читали мой рапорт?

— Читал.

Старшина выставил перед майором дымящуюся тарелку с серыми макаронами, тушенкой и луком и стакан горячего чая в подстаканнике.

Рот у Сидорова наполнился вязкой слюной.

Ухватив цепкий взгляд Иванова, старшина стушевался, переставил тарелку и чай поближе к Сидорову. Майор отослал его движением руки.

— Ешьте! Вы мне понадобитесь сытым и бодрым. Предстоит много работы. Вам бы выспаться не помешало, но на это, увы, нет времени.

— Вы хотите сказать, товарищ майор…

— Да. Доедайте. И поедем смотреть этих ваших… — Иванов сделал паузу, заглянул в папку следователя, ухмыльнулся. — Этих ваших эсэсовцев-упырей.

У «Виллиса» во дворе комендатуры курили двое, неуловимо похожие на майора и притом совершенно ему противоположные. В отличие от Иванова, имели вольно-партизанский вид: один плечистый и мордатый, в заношенном черном

комбинезоне и линялой пилотке, второй худощавый, в галифе и потертой кожаной куртке, с небрежной челкой из-под кубанки. Общее с майором — такой же бледно-землистый цвет лица.

«Будто в одном подвале всю войну просидели», — зло подумал Сидоров. Развивать эту мысль не хотелось.

— Знакомьтесь с моими ребятами. Снегов, Тибетов.

Мордатый Тибетов равнодушно козырнул, Снегов коротко кивнул, втаптывая окурок сапогом.

В поведении их была не привычная наглость штабных или вкрадчивая фамильярность особистов, а скорее некое мутное пренебрежение ко всему происходящему вокруг.

«Хороши, — подумал капитан. — Мне б в роту таких субчиков — устроил бы им веселую жизнь».

Званий майор не озвучил, знаков различия не было. Фамилии казались затертыми от частого употребления псевдонимами.

Вспомнив пословицу про чужой монастырский устав, капитан молча козырнул.

Феникс – Немезису:
В ответ на ваш запрос сообщаю. В июне

1939 г., согласно сведениям упомян. ранее источника, в г. Шлагенбург (рейхсгау Бранденбургская Марка) руководство СС стягивает значительн. экономич. труд. ресурсы для осуществления проекта «Йотуншт ейн». В апреле 1943 г. получены сов. секр. данные о переводе нескольких групп ученых, занятых в проектах класса «Вундерваффе», из различн. областей рейха в проект «Йотуншт ейн». В мае 1943 г. получены данные о возведении в районе г. Шлагенбурга комплекса исслед-ских лабораторий. Согласно имеющимся сведениям, объект успешно функционирует. Ведутся активные эксперименты, в т. ч. на заключенных конц. лагерей гестапо. Руководит проектом предполож. д-р Юрген Мария Хексер (Общество кайзера Вильгельма; Рейхсминистерство науки, воспитания и нар. образования).

Вывод: в районе г. Шлагенбурга по инициативе рейхсфюрера СС в условиях повыш. секретности создан один из крупнейших в рейхе научн.-исслед. комплексов. Кадровый состав и предмет исследований проекта уточняю. Продолжаю изыска-

ния.

Рекомендация: форсировать развед. деятельность в данном направлении, привлечь доп. ресурсы. Прошу вашего разрешения на особые действия.

Немезис – Фениксу:

Продолжать изыскательную работу по проекту «Башня магов». Особые действия запрещаю. Удачной охоты.

Штурмтигр – Немезису:

В феврале 1943 г. с Восточного фронта в Йотунштейн (г. Шлагенбург) переброшен особый батальон СС «Нифльхель», находящийся в прямом подчинении рейхсфюрера. Командует батальоном оберфюрер Эберхард фон Блютфляйшер. Отбор кандидатов осуществляется из числа отличившихся на Вост. Фронте ветеранов частей СС; руководит отбором штандартенфюрер Гельмут Циммерманн. Утверждает кандидатов лично Гиммлер. Возможность успешной операции по внедрению оцениваю как маловероятную. Подробные данные по личному составу прилагаю шифром.

Немезис – Штурмтигру:

Продолжать действия согласно общему распорядку. Удачной охоты.

Танаис – Немезису:

Согласно распоряжению осуществл. внедрение в общество «Служителей Маяка» (г. Берлин). Установлены следующие фигуранты: оберфюрер СС Гольц, штандартенфюрер СС Бош, штандартенфюрер СС Краузе, проф. Ахенвальд, проф. Гримм, проф. Йенсен. Согласно плану «Бумеранг» осуществл. ликвидация фигурантов. Связь общества С. М. с проектом «Башня магов» не подтверждена. Продолжаю дальнейшие действия согласно общему распорядку.

Немезис – Танаис:

Дальнейшие действия запрещаю. Приказываю вернуться на исходный объект. Канал для перехода прежний. Удачной охоты.

«Виллис», подпрыгивая на ухабах и рытвинах, несется от комендатуры к окраине городка.

Там, за сгоревшей станцией и железнодорожными путями, траншеи второго эшелона, развороченные артиллерией поля, а за ними

гудит и громыхает разрывами, посверкивает зарницами передовая.

Сидоров отмечает изменения, произошедшие за два дня, что он томился в винном погребе под охраной старшины-таджика.

Повсюду царит сосредоточенное, несуетливое движение. Кривые улочки заполнены бойцами химвойск, многие в полных защитных костюмах и противогазах. Попадаются среди них огнеметчики с тяжелыми баллонами. Проезжают навстречу внушительные цистерны. На главной площади тарахтит мотором Т–34. Повсюду синие тульи госбезопасности. Несколько взводов в форме НКВД выдвигаются к окраине походным шагом, с вещмешками и автоматами через плечо. На перекрестке выстроилась, слушая указания командира, шеренга собаководов с овчарками. Громыхает навстречу грузовичок-полуторка, чей кузов под завязку набит мрачными парнями с ППШ в пятнистых маскхалатах.

С особым удовлетворением Сидоров отмечает, что среди прибывших хватает и своего брата-сапера с металлоискателями и гигантскими ножницами (резать колючку), с пилами и топорами, с якорями-кошками и связками предупреждающих табличек.

Сидоров стоит у стола в штабном блиндаже, напротив карты, переводит взгляд с одного разведчика на другого.

Все смотрят на него. Разведчики удивлены. Он вызвался идти вместе с ними.

Иванов постукивает карандашом по планшету:

— Вам приходилось принимать участие в диверсионных операциях?

— Никак нет.

— В прямых боестолкновениях?

— Так точно.

— Я не про ту ситуацию, два дня назад. До этого?

— Никак нет.

Сидоров смотрит в бесцветные глаза майора:

— По минным полям смогу вас провести только я. Должен идти с вами.

Частично это правда. Да, только он знает проходы. Но есть еще причина: он хочет вернуться. Хочет поквитаться. Трое его людей остались в лесу, еще один умер в госпитале, двоих пытаются спасти.

Все его понимают, даже майор:

— Возражения есть?

Возражений нет.

— Уверены, капитан? — Иванов заранее знает ответ.

Группа готова к выступлению: пятнистые маскхалаты, десантные ППС–43, противогазные сумки, штурмовые ножи, токаревы и трофейные люгеры.

Иванов разбивает подчиненных на боевые двойки:

— После того как Сидоров выведет вас на исходную, разбираете сектора. Сигнал — красная ракета. Тибет, Яранга берут часовых. Топор, Крысолов — по сектору А, Гравер, Зодиак — сектор Б, Метла, Краб — работаете по центру. Снег, Сидоров — координация, прикрытие, связь. Задача — осмотр подходов, захват языка, общая оценка ситуации. В драку не ввязываться, контакта избегать. Быть предельно внимательными. Все готовы?

Все готовы. Снег кивает Сидорову.

— Удачной охоты! — Иванов хлопает ладонями, обтянутыми перчаточной кожей.

В лунном свете кажется, глаза его изменились. Мелькнули искры, отражения лунного света. Появилось что-то живое.

Группа направляется в проход, прорезанный в проволочных заграждениях ребятами Сидорова

три дня назад.

Дальше, за колючкой, тянется минное поле, торчат противотанковые ежи. У опушки развороченные прямым попаданием останки ДОТа, похожие на фантастический цветок, раскрывший закопченные бетонные лепестки.

Кое-где таблички, поставленные сидоровской ротой. Они продвинулись далеко в лес, и все там было усеяно минами. Это их насторожило, но к тому, что последовало, все равно оказались не готовы.

Сидоров ползет первым, широко загребая рукой, вокруг которой обмотан ремень ППШ. Остальные следуют за ним совершенно бесшумно. Кажется, даже не дышат.

Капитан рад такой компании. Рад, что возвращается.

Двойки с автоматами наготове, пригнувшись, короткими перебежками расходятся по секторам.

— Вот он, Йотунштейн… — шепчет Снег. — Хренова громада, а?

Они с Сидоровым лежат на сосновых иглах в начале уходящего вниз крутого спуска.

— В этом пейзаже есть что-то поэтическое…

Ничего поэтического Сидоров впереди не ви-

дит, он равнодушен к поэзии. Впереди в тусклом лунном свете массивные развалины.

Когда-то здесь стоял замок, высокий и суровый, грубой кладки. Превратился в руины, зарос мхом, был поглощен лесом. А лет пять назад пришли сюда сытые люди в черных мундирах, крича и щелкая затворами, согнали толпу голодных людей в лохмотьях, с кирками и лопатами. Вырубили лес вокруг, прокопали траншеи, установили пулеметные гнезда, натянули ряды колючки. Расчистили даже целую взлетную полосу — вон она проступает в тумане проплешиной в густой чаще.

Часовых не видно. И развалины, и хитро вписывающиеся в них укрепления кажутся брошенными.

— Схема у нас паршивая, конечно, — говорит Снег. — Но если по ней судить, подвалы тут и раньше были о-го-го, а пару этажей вниз они к ним точно добавили. Называется вся эта система «Хельбункер». И черт его знает, что там скрывается под землей, какая вундервафля.

Он подмигивает капитану, улыбается сжатыми губами.

Сидоров из вежливости улыбается в ответ. Не чувствует себя своим среди этих парней с глаза-

ми стариков, чудными кличками и запутанной иерархией.

— Знаешь, кто такая эта Хель? — продолжает Снег. — Повелительница мира мертвых, Нифльхеля. Страны вечного холода, голода и болезней. Восседает на троне, зовущимся Одр Хвори. Полчища бессловесных мертвецов прислуживают ей. Умерших от болезней, старости, павших в бою бесславно. Для кого закрыты чертоги Вальгаллы.

Сидоров кивает, ожидая продолжения.

— Росту в ней, как у Рабочего и Колхозницы товарища Мухиной. Может, даже выше. Одна половина тела черно-синяя, другая мертвенно-бледная, потому зовется сине-белой Хель. Лицо и торс от живой женщины, а ноги и руки — трупные, разлагаются. Вообрази, такую красоту встретить? — Он кивает на сидоровский ППШ: — Такую «папашей» не взять. Такую разве что зениткой!

— Шутишь?

— Шучу. А ты чего пригорюнился?

— Эти твари тут трех моих ребят положили. Плевать, что там внизу у них, хель-шмель… Мне бы только добраться до них. Уковыляют, сволочи, в свою Вальгаллу со шмайсерами в задницах!

Лежат на мягком ковре из хвои и ждут.

Сидоров сверяется с часами — прошло двадцать минут, а ушедшие двойки не дают вестей. Это странное место будто проглотило их, не оставив и следа.

Оберфюрер фон Блютфляйшер сидит на КП, слушает доклады офицеров, подпирая висок кулаком, курит, слушает доклады радистов, потирает пальцами веки, курит, слушает доклады ученых, снова курит.

Безумие продолжается четвертые сутки, и ему не видно конца. Так бывает всегда, если все идет слишком гладко. А они добились выдающихся успехов.

Невзирая на то, что рейх разваливается на куски, победоносный вермахт отступает, а мудрый фюрер окончательно рехнулся… У Блютфляйшера все получилось.

После стольких неудачных попыток им удается создать прототип. Идеальную модель, изящный трафарет, на чье создание было потрачено столько ресурсов.

Гиммлер будет доволен. Конечно, если Блютфляйшер выберется отсюда живым для личного доклада.

Оберфюрер вертит на безымянном пальце наградное кольцо, смотрит сквозь панорамное окно

из бронированного стекла на приготовления прототипов.

В юности он почитывал Конфуция, и ему понравилось то место про ветер перемен, при котором одни возводят стены, а другие строят ветряные мельницы. Продолжение фразы про то, что при разных принципах не найти общего языка, — это оберфюреру было уже неинтересно. Он был практик, к тому же не силен по части компромиссов.

Блютфляйшер отворачивается от панорамного окна, видит красное потное лицо штандартенфюрера Циммермана. Тот, оказывается, все еще тут. Даже говорит что-то: о потерях, о прорыве периметра, о том, что в Шлагенбурге русские.

Оберфюрер не слушает его. Думает, что, если бы вел дневник, мог записать в него: «Когда дует ветер перемен, глупцы залезают в ближайшую канаву, а мудрецы строят мельницы».

Стряхнув пепел, молча указывает Циммерману тлеющей сигаретой на панорамное окно.

За ним высокий сводчатый зал, похожий одновременно на цех оборонного предприятия и крупный полевой госпиталь. Там перемешаны в равных пропорциях решетчатые фермы и белые халаты персонала, штабеля бочек и ряды коек, ржавчина и пот, спутанные провода и окровав-

ленная вата, ведра с нечистотами и ящики с патронами. Там под руководством оберфюрера, благодаря его чуткому контролю над безумным гением доктора Юргена Марии Хексера (тот носится внизу, всклокоченный, размахивает тощими руками, как вдохновенный дирижер) были рождены прототипы.

Толстяк, устав от монолога, отдувается, смотрит вниз. Понимает, что предлагает командир. Краска сошла с толстых щек, уступив место нездоровой бледности, пот градом льется со лба.

Оберфюрер медленно кивает, как бы подтверждая серьезность невысказанных вслух намерений.

Утечка антиматерии, на кодовом языке веществоТорн, обозначаемое одноименной руной (руна Торн, изображающая шип и символизирующая турсов, троллей, гоблинов, а также Врата и торжество скрытых отрицательных сил, — точное и исчерпывающее определение проекта «Хельбункер»), добавила им проблем.

Зато эта утечка предоставила и прекрасную возможность испытать прототипы в деле.

Блютфляйшер смотрит на Циммермана тем взглядом, который особым образом действует на подобных людей: чуть откинув назад голову,

прищурившись, вопросительно.

Толстяк ожидаемо выкатывает глаза, вскидывает правую ладонь. Сипит: «Яволь, майн фюрер!», щелкает каблуками. Шумно пыхтя, гремит сапогами вниз по железной лестнице исполнять приказ.

Затушив в пепельнице сигарету, Блютфляйшер с удовлетворением отмечает, что в ходе брифинга не произнес даже полуслова.

Время утекает вместе с бегом рваных туч, заслонивших луну, звоном ветра в сосновых кронах и осыпающимися с откоса мелкими камешками.

Разведчики все не возвращаются.

Зато в лесу, с той стороны, откуда они пришли и где все напичкано минами, раздается глухой взрыв.

— Какого хрена? — Снег оборачивается.

Их человек десять. Все в пятнистых куртках эсесовских егерей, в обтянутых сеткой касках, убранных папоротниками.

Они бегут через лес, и ни у одного нет оружия.

«Врукопашную? — удивляется Сидоров, вскидывая ППШ. — Или снова… ЭТИ?!»

Луна выходит из-за туч, освещая приближающихся эсэсовцев.

Видно, что их форма изорвана, один голый по

пояс, у всех перепачканы лица и все скалятся на бегу, будто улыбаются. Будто это шутливое состязание вперегонки и всем им очень весело.

Один бежит быстрее других, приближается, астматически сипя, хрустя валежником, размахивая прямо вытянутыми руками. Чем ближе, тем отчетливее видно, что кожа на его щеке свисает клочьями, вместо глаз — выпученные бельма.

Остальные выглядят не лучше. Бегут молча, но перепачканные рты их оскалены, с них срываются нитки слюны и темной крови.

— Твою мать, — говорит Снег с почти восхищенным выражением. — Гребаный ты ж свет, это же…

Сидоров реагирует быстрее.

Уперев приклад в плечо, поводит стволом «папаши», прицеливается, бьет одиночным.

У ближайшего эсэсовца из головы вылетает темный фонтанчик, его откидывает вниз по склону.

Второй, получив пулю в лоб, дернувшись всем телом, рушится следом.

Снег вскидывает ППС, бьет короткой очередью.

Фрицы складываются пополам, кубарем летят вниз.

Оставшихся это не останавливает. Очень целе-

устремленно бегут вверх по откосу. У ближайшего разворочено брюхо, свисает студенистая мотня.

— Про них толковал особистам? — кричит Снег в перерывах между выстрелами.

— Да! Не ожидал?! — ППШ гулко бьет одиночным.

— Гребаные мертвяки! Сидоров, в голову цель, понял? — ППС вторит эхом.

— Почему в голову?!

— Уже видел такое! Прикрой!

Снег кидается к рации.

Сидоров стреляет очередью. Срезает двоих, они, размахивая скрюченными руками, катятся вниз, погребая под собой третьего.

Еще трое настойчиво карабкаются вверх. У одного разодрана голова, лохмотья кожи открывают блеск черепной кости.

Тишину нарушает лишь вой ветра в кронах, хруст валежника под множеством ног, сиплый хрип и редкие одиночные выстрелы.

— Немезис, я Снег! Ведем бой, как поняли меня, прием?

Напялив наушники, он крутит верньер, оглядывается на подступающих мертвяков.

Сидоров дает очередь, срезает нескольких, следующей выкашивает оставшихся.

Полуминутного затишья как раз хватает, чтобы сменить магазин.

— Немезис, я Снег! Ведем бой на объекте! Атакованы мертвяками, прием!

— Снег, я Немезис! Не шшш…нял, повтор…

— Я Снег, атакованы ходячими мертвяками, как поняли меня, прием?

— Что… шшш…ня?! Какими шшш… …твяками? Прием!

— Гребаные умертвия! Прием! Меняем позицию! Обеспечьте карантин! Карантин, как поняли?!

— Вас …нял, понял! Держи… шшш…

Сзади раздается громкий хрип.

Снег оборачивается, сбрасывая наушники, хватает автомат, ловит в прицел бегущего к нему мертвяка в разодранной маскировочной робе.

Очередь разносит его голову в клочья.

— Сидоров, видишь ход? — Снег указывает на развалины. — Слева за пулеметным гнездом. Прорываемся к нему! Бегом!

Йотунштейн снаружи — нагромождения замшелых камней и обвалившиеся арки, поросшие мхом.

Внутри — лабиринт запутанных бетонных ходов, оплетенный толстыми проводами, тускло

освещенный электричеством.

В глубинах здания заунывно воет сирена.

С автоматами наготове Сидоров и Снег бегут вперед.

За поворотом коридора впереди слышен слитный грохот сапог:

— Пасс ауф! Лос, лос!

Сидоров и Снег ныряют в боковое ответвление коридора.

Впереди распахнутая стальная дверь. От нее тянется за угол широкий кровавый след. За углом темно, доносится чавканье и урчание.

Снег из-за угла заглядывает в коридор. Чавканье смолкает. Из темноты приближаются хрипы, тяжелое дыхание.

Снег выходит из-за стены и бьет одиночными. Во вспышках выстрелов дергается тело в драном черном мундире, с окровавленной оскаленной пастью.

Сидоров и Снег бегут дальше, коридор выходит на открытую галерею с хлипким решетчатым ограждением. За ним — подобие вокзального зала ожидания.

Мозаичный пол, высоченный камин, в полстены алеют штандарты со свастиками, по углам свалены ящики.

С одной стороны в зал врывается, хрипя, дыша с присвистом, наседая друг на друга, спотыкаясь, падая, царапая руками пол, толпа в лохмотьях черных мундиров, белых халатов и серых рабочих комбинезонов.

С другого конца зала из высоких дверей выбегает взвод солдат с «маузерками».

— Аларм, аларм! — офицер на бегу размахивает люгером. — Дас фоер оне бефель!

Взвод стреляет от дверей, перезаряжают винтовки.

Ефрейтор, бросив МП–40, хрипя и плюясь кровью, бежит назад к дверям. Офицер в упор стреляет в него.

Солдаты сходятся с толпой мертвяков врукопашную, их сминают, офицер бежит, держась за окровавленную руку, орет:

— Шайзе, вир харэ лассен! Их бин фервундэт!

Он замедляет ход, голова трясется, изо рта, пузырясь, течет пена. Отбросив люгер, офицер кидается под ноги своим в панике бегущим солдатам, вцепляется одному из них в сапог зубами. Солдат падает, роняя винтовку. Бывший командир вгрызается в его шею.

Из дверей выходят двое в противогазных масках и длинных огнеупорных плащах, поливают

из огнеметов и подступающих мертвяков, и бегущих от них эсэсовцев.

Охваченные пламенем мертвяки налетают на них, подмяв копошащейся массой, задние ряды напирают, карабкаются через тех, что заняты пиршеством, врываются в распахнутые створки.

Снег молча тянет Сидорова по галерее влево.

Внизу кипит кровавый пир мертвяков. Брызги темной крови летят на алые нацистские штандарты вдоль стен.

Штандартенфюрер Циммерман, пыхтя и отдуваясь, бежит по взлетной полосе.

Он торжествует. Его час пришел!

Напыщенный индюк Блютфляйшер даже не представляет, во что ввязался. Он думает, что у него все под контролем. Думает, толстомясый дурак у него на коротком поводке, боится его до усрачки. Думает, что утечка Торн-вещества — досадная случайность, которая хоть и создает помехи проекту безумца Хексера, но зато может быть использована для тестирования его чертовых прототипов. Слепец, он думает, что утечка Торн-вещества — случайность!

В продолжение игры в толстого дурака Циммерман послушно выпустил прототипов.

Но скоро все эти игры закончатся. Он почти

достиг точки своего назначения.

За краем взлетной полосы среди леса расчищена широкая поляна. Кругом стоят высокие резные камни — очень массивные, очень древние.

Гиммлеры и гитлеры приходят и уходят, долг перед фюрером и рейхом — чепуха в сравнении с истинным Призванием.

Он, Циммерман, — избранный, первый среди равных в кругу Служителей Маяка. СС рядом с ними — сборище злых прыщавых подростков.

С трудом переводя дух, штандартенфюрер выходит на середину круга, образованного древними камнями.

Маяк для Нагльфара — он зажжет его!

Маяк для корабля, сделанного из ногтей мертвецов.

Грядет Рагнарек, и яростный шквал освободит Нагльфар. Он покинет пределы царства Великой Хель и по льду повезет армию йотунов на поле Вигрид, поле последней битвы.

Вот он — Маяк!

Циммерман стоит посреди него.

Утечка Торн-вещества превратила персонал «Хельбункера» в толпу жадных до плоти ходячих мертвецов. Оберфюрер, стальная задница, лишь довершит задуманное, выпустив их с Хексером

детище — прототипов.

Это место уже наполнено черной яростью.

Еще чуть-чуть, и хватит искры, чтобы запалить неугасимое призрачное пламя. Никто из смертных не сможет узреть его, но дыхание его на своих лицах почувствуют все.

Циммерман поджигает горючую смесь, заполняющую канавы посреди площадки. Они образуют руну Торн — Турисаз.

В центре пламенной руны толстый человечек в черном тянет руки к небу, нараспев читая древнее заклятье.

Ничего общего нет у смешной фигурки, будто слезшей со штыка красноармейца на плакате Кукрыниксов, с грохочущим снежной лавиной голосом, что чеканит имена йотунов, призываемых в мир живых:

— Модгуд! ГУТТУНГ! Моккуркальфи! Мундильфйори! СУТТУНГ! СкРимир! ГИМИР! ВАФТРУДНИР! ХРЭСВЕЛЬГИР!..

Сидоров и Снег вбегают в зал размером с футбольную площадку.

На противоположном конце зала — стальные створки ворот, с них скалятся черепа, из динамиков под потолком течет гнусавый, механически искаженный голос:

— Ахтунг. Ахтунг. Дас уберзольдатен ауфарэн лассен. Стопфен фоле, декунг.

— Чего он талдычит, а? — спрашивает Сидоров.

— Говорит, кончай палить, ховайся, уберсолдаты выходят на позиции.

— Это еще, нахрен, кто?

Из угла выбегает, тараща выкаченные белки, посиневший роттенфюрер.

Сидоров вскидывает люгер, стреляет ему в голову.

Мертвяка отбрасывает на штабель ящиков.

— Ахтунг. Ахтунг…

Они укрываются за нагромождением ржавых труб.

Пол под ногами дрожит. Створки с нарисованными черепами, дребезжа, разъезжаются в стороны.

Оттуда, издавая металлический лязг и приглушенное жужжание, выдвигаются две фигуры громадного роста, с ног до головы закованные в темную броню.

Фигуры наступают медленно, каждый шаг отдается эхом, а пол дрожит под ногами.

— Ахтунг. Ахтунг. Дас уберзольдатен ауфарэн…

Лица великанов скрыты глухими шлемами с

красными смотровыми линзами, тела, как портупеями, опоясаны пулеметными лентами, у обоих вместо правых конечностей — многоствольные пулеметы, вроде гатлинговой картечницы.

— Дас зейль ист ауфгедехт, — возвещает скрежещущий механический голос, — цу ангриф!

Толпа мертвяков врывается в зал.

Бронированные великаны встречают ее свинцовым шквалом. Пулеметы ревут, изрыгая ливень пуль, разносят толпу в клочья.

Все кончено в считаные минуты.

— Дас зейль ист ауфгедехт.

Красные линзы уставились на Снега и Сидорова.

Вторая фигура с механическим жужжанием поворачивает голову. Оба наводят пулеметы.

Но тут в другом конце зала появляется некто в драном пятнистом маскхалате, с фаустпатроном в руках.

— Эй, бегемот! — басом возвещает он. — Отведай-ка ЭТОГО!

Оставляя дымный шлейф, граната врезается в спину великана, раздается оглушительный взрыв, ошметки раскаленной стали разлетаются окрест.

Следом за первым гранатометчиком выбега-

ют еще двое в маскхалатах, каждый делает по выстрелу.

Вторую фигуру, которая с жужжанием разворачивается к ним, наводя пулемет, разносит в клочья.

— Тибет, мы здесь!

Разведчики бегут к ним через зал, здоровяк Тибет замедляет ход:

— Снег, слышишь?

Слышит даже Сидоров.

Металлический лязг где-то под потолком, низкое шипение. С этим низким аспидовым шипением зал затягивает клубами горчично-желтого дыма.

— Газы!

Прежде чем отключиться, Сидоров видит, как в желтых клубах, в удушливых облаках яда глаза его товарища загораются изнутри ярким янтарным огнем. На смену мертвенной тусклости приходит выражение — и это несомненно безумная ярость.

Зрачки Снега прочерчивают сияющую янтарем радужку узкими черными полосками, как у змеи. А из-под верхней губы выползают острые иглы клыков.

Зал укрывают клубы ядовитого дыма.

Оберфюрер с удовлетворением смотрит вниз через панорамное окно. Русские подтянулись вовремя. Все это только на руку, все под контролем:

— Коммандантэн цу мир.

— Яволь, майн фюрер!

Блютфляйшер практик, к тому же не особо силен по части компромиссов.

Он точно знает: если ветер перемен занялся тобой по-серьезному, прятаться в канаву уже поздно, а ветряные мельницы разнесены в щепу — значит, самое время вспомнить, зачем в Йотунштайне взлетная полоса. А в ангаре с прошлого утра стоит заправленный «Мессершмитт» — в ходе операции потерян был взвод егерей.

Оберфюрер, затянувшись сигаретой, смотрит на горчичные облака, плавающие внизу.

На миг ему кажется, что там промелькнуло нечто, наметилось движение.

Невозможно, ведь ситуация под…

Блютфляйшер не успевает додумать, потому что стекло, подернувшись паутинкой тонких трещинок, медленно, неохотно проваливается внутрь тысячами бритвенно-острых осколков, прямо на оберфюрера и его людей.

Следом за осколками в комнату врывается клу-

бящаяся волна ядовитого дыма.

А в дыму — совершенно нереальная, невозможная здесь громадная летучая мышь, покрытая черной лоснящейся шерстью, с уродливой мордой, ощеренной пастью, широко раскинутыми кожистыми крыльями.

— Всегда мечтал это попробовать! — Снег на бегу подтягивает завязки маскхалата.

— Это выглядело эффектно! — Тибет на одном плече тащит Сидорова, на втором пару МП–40. — Кроме того момента, когда после трансформы увидел твою человеческую задницу.

Гравер и Крысолов бегут впереди.

С ними пленный Хексер — ему повезло, успел нацепить противогазную маску и не попал под когти черной летучей мыши.

Повезло и оберфюреру. Разведчики бегут за ним — доктор служит проводником. Прочь из бетонных лабиринтов замка, к взлетной полосе.

Хексер напуган — высокий и сутулый, нескладный в домашнем вязаном кардигане и мятом белом халате.

Блютфляйшер (на нем тоже белый халат вместо мундира) ныряет за поворот коридора, успев бросить что-то себе за спину.

— Граната! — вопит Крысолов.

Все падают на пол. Минутная задержка. Посреди коридора валяется металлическая фляжка.

— Сукин сын! — бегут дальше.

Снаружи уже занимается рассвет. Взлетная полоса затянута густым, явно искусственным туманом. Нечто вроде сигнальных дымов, но это не они: от белесых клубов веет холодом.

Хексер замирает, прищурившись, вглядывается вперед.

На вопрос о происхождении странного тумана он лишь пожимает костлявыми плечами.

Белый халат оберфюрера мелькает далеко впереди. Блютфляйшер бежит по самому краю полосы, там, в тумане, виднеется вырубка, а посреди нее темнеют высокие камни.

Хексер говорит что-то про древний храм Хель, который был здесь задолго до их появления.

Тут с белым халатом, удаляющимся в сторону просеки, происходит непонятное.

Он отрывается от земли, по причудливой траектории взлетает вверх и вбок, а затем с силой возвращается обратно. Будто невидимая рука ухватила его за шкирку, швырнула, как нашкодившего котенка.

«Майн готт», — с чувством шепчет Хексер.

— Что еще за напасть? — щурится Сидоров.

Из тумана на них надвигается нечто.

— Это йотун, — говорит Снег. — Они вызвали йотуна, больные ублюдки.

Йотун приближается из тумана — громадная обледенелая фигура, поросшая, как шерстью, льдистыми иглами, выставив длинные суставчатые лапы, поводя лобастой башкой на гибкой шее. Громадная пасть усеяна сотнями острых зубов, безглазое лицо переходит в выпуклый лоб, похожий на утыканный ледяными шипами моргенштерн, гребни на спине подрагивают в такт шагам.

Снег и его товарищи бьют по надвигающейся громаде в упор из трофейных МП–40, стреляют из люгеров, но ледяной панцирь не берут пули.

С каждым шагом йотун все ближе, выгибает шею, распахнув пасть, издает долгий, тоскливый вой…

— Наддай жару, славяне! — кричит кто-то в тумане.

Снег узнает голос.

Стремительные огненные языки вырываются из тумана.

Охваченный пламенем, йотун истошно вопит, поводя лапами. Взвившись яростным всполохом, оседает на взлетную полосу мириадами искр,

тлеющих частиц.

Сквозь туман показывается Иванов в расстегнутой шинели, с «Токаревым» в руке, за ним — огнеметчики в противогазах.

— Где остальные?!

Тибет мотает головой.

— Сидоров?

— Выкарабкается.

Снег озирается по сторонам.

— А где доктор?! — спрашивает он. — Где Хексер?

Иванов непонимающе смотрит на него, показывает за спину.

— Вот же он. Нашли на краю полосы.

Двое бойцов тащат изломанное тело беглеца Блютфляйшера в белом халате.

— Проклятье! — выдыхает Снег.

— О ком речь? — хмурится Иванов.

— О том, кто вывел нас из «Хельбункера»…

Новый звук раздается на краю взлетного поля.

Из раскрытого ангара, рокоча мотором, выезжает мессершмитт «Тайфун», гудя винтом, набирает скорость, несется сквозь туман, отрывает шасси от земли.

Иванов стреляет ему вслед из ТТ, солдаты бьют из автоматов.

— Вот же гадина, — плюет Тибет. — Сами ведь вывели его!

Иванов смотрит на уходящую к горизонту точку, убирает пистолет в кобуру:

— Что с Маркусом?

— Теперь он один из нас. Другого выхода не было, фрицы попытались травануть нас газом.

— Наивные… Я думал, что у него будет выбор. Тот, которого не было у меня.

— Он сам сделал выбор. Когда пополз с нами через минные поля.

— Может, оно и к лучшему.

Молчат, глядя на поднимающийся над зубчатым краем леса рассвет.

— Чертов Блютфляйшер! Жаль, упустили.

— Куда он денется от нас, Снег?

Шаркая сапогами, вошла медсестра, со скрежетом поддев шпингалет, распахнула скрипучее окно, напустив в палату удушливый букет запахов: цветущей сирени, набухших почек, бензиновой гари, сапожного дегтя, дизельных выхлопов, оружейной смазки, пропотевших гимнастерок и самокруток. И еще целое множество тонких нот, полутонов, истончающихся шлейфов, запахов весны и наступления.

Сидоров и не подозревал, что его ноздри могут

воспринимать такую гамму ароматов. Пока был жив.

Медсестра подошла к койке. Она была хорошенькая, но Сидорову не нравилась: запрещала курить, не разрешала тренироваться больше, чем по полчаса. А уж шприцом колола так, что капитан чувствовал себя горной породой под стахановским отбойником.

Ноги все еще еле слушались, сквозь прикрытые веки видно было прислоненные к спинке койки костыли.

«Наверняка ведьма, — подумал Сидоров про медсестру. — Или ворожея, или черт знает кто еще у них есть. Мне еще столько предстоит узнать. И долго еще придется к этому привыкать. К этой новой НЕжизни».

— Кончай притворяться, капитан. Вижу, что не спишь. Ох, как маленькие прям!

— Опять зад заголять? — Сидоров открыл глаза.

— Потерпишь, пострел. Гость к тебе.

Медсестра поманила пальцем того, кто стоял у дверей.

Вошел Снег в накинутом поверх формы белом халате, с объемистым бумажным свертком в руках.

— Даю полчаса, — с игривой строгостью погрозила пальчиком медсестра. — Больного нельзя переутомлять!

— Я прекрасно себя чувствую. — Сидоров рассматривал трещину на потолке.

— Рад это слышать. — Снег проводил взглядом уходящую медсестру, в глазах блеснули зеленые искры. — Ух! Нет, ты видел? Это просто ух! Прямо завидую тебе.

— Можешь примерить, — Сидоров указал на костыли. — Ей такие нравятся. Ни днем, ни ночью прохода не дает.

— И злой же ты человек. — Снег уселся на пустующую соседнюю койку, скрипнул пружинами. — Мы тут гостинцев тебе собрали с ребятами…

— Я не человек. Теперь… А гостинцы к чему? Вкуса я не чувствую.

Снег пожал плечами, положил сверток на тумбочку.

— Когда меня выпустят? — спросил капитан. — Мне не говорят. Талдычат: не волнуйтесь, успокойтесь. Укольчики, сон — лучшее лекарство. Тьфу! Скоро войне конец, а я тут кисну. Сделали из меня инвалида.

— Организм должен адаптироваться. У тебя с

ним такая штука произошла, такая метаморфоза, что о-го-го. Ему время надо. А уж этого добра-то у нас, знаешь!

— Кончай так разговаривать. Как с ребенком. Что я тебе, мальчишка, что ли? Я командир Красной армии.

— Иванов велел, — развел руками Снег. — Говорит, фашистскую гидру башкой в землю вкопаем — займешься образованием нашего малыша.

— Почему ты?

— Все-таки я тебя укусил. А у нас знаешь как? Если кого укусил, то в ученики его или уж доедай все, что на тарелке.

— Но вы так не делаете почти никогда, запрещает этот ваш Совет, — устало кивнул Сидоров. — Я помню… Все как у людей.

— Во всяком случае, это лучше, чем…

— Брось. Просто ворчу. Устал торчать здесь без дела. Когда, Снег?

— Что когда?

— Ну, как говорит твой Иванов, башкой в землю? Гидру?

— Скоро. Чуть-чуть осталось, Маркус. А ты поправляйся пока, адаптируйся… Ждем.

— Куда вас перебрасывают?

— Потсдам.

Сидоров заскрипел пружинами, поднялся на кровати, не обращая внимания на боль в ногах:

— Значит, действительно скоро! А я тут валяюсь развалиной…

— Зато есть время подумать, чем после войны заниматься будешь.

— Учиться, — сказал капитан. — Я быстро учусь, еще на курсах говорили. На врача пойду, глядишь, придумаю, как лечить вас от этого всего… И кончится ваша тайная жизнь.

— От смерти лекарства еще никто не придумал. — Снег встал с койки.

— Слушай, чего Иванов так обо мне печется? Будто я ему сын родной.

— Не сын, — покачал головой Снег. — Но ты сам поразмысли, неспроста же у вас в роду все Иваны… Только тебя одного в честь товарищей Маркса и Кустодиева назвали. А за родню — за нее держаться надо, братец… Ну, бывай!

То ли шутит, то ли нет.

Сидоров хмыкнул. Вспомнив, как принято у них, сказал вслед:

— Удачной охоты, братец! Вломите этим гадам. Товарищи вампиры.

Немезис – Первому:

Тов. Первый! В ответ на ваш запрос сообщаю, что затянувшиеся поиски центр. фигуранта проектов «Башня магов» и «Служители Маяка» принесли первые результаты. Делаю офиц. запрос о допустимости применения к текущ. ситуации режима особых действий.

Феникс – Немезису:

ДОРОГОЙ ДЯДЯ вскл УСПЕШНО ПРИБЫЛ БУЭНОС АИРЕС зпт УСТРОИЛСЯ тчк ВСТРЕТИЛСЯ ТЕТУШКОЙ ЭБЕР зпт ОЧЕНЬ РАД вскл ЖДИТЕ ПОДРОБНОСТЕЙ тчк ВАШ ГЕРХАРД

Танаис – Немезису:

Получены данные о местонахождении предполагаемого фигуранта (домовладелец Отто Хоффман, г. Росарио, Аргентина), подтверждена личность Блютфляйшера. Согласно адресному распоряжению 14 февр. 1947 г. осуществл. ликвидация. Продолжаю дальнейшие действия согласно общему распорядку.

Андрей Якушкин. *ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ, ТРИ КОСТОЧКИ*

К торфяной бровке вышли под утро.

Отшумевший дождь подтопил плавни, выстелил рослую траву — и вчерашний уютный островок сжался до блиндажной кочки, сгорбился могильной горкой с кривой, невесть как проросшей березой. Вместо креста рассоха. Вот тебе и погост. В редкой поросли камыша неторопливо густел рассветный туман.

Веселенький пейзажик… слезу прошибает. Губа мазнул рукавом по лицу — только хуже сделал. Деготь нещадно выжигал глаза, стекал огнем на грудь. Сил нет. Заорать бы во весь голос, завыть до мурашек по коже, встрепенуться по-собачьи, стряхивая беспомощность и липкий страх — нельзя! Только и остается сопеть в две ноздри, шагать да угадывать: много ли в себе человеческого сберег? Что скажешь, полковой разведчик Никита Губонин, бывший зэк-малолетка Губа? Озверел по горлышко или на донышке? И надолго такого хватит?

«Тут уж как бог даст».

Впереди старшина Кузьмичев искал в болотной жиже тропу, тыкал слегой по сторонам, кряхтел по-стариковски. Сковырнул полоску рыжего мха, растер на ладони и хмыкнул в усы.

— Чего стоим, Кузьмич? — негромко подал голос лейтенант Рыжов.

— Вешку не вижу, товарищ командир. Не иначе дождем смыло.

— Вороны утащили, — раздраженно бросил тот. — Ну же, старшина, до островка два шага.

— Так-то оно так, — Кузьмич развернулся, глянул с прищуром — мимо лиц, выше голов, словно снимал мерку с бескрайней топи, убежавшей за спины. Или прислушивался к далекому басу овчарки и выкрикам на том же собачьем языке.

«Не суетись, лейтенант, уже не достанут», — с гонором свел Губа, но промолчал.

Кузьмич с размаху воткнул слегу в тропу, подошел, разгоняя ряску коленями, и неожиданно для Губы обтер ему сырой тряпицей лицо — не увернешься с жердями на плечах.

— Говорил тебе, обалдуй, смолу на лоб густо не мажь. Сопреешь — глаза потеряешь. Лучше уж комарье кормить.

Кузьмич улыбался, морщинисто странно, поотечески — зиял желтоватой щербиной.

«Да пошел ты… папаша», — почти сорвалось у Губы, но прозвучало:

— Благодарю.

— Как он? — спросил Кузьмич, высматривая на еловых носилках раненого Дадабаева. В перекрученной плащ-палатке не понять, где голова, где ноги.

— Стонет чуть слышно, товарищ старшина. То ли бредит, то ли по-своему бормочет, — поспешил с ответом рядовой Круглов и, переступив на месте, толкнул Губу носилками.

«Увалень хренов».

— А ты, голуба, слушай, слушай. Рано ему с богом здороваться, молодой еще, — ласково сказал Кузьмич и вздохнул. — Эх, ребятушки, отсохли руки-то, поди. Известно. Потерпите, чуть осталось.

— Старшина! — призвал командир злее и громче.

Кузьмич подтянул на груди ППШ повыше и выдернул слегу.

— Правее уйдем, товарищ лейтенант, туда, где осока. След в след.

Губа сплюнул в ряску. Можно и правее, только сапоги увязли — на раз, и босый. Экое западло. Разве что молиться — чуть осталось. Развеселила кузьмичевская отговорка, кривой улыбкой

проняла. Что за этим «чуть» спрятано: болото кончится, Дадабаев помрет, харчи горячие, портянки сухие или завтра победу объявят? Все в масть, но рубашка крапленая. Переспросить, заглянуть в глаза, да не время шерш на фас устраивать. Время ножками шагать.

Губа вырвал сапоги из грязи.

Что до рук — он их давно не чувствовал, проросли пальцы жердочками до самых окаменелых плеч, на спине тугим узлом связались — не разорвать. Оттого так тесно, вязко и муторно на душе. Расправить бы грудь, распахнуть руки, взлететь вольной птицей над вонючей трясиной, оставив бедолагу Дадабаева внизу. Не жилец он с развороченным брюхом — зря жилы рвем. Без вариантов. Прикуп тут мимо, карты вскрыты — ваших нет. Не ответишь ли, боевой товарищ?

И как-то само случилось: малость присел, встряхнул носилки, Круглов ойкнул, Дадабаев застонал душно, будто во сне.

Не, не жилец ты, братишка.

Пропетлял Кузьмич в осоке вечность, но все же вывел. Выползли на заветный островок живенько и тесно, как убогие на паперть в пасхальный день. Распластались под березкой — руки, ноги вперемешку. Просто сказка. Так бы лежать,

дышать и рогом не шевелить… со шмайсером на груди.

Старшина первым поднялся, бересты срезал, хворостом похрустел, из вещмешка напильник выудил. Заискрил по камушку, трут раздул и уложил в гнездо из мелких веток. Приятно потянуло дымком.

— Ветерок на нас, товарищ лейтенант, опять же, туманчик, — отозвался он на строгий взгляд Рыжова, — мне пять минут — и чай готов.

Поддернул рукава маскхалата и начал обмахивать огонек крышкой котелка. Руки у старшины хваткие, жилистые.

«Чифирнуть не грех, да с заваркой жиденько».

Губа вскинулся, присел на корточки, отыскал взглядом Круглова. Так и есть, самокрутку мастырит, пентюх. Глаз скосил и кисет прячет. Вот же морда жмотная! В заходы ни ногой, на болотцах с полными карманами отсиживается — группа прикрытия.

— Покурим, боевой товарищ?! — Губа сдвинул сальную пилотку на брови и резко козырнул.

— Отставить демаскировку, — устало бросил Рыжов и засипел, закашлялся, уронил с коленей немецкие документы. Старшина обмер над костерком, покачал головой и стал щепу быстрее

подбрасывать.

— Будет, будет кипяточек.

— Круглов, глянь, как там Дадабаев, — смахнув испарину со лба, распорядился командир. Голос прозвучал незнакомо, хрипуче. — Губонин, немца проверь. Не задохся ли?

— Да что с ним станется, с кощеем фашистским, — заворчал Губа, нехотя поднялся и, отряхивая камуфляж, ощутил зябкую ломоту во всем теле. Радоваться ли? Да уж лучше так. Посмотрел на Рыжова — лихорадит взводного, лицо мокрое, бледно-серое. Не чахотка ли?

— Проверь! Ты языка брал, с тебя и спрос.

— С козырей заход.

На войне случайностей не бывает, но всегда все по случаю. С фельдфебелем так и вышло — подловили на дурика. Язык статный, чопорный, с барским профилем — приятно по морде вдарить. Гауптшарфюрер ваффен СС, инженерная служба — с ходу опознал погоны Рыжов, не зря в разведшколе галифе просиживал. Не простой фашистик попался — со стажем. На шевроне угол серебряный, на груди черный крест и латунный щит. Матерый! За такую роскошь наградной лист корячится, если особисты в сортире не подотрутся. У лейтенанта глаза загорелись: первый поиск

— и сразу в дамки. Тут хоть унтер, хоть фюрер, хоть лысый тойфель — по-любому фартовый задел. А вначале не катила масть.

Весь рубеж на брюхе исползали, обнюхали, а языка не взяли. Облажались. В траншеях пошумели ненароком, едва ноги унесли. До заповедного болотца, где Кузьмич дожидался, рукой подать, а выпало в лес пятиться, круги по кустам наматывать. Отсиделись в лощине под дождичком, вечером к просеке вышли.

Распутица. Фронтовая дорога топкая, схватит — не отпустит. Старая лежневка танками разворочена, не разгонишься. У развилки напротив ребристый «кюбель-верблюд» в колее застрял. Мордой ткнулся в кисельную лужу, отяжелел от грязи, передних колес не видно. Без дверей, без верха, на сиденьях пусто. За «верблюдом» дымок табачный меж деревьев вьется. Судьба-злодейка забавляется. Чья? Над кем? А хрен поймешь.

Дадабаев с прицела высмотрел: двое фрицев. Расклад козырный! Стало быть, не зря блуждали оврагами. Бог не фраер…

Командиру шепнул: «Не мешай, лейтенант, один сделаю». Финку в руку, вальтер за пояс; через просеку, вдоль полесья тенью — к немцам в тыл. Так и есть — два стервятника. Прижали

сиделки на бревнышке, разложились: галеты, котлеты, кофе из термоса. Подавитесь, сволочи! Отдышался и расчесал колоду по-тихому: шестерку перышком в бок; тузу тыльником в темечко — Ваши не пляшут! — одного в отбой, второго мордой в дерн. Гутен таг, дер дипп! Хочешь жить — лежи и не дергайся, привыкай к беловежской сырой земле. Спеленал, кляп воткнул, обшарил. Зольдбух, жетон…

Ветки хрустнули. Из кустов, как черт из табакерки, эсэсовец: без кителя в грязном тельнике, подтяжки болтаются. Здоровенный гад! Не иначе нужду справлял и зашкерился. Шмайсер вскинул, паскуда, стволом рыскает, прищурился. В перелеске темень, только просека светится. И дорога как на ладони — огневая зона, а там русский солдатик в грязи увяз.

Губа тряхнул головой, картинку затер, как грязными сапогами вытоптал. Долго смотрел на старшину, колдующего у огня, взгляд искал, будто мыслями хотел поделиться.

Кто теперь разберет, как там было. На войне время по-особому тикает, где-то секундами жизни отмеряет, где-то авансом минуты дарит. У каждого свой момент. Так и было: немец из кустов выполз, Дадабаев на просеку выбежал, Рыжов за

«верблюдом» спрятался, Никита Губонин вальтер поднял, прицелился… Мог немца положить — легко, но отступил за дерево. Стрельбу переждал, убедился, что Дадабаев в кровище ползает, тогда и подкрасил плешивый эсэсовский череп. Фифти-фифти, обменялись похоронками. Кто сегодня должен был умереть — умер! Вот такая простая история, с юшкой и без соплей. Предъявить ему не за что, да и некому. Разве что унтер с земли хитрым глазом косил, все видел. Дрэк мит пфеффер!

Губа еще раз глянул на старшину — он не маза, чего прилип! — подошел к немцу, сидящему на гнилой кочке, нехотя ткнул сапогом и сдернул с головы мешок — рябой от крови.

— Просыпайся, эмбрион ушибленный. Утренняя пробежка и хозработы, для актива пайка сверху.

Пробасил наигранно и, поддавшись заводному куражу, сделал страшное лицо и пятерню паучью выставил.

— Ууу, тухляк!

— Аккуратней, Губонин.

Немец мычал сквозь кляп, подсвистывал перебитым носом, выпучив глаза, нервно елозя ногами, стараясь отползти подальше от злого

разведчика.

— Сказать, поди, чего хочет, — осторожно заметил старшина. Командир, соглашаясь, кивнул.

Губа навалился на немца — намеренно жестко разорвал бинты на затылке и выдернул перевязочный пакет изо рта.

— Балакай, поганец. Только шепотом.

Пленный завалился на бок, царапнул траву связанными за спиной руками и срыгнул утробно, выплеснув на землю зеленовато-желтую пену.

Лейтенант привстал и озадаченно посмотрел на старшину.

— Желчью исходит. Видать, от нервов.

«Вот и попили купчика с аппетитом».

— Такое дело, — растерянно вмешался Круглов и потянулся за винтовкой СВТ, прислоненной к березе, — Дадабаев умирает.

Раненый умирал у куста молодой ольхи. Тихо, спокойно. Ловил сухими губами дождевую росу, что ветерок с веток стряхивал. Дышал порывисто, через раз. На лице усталость, в раскосых глазах пустота и холодок стеклянный. Не видит никого. И ничего — слепой в слепое небо прицелился. А может и видит что-то за дымными тучами, для всех, кроме него, скрытое, непонятное.

«Все там будем! — разозлился Губа. — Все по

краю ходим!»

Встали рядом, над товарищем плечами встретились. Кузьмич крышку котелка в траву бросил, руки хваткие за спину спрятал. Ничего тут не сделаешь, ничем не поможешь.

Дадабаев головой мотнул: «Свете, свете». Шея в вороте точно палка в проруби. Сам короткий, щуплый, навроде мальчишки… в отцовской гимнастерке. На животе каша из кровавой марли, на груди галун желтый и дырка орденская. Весь как есть, без остатка. На отлете.

«Ждешь, костлявая?»

Командир Дадабаеву в руки винтовку вложил.

— Держи, Мансур. Помнить тебя будем.

Тот сжал снайперку отчаянно, на мгновение ожил — в остекленевших угольках душа мелькнула, выдохнул тихонько: «Братцы». И затих.

Старшина помедлил, опустился на колени и пальцами по скуластому лицу провел, потухшие глаза прикрыл. Буркнул чуть слышно: «Вон оно как», и показал угол плащ-палатки — измочаленный, изжеванный. Понятно без слов.

Сдернули пилотки.

— Лучший стрелок батальона, земля пухом. Все бредил: «Света». Думал, женщину зовет, оказалось, винтовку искал. Выходит, для него ничего

дороже и не было, странно это, — торопливо высказался Круглов.

Командир откашлялся, произнес с хриплой расстановкой:

— Для комсомольца нет ничего дороже Родины.

— И я так думаю, товарищ лейтенант, но где же она, его родина?

— Отставить! — рассердился Рыжов. — Родина для всех одна. Не в ту сторону думаешь, рядовой, и не время сейчас.

Круглов отступил на шаг, достал кисет и на Губу искоса глянул.

Курить тому не хотелось. В груди оживала знакомая боль, расплетала рубцы у пулевой отметины. Прав командир — не время сейчас. Вернулся к березе, присел рядом, уставился на огромный сувель, вспученный у худого комля. Уродливый нарост напоминал рассеченное надвое сердце, мертвое, давно иссохшее. В рытвинах коры будто черный крест с завитками прорисован. Или клевера узор. Ногтями поскреб, и как ужалило — трефовая масть! Дыхание перехватило. Каблуками в землю уперся, словно к удару приготовился. Быть не может?! Уладил же. Червонным крапом долг покрыл, как на кону.

Что ж на выходе-то подавился?

Маскхалат вмиг скинул, гимнастерку рванул как бешенный — пуговки россыпью, тельник в сторону. Зараза! Где?! Да все там же — на сердце. Вспухшим клеймом прилип — свежий от крови трефовый туз. Губа нож выхватил. Полоснуть адскую татуху, срезать да в костер? Только впустую, не вывезет. Нож по рукоять в землю вбил. Ваши не пляшут! Развели как лоха. Выходит, нет веры ни богу, ни дьяволу. И почувствовал всем телом — волосы дыбом встают. Вот и время пришло… каяться. Или материться.

— Рождается человек, руки в кулачки сжимает, — Кузьмич тяжело вздохнул, — душа там младенческая. А когда умирает, руки сами открываются, летит православная душа в небушко, — он запрокинул голову, помолчал. — Или на землю падает. Каждому по заслугам земным.

— Ты чего, старшина? — опешил лейтенант и тут же жестко выдал: — Отставить поповские сказки! Надумал тоже, проповеди читать.

— Не я надумал, так святой старец соловецкий сказал.

— Таким святым на Соловках и место. А ты-то к чему ведешь?

— Так вот к чему, — Кузьмич с трудом разжал

у Дадабаева мертвую хватку и выдернул винтовку. — Не пойму, хорошо или плохо?

— Удивляешь, гвардии старшина. Война идет, солдат с оружием умирать должен.

— Да что тут понимать, — влез в разговор Круглов, — не нашей он веры был, вот и все понимание.

Старшина руку в троеперстии поднял, долго смотрел с вызовом, перекрестил покойного и вздрогнул.

За березкой надрывно хохотал немец, прерывисто рыча и окая чужой речью.

Лейтенант автомат вскинул и опустил.

— Круглов, что за песни он поет? Переводи!

Тот нервно притушил папироску о сапог.

— Не разберу пока. Смеется вроде… — начал Круглов и сбился. Командир, сгорбившись, стучал себя пятерней в грудь, сдерживал кашель. Лицо от натуги покраснело.

— Ну! Что там?

— Похоже, издевается, товарищ лейтенант. Говорит, что не понимает нас, то есть русских… не понимает, зачем тащили мертвого по болоту. Мертвого… как бы точнее сказать… азиата.

— Кого?

— Сговорились?! — взревел Губа, подскочил — в

расхлестанной гимнастерке без ремня. Вытянулся в полный рост, шагнул на прямых ногах, как на ходулях, прижал немца к березе и, подвывая, ударил кулаком в зубы.

— Русский он, русский!

* * *

Витьку Плясунова, корешка дворового, Никита сразу не узнал. Гимнастерка офицерская новая, ремни кожаные, кобура и планшетка, усы казачьи; одеколоном от сержантика за версту разит. Крыса тыловая, пижон штабной. Прет как танк в узеньком окопчике. Хотел Никита локтем двинуть, а тот, надо же, извернулся, буркнул по ходу: «Забудь». Никита в ответ: «Было б сказано — забыть успеем». Замер пижон.

— Не был — так будешь…

У Никиты само выскочило:

— …был — не забудешь.

Развернулся штабной резво — грудь колесом, руками развел и волчком на каблуках с неожиданным коленцем — грязь с сапог слетела.

— Ойся, ты ойся, ты меня… — напел, улыбка до ушей. — Не признал что ли, Губа? Чего шнифты вылупил, землячок лихой? — подмигнул хитро. — Не вижу восторга, — и шепотом, — или я

тебе денег должен?

— Плясун!? — обомлел Никита, и отчего-то гимнастерку свою застиранную расправил, поддернул. — Живой. Вот так встреча!

Кулаками друг друга потыкали, обнялись.

В землянке за спиртом время довоенное вспомнили. О родных и близких, дворовых днях беззаботных, о вчерашних мечтах туманных. Про будни лагерные — ни слова. О настоящем обмолвились коротко, без злобы и зависти: один на пузе километры мотает, другой связисток при штабе щиплет. Кто на что горазд. Отсюда и печаль своя — личная.

Никита быстро захмелел, раскраснелся и умолк, то ли от избытка чувств, то ли от странного непонимания того, что же он чувствует на самом деле. Рассыпалась колода карт, не собрать.

«Словно в другой жизни побывал. Значит, была она, а может, и будет еще, эта другая жизнь».

— Ты чего домой письма не шлешь, волчара тряпочный? — Плясунов склонился над дощатым столом, окопную свечу сдвинул, взгляд поискал. — Матушка как-то отписала: твои извелись совсем.

— Жду, когда убьют.

— Сбрендил?!

— Ага. Пусть привыкают, вроде и нет меня давно.

— Ну, брат, ты так долго не протянешь. Жизнь любить надо, а воевать с надеждой в сердце. Смерть таких обходит.

Гость скрипнул скамейкой, поднял фляжку на разлив. Никита кружку ладонью прикрыл.

— Знаешь, Плясун, учить не буду, но скажу. Смерти один хрен, радуется человек или зачах, присел на корточки «яблочко» станцевать или под себя сходить — она всем глаза закрывает, а на войне без разбору. Хороший ты, правильный, в бога веришь, или паскуда конченая, шестерка вшивая — нет для нее никакой разницы. Законы, понятия — пустое. Оттого и досада. А воюю, да, с надеждой. С надеждой, что выбор помереть по-людски все же за мной. Хоть что-то от костлявой в прикупе. Сотня выходов — и, как видишь, живой пока. Верно, время не пришло. Вот такое мое слово, братишка.

Плясунов кудри пятерней взлохматил, скулами поводил, стукнул негромко кулаком по столу.

— Допекло тебя. Может, о переводе похлопотать? К нам, в батальон связи.

— Благодарю, конечно. Тут мое место. В разведке.

Никита взглянул на пустые лежаки вокруг. Бойцов во взводе кот наплакал. Повыбило. Из ночи в ночь на задание, как во сне по кругу бежим. Перед выходом погоны снимаем, на фотографии с письмами молимся — нехитрое богатство старшине сдаем. У солдатской книжечки листы серые, в коленкоре скрепка ржавая, группа крови чернилами. Вернулся — получи назад, нет — в штаб с оказией. За датой рождения будет дата выбытия и сто грамм наркомовских на помин души. Жизнь как миг, был — и нет тебя. На нейтральной полосе лежат разведчики, все без званий и должностей — одинаково мертвые. Тесно там — пусто тут. «Косторез» немецкий удачу на ноль помножил, снайпер точку поставил. Вот и все уравнение. Не прошли — исчезли.

«Скоро мой черед».

Плясунов курил, хмуро смотрел на огонек свечи и вдруг ожил:

— Не раскатать ли нам партийку боевую? Что скажешь, братишка? Будем биться в лоб, без кляуз, — улыбнулся хитро, — знаю я тебя, жулягу прожженного. Пассажиров до трусов раздевал, забыл? Доставай колоду! Или карт нет?! Не поверю!

Губа неуверенно кивнул.

— Признаю — было. И стиры есть. Но ты не пассажир, Плясун. Извини, не катаю я давно, так, изредка картинки разглядываю.

Помолчали. Засобирался гость — встал, ноги размял, хмыкнул в усы и предложил гимнастерками обменяться. «Себе еще достану». Обменялись, заправились. Плясунов по привычке на груди карман поискал — нет у солдатской гимнастерки карманов. Рукой махнул, пачку трофейных сигарет на стол бросил. «Подгон».

Никита проводить вышел. У коновязи за пригорком потоптались — «будь-давай», руки пожали, обнялись крепко — оказалось, попрощались навсегда. Простились. «Кукушка», сука, одной пулей двоих положил. Плясунова навылет, Никиту наизлет. Насвистела птичка певчая медальку свинцовую, жгучую. Схватились друг за друга, кровью харкнули и упали вместе. А разлетелись в разные стороны: один в госпиталь, другой в сырую землю.

Спас Никиту прорезной карман офицерский и дюралевый футлярчик с колодой в тридцать шесть карт.

В госпитале неделю бредил, пробитой грудью булькал. Ни жив, ни мертв. Как-то ночью Плясун пришел. Наголо бритый, худой, с черными

кругами у глаз. Точь-в-точь как сосед выздоравливающий — в исподнем и босой. Присел на край кровати, одеяло поправил.

«Не успел я, братишка, жизни порадоваться. Ничего в этот мир не принес, ничего не оставил. И не поспоришь теперь, не переделаешь — поздно. А ты живи, Никитка, живи смерти назло. Научись хромую обманывать. У тебя получается».

Встал — сетка скрипнула, вышел в коридор — двери нараспашку, фертом замер — руки в боки, сизая луна за спиной, и пошел казачком по кругу, быстрее, быстрее.

«Ойся, ты ойся…»

Никита задохнулся и потерял сознание.

С той ночи будто новый календарь защелкал.

Был Никита — стал Губа. Боль в груди утихла, жар спал, аппетит проснулся зверский. Губа со шконки слез, и наполнилась жизнь интересом.

На харчах местных здоровье поправлять — тоска и сплошное разочарование. Долго не думая, бандерольку залетную вскрыл — вязаные носочки, варежки да шарфик прибрал. Такой комплект покойничку уже без надобности. У шоферюги из санроты обменял пустое барахлишко на бесценную вещь — новую хрустящую колоду. По-тихому карты подковал: парафином тузы зарядил, у лите-

рок фаску снял, картинки царапинкой и точкой, маркерный листок тупым ножом по краям. Сработал тип-топ, чтобы на щуп, на слух и на глаз.

С помывки Губа тельник побольше выбрал, рукава по длине распустил, халатик фланелевый накинул и пошел по палатам шерсть рвать. Всегда скромно, ненавязчиво, на виду, у окна или под лампочкой.

— Привет, служивые. Вот в наследство картишки достались. Не подскажет ли кто, как их раскладывать?

Наивных нет — посмеялись, помялись, и колоду в замес. Можно в буру, терц, очко, хоть в дурачка, но на интерес. Люди разные, но всех азарт жжет, то ли от скуки, то ли от нужды к минутам рискованным. Немудрено: вчера под смертью ходили, а сегодня на курорте отдыхают. А повезет страждущим — так и спишут в тылы по ранению.

К каждому Губа правильный подход имел: кому пропуль для затравки, кому байку веселую, анекдотик томный. Никого до кишок не раздевал, всегда в меру — сала шмат, колбаску домашнюю, табачок, чай, безделушки трофейные, пару рубликов. На часы командирские, честно добытые, выменял водку и шоколад. Соседей горькой порадовал, чтобы злобу не таили. Сестричкам сладкое,

чтобы не забывали перевязывать. Авторучку с золотым пером, портсигар серебряный, браслетик плетеный да пару колечек — прибрал до времени. Оно в госпитальных коридорах свой ход имеет.

Некстати Губа покурить вышел.

На широком крыльце знакомая суета — раненых подвезли. Тяжелых. Полуторки бортами хлопают, носилки стучат. Кто по ступенькам вверх, кто вниз. Двери настежь. Солдатики стонут, санитары матом кроют. Старшая медсестра подгоняет, покрикивает беззлобно. В сторонке военврач в мятом чепчике и распахнутом халате, рукава от крови пестрые. Жует мундштук папироски, руки в карманах — на марлевую маску пепел падает. Лицо рябое, черствое, как подсохший хлеб. С худобы нос клювом торчит, кадык острым сучком выпирает.

— Сами справятся. Ты ко мне вечером зайди, — сказал тихо и вроде мимо, но кому еще, кроме Губы рядом никого. Окурок под сапог сбросил и ушел на сортировку.

Губа озадачено вслед кивнул. Обознался военврач? Знакомство точно не заводили. С чего вдруг у брюшного хирурга тихий интерес? Странно. Стукнул кто, что картишками шлепаю? Так не по адресу.

Вечером побрел в хирургию с дурным настроением, портсигар серебряный с собой прихватил.

Постучался, халатик фланелевый поправил и вошел в кабинет с докладом.

— Товарищ военврач, рядовой Губонин по вашему приказанию…

Окно фанерой заколочено — темень, настольная лампа чуть светит. Слева шкаф с башнями бумаг, справа кушетка с несвежей вдавленной подушкой. По центру за облупленным столом военврач в малиново-полосатых погонах майора. В углу на громоздком шнифере портрет Иосифа Виссарионовича. Припыленный. Непорядочек.

Военврач отмахнулся и на кушетку указал. Закурил.

— Стульев нет.

Губа на край присел, кулаками в колени уперся. Чего ждать? Напружинился.

— Комиссия через неделю будет, думаю, тебя на выписку определят, — начал майор и громыхнул ящиком стола. Сдвинул папки на столешнице и выложил в пятно света кривую, рваную жестянку.

— Давно хотел отдать. Твое?

Штуковину на столе Губа в секунду срисовал — дюралевый футлярчик, коий ему жизнь спас.

Ясно как божий день, а дальше непонятки.

— Откуда это у вас?

— Из твоей большой грудной мышцы, — бесхитростно ответил майор и затянулся папироской — лица в дыму не разглядеть. — Раненых в эвакуацию тогда сотнями подвозили, но тебя я запомнил. В полевом оперировал и прибрал вещицу. Не знаю, наверное, как памятку. Наверное… А тут, выходит, пересеклись. Забирай.

«И много у вас таких памяток к поминкам?» — едва не съязвил Губа, но решил сыграть под дурочку.

— Так зачем мне порченая вещь, товарищ военврач? Ни толку от нее, ни проку. Вы уж себе оставьте, раз приглянулась. А я жив буду — не забуду. С превеликим уважением.

— А ты рассмотри внимательно, — с долей досады предложил майор.

Брать в руки напоминание о смерти Губе не хотелось. По спине скользил неприятный холодок.

Майор смял папироску в грязной пепельнице и посмотрел с упреком.

— Забирай, солдат. Как прижмет, сам разберешься, нужна тебе удача или нет. Поверь, она дама капризная. А сейчас иди, я спать хочу.

Губа встал по стойке смирно — резко, будто

пулемет с сошками сложил — плечи хрустнули, сунул жестянку в карман и вышел. Про портсигар в отвороте рукава и не вспомнил.

В коридоре окно открыл, отдышался с зорькой вечерней. Хорошо, свежо, над березками небо рубином горит. Зиму ждет. И мы ждем. Третий месяц на курорте, пора форму примерять. Жирком оброс.

«Катит масть с выходом под занавес».

Вспомнил про нежданчик в кармане. Хотел не глядя безделку выбросить, да зубчик в ладонь впился. Перекинул с руки на руку, рассмотрел. У пулевой пробоины лоскуток суконный прилип, а поверху в жестяном завитке почерневший нательный крест, как короста, загогулиной торчит. Губа присвистнул от удивления.

«Вот и нашлась потеря».

С улицы ветерком обдуло, и словно у родительского порога оказался — чудно: матушка плачет, крестик повязывает — благословляет, батя брови хмурит; сквознячок занавеской машет; пахнет по-домашнему, молоком и вареньем ягодным. Здравствуйте!

Здравствуйте? Губа хохотать начал — недобро, болезненно, точно с кабацкой шутки похмельной. Глаза сами зажмурились. Нет больше картинки,

только бездна темная: боль, страх, злость, азарт — все твое, все знакомое. Глубже — благодарность тоскливая. Кому, за что, зачем? Еще глубже — вера и надежда. Что главнее, с чем жить? Где настоящее, где фальшивое? Не угадаешь. Вот и ждешь из темноты кулаком в морду, а получаешь пощечину. И звенит теперь не в башке, а в сердце.

Задыхаясь и все еще гикая, Губа вцепился в дюралевый завиток ногтями, пальцы в кровь распорол, матюгнулся и вырвал крестик. Железку в окно выбросил.

«Как-нибудь разберусь!»

Боевую чернявую санитарку со странным прозвищем Вася он сразу приметил. Шустрая деваха. Выкатит кособокую тележку из прачечной и юлит по госпиталю, мешки с бельем таскает, озабоченных по хваталкам бьет. «Не для вас мама ягодку растила!» Мордашка озорная, молодая, а руки как у старухи — от керосина и щелока сморщились. Картинка понятная. Доводилось на фронте с «мыльным пузырем» соседствовать — в отряде старичок ездовой немощный, лошадки загнанные и взвод хмурых женщин. Одинаково постаревших. Дрова колют, котлы топят, на ребристых досках кулаки до костей обдирают. Сушат,

гладят, штопают. Плачут над горой тряпья окровавлено-вшивого. День за десять, а гора меньше не становится. Своя у них война — обозная. А на войне как на войне. Кто жизнью платит, кто красотой и молодостью.

Губа тележку в коридоре перехватил, трофейную шоколадку на мешки выложил.

— Примите презент, красавица, не побрезгуйте! — улыбнулся в тридцать два зуба. — В голове вот вертится, Василиса — вроде как по-гречески богиня!

— Ветер у тебя в голове вертится, — ответила просто, без вызова, — меня Василя зовут, если по-татарски — путь к богу.

— Вот как! Ну, к богу пока рановато, а почаевничать самое время. Могу и пряниками разжиться.

— Кавалер? — голос нарочно строгий, но щечки порозовели.

— Скрывать не буду, как вас увижу — пульс за двести, глаза отвести не могу.

— Ослепнешь, чего доброго, — сказала серьезно, но в глазах смешинки. — Наслышана я про тебя, говорят, с удачей под ручку ходишь.

— Вот кто слепой — так моя удача, — невесело посмеялся Губа и руки в карманы почему-то спрятал. — А кто говорит?

— Истопник наш Федька. Ты у него ножик складной в карты выиграл. Драгоценность! Он неделю потом ругался, на нервах котлы растопить толком не мог.

— Наговаривает ваш кочегар! — натурально взмутился Губа, крутанул швейцарский складишок в кармане и подумал: «Язык у Федьки бабий, жди теперь неприятностей». — Обронил где-нибудь из дырявых штанов. Пусть в кочегарке смотрит. А я загляну на досуге, помогу недотепе потерю сыскать.

— Сыщик?!

— Разведчик! — выдал Губа значимо, грудь расправил, вытянулся в рост и тут же понял, что не впечатлил — ни гордой выправкой, ни бравым голосом. Василя привычно заправляла кудри под берет, смотрела с интересом, но без трепета — ни намека на лице.

«Олух царя… Сколько мимо нее лихих разведчиков прошло. А может, и не мимо. Не срастется с эдакой ледышкой. И правильно! Не за шуры-муры подкатил — для дела!» — обдумал Губа и решил закончить разговор, подобрать вежливое слово, но внезапно осознал, что злится от обиды. На себя, на неприветливую Василису — Василю, госпитальные окна с цветочными горшками,

на пустую болтовню в палатах и запах хлорки… «Этого еще не хватало!».

— Тебя-то как величать, разведка?

— Никита Губонин, по отцу Петрович.

— С чего вдруг в помощники-то, Никита Петрович?

— Сердце у меня большое и доброе.

— Ладно, добряк, — Василя аккуратно толкнула Губу тележкой, — некогда мне чаевничать, скоро бучильники разгружать, смена моя.

— Это что за зверь?

— А ты приходи на хоздвор, раз нацелился, помощник. Расскажу, покажу.

Василя ловко объехала разведчика и заторопилась по коридору.

— Пряники не забудь!

Так и сталось.

Шоколадки, сушки, пряники. Улыбки, платочки. С душой и под настроение, без нахрапа. Прописался Губа в хозвзводе за своего — там поможет, тут выручит. Федьке на реванше ножичек уступил, обрадовал, всю правду о Василе выспросил.

Не шалава, по жизни серьезная, работящая, для раненых кровь сдает. В отряде вольнонаемная, с год назад прибилась после бомбежки. Долго

выхаживали, черенок лопаты при взрыве ей грудь пробил. Может, от того и цаца капризная, что титьки исковерканы. Губа за такие догадки хотел Федьке рожу начистить. И не ему одному.

Ульянка, разбитная грудастая прачка с острым языком и богатым жизненным опытом, просила в первые дни с выжималкой помочь. Губа рукоятку крутил и слушал: «Держись от Васьки подальше, с приветом она; в баню приходит последняя, может, и не моется вовсе, или больна по-женски; в комнатенку к себе никого не пускает, как сыч живет; ни фотографий родных, ни писем; водку не пьет; не по-русски бормочет — точно шпион засланный». Губа хмурился, молча валики проворачивал — «просто бабские склоки» — не хотел показаться грубым, терпел, но не вытерпел. Рукоятку дернул, конопатое лицо Ульянке водой забрызгал, развернулся и ушел. Та вслед плюнула.

«Бывает!» В остальном нормально сдружился.

Василя с каждым днем смотрела приветливей, но без сантиментов, не обнадеживала. И то ладно! Губа в дальней подсобке уголок присмотрел, за бутылями формальдегида гусарскую добычу спрятал — не утаишь же все под матрасом в палате. Знал, что Василя видела, но был уверен: не

сдаст. И не ошибся.

«Своя деваха, правильная!»

Вот только как-то раз привиделась «правильная» в дурном сне: сидит в ночной рубашке перед зеркалом, волосы расчесывает, негромко стихи читает или молится — не поймешь. Темень вокруг, лишь одна свеча горит, плавится, на лаковый столик парафин стекает. Он фитилек поправил, пальцы обжег. Ярче сделалось. Василя замолчала. Подошел ближе, хотел со спины обнять, да в зеркало глянул, и похолодело все внутри: старуха в отражении мертво улыбается — на глазах бельмо, на лбу выжженный крест. Из груди палка торчит. «Не для вас мама ягодку растила!»

Заорал во сне бешеным голосом, всех соседей перебудил. Поворчали с пониманием — в палатах и не такое случается — захрапели по новой, а он до утра глаз не сомкнул. На Василю весь день смотреть боялся. По случаю проверил нычку в подсобке — на месте. «Приснится же!» Вскоре затерлось в памяти, поблекло. А заботы страхи развеяли.

Перед выпиской Губа дорогие подарки приготовил: пуховую шаль и нейлоновые чулки. Себя в образцовый порядок привел. Морду выскоб-

лил, одеколоном брызнулся, Плясуна добрым словом вспомнил. Одолжил форму новую, приоделся, подпоясался, сапоги хромовые до блеска начистил. Сунул сверток под мышку, папироску зубами прикусил и пошел осанисто на хоздвор в последний прогон.

Василя с роскошных подарков не удержалась — восторженно ахнула и улыбкой расцвела. Даже напела что-то негромко.

— Разорился, разведка?!

Губа делано отмахнулся — пустое. Шаль на плечи ей уложил, оглядел — и заболело на сердце. То ли рана отозвалась, то ли жаром окатило. Сгоряча приобнять рискнул, да не вышло — ускользнула бестия.

— Ух, ретивый какой!

Губа откашлялся, ремешок солдатский поправил, руки в карманы убрал. Замер столбом, с пятки на носок качнулся.

— Попрощаться зашел.

— А ты не торопись, успеешь.

Василя руками развела — платок за спиной парусом распахнулся — по кругу прошлась, ухажера ловко бедром задела. На мгновение прильнула к мужской груди — в глазах искорки шальные вспыхнули, — обожгла горячим дыханием, по

козырьку фуражки ногтем щелкнула.

— Хочешь меня?

Губа от изумления рот открыл, задохнулся, помычал, как телок заблудившийся. Краской залился. А потом как подкинуло — рыкнул, не сдерживаясь:

— Хочу!

Под потолком эхом отозвалось:

— Чу-у-у!

Ульянка мимо прошла, матюкнулась, по стиральному барабану корытом ударила — лицо злое — у виска пальцем покрутила: «Ку-ку! Шарики за бебики!» Дверью хлопнула и ушла на двор.

Василя залилась звонким смехом, конвертом с чулками помахала. Губа от волнения в карманах кулаки стиснул, каждую жилку в струну вытянул — оглох и ослеп, но все же отметил: «Впервые со мной смеется. И вся радость-то — платок да чулки. Или не в этом дело?»

Загадочное «или» к сердцу прилипло, заставило улыбнуться.

«Забыл уж, когда смеялся».

Василя с головы берет сдернула — волосы смоляной волной раскатились, взглянула с вызовом и сказала неожиданно серьезно:

— Если хочешь любви и ласки, Никита Петро-

вич, выиграй меня!

— Это как?! — растерялся Губа.

— А как тебе привычно. В карты.

— Шутишь?

— Нет. Выиграешь — твоя буду.

Губа нервно хохотнул, не понимая, как себя вести и что дальше делать. Нашла забаву. В карты шпилить — не фокусы показывать. В чем подвох? А может, она в замазке у кого или в долги загнали? Это исправить можно. И ухватился за эту мысль, как за соломинку.

Василя за пустым стеллажом чулки примеряла, юбку подвернула, ненароком голую ножку выставила. Губа взгляд отвел: кровь в голову ударила. Из кармана колоду карт выдернул, перетасовал, складочкой пролистал, одной рукой ловкую врезку сделал. Неправильно это, не так представлялось. Только до краев радостью наполнился, а теперь схлынуло, закружило, будто на воровскую малину пьяного выплеснуло. Любовь на кону. Знакомо до изжоги! Как там Ульянка ругалась — шарики за бебики? В точку!

— Выиграешь — твоя буду, — повторила Василя, складывая чулки обратно в конверт, — а проиграешь — моим станешь. Решай, Никита Петрович!

Губа слушал, но не услышал, задал ненужный вопрос:

— С кем играть? — и голосу своему удивился: деловой, жесткий — прежний!

— Эх, разведка! Со мной, конечно.

Шкаф за выцветшей шторкой, стол и табуретки — одинаково неуклюжие, темное зарешеченное окно, односпальная кровать, похожая на госпитальную кушетку. На стене умывальник, рядом лаковый столик с огарком свечи. Вот и все нехитрое домашнее хозяйство. Неуютная комната. Как кабинет недавнего знакомца — военврача хирурга. Разве что пахнет здесь не табаком, а мылом. И прибрано. Постель чистая, полы выскоблены.

Губа прислушался — тихо по соседству, будто вымерла общага, лишь с конца коридора, из кухни, негромко доносится ругань Ульянки. Шальная бабешка. Оживляет обстановку.

К умывальнику подошел, лицо сполоснул. Вода по пустому тазику застучала, как автоматная очередь по жестяному забору. Насквозь пробьет. Уже пробила, прямо в грудь! Полотенце поискал, не нашел и рукавом вытерся. Тревожно на душе, паскудно. Развернуться бы да откланяться.

Шагнул к двери, но у застеленной кровати остановился. Увидел Василю — обнаженную,

манящую.

Покрывало откинул, в подушку лицом уткнулся. Запах сладкий, терпкий, подобно душному ладану. Или перебродившей медовухи. Тут же о доме вспомнилось: матушка в церковь на службу, батя в подпол за брагой. Эх, далеко это все, не дотянешься. Водки бы выпить сейчас, маяту развеять. А то словно очередь занял… за чудом, и увяз по уши. Только разве оно случится — чудо? Не такое оно, а может, не та голова думает.

Стукнула дверь. Василя спиной вошла, в руках разнос с тарелками. Картошка, лучок, хлебушек, рыбка жареная, кислая капуста горкою. Сама в домашнем — юбочка по бедрам, кофточка по талии, чулочки, туфельки. Губа засмотрелся.

— Голодный? Чая принести?

— Мне бы покрепче чего.

Выставила посуду на стол и в шкаф заглянула. Как по волшебству армянский коньяк появился. Губа присвистнул, бутылку покрутил — этикетка пыльная, сургучная пробка целехонька.

— Откуда такое добро?

— Не спрашивай.

— Не буду, — а сердце кольнуло.

За стол сели рядом, за победу выпили, покушали. Щечки у Василя раскраснелись, Губу тоже в

жар бросило. Гимнастерку расстегнул, табурет ближе сдвинул, ладонью по волосам хозяйке провел. Она руку мягко сбросила.

— У нас уговор!

— Я помню. А надо ли? Нам и без того хорошо.

Лицом развернулась, головой покачала — от прежнего задора в карих глазах ни следа. Только грусть. Встала, посуду сдвинула, свечу на лаковом столике зажгла.

— Моими листиками играть будем, — размахнула на скатерти колоду веером. Рубашки черные с мелкой сеточкой.

Губа за коньяком потянулся, так и завис над столом: вот те раз! Зазноба-то крученая. И кто теперь пассажир? Бутылку поднял и поставил, плюхнулся на табурет, руки на груди скрестил. Вспомнил Катьку Рыжую — воровскую маруху бедовую. По катранам крутилась как волчок, до трусов раздевала, да на щипке замазалась. По-горячему жизнь на кон поставила и влетела в три звездочки. Финку сердцем встретила.

Губа искоса на Василю глянул. Кто ты и что за тобой? Ладно! Черенок лопаты — не финка.

Колоду собрал, пролистал, выгнул в каскад, выгладил. Хорошо на руке лежат, можно расчесывать. Непривычно на вид, конечно, все масти

черно-белые, и картинки в профиль как циклопы одноглазые.

На стене выключатель щелкнул — Губа прищурился.

— В темноте романтичней. Во что играть будем? Или ну его?

Василя свечу принесла, за угол стола табурет переставила.

— В двадцать одно.

— Банкуй.

Тасовала она колоду по-простому: из руки в руку, неуверенно, неловко, чуть не рассыпала. Не это ожидал увидеть Губа, удивился. Будто впервые размешивает. Однако сделала все правильно: снять дала, по одной карте раскинула, нижнюю картинкой вверх на колоде оставила — шестерка треф.

Губа потянулся за картой — Василя рукой остановила. Рука холодная, как ледышка.

— Подожди, Никита Петрович! Что у нас на кону?

— Так договорились же, — Губа не сдержал кривую усмешку. — На кон любовь и ласку ставим. Ты выиграешь…

— Это мои слова. Ты чем ответишь?

Губа нахмурился. А ведь она права: расслабил-

ся, ставку не объявил.

— Проиграю — твоим буду.

— Принимаю.

Карту поднял — восьмерка пик.

«Еще» — бубновая дама.

«Еще» — быть не может! Трефовый туз!

На Василю посмотрел внимательно, и тревожно стало — глаза прячет, над столом сгорбилась. Лицо бледное, измученное, будто постаревшее. Что случилось-то?

— Обрадую тебя, недотрога. У меня перебор! Значит, весь твой, навек.

Карты раскрыть не успел, Василя сорвалась с места — табурет опрокинулся, на колени упала рядом, руки давай целовать. Губу от такого сюрприза в дрожь бросило. Отвечать или успокаивать? И вдруг понял — плачет она, навзрыд. Обхватил за плечи, приподнять хотел…

Погасла свеча. Под руками уж нет никого. Только шорохи в темноте и едва слышно издалека: «Прости, Никита Петрович!»

Загорелась свеча… окопная. Губа глазам не поверил — сидит за дощатым столом в землянке. Напротив Витька Плясун черную колоду тасует — живой! Что за наваждение?!

— Привет, братишка. Здоровье-то как, попра-

вил?

Губа отвечать не стал, по скамейке скользнул, к выходу метнулся. И утонул в густом тумане — вытянутых рук не видно. Вязкое марево. Не дышишь, а пьешь. На языке сластит и пахнет приторным ладаном. Два шага сделал… и в землянку вошел.

Плясун развернулся и огорченно покачал головой:

— Отсюда ходу нет.

— Где Василя?

— Забудь про нее.

— Да пошел ты!

Плясун из колоды карту выдернул, картинку показал — трефовый туз.

— Бесись не бесись, но ты в замазке. А карточный долг, братишка, отработать придется. Больно хитрый он у тебя, рубликом не измерить.

— Я с тобой в карты не шлепал.

— Верно. Но себя проиграл.

Плясун рукой по лицу провел, медленно — тенью ото лба к подбородку. Губа вздрогнул, знакомые глаза разглядел — Василя. И голос:

— Прости, Никита Петрович.

Ноги ватными сделались, к столу вернулся, присел.

— Она банковала?

Плясун фитилек свечи черной картой подравнял, поправил — ни подпалин на ней, ни копоти.

— Кто она?

— А кто ты? О себе подумай. Матушку вспомни.

— Ты к чему?

— Болеет она, на тот свет готовится.

— Врешь, паскуда!

— Хочешь поговорить? — по лицу Плясуна побежала тень: волосы седые к затылку прибраны, морщины на лбу и у глаз… дорожка мокрая на щеке.

Губа взглядом в стол уперся. Брежу, в припадке бьюсь, умер? Что со мной?

Плясун ворот у гимнастерки расстегнул, шнурок вытянул — на шнурке крестик.

— Узнаешь? С ним ты от смерти сбежал? Думал, обманул всех? Только удачу на груди носить надо, а не укладывать с барахлом в нычку. Не оценил, профукал. А как профукал, так и слегла твоя матушка.

— Откуда он у тебя?

— Ты знаешь! В подсобке твоя суженая присмотрела, — Плясун рассмеялся недобро.

Губа кулаком махнул — не достал, Плясун крестик спрятал.

— Ну, поговорим теперь?

— Говори.

— От смерти никто не убежит. Рано или поздно каждого достанет. Но везунчиков вроде тебя она любит, всех в лицо помнит. Особенно если за человеком материнская любовь и вера.

— Давай по теме. Кому должен и с кем делить?

— Смерти ты себя проиграл, перед ней и замазан. Можешь сейчас рассчитаться. — Плясун выложил на стол наган. — Только учти, матушку ты так не спасешь, она следом отправится. Или отработай — сам поживешь и, дай бог, мать здоровой увидишь.

— Что делать надо?

— Ошибки исправлять. Таких как ты, фартовых, со смертью знакомить. Сильно вы ее расстраиваете, — Плясун басисто хмыкнул, — работать нормально не даете.

— Я не мокрушник. Война войной, но убивать…

— И не надо! — перебил Плясун, выбрал из колоды четырех тузов и раскинул на столе. — Просто отметишь человечка карточкой. Удача мимо пройдет.

— Какого человечка? Где я его найду?

— Кожей почувствуешь. — Плясун опять рассмеялся. — Когда он рядом будет. Тут главное — не ошибиться с выбором, а то должок не спишут. И не затягивать с исполнением — здоровье, сам понимаешь, не у всех железное.

— И сколько мне таких?..

— Тридцать шесть карт в колоде — тут, думаю, все понятно. Отыгранная карта сама исчезнет. Всю колоду в отбой отправишь — долг закроешь. Начинать можно с любой. Хоть с тузов.

Плясун колоду собрал, перетасовал и в центр стола положил.

— Ну что, берешься?

За полночь очнулся Губа на госпитальном крыльце с недопитой бутылкой коньяка и черной колодой в тридцать шесть карт.

* * *

Кто из них?

Губа сидел на земле, прислонившись спиной к березе. Пустой, раздавленный, с едва уловимым отголоском злости.

На кого?

Рыжов кулаком в глаз заехал — было за что. Круглов блатарем психованным назвал — прав

по-своему. Старшина смотрит осуждающе — имеет основание. Дадабаев мертвый лежит — по ошибке!

Другой должен был умереть. Кто? А не все ли равно? На руках опять тридцать три карты — вернулся трефовый туз, не сыгран. И на груди пожар, сил нет терпеть. Жить не хочется.

Как там было-то в прошлой жизни: «Выбор помереть по-людски все же за мной».

Губа ногами перебрал, подтянул себя к земле, лег на спину. Траву в горсть собрал, вырвал, поднес к лицу — летом пахнет, даже на болоте летом пахнет. Хорошо! Так бы лежал, дышал и рогом не шевелил… со шмайсером на груди.

Эх, Василя, куда же пропала? Может, и встретимся еще.

Затвор передернул, стволом в подбородок упрся. Долги отдавать надо.

Валерий Генкин. *ИСТОРИК*

— Куда ж ты ее в такой-то мороз? — К санкам наклонился старик в лохматой куртке и просунул пальцы Мике под платок. — Э, да у нее жар!

— Потому и везу, что жар. К доктору везу. — Я половчее пристроил лямку на груди.

— А доктор сам чего не пришел?

— Не может. Слабый.

— Ты, стало быть, сильней?

Вот настырный старик. Чего привязался? Я натянул лямку и потащил санки дальше. Главное — не садиться. Тетя Ксения вчера воду везла с Невы, села — и все. И осталась.

— Эй!

Оборачиваться я не стал. Если надо, пусть догоняет.

Он и догнал.

— Тебя как зовут?

— Сергей.

— А она тебе кто? Сестра?

— Он это. Брат. — И чего говорить, только силу терять. До Николай Петровича вон еще, два дома.

— А брата как зовут?

— Ну, Мика, Миша зовут.

Начиналась горка. Очень я ее боялся. Снег убитый, скользко. Лямка на грудь налегла, так назад и тянет, мочи нет. Дышать больно. Вдруг — будто нет лямки. Оглянулся — старик санки толкает. Одной рукой. Здоровый. Так и вошли. Он еще дверь парадной подержал, а я санки втянул. Я думал Мику оставить и на второй этаж подняться, чтоб с Николай Петровичем его отнести. А старик вдруг берет Мику на руки и говорит:

— Куда?

И к самой Николай Петровича двери его поднес, а потом на раму от аквариума посадил. У доктора большой аквариум был. Только он тогда уже стекла вынул, а раму за дверь выставил.

Ну вот, старик Мику посадил и ушел. Николай Петрович когда Мику развернул, мне плакать захотелось. Я голым-то его давно не видел. Знал, конечно, что худой, но чтоб так… Николай Петрович слушал его, а я держал. Потом одели мы его. Доктор ему дал кипятку попить с блюдца и сахарину на язык насыпал, а мне — кипятку только. И сказал, чтоб я его не возил больше, нельзя ему на улицу — воспаление легких.

— Сульфидина бы ему, да нету. На вот. — Он завернул в бумажку две красные таблетки. — Одну

сегодня вечером дашь, другую завтра. — И рукой махнул.

Потом сказал, чтоб домой шли.

Под горку хорошо было. И кипяточка я попил все-таки. Уже полдороги проехали — и здрасте, опять тот старик.

— Что, — говорит, — доктор сказал?

И пока шли, все выспрашивал и головой качал. И Мику вместе с санками на третий этаж на руках отнес.

— Можно я к вам зайду?

И зашел.

Комната уже выстыла. Мику мы на кровать положили, и я стал печку растапливать. А дядя Роман — он сказал, его Романом зовут, — развязал на Мике платок и в сумку свою полез. У него сумка была кожаная — как мешок, только с ручками. Достал коробочку, вроде папиной готовальни, а из нее — трубку белую. Прижал конец трубки к Микиной руке, где локоть, только с другой стороны, и на другой конец надавил. Потом убрал все, а из кармана еще коробочку вынул, совсем маленькую, круглую, как от вазелина, — я уже близко подошел, печь растопил. Смотрю — там шарики серые. У мамы бусы такие, только эти поменьше.

Дядя Роман отколупнул от шарика кусочек и Мике в рот положил, а мне полшарика дал. Я его на язык положил, он сразу и растаял. Сладкий.

— Вот что, Сергей. Я у вас жить буду. Идет?

— Живите.

И стал он у нас жить.

Сначала каждый день уходил, возвращался затемно. Утром нам с Микой давал бульон — бросал в теплую воду таблетку, и мы пили. И сам он пил немного. А вечером опять в воду какие-то опилки бросал, они там разбухали, и вроде каша получалась, сладкая. Так Мика скоро совсем поправился, по комнате бегал, песни пел. Я тоже посильнее стал. Потом дядя Роман натаскал ведрами снега, в баке растопил на печке, воду нагрел и нас выкупал.

А по вечерам он с нами разговаривал. Расспрашивал, как до войны жили. Про отца, про маму. А то вдруг сам рассказывать начнет, что после войны будет. Про Ленинград, каким он потом станет. Так прошло, уж не помню, сколько. И вот сидим мы как-то вечером, его слушаем. Вдруг в дверь стучат. Дядя Роман открыл — там Колька Сурин из соседнего подъезда. Стоит, плачет. Никогда я не видел, чтоб Колька плакал. Он в нашей школе, только я в третьем классе, а он в четвертом. Я

вот почему испугался, что он заплакал. Колька говорил всегда, мол, все стерпеть можно. Надо, мол, брать пример со спартанцев. Там одного мальчишку учитель остановил, а у парня лисенок был. Так тот лисенка под рубашку засунул, чтоб учитель не увидел. И лисенок ему весь живот искусал, а парень этот и вида не подал. Так вот, Колька пришел и плачет. Говорит, мать с ума сошла. Она карточки потеряла. Дядя Роман схватил его за руку:

— Идем, быстро!

Они ушли, а потом вернулись оба. И Колька у нас остался.

Вот вечером дядя Роман нас покормит и начинает свои рассказы. Про то, какая будет жизнь, и про то, что весь Ленинград станет как музей и по улицам будут людей водить и рассказывать про Петра Великого, и про декабристов, и про революцию, и про блокаду. А в самом городе, говорил, жить не будут. И вот, когда он все это рассказывал, Колька сидел, надувшись как мышь на крупу, а потом бурчал:

— Враки все это, сказки. Станут тут музеи устраивать. Это куда ж такую прорву людей девать? И так теснотища. У нас вон семеро в одной комнате было. Конечно, перемрет за войну много, но и

вернутся ведь, и новые народятся.

Дядя Роман только головой покрутил:

— Правду говорю, Коля. Я точно знаю, музей будет. И жить станут хорошо, просторно. И недалеко совсем от Ленинграда. А вообще, в городах люди селиться перестанут.

И так он много говорил, что жить люди будут в лесу, у рек, ходить не по асфальту и бетону, а по траве и песку. Ну, а если станет тесно, часть людей улетит на другие планеты.

— Откуда это вы все знаете? — спросил Колька.

— Я ведь историк, — сказал дядя Роман. — Мне положено знать.

— Ну уж нет. Историки — они про старину все знают. Про то, что было.

— И про то, что будет, брат, тоже.

А как-то раз дядя Роман принес девчонку. Что девчонку — это я потом понял, когда ее размотали. Волос у нее почти не осталось, меньше, чем у меня. Руки болтаются, голова все вперед падает. Глаза как у лягушки. Потом она ничего — ожила. Галкой зовут. Про родителей ничего не помнит. Ее в доме засыпало, дядя Роман откапывать помогал и ее с собой взял.

Мика сказал тогда, что у нас получился теремок.

— Ну да, — сказал Колька, — медведя только не хватает.

А дядя Роман стал спрашивать, что за теремок и почему медведя.

Мика ему, конечно, все рассказал. Только чудно́ мне было, что человек теремка не знает. Я таких не встречал.

Колька тоже это заметил. И ему это не понравилось. Он молчал, молчал, а потом, когда дядя Роман ушел, мне и говорит:

— Серега, что-то мне это не нравится.

— Что тебе не нравится?

— Что дядя Роман про теремок ничего не знает.

— А что тут такого? — говорю. — А может, он нарочно, чтобы Мике интересней было. — А сам думаю: «Ой, непохоже, чтоб нарочно». И Кольке сказал: — Может, ему эту сказку никто не читал, а у самого детей нет.

— Не бывает таких, чтоб сказку про теремок не знали.

— Значит, — говорю, — бывает.

— А я тебе прямо скажу, если не знает про теремок, значит — не наш.

— То есть как — не наш?

— Не русский. Не здешний. Чужой.

— Скажешь тоже! Зачем это, интересно знать, ему тогда всех нас кормить? И Мику лечить? — говорю, а сам думаю: «Ой, прав Колька. Не наш дядя Роман. И шарики все эти, и вообще…»

— То-то и оно. Жить ему надо где-то? Вот заброшен он в Ленинград с заданием. Пристроился к тебе жить. Мику вылечил. Вроде как вошел в доверие.

— А тебя от голодухи спас? Спас. А Галку зачем принес? Какой ему от вас прок?

— Не знаю. Но, верно, есть прок. Скажи лучше, откуда у него еда такая? А лекарства? Ясное дело — шпионское снаряжение. Давай-ка ему проверку устроим. А потом скажем… ну хоть Ивану Савельичу. Он знает, что делать.

Иван-то Савельич над нами жил. Он на Кировском заводе работал.

— И как ты его проверять будешь? — спрашиваю. — Может, сразу сказать? Там разберутся.

Молодец Колька, не послушал меня тогда. Могли бы и не разобраться. Колька, помню, сказал:

— Не. Так не годится. Вот погоди, сейчас придет он, проверим.

А дядя Роман в тот вечер еще одного привел. Совсем малыша, года четыре. Он и сам не знал, сколько ему. Только знал, что зовут Вася Шапош-

ников.

— Я Вася Сапосников, — говорит. И все.

Дядя Роман его на улице подобрал. «Где мама?» — спросил. «Дома». — «А где дом?» Молчит.

Стоит посреди комнаты, рот скособочил — сейчас заревет.

— Что же нам с тобой делать, Вася Шапошников? Давай раздевайся и поешь. Потом маму искать будем, — говорит дядя Роман.

— Найдем маму, не плачь, — поддакнул Колька. — Дядя Роман добрый. Он тебя покормит, сказку расскажет. Он мно-о-го сказок знает. Правда, дядя Роман?

— Ну, — говорит дядя Роман, — уж про сказки и не знаю даже…

— Много, много… Ты про курочку Рябу любишь, Вася?

— Пло Лябу люблю.

— Вот дядя Роман тебе про курочку Рябу расскажет.

— Пло Лябу! — Вася вроде и плакать передумал.

— Знаешь, Коля, — говорит дядя Роман, — расскажи-ка ты ему про эту курицу. Я что-то плохо помню. Я, знаешь, вообще сказки не запоминаю.

— И про репку?

— И про репку.

— И про сороку-ворону?

— Сороку?

— Ну да. Кашу варила, деток кормила, этому дала…

— Знаешь, и про сороку не помню.

Тут Колька на меня *так* посмотрел.

И такая меня тоска взяла!

А дядя Роман вдруг сказал:

— Ладно, ребята, я тут одну сказку, кажется, припоминаю. Давайте-ка сядем.

Я такой сказки никогда не слышал. Жили когда-то в далекой стране крылатые люди. И вот примчался к ним из соседней земли гонец. И говорит тот гонец, что напал на них свирепый Звездный Дракон. Бились с ним, говорит гонец, наши воины и полегли все до единого. Остались во всем государстве только старые да малые. И обложил их Дракон ужасной данью: велел отдать ему пятьдесят мальчиков и пятьдесят девочек, унес их в свой дворец на высокую гору и заставил себе служить. Помогите, просит гонец, наших детей спасти.

Выслушали гонца крылатые люди. Кликнули клич: кто пойдет со Звездным Драконом биться, детей выручать? Вызвались девяносто девять

богатырей, и с ними — самый сильный и самый добрый богатырь Агенор. Полетели они к драконову дворцу. «Отдавай детей, — закричал Агенор, — или выходи на смертный бой!» Захохотал Дракон, бросился на крылатых людей, огнем их жжет, скалы в них мечет. Не испугались крылатые, впереди всех бьется с Драконом сам Агенор. Больше всех жжет его огонь, сильнее всех ранят острые камни. Изловчился Агенор и пронзил копьем сердце Звездного Дракона. Рухнул Дракон. Чует, что конец его близок, и говорит: «Хоть и победил ты меня, крылатый, а не спасти вам детей. Как перестанет биться мое сердце, так рухнут стены дворца и раздавят их». Закричал тут Агенор своим товарищам: «Пусть каждый из вас возьмет на руки мальчика или девочку и летит прочь отсюда!» Взял каждый крылатый богатырь мальчика или девочку, и слетели они с высокой горы. Один мальчик только остался. Подходит к нему Агенор, хочет на руки взять и не может. Ушла от него сила, пока он с Драконом бился. Видит Агенор — сейчас умрет Дракон, остановится его сердце. Снял тогда Агенор свои крылья и отдал их мальчику. И только слетел тот мальчик с горы, как забился Дракон, заскреб когтями по камню, заревел и затих. И в тот же миг рухнул Драконов

дворец и похоронил под обломками богатыря Агенора. Долго потом летали вокруг той горы его крылатые братья и звали, и звали его, но никто не откликался на их зов.

На следующий день дядя Роман оставил свою сумку. Вообще-то он всегда ее с собой носил, а в тот день оставил дома. Ее Галка нашла и говорит, что убрать бы надо, а то Мика или Вася возьмут поиграть и что-нибудь уронят там или испортят.

Колька взял сумку и на шкаф закинул. И на меня посмотрел.

День теплый был, солнце. И мы послали Галку с малышами погулять. Она ничего, пошла. А мы сразу за сумку.

Что мы там нашли? Ну, во-первых, коробочку ту, с шариками. Только их уже меньше половины осталось. Другая баночка — побольше — с опилками, из которых каша. Еще была та готовальня с инструментами. Я сразу узнал трубочку, которой дядя Роман Мику лечил. Потом какая-то белая, как портсигар папин, штука с окошком и кнопками. Только поменьше, с мою ладонь. Вот и все. Ни бумаг каких, ни пистолета, ни фотоаппарата, ничего шпионского. Колька, правда, покрутил эту, с кнопками, но уж больно она маленькая была.

Сунули мы все в сумку и только хотели ее обратно на шкаф положить, как вошел дядя Роман. Я красный стал сразу, а Колька ничего — нашелся.

— Мы, — говорит, — от малышей хотели ваши вещи убрать.

И подает ему сумку.

Дядя Роман сумку взял, на стол положил. И говорит:

— Смышленые вы ребята. Что с вами поделаешь. Решили, что я разведчик?

Колька к двери стал боком двигаться. А я стоял столбом.

Дядя Роман на диван сел и вдруг сказал:

— А знаете, вы правильно решили. Я ведь и правда вроде разведчика. Только не враги меня сюда заслали.

Достал из сумки ту коробку с окошком и велел нам смотреть. Окошко маленьким было, а то вдруг выросло, краев не видно. И из него — машины какие-то, самолеты без крыльев, шары вроде мыльных пузырей. А потом — площадь с высокой башней, кругом люди, много их, все смеются, руками машут, а одна женщина плачет и смеется сразу. И все смотрят на тех, кто с башни спускается, а на башне сверху вниз огромными буквами надпись. И я, не знаю уж почему, сразу

понял, что там написано: «Агенор».

Потом окошко снова маленьким стало и погасло. А дядя Роман — он бледным сделался и к спинке привалился. Потом сказал, что эти люди его сюда и прислали. И что в этой коробке с окошком и кнопками записывается все, что он увидел и узнал. И если он вернется, то там смогут все это узнать и увидеть собственными глазами, вот как мы их только что видели. Люди эти добрые и сильные, но они не сразу стали такими. И им очень важно знать про нас, потому что мы им помогли.

Помню, Колька все мотал головой и говорил, что как же так, если вы все можете, почему не трахнуть по фрицам, почему Гитлера не прихлопнуть. А дядя Роман стал вбок смотреть и сказал, что даже и нам-то он помог против законов. Нельзя ему вмешиваться в нашу жизнь, а только и можно что наблюдать. Но вот он не выдержал, не вынес. А с Гитлером мы сами должны справиться и обязательно справимся. Это он точно знает.

Тут Галка Мику с Васей привела.

А потом стали мы замечать, что дядя Роман ослаб очень. На щеках пятна. Иногда вдруг говорил непонятно, малыши пугались. На улицу перестал выходить. Лежал больше. Даст нам

утром по опилочке и опять ляжет. Нас к тому времени семеро стало: две близняшки из дома напротив к нам прибились, у них старшая сестра умерла, а мать еще в начале блокады убило.

Уже март был, солнце, сосульки. И вот как-то утром подозвал дядя Роман нас с Колькой.

— Вы, ребята, старшие. Вам я должен все сказать. Отправляйте-ка всех гулять и дайте мне мою сумку.

Галка одела малышей, и они ушли. Дядя Роман открыл свою сумку. Сначала достал коробку с шариками. Их там всего шесть штук оставалось.

— Разделите бритвой каждый шарик пополам и давайте Мике и Васе через день по половинке. Сами не ешьте — большие уже. Да и Галка потерпит.

Мы с Колькой закивали: понятно, мол, чего там.

— Теперь открывайте вот эту.

Мы открыли коробку с опилками. Их побольше было — штук тридцать. Он их тоже велел на половинки разделить.

— Кашу делать умеете. Маленьким давайте в те дни, когда шариков есть не будут. И сами ешьте через день.

— А вы, дядя Роман? — спросил Колька. — Вы

что, уходите?

— Да, ребята. Мне пора.

— Да ведь вы больны. Вам лежать надо.

Дядя Роман не сразу ответил. А потом сделался еще серьезней и сказал вроде как нам обоим, но больше все-таки Кольке:

— Вот еще что. Через двадцать два дня, второго апреля, вот это, — он достал коробочку с кнопками, — надо положить в любое место у Пяти углов. Здесь близко, вы знаете.

— Знаем, — говорит Колька.

— Но так, чтобы видно не было. Если снег не сойдет, лучше в сугроб уронить, а если все растает, землей немного присыпать…

— А в какое место положить-то?

— Не важно. Не беда, если на сотню шагов ошибетесь. Главное, чтобы никто раньше времени не нашел, а кому надо — отыщут. — Он долго так смотрел на нас и добавил совсем уж тихо: — Очень вас прошу, сохраните ее до второго апреля и отнесите куда я сказал.

— Может, вы сами? — говорю я.

— Я не могу. Дела у меня, ребята, в другом месте дела…

— А вдруг, — говорю, — мы не…

Но он не дал мне закончить:

— Дайте-ка мою куртку и проводите меня до угла.

Я и сейчас помню, как медленно мы шли по Восстания до угла Маяковской. Еле-еле. Я начал было вспоминать, когда дядя Роман ел с нами в последний раз. И не вспомнил. Может, неделю назад. А может, две? Давно, очень давно. За угол он свернул один — нам с ним дальше идти не велел. Только рукой махнул и отвернулся.

Шарики и опилки мы делили, как он говорил. И вот дотянули, видите — живы. А второго апреля мы с Колькой пошли к Пяти углам и засунули коробку в щель за каменной тумбой во дворе булочной. И снегом забросали.

Третьего хотели посмотреть, там ли коробка, но не успели — из домкома пришли, сказали, будут нас эвакуировать. Хлеба дали, сюда вот привезли.

Мальчишка широко зевнул и тряхнул белобрысой головой.

— Да ты иди, ложись. Еще часа три до посадки. — Пожилой старшина провел изувеченной ладонью по волосам ребенка и слегка подтолкнул его. — Ступай, ступай!

— Так вы уж попросите, чтоб нас в одну машину, а? Всех семерых. Нам обязательно, чтоб

вместе.

— Сделаем, Серега, сделаем.

Щуплая спина мальчика растаяла в глубине коридора.

— Фантазер, писателем будет, — сказала худая сутулая медсестра.

— Да, складно врет, — согласился старшина. — А кем будет — чего гадать. Вон позавчерашний транспорт вчистую разметало. Ни один не спасся… И-э-х… и мне соснуть часок.

И старшина расстелил полушубок тут же на лавке у черного колена тихо остывающей чугунной печки.

Андрей Чесман. *СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ*

Что может знать девятнадцатилетний балбес о жизни? Я, например. Вот учился я на третьем курсе журфака, подрабатывал журналистом в местной толстовке под руководством своего институтского куратора и о жизни знал все. И о том, какие светлые времена настали, и как мы сейчас заживем.

Я все это знал и воспроизводил.

Как-то весной вызывает меня Геннадьич, он же замдекана журфака и мой куратор, и дает задание — написать критическую статью о битве под Курской дугой.

В общем, обычное поручение. Странно только, почему Курская дуга. Ведь дата не круглая — пятьдесят один год назад.

А у меня как раз в рукаве секретный козырь припрятан. У меня дед воевал. 285-й стрелковый полк 183-я стрелковая дивизия. Я эти цифры с детского сада наизусть выучил. Оставалось только как следует раскрутить старого хрыча, чтобы он мне всю правду о войне выложил, а не эти окоп-

ные байки. У нас сейчас, слава богу, не кровавый режим, а Новая Россия. У нас теперь за правду не сажают! Говори что хочешь.

Дед у меня крепкий, хоть уже и за семьдесят перевалило. К нему специфический подход нужен. Запасся я перцовочкой и сервелатом финским — да к нему на квартиру. Ему как ветерану государство выделило отдельную двухкомнатную — везет же некоторым!

Ну так вот, захожу, начинаю подкатывать, а он мне в лоб:

— Зачем пришел?

— Статью хочу написать, как ты воевал.

— И про что писать будешь?

И посмотрел он на меня так, что мне неловко стало.

Я глазки потупил, перцовочки ему подлил, сижу, жду.

— В общем так, боец, баш на баш. Ты мои мемуары записываешь, я честно отвечаю на твои вопросы. Идет?

Меня аж передернуло. Во-первых, чтобы записать мемуары, надо их сначала набить на машинке, потом перенести на компьютер и на чем-то хранить. С учетом того, что комп есть только в редакции и свободен он бывает только

по утрам, мне предстоял тот еще мартышкин труд. Но и заманухa была шикарная. Дед у меня честный. Если сказал, что будет говорить правду, — значит, будет говорить правду.

В общем, согласился я.

Ну, говорю, рассказывай:

— Войну я начал весной сорок третьего с освобождения Харькова.

И тут я понял, что у деда с памятью не очень.

— Дед, давай без баек! Я еще со школы помню, что Харьков освободили после Орла и Белгорода. То есть осенью. Какая весна?

Дед посмотрел на меня грустно:

— Дурак ты! У меня там восемьдесят бойцов из роты легло.

Я понял, что сейчас рассказ прервется на самом интересном месте, так и не начавшись, и пошел на попятную:

— Дед, ты мне лучше про Прохоровку расскажи. Ты правда там был?

— Был.

— И из танка стрелял?

— Какого танка? Я ж всю войну в пехоте прослужил.

— Да ладно, дед, все знают, что под Прохоровкой произошло крупнейшее танковое сражение!

Где наши танки шли на таран с немецкими. Это в любой книжке написано!

— А я под Прохоровкой сидел в окопе.

И так он это сказал, что я понял: действительно сидел. Голова у меня взорвалась. Прохоровка. Танки. Откуда там быть пехоте?

Дед тем временем уговорил уже полбутылки, и взгляд его сделался совсем хитрым.

— Вот ты мне скажи, внук, что такое пятое августа?

Ну, это у нас все знают. День первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. Я выдал информацию.

— А где фашисты наступали на Курской дуге?

— Под Понырями и под Прохоровкой, — не задумываясь ответил я.

— Ну-ка, достань атлас и посмотри.

Атлас у нас шикарный, офицерский. Масштабом тридцать километров в сантиметре. И отдельный том с картами военных операций всех войн двадцатого века. Я их все детство разглядывал. Я достал атлас, раскрыл его на нужной странице.

— Ничего не замечаешь? — все так же хитро спросил меня дед, выпивая очередную стопку.

Я понял, что он меня обманывает. Только вот

где?

— Сколько от Прохоровки до Белгорода и сколько от Понырей до Орла? — смилостивился дед над моей тупостью.

— Сорок пять километров от Прохоровки и семьдесят пять от Понырей.

Сказать-то я это сказал. Но до меня самого стало доходить, что до Орла, получается, раза в два дальше топать. А дед добил меня окончательно:

— Нас после Харькова в глубокий тыл отправили на доукомплектование. От нас до линии фронта было километров тридцать.

Географическим кретинизмом я не страдаю.

— То есть пятнадцать километров до Белгорода и семьдесят пять до Орла прошли за одно и то же время?

— А когда началась Курская битва, напомни?

— Пятого июля, — автоматически сказал я.

Ну да, это же так просто — заучить дату. «Цитадель» началась пятого июля с превентивного артиллерийского удара советских войск, Орел и Белгород взяли пятого августа, война закончилась девятого мая. Даты, они такие — их запоминать легко! Мы месяц шли пятнадцать километров до одного города и семьдесят пять до другого.

Дурацкое редакторское задание превратилось

в тайну. Мне стало по-настоящему интересно. Дед, уже хороший, сидел и ухмылялся. Он знал, что удалось меня подцепить.

— Ладно, давай по порядку.

* * *

Мы уже знали, что началось наступление: пушки вдали грохотали вторые сутки. А с утра через наши позиции повалил народ, пошла техника. Однородной массой пошли, недисциплинированно. Совсем как весной под Харьковом.

Стало понятно, что атакуют немцы.

У меня в роте больше половины новичков, и на них эта картина произвела впечатление. Я с ротным политруком обходил каждый окоп и пытался настроить людей на боевой лад. Получалось плохо.

К вечеру появились немецкие танки, вместе с нашими бегунами пошли. Бегуны по кустам, а танки прямо на позиции третьего взвода. Там как раз пригорочек был.

Мои бойцы держались, отстреливались кто как мог. Нескольким танкам даже подбили гусеницы. А что еще мы могли сделать теми пукалками, что у нас есть? Связь с полком оборвалась.

Когда начало темнеть, третий взвод свои пози-

ции оставил. На пригорке окопались немецкие танки. Фашист не жалел патронов и поливал ходы сообщения огнем. Я собрал остатки третьего взвода и пулеметный расчет первого рядом с собой, подготовил бутылки, связки гранат и стал ждать. У меня тогда во втором взводе десяток бойцов из-под Харькова еще были живы.

Я понимал, что это последний бой, последняя атака. Я настраивал бойцов. Нам хотя бы три танка подбить, и тогда не напрасно умрем. Контратаку назначил на двадцать два ноль-ноль.

А без пятнадцати десять в мой блиндаж ввалились трое непонятных мужиков в странной пятнистой форме. Я схватился за ТТ. Как так, моя рота готовится к бою, все в боевой готовности, на страже, а эти прямо в мой блиндаж. Значит, фашисты за языком пришли!

— Ну что, пехота, в штаны наклали, как танки увидели? — насмешливо спросил их главный.

У меня от сердца отлегло.

— Игорь, — представился он мне, протягивая руку для рукопожатия.

— Алексей, — поздоровался я с ним.

— Значит так, командир, на вашем бугре стоят семь танков. Четверки. Окопались, суки, ждут свою пехоту. Утром вам хана. Понимаешь?

Чего уж тут непонятного.

— Мы сейчас сходим туда и тихонько всех убьем. От тебя требуется через двадцать минут открыть огонь в сторону холма из всего, что имеешь. Только бери чуть выше, чтоб нас не зацепило, хорошо? И сам не суйся.

То, как этот Игорь говорил, заставляло верить. Подчиняться. Я сразу увидел в нем человека, провоевавшего не один год. Может быть, даже на Халхин-Голе или в Испании.

Я кивнул.

— Ну ладно, удачи. И за бойцов у входа не бойся. Они живые.

Странные мужики вышли из блиндажа. Я бросился за ними, но увидел лишь двух часовых, лежащих без движения. В общем, с незнакомцами все стало ясно — разведка. Дивизионная, а может, и армейская.

Я нашел политрука, объяснил задачу, сверил часы. Надо было переназначить дату атаки. В двадцать два десять два моих взвода открыли огонь по танкам. Ответный огонь длился минуты три. Потом взорвался один танк. Потом второй.

Я поднял бойцов в атаку.

Когда мы добежали до позиций третьего взвода, горело четыре танка: два стояли без движения

и два отползали, яростно отстреливаясь. Мои бойцы залегли в наших окопах, а я сквозь огонь пожара увидел такую картину: трое тех странных мужиков, заслонившись от отходящих танков горящими и неподвижными машинами, поставили перед собой на колени двух фашистов и что-то им говорят.

Я понял, что они сейчас их убьют.

Наш политрук тоже это понял.

Мы выскочили под пулеметным огнем и побежали к этим разведчикам.

— Отставить! Нельзя! — орал политрук.

Я на ходу пытался расстегнуть кобуру ТТ. У меня почему-то не получалось.

Мы добежали до мужиков.

— Ну что, сука, кончилась игрушка? — спрашивал Игорь одного из фашистов.

Я еще подумал, что так бывает. Нам всем есть из-за чего мстить. Очевидно, что у Игоря убили кого-то, и он сейчас сводит счеты. Но это все равно неправильно. И надо просто найти нужные слова, объяснить…

— Это неправильно! Вы не можете! — заголосил фашист по-русски. — Этого нет в договоре!

— Ну, извини, — улыбнулся Игорь. Я видел эту улыбку в отсветах пламени, и мне стало все

ясно.

В следующую секунду Игорь выстрелил фашисту в лоб. Политрук дернул меня за руку и повалил в окоп. Я успел увидеть, как от выстрела взорвалась черепная коробка фашиста. Это было так…

Я посмотрел на политрука:

— Федор Маркович?

Я спрашивал у него, как это так. Последние три месяца я сам регулярно проводил политические беседы с бойцами. Мы воюем не с немцами. Мы воюем с фашистской сволочью, обманувшей немецкий народ. Любой немецкий солдат, поднявший руки, должен быть взят в плен и доставлен соответствующим органам. За каждого пленного солдат получает поощрение. Мы воюем не с людьми, мы воюем с врагом.

А тут такое. Без суда и следствия пулю в лоб. Я уже убивал фашистов. Отстреливаясь в горячке боя, хладнокровно целясь из окопа, один раз в рукопашной. Но я первый раз видел, как советский человек убивает кого-то так…

— Он русский, Леша, — ответил мне политрук, имея в виду фашиста.

Через пару минут в утихающей трескотне пулеметных очередей я услышал еще один выстрел.

Политрук пошел по ходам сообщения к роте наводить порядок. Еще минут через десять мимо меня пробежало несколько бойцов — восстанавливать линию обороны. Потом подбежал ординарец: восстановилась связь с полком, и надо было доложить обстановку.

Я был на войне уже четвертый месяц. И первый раз увидел, как человека убивают хладнокровно, в упор, не испытывая ярости или ненависти. С издевательской фразой: «Ну, извини!»

Я доложил в штаб о прорвавшихся танках, о том, что атака отбита, о потерях. Огрызнулся, что можно прийти на позиции третьего взвода и пересчитать фрицев, и сообщил, что готов отдать свою жизнь за родину. От меня отстали.

В мой блиндаж опять ввалились эти непонятные трое, теперь уже вместе с политруком.

— Нельзя убивать пленных! — сразу же набросился на них Федор Маркович. — Это ценный источник информации. Вам вообще расстрел грозит за такое самоуправство. Как мы теперь узнаем, что это за дивизия и какие у нее планы?! Понимаете?

Игорь посмотрел на него спокойно и сказал:

— Это танковая дивизия СС «Адольф Гитлер». Ее задача — прорваться к Прохоровке с целью

создания глубокого котла.

Федор Маркович сразу сник. Защищать эсэсовцев было не принято. Да, надо было и этих брать в плен. И надо было говорить правильные слова, о том, что мы воюем не с немецким народом, а с отдельными фашистскими выродками. Но эсэсовец, да еще и русский!

Мне оставалось только спросить:

— Вы сейчас с нами или куда?

Дивизия СС. А у меня полроты новобранцев. Я мог только просить их остаться. Их работа намного важнее моей.

— Ну, если не прогонишь, командир, — пожал плечами Игорь.

Они вышли из блиндажа. Я спросил у политрука:

— Что думаешь, Федор Маркович?

Он мне ответил:

— Плохо дело. Завтра немец попрет по-настоящему. Сегодня разминка была.

— Я про этих. Странные они. Ты опытнее, лучше в людях разбираешься.

— А кто не странный, Леша? — вздохнул Федор Маркович. — Война…

* * *

Геннадьич принял текст статьи без восторгов.

— Слабо, Игорек, слабо! Расстрел пленного — это еще куда ни шло. Но почему ни полслова о заградотрядах, о штрафбатах. Зачем ты акцентируешь внимание на СС. Пусть это будут обычные танковые части. И почему немец должен быть русским? Вот к чему все это?

Я опешил. Я же написал правду. Танковая дивизия СС «Адольф Гитлер». Я проверил. Именно она и атаковала. Там вообще были только танки СС.

— Это же правда! — начал было я оправдываться.

— Какая правда, Игорь? Ты там был? Ты это видел лично?

Меня окатило волной боли и обиды. Как же так? Я точно знаю, что пишу.

— Даю тебе срок неделю, — смилостивился Геннадьич.

* * *

Потом мы собирали сведения об убитых и раненых. Тяжелораненых отправляли в тыл. Проверяли наличие боекомплекта, наводили

порядок в третьем взводе. В четыре утра пришел приказ готовиться к наступлению.

В пять утра немцы пошли в атаку. Около десяти танков и густая цепь пехоты. На этот раз никто не запаниковал. После ночного боя мои бойцы поняли, что фриц не так страшен.

На самом деле это просто. Пулеметы отсекают пехоту. Противотанковые ружья бьют по гусеницам. Орудийный расчет ждет, чтобы ударить наверняка.

Часам к семи утра атака была отбита.

Игорь со своими людьми очень сильно помогали. Они показывали новобранцам, как правильно вести огонь, когда укрываться, когда менять позицию, нескольким легкораненым сделали перевязки.

Из штаба обрадовали: как только подойдут наши танки, я должен буду поднять роту и смело бросить ее в атаку на врага. Довести боевую задачу до бойцов я не успел — немцы опять пошли на штурм.

Впрочем, на этот раз как-то вяло. Танки остановились метрах в трехстах от наших окопов и пытались расстрелять пулеметные гнезда. Пехота шла в атаку ползком. Потом так же ползком отходила. Потери были небольшие. Единственное,

погиб взводный четвертого взвода. Серьезный дядька, только после ранения вернулся.

Начиная с полудня, штаб каждые полчаса напоминал, что в атаку надо будет пойти сразу же за «тридцатьчетверками».

В два часа опять появились немцы, но атаковали они еще нерешительнее, чем утром.

«Тридцатьчетверки» появились часам к четырем и сразу же открыли огонь. Я как раз был в первом взводе и видел позиции третьей роты. Народ там высыпал из окопов, готовясь к атаке. Я уже тоже хотел отдавать приказ.

«Тридцатьчетверки» открыли огонь по нашим и принялись утюжить позиции. Ротный третьей роты Мишка — хороший парень был, погиб под Сандомиром — бросился на танки с пистолетом. В общем, разобрались.

Горько получилось. Танковая бригада весь день на марше. Им сказали атаковать сходу. Враг через двадцать километров. Других ориентиров не было.

Вот своих и подавили. И танк еще один сожгли. За нашими позициями приходили в себя танкисты из десятого корпуса. У них тоже от бригады пять танков осталось, так что они окопанные стояли, в бой не лезли.

В общем этих деятелей мы назад отправили, окапываться. Какая уж тут атака?

Ближе к ночи немцы предприняли еще одну атаку и довольно быстро отошли. Мы с политруком опять обходили бойцов и старались объяснить происшедшее. Это война. Так бывает. Главное — это остановить врага.

Я говорил это, а самому было стыдно и гадко. Но объяснить людям по-другому я не мог.

Ночью Игорь со своими бойцами ушел в сторону немцев. Обещал вернуться к утру.

Мне даже удалось поспать.

* * *

— Игорь, ну ты же можешь. Вот! Вот! У тебя же есть крупица военной правды. Пьяные танкисты задавили свою же пехоту. Но надо добавить пафоса. Командира, сообщившего наверх, должны расстрелять за то, что порочит честь советского офицера. Ведь так же все было.

Я смотрел на своего куратора, брызжущего слюной от возбуждения, и мне хотелось вымыться. Как может вот «это» рассуждать о войне?

Перед моими глазами стоял дед. Фронтовик, закончивший войну в Берлине. И это нечто сейчас говорит, что мой дед врал.

— Игорь, только не говори, что ты до сих пор веришь совковой пропаганде! Ты же взрослый мальчик. Ты можешь отличить правду от лжи.

Мы находились в редакции. Нас видело пять человек.

Я ударил Геннадьича под дых и с удовлетворением увидел, как он давится воздухом. Потом ударил еще раз. И еще. Он упал на пол. Я пинал его ногами. Потом я пошел домой.

Я отлично осознавал, что это конец моей карьеры и учебы. Теперь у меня волчий билет в институте и запрет на профессию. Но я хотя бы смогу смотреть в глаза деду.

Во всем этом есть положительный момент. Теперь у меня море времени, чтобы писать и редактировать мемуары деда. Я даже поселился у него. Ведь кто-то должен сохранить память о войне.

* * *

Утром Игорь с ребятами вернулись, притащив с собой языка. Игорь попросил мой блиндаж для допроса. Я потребовал, чтобы пленный остался жив. При этом я держал руку на кобуре. Игорь посмотрел на меня спокойно, без малейшей вражды и сказал:

— Леш, позови Федора Марковича и послушайте вместе. А уж потом сам решишь, стоит эту мразь в живых оставлять. Хорошо?

Мне оставалось только согласиться.

Пленного привязали к стулу, а на стол поставили штуку вроде ФЭДа, только без объектива. Потом его привели в сознание.

— Имя, фамилия, год рождения, — начал Игорь допрашивать на русском.

Пленник был одет в эсэсовскую танкистскую форму. И начал лопотать:

— Нихт ферштейн!

Получил удар под дых и спокойный вопрос:

— Имя, фамилия, год рождения.

После пятого удара я хотел было остановить допрос. На шестом он сломался:

— Максим Логачев, две тысячи сто первый.

Сначала я подумал, что ослышался.

— Цель пребывания в тысяча девятьсот сорок третьем.

— Вы не поверите!

Пленному было лет девятнадцать. Его голос, мальчишеский, ломкий, вызывал жалость. Хотя мне двадцать два, но… три месяца боев, сто человек в подчинении — я привык общаться командным тоном с людьми вдвое старше меня

по возрасту и на этого пленного смотрел, как на ребенка.

— А ты попробуй объяснить, — почти ласково сказал Игорь и еще раз ударил его.

— Зачем вы меня бьете? — начал рыдать пленный.

— Ну вот, смотри: на тебе эсэсовская форма, ты из танка расстреливал бойцов советской армии, ты давил их гусеницами своего танка. Почему я не должен тебя бить?

Произнося все это, Игорь методично избивал его.

— Но это же игра! Они все давно умерли! Я не сделал ничего плохого!

Он кричал искренне. Он верил в то, что говорил. Я прикусил губу до крови, чтобы не сорваться. Убивать живых людей — это игра?

— Правильно. У меня тоже игра. Я убиваю эсэсовцев в далеком прошлом. Они же все равно умерли.

— Но я не эсэсовец. Я из Москвы. Я из две тысячи сто двадцатого года. Я могу показать свой айди, когда вернемся.

— Ты не понял, ты никуда не вернешься. Ты останешься здесь.

— Не надо.

Пленный уже подвывал.

— Сколько еще игрунов с тобой?

— Пятеро. Были еще двое, но с ними пропала связь.

— Кто вас впустил сюда?

— Я не знаю. Мы в сетке тур нашли. Это должно было быть безопасно.

— Ладно, проверю.

Игорь повернулся к нам с Федором Марковичем:

— Все понятно?

У меня не укладывалось в голове, но я кивнул.

Игорь всадил пленному нож в сердце, выдернул его и обтер об эсэсовскую форму. Я не смог ничего возразить. Труп вынесли из блиндажа.

— Значит, ты из будущего? — спросил Игоря Федор Маркович.

— Да.

— И пришел за этими?

Он лишь кивнул.

— Много их?

— В этой группе осталось трое. Через два дня будет крупный танковый бой. Они собираются как в тире расстреливать «тридцатьчетверки». Для них это развлечение.

Еще два года назад я не мог себе представить,

что убийство живых людей может быть развлечением, но потом началась война.

— Вам нужна какая-нибудь помощь? — спросил я Игоря.

— Да чем вы нам поможете? — пожал он плечами. — Через пару часов я с ребятами исчезну и появлюсь через двое суток. Просто постарайтесь выжить, не геройствуйте. Вам надо выждать неделю, потом все устаканится. Немцы отступят. Война закончится в сорок пятом в Берлине.

* * *

Недавно я прочел мемуары Дениса Давыдова. Того самого. Партизана, героя Отечественной войны двенадцатого года. Он пишет, что в одном селе они взяли в плен французов, и среди них оказался один русский. Он попал в плен и стал солдатом французской армии. Денис Давыдов его повесил, хотя всех остальных пленных отправил в тыл. Просто потому, что нельзя воевать против своих.

Это было больше ста восьмидесяти лет назад.

Сегодня воевать против своих — это мода.

Я пытался пристроить рассказ деда в наши издательства. Мне говорят одно: мы такое не принимаем. Это не окопная правда, а развесистая

советская «клюква». В это сейчас никто не поверит. Нам это невыгодно.

Пишите про заградотряды, штрафбаты и одну винтовку на троих. Вот это актуально. Вот это правда. И вообще, молодой человек, пишите про эльфов. Вот это сейчас тема. Возьмите американский псевдоним и дерзайте. У вас хороший стиль, набита рука. Ну, не лезьте туда, в чем не разбираетесь!

И глаза у всех были такие честные и добрые. Только один сказал:

— Знаешь, парень. Внеси ты в рассказ фант-элемент посерьезней. Будет фантастический рассказ. С руками его не оторвут, но кто-то может напечатать. У нас сейчас гласность, свобода слова — всякое бывает.

Пожалуй, это единственный человек, который хотел мне помочь. Но сама постановка вопроса: хочешь писать правду — пиши фантастику! Это нечто.

Сессию я, ожидаемо, провалил. Отчислен с волчьим билетом. Теперь меня ждет доблестная армия. Ну, или два косаря зелени, чтобы откосить.

Геннадьич смотрел на меня с видом победителя. Будто он растоптал насекомое. Надо было еще

раз разбить ему морду. Я только плюнул в нее. Хотя таким плюй в глаза — божья роса. Но это было при свидетелях.

Я сохранил остатки гордости.

Жизнь продолжается.

* * *

После рассвета по нам отбомбились Илы. И зашли на штурмовку. Это было обидно. Нас опять обстреляли свои. Отличить Ил от «штуки» несложно. Любой опытный боец с этим справится. Но по окопам говорили, что нас бомбил немец. И говорили это те бойцы, с которыми я шел от Харькова.

Федора Марковича ранило.

Бойцов у меня оставалось все меньше, а задачу никто не отменял. Я ходил по окопам, настраивал людей на нужный лад. Делал все на автомате.

Ближе к полудню опять наткнулся на Игоря и его ребят. Они спорили. Я подошел.

— Да пошел ты, Игорек! Командир хренов! — услышал я. — Чем ты лучше этих игрунов? Пришел, пострелял, убежал! Я остаюсь.

— Коридор откроется через пятнадцать минут. Это не наша судьба, — спокойно отвечал Игорь.

Я его понимал. Он командир, как и я. У него

есть боевой приказ. Есть задача. Он должен ее выполнить.

— Мне плевать. Я не могу.

— Мы не можем остаться, Глеб. Мы ничего здесь не сделаем!

В пылу спора они меня не замечали. Я решил вмешаться:

— Ребят, идите домой. Это наша война.

Все развернулись в мою сторону. У того, кого Игорь назвал Глебом, в глазах стояли слезы:

— Хрен ты угадал, лейтенант, это и моя война тоже.

И боец прошел мимо меня по окопу. Я посмотрел на Игоря. Тот беспомощно пожал плечами. Мы с ним отошли, чтобы поговорить наедине.

— Насколько это серьезно? — спросил я его.

— Не знаю. Теоретически следующая точка выхода через три дня. Танковый бой будет чуть дальше отсюда. Можно будет ночью добраться до цели. Меня, конечно, потом отстранят, но есть шанс выполнить задание.

— Могут послать еще кого-то?

— Нет. Не больше одной группы за раз. Это сложно объяснять.

Мне объяснять было ничего не нужно. Я тоже командир.

— Что будешь делать?

— Глеб прав, Леша, это и наша война, точно так же, как ваша. Если я сейчас уйду, всю жизнь буду считать себя конченой сукой.

— У меня осталось шестьдесят человек от роты, — честно сказал ему я. — Дальше будет хуже.

— Это ничего не меняет, — ответил Игорь.

Это действительно ничего не меняло.

На следующий день утром шел дождь. Это хорошо. Под дождем не сильно повоюешь. Самолеты не летают, артиллерия не работает, а если и начинает бить, то попадает куда зря.

У меня даже опять было время поспать.

А в полдень ударили минометы. Говорят, что немецкие шестиствольные минометы слабее наших «катюш». Не знаю. Не с чем сравнивать. Когда твои позиции накрывает это… Ты начинаешь молиться.

Каждый залп говорит: «Ну все. Это по твою душу. Вот теперь тебе точно гаплык». И если вдруг ничего не кончится, ты ждешь следующего залпа.

Нас обстреливали час. Потом выползли танки.

Я послал ординарца по окопам выяснять количество потерь. Меня нашел Игорь:

— Ну все, Леша. Нам кранты. Это «тигры».

Это не было паникой или страхом. Объективно. Если четверку еще можно подбить средствами моей роты, то «тигр» слишком мощный. Вернулся ординарец и порадовал: в строю сорок пять человек и пять тяжелораненых. Это было лучше, чем я мог надеяться.

И еще радовало то, что немец нас уважал. «Тигры» еле ползли, останавливаясь каждые десять метров для прицельного выстрела. Когда до наших позиций осталось метров триста, я отослал ординарца с последним приказом, а сам пошел к Игорю.

Глеба убило прямым попаданием танкового снаряда. Второй боец из будущего был жив. Я достал ракетницу и выстрелил красной ракетой, после чего сообщил:

— Ну что, Игорь, бежим. Не отставай.

Для верности пустил еще одну красную ракету и побежал назад, в тыл.

Вообще-то, это было прямым нарушением приказа, но еще месяц назад я наметил запасные позиции роты. Все-таки за моей спиной уже был Харьков. Три километра назад до следующей высоты. Там еще были шикарный лесок и балка.

Уже на бегу заметил в воздухе еще одну красную ракету. Кажется, это была пятая рота.

Полчаса. Я бежал так, что дух захватывало, и вместе со мной бежали мои люди. Но мы успели до того, как немец занял наши брошенные окопы. На новом месте мои люди тут же начали окапываться. У меня осталось два пулемета и три расчета пэтээрщиков.

Немецкие танки, сообразив, что нас нет на прежней высоте, бросились в погоню. Это было правильно. Ворваться на плечах отступающего врага как можно глубже в тыл — это азы военного искусства.

Восемь танков даже без пехоты должны были смешать всех моих бойцов с землей. Когда они катились на нас неудержимой волной, казалось, что все.

Мои бойцы вгрызались в землю, не обращая внимания на фашиста.

Игорь со своим оставшимся парнем просто приготовились умирать. Пришлось провести профилактическую беседу. Я подошел к небольшой воронке, в которой они залегли, и кинул им саперную лопатку:

— Окапываемся, салаги! Немец ждать не будет.

Игорь смотрел на меня как на психа:

— Нам же хана! Десять минут, может, пятнадцать. Это «тигры».

— Какие «тигры»? — притворно удивился я.

Высунул голову из воронки, заставив Игоря последовать своему примеру. В этот момент лес слева и справа от нас взорвался огнем. Немецкие танки накрыла волна взрывов.

Это был классический огненный мешок. Танковая бригада, раздавившая позавчера свою же пехоту, окопалась сразу за нами. Я не знал где именно, но я стоял здесь несколько месяцев и знал, где должны окопаться танки. На это и был расчет.

Два «тигра» все-таки уползли из ловушки. Но больше до самого вечера нас не беспокоили. Я отправил рапорт в штаб полка, сообщил численность своей роты и новое место дислокации. В строю у меня осталось тридцать шесть бойцов.

Игорь еще приставал с дурацкими вопросами, не расстреляют ли меня. Я не понимал, за что. Мои бойцы выполнили задачу. Я отошел в боевом порядке на новую позицию. Ну, наорет на меня комбат, если жив еще. Это война. Тут, если тебя не убили сразу, начинаешь понимать, как устроена жизнь.

В общем, сутки нас не трогали. Утром двенадцатого числа через наши позиции проехали танки и прошли десантники. Грохот стоял весь день.

Кто-то даже вернулся и смог окопаться.

Ночью Игорь со своим бойцом уполз в сторону врага.

Нас больше не дергали свои. Мы держали оборону на новом рубеже неделю. Отражали в день одну-две атаки — немецкие танки в количестве пяти-шести штук в сопровождении пехоты выползали с наших прежних окопов метров на триста. Мы открывали огонь. Немцы уползали обратно.

Сил на полноценную атаку ни у нас, ни у них не было.

А через неделю мне было приказано атаковать, и я без боя занял свои бывшие окопы.

Мы перешли в наступление на Белгород и Харьков.

Что стало с Игорем, я не знаю. Надеюсь, он убил всех тех, для кого война — это развлечение. Тело Глеба мои бойцы так и не нашли.

Говорят, двенадцатое июня — это крупнейшее танковое сражение в истории, произошедшее под Прохоровкой. Не знаю. Я сидел под Прохоровкой в окопе. Сначала у совхоза Комсомолец, а потом ближе к станции. И я рассказал по дням, как все происходило.

Я, командир четвертой роты первого батальона

двести восемьдесят пятого полка сто восемьдесят третьей дивизии. Ну, а соврал я или сказал правду — решать вам.

Эпилог

Звонок в дверь двухкомнатной хрущевки раздался неожиданно. Внук хозяина квартиры неохотно встретил гостей. На пороге стояли двое крепко сложенных мужчин.

— Игорь Соложенкин? — спросил один

— Вы из военкомата? — поинтересовался молодой человек.

— Почти. У нас к вам предложение.

— Проходите на кухню, — предложил парень гостям.

— Игорь, кто там? — раздался из глубины квартиры голос деда.

— Это ко мне.

Все трое прошли на кухню. Игорь сел на стул:

— Я вас слушаю.

Гости, не спрашивая разрешения, тоже уселись на стулья. Свободного места в крохотной кухоньке практически не осталось.

— Через месяц вы пойдете в армию. Вас направят в Майкопскую моторизованную бригаду, — начал один из гостей.

— Круто! — восхитился Игорь. — Вы хотите, чтобы я откупился? Продал, там, квартиру или почку?

— Спасибо, не надо, — слабо улыбнулся гость. — У меня к вам встречное предложение. Вместо вас служить отправится другой человек. А вы за это получите пять тысяч долларов и чистый воинский билет.

Это предложение было настолько щедрым, что у молодого человека на секунду перехватило дыхание. Но он все же сумел прийти в себя:

— За что мне эта честь?

— Вам повезло, — пожал плечами гость. — Вот человек, который вас заменит.

Второй гость чем-то напоминал Игоря. Сходство было не полное, но способное обмануть посторонних людей. Игорь попытался понять, что из себя представляет его замена. Обычный парень, без понтов, без робости, добродушный и приветливый. Он молчал, но, казалось, сейчас весь растянется во внушающей доверие улыбке.

Внезапно за спиной гостей возник дед.

— Игорь, это ты?

— Да я, дед, кто же еще! — раздраженно ответил молодой человек.

Гость обернулся, прищурился, анализируя что-

то, и ответил:

— Привет, Леша. Давно не виделись.

Последние пару лет дед ходил с палкой из-за негнущихся суставов. И вот теперь он сжал ее, то ли опираясь, то ли намереваясь ударить гостя.

— Зачем ты здесь?

— Хочу спасти твоего внука. Нельзя? — с вызовом ответил гость.

— Да ладно? — с восхищенным удивлением встрял в разговор молодой человек. — Тот самый Игорь из сорок третьего?

— Значит, опять война? — дед привалился к стене в поисках дополнительной опоры.

— Только я теперь сам по себе, Леша. Меня уволили за Прохоровку. А я-то думал, что это тебя расстрелять должны!

Дед пришел в себя, зашел на кухню, налил воды из чайника и запил ею таблетку валидола. Казалось, он мучительно что-то для себя решает.

— Когда это будет? — спросил он гостя наконец.

— Под Новый год, — ответил тот.

— Ты все знаешь, Игорь. Тебе решать.

Дед посмотрел на своего внука. Это был простой выбор. С одной стороны, крупная сумма денег и чистый военный билет, новая жизнь. С другой…

Майкопская мотострелковая бригада.

Молодой человек действительно все понял. Казалось, в эти секунды он стал старше на много лет.

— Это наша война.

Из глаз деда покатились крупные слезы.

Дальний прицел



Евгений Шиков. *ВСЕ ОБРЫДАЮТСЯ*

1

— Затем еще из Сафоново распоряжение пришло, что, мол, отцу за службу… Мы тогда поехали за ним туда, а там говорят: мы его отдали. И то, значит, не вернули, и это кому-то другому выдали. Мы писать сразу… Ну, не сразу, послезавтра, как приехали, — я прямо на этом столе вот и написал. Почта не работала на выходных, она должна была, да Наталья слегла, это которая почтальон…

— Он вас четыре месяца ждет, — подала голос хозяйка.

Старик только отмахнулся от ее слов, придвинул к себе вазу с сушками и «Москвичкой», зацепил одну конфету серо-желтыми пальцами, покрутил и бросил обратно в вазу.

— Мне-то не сама медалька, мне чтобы отцу написали, что было у него. А то каждый год там имена повторяют, ну, у вечного огня-то… А отца не говорят. Да и на памятнике не обозначен… Обидно.

Сергей, стараясь дышать глубоко и медленно,

делал подсъем. Начал с крупняков рук. У стариков всегда хорошо было подснять руки: даже когда их лица были уже совсем безжизненными и больными, в их руках каким-то чудом сохранялись и жизнь, и характер. Затем Сергей подснял глаза: попросил старика посмотреть в камеру, а потом — на Белова, сидящего напротив и постоянно заглядывающего в телефон. Поймал хороший кадр в гуще чая — там на секунду отразилось лицо старика, задумчивое и печальное. Хотел подснять интерьер, и тут Белов дернул его за штанину и знаками показал на дверь — мол, нужно переговорить. Вид у него был взбудораженный.

— Мы покурить, — сказал Сергей. — Ненадолго.

— Идите, — старик кивнул, кажется, даже с облегчением. — Мне уже нельзя, я уже четырнадцать лет не курю.

— Пойдем. — Белов схватил его за руку, вывел на улицу и, притворив за собой дверь, вновь уставился в телефон. — Черт. Сколько тебе все собирать?

— Все собирать? — Сергей достал сигарету из заднего кармана, задумался. — Если один, то за сорок минут. Но мы еще натуру не подсняли и интерьер…

— Двадцать минут давай, хорошо? К черту их уже. Если что, из базы каких-нибудь натур надергаем: и всяких занавесочек, и скатертей — у стариков они все равно одинаковые. В Москву едем, понял? — он зашагал к машине. — И бросай курить, и так зубы все желтые, как у животного.

Сергей посмотрел ему вслед, затем потрогал пальцем передние зубы, поскреб их и, пожав плечами, не спеша докурил сигарету. Зашел обратно в дом, наклонился и выдернул удлинитель. Светодиоды погасли, старики обернулись на него.

— Поедем натуру искать, пока светло еще, — Сергей стал сматывать провода.

— Он вас так ждал, — благодарно сказала хозяйка. — Четыре месяца ждет.

— Вот, значит, и дождался, — Сергей привычно распахнул сумки, быстрым взглядом оценил время сборки. Может, и в пятнадцать минут уложится.

Уже залезший в машину Белов требовательно нажал на клаксон.

2

Светка была невыспавшаяся и недовольная. Как только залезла в машину, сразу же стала допытываться, куда подорвался Белов, но тот за-

гадочно молчал. Сергей не спеша вел машину, на уговоры и угрозы Белова ехать побыстрее никак не реагировал: уже стемнело, и на дорогах было полно пузатых светящихся фур.

— Я вам всю ночь готовлю план съемок, выбиваю бюджет, звуковика даже нашла, а они меня утром…

— Шесть вечера было, — сказал Белов.

— Они меня будят невыспавшуюся, с ходу засовывают в машину и даже не говорят ничего. Это как, в порядке вещей? Серег, ты с ним вообще давно работаешь?

— Порядочно.

— И что, он всегда такой?

— Ага, — Сергей посмотрел на Белова. — В голову как ударит моча, так и несется куда-то.

— А ты и терпишь, — Светка засунула голову между сидений. — Катаешь его куда скажет, да?

— А мне-то что? Монтировать не я буду, сдавать материал тоже не мне. Мне бы только понять, куда мы едем и что из техники брать.

— На улицу Полагушина, — сказал Белов. — Дом сорок один, там какая-то больница, кажется, — он наконец оторвался от экрана и торжественно показал им значок на карте в форме то ли копья, то ли булавки. — Вот что значит связи! Первыми

будем!

— Первыми где? — Светка устало откинулась на сидение. — Что снимать-то будем, дай хоть материала нарыть.

— А я уже нарыл, — Белов повернулся к Сергею. — Помнишь, больше года назад мы хотели к 22 июня репортаж двинуть на «Звезду»?

Сергей на секунду помрачнел, затем кивнул.

— Ну, помню. Что, уже?

— Почти! — Белов повернулся к Светке. — Короче, мы искали какого-нибудь офицера, чтобы повыше был, и вдруг поняли, что выше капитана уже нет. Что майоров, полковников уже…

— В смысле? Которые участники парада?

— Не участники парада, а вообще — никого. Что нет ни одного майора, который прошел бы Вторую мировую, представляешь? Которого бы успели и мобилизовать, и демобилизовать, обязательное условие. Ну, мы тогда и стали искать, а сколько вообще осталось. Оказалось, в итоге четырнадцать офицеров и двадцать четыре солдата по документам. Мы стали глубже рыть, а они почти все уже и умерли, просто числятся по базам разным. Вообще осталось всего семеро подтвержденных. Материал завернули, конечно, но я на отслежку поставил, и сегодня пришло

сразу по двум подтверждение, что в прошлом месяце их схоронили, а в итоге… — он опять поднял телефон, на экране которого горела метка-булавка, — …сегодня вот сюда доставили Никольцева Павла. А между тем Чуев Григорий здесь уже три месяца.

— Это кто?

— Последние ветераны, — Белов повернулся и посмотрел на освещенную фарами дорогу. — И то, что их положили в один госпиталь, означает, что эту информацию можно считать официально подтвержденной.

Света некоторое время смотрела в окно на мелькающие во тьме деревья, затем вздохнула и достала ноутбук:

— Придется в очередь выстраиваться, значит, надо все заявки и письма сразу подготовить, а то, как только первое письмо куда-то уйдет, вообще все об этом узнают.

— Ничего, — сказал Белов. — У нас есть адрес отеля, в который заселили родственников Никольцева. Так что сейчас, пока ночь, к ним и заедем.

— Так они спят, — сказал Сергей. — Наверное, подумают, что-то с дедом или там прадедом случилось. Испугаются еще.

— Вот и отлично, — Белов улыбнулся, и в лобовом стекле отразились его белоснежные зубы. — Чем больше эмоций, тем лучше. Все обрыдаются, я вам точно говорю.

3

Сергей чувствовал себя неуютно. Семья Никольцева и сама оказалась весьма пожилой. Испугавшись, они стали давать интервью прямо в гостиничных халатах, но Белов мгновенно взял ситуацию в свои руки: вывел их в коридор к лифтам и велел надеть поверх халатов куртки. Таким образом из разморенных сном в теплом номере людей они превратились практически в беженцев, живущих черт знает где.

Интервью они давали охотно, но неумело, и Белов, почувствовав кадры, взялся за них по полной. Никольцевы, не подозревая, что к ним вскоре приедут все, у кого есть хотя бы канал на ютубе, рассказали, что дед воевал, что у него грыжа уже много лет, что ранен не был, но в конце войны был сильный недовес, из-за чего несколько месяцев он провел в больнице. Что после войны двенадцать лет работал учителем в профучилище, затем с семьей переехал под Рязань, где ему дали дом, и как раз из этого дома

его сегодня и забрали в районную больницу, а затем — в Москву, в спешке и с семьей. Почему — не знают.

— Он обычный человек, никогда положения особого не просил, — сказала женщина — то ли внучка, то ли невестка Никольцева. Стоящий рядом с ней Белов взглядом показал, что если Сергей упустил этот кадр, то неважно, что там еще он успел сегодня наснимать. Сергей еле заметно кивнул, успокоив его. Такие кадры он никогда не упускал.

Подсняли и то, как Никольцевы перебирают фотографии. На фотографиях самого ветерана не было, но это и не важно — Сергей снимал просто руки и лица. Затем репортеры попрощались, Белов записал телефоны родственников, и они с аппаратурой спустились вниз к Светке, которая все это время сидела в припаркованной машине.

— Ну как? — спросила она, не отрываясь от ноутбука.

— Все обрыдаются, — Белов запрыгнул на переднее сидение. — У тебя как?

— Квадрик намыла, пока вы ходили, — сказала она. — Человек может его подвезти через пару часов на Полагушина, час еще на сборку и настройку.

— Черт, а вдруг они на первом этаже лежат? Тогда квадрик просто проваляется…

— Ну, госпиталь тогда снимем…

— А это госпиталь?

— Да, какой-то сердечно-сосудистый. Я тебе в личку скинула двух людей через контакт — они ответили. Какая-то сестра и охранник. Готовы поработать.

— Вижу, — Белов уже был весь в телефоне. — Охранник говорит, оба лежат в одной палате, один плохой совсем, но оба пока ходячие. Плохо будет, если на кадре они в коляске, или наоборот?

— Ты там спец по тому, кто от чего обрыдается, — Светка, не глядя, слегка опустила стекло и засунула в зубы сигарету. — Я тут пытаюсь у Чуева родственников найти, но, по ходу, никого не осталось. Никольцевы вялые?

— Да так, — Белов пожал одним плечом. — На крайняк сойдут. Баба плакать готова постоянно, так что хорошо получится в любом случае.

Сергей вел машину и чувствовал себя лишним. Он подумал, что, если они и дальше продолжат снимать такое количество материала, предыдущих стариков придется куда-то скидывать, а то и удалять. Второй жесткий был на пределе, да и

третьего ненадолго хватит.

— Аня на линии. Что-то знает, но немного, — Светка выкинула сигарету и закрыла окно. — Слать ее?

— Шли. Хотя нет. Если найдет нам разрешение и пустит вперед — можем поделиться.

— Понятно, — Светка склонилась над ноутбуком, затем хмыкнула. — Не хочет.

— Сука, — сказал Белов. — Ну и пусть остается с хером.

Сергей посмотрел на навигатор. Тот сообщал, что на Полагушина они прибудут минут через сорок.

4

— Последние из живых. Лучшие из нас. Сейчас ожидают вердикта, и весь мир, каждый житель планеты, в чьем сердце теплится еще благодарность и живет память…

Сергей сделал несколько плавных съемок, затем — на всякий случай один дальняк с Беловым, стоящим у госпиталя. Через несколько часов здесь будет не протолкнуться от прессы, но у них одних останутся кадры, на которых госпиталь выглядит заброшенным и никому не нужным.

Светка, разослав свои весточки, уже полтора

часа сидела на телефоне и с кем-то ругалась. Пока что они смогли отработать только охранника, оказавшегося придурком, мямлящим что-то про времена, когда он сам где-то там служил. Немного еще главврача, который подъехал на рассвете и сказал, что ни один пациент журналистов не примет, пока не позавтракает и не проведет осмотр.

Где-то на периферии мелькала Аня Звягинцева, уже почти подобравшаяся к ним вплотную. Она была знаменита тем, что выбивала разрешения на съемку каким-то своим, безотказным методом, поэтому счет теперь шел уже на минуты.

— Есть! — закричала Светка, и Белов, замолкнув на полуслове, кинулся к ней. Сергей отключил камеру, привычно отметив заряд батареи и заполненность карты. Все трое двинулись на проходную. Там Светка набрала кого-то, протянула трубку покорному охраннику — и через минуту они оказались на территории.

— Корпус, какой корпус? — Белов подбежал к плану госпиталя на сером заборе, ткнул пальцем. — Здесь столовая, здесь два корпуса. Сами они в столовую не пойдут, так?

— Палите сестер в чистом и наглаженном, — сказала Светка. — Завтрак понесут несколько, причем нашим в первую очередь.

— А сколько вообще пациентов? — Белов осмотрелся. — Было бы круто, если только они вдвоем.

— Ребят, — Сергей махнул рукой в сторону одного из корпусов, из которого вышли двое работников столовой, все в белом, толкающие перед собой пустую тележку. — Не они ли?

— Черт его знает, — Белов взглянул вверх, на окна четвертого этажа. — Как там квадрик?

— В пути, — Светка уже шагала ко входу. — Держитесь за мной. Серега, камеру пока не свети.

На входе их остановила дежурная сестра, говорить с ними наотрез отказалась.

— Через Сидоренко, — повторяла она. — Только через него, еще часа посещений не будет.

— А расскажите нам, что они кушали? Людям крайне важно узнать мнение главной сестры, — Белов включил свое обаяние, даже несколько раз громко восхитился чистотой корпуса, но все без толку.

— Через Сидоренко, — твердила гусыня в белом.

Они вышли и закурили. Белов курить не стал, а только ходил рядом со входом, спрятав ладони под мышками. Он чувствовал, как уходит время.

— И что теперь? — спросил Сергей у Светки. Та кивнула на свой телефон.

— Ждем крота, — она ткнула пальцем куда-то в сторону. — Там есть подъезд для каталок, нам туда.

Белов бросился впереди остальных и первый с улыбкой встретил молодую чернявую сестру, держащую рукой приоткрытую стеклянную дверь и поминутно бросающую взгляды в коридор позади себя. Договорившись об оплате, они вошли в корпус.

Сергей включил камеру.

5

— …и до самого, значит, конца. А в конце уже, в апреле, я застрял под Кубинкой. Майор на меня орет, говорит: восемь машин снабжения — и восемь застряли? А я что поделаю: там грязи было — ни в жизнь не видел столько. Хорошо еще, в деревню Рязанцев сбегал, там двух лошадей выписал. Вот что значит — лошадь, нет-нет, да лучше любого автомобиля окажется. Мы, значит, их запрягли…

Белов был на седьмом небе. Никольцев оказался добродушным, чуть полноватым стариком, напрочь лысым и с седой щетиной, покрывающей дряблую шею. Он много и охотно разговаривал, отвечал на все вопросы, подтрунивал над сестра-

ми и вообще был похож на очень-очень старого Юрия Никулина. Сергей отснял второй жесткий, вставил третий, почти отснял и его.

Чуев оказался совершенно другого сорта. Сухой, сморщенный, много кашляющий, он сразу же стал тихо и злобно на них скрипеть. От интервью отказывался, говорить о прошлом не хотел.

— Знаю я вашу херню, — он ткнул пальцем в Сергея. — Я еще вчера узнал. Ждете, кто из нас первым сдохнет.

— Григорий, вы первый день, а уже бурчите, — Никольцев погрозил ему пальцем. — Ребята репортаж о нас делают, хотят рассказать, каково было…

— Хер там! — Чуев посмотрел на Белова, задвигал беззвучно губами. — Не тут-то было. Я умру, а тебя по шоу таскать будут — вот чего. Только я тебя переживу, слышишь? Точно переживу. И на шоу их не поеду, мне уже сестра одна, коза, предлагала ордена напялить для камеры за восемь тыщ. Говорит, звездой буду, что все у меня подписи просить будут. Сука.

— Дура, — еле слышно прошептала Светка и стала громко разговаривать с Никольцевым, отвлекая его. Никольцев, было нахмурившийся от слов Чуева, вновь ожил и заговорил о прошлом.

Сергей пальцем нажал кнопку записи и сделал крупный план.

6

У ворот их встретила Аня, вытаращилась на них, а потом потребовала предъявить разрешение, будто бы имела на это какое-то право. Белов ее послал.

— Слышишь, Сергей? — закричала Аня им в спины. — Если принесешь мне то, что у тебя на жестких, возьму на постоянку и премию начислю! А ты, Белов, — все же знают, что ты никакой не Белов! Бельчиков ты, слышишь? Зачем фамилию поменял, Бельчиков, тебя же в военкомате потеряли!

Белов резко обернулся и раскатисто, протяжно выматерился, вызвав Анин смех.

— Бельчиков ты, и все! А ты, Сережа, звони мне!

Они залезли в машину, и Сергей включил радио.

— Пока ничего, — сказал он через некоторое время. — До радио еще не добралось. Что дальше?

— Отдай мне все жесткие, — сказал Белов, уткнувшись в телефон. Голос у него был злой.

Сергей взглянул на него, поморщился и стал расстегивать сумку.

7

Их репортаж вышел еще до обеда, когда к госпиталю подъезжала всего третья машина, зато потом репортеры повалили гурьбой. Охранник, напыщенный и важный, ходил здесь же и зачем-то записывал на бумажку номера всех автомобилей, охотно давая интервью вновь прибывшим. Каждый час выходил главврач и давал краткий отчет. Все хорошо. Пациенты чувствуют себя нормально. Интервью давать больше не хотят.

Белов ликовал. Он почти не вылезал из машины, обрастая пустыми пакетами из «Деливири клаб» и недопитыми бутылками «Аква Минерале», и вел краткие, простые беседы по телефону, состоящие в основном из цифр, произнесенных не терпящим возражений тоном.

А потом Светка, вздохнув, протянула им на передние сиденья ноутбук, и Белов, покосившись на экран, изменился в лице.

— Чуев или Никольцев? — спросил он. — Хоть бы Чуев, черт побери. Плохо будет, если Никольцев.

Но это оказался Никольцев.

8

Светка внезапно сдала. Она немного поплакала, а затем ходила потерянная рядом с машиной и все пыталась узнать у той самой чернявой медсестры, от чего именно Никольцев умер и не было ли это результатом стресса, как она это сама называла. «Результатов стресса» она боялась жутко и уже готова была даже куда-то бежать и перед кем-то извиняться, поэтому, когда прессу пригласили внутрь, Белов нехотя оставил ее у машины, взяв с собой только Сергея.

Все уже знали, где живет последний ветеран, и располагались так, чтобы за диктором было видно если и не его окно, то хотя бы корпус. Белов, толкаясь и огрызаясь на конкурентов, занял лучшее место: его все теперь узнавали и прекрасно понимали, что, если их канал вдруг затребует материал с умершим уже Никольцевым, обращаться придется именно к Белову. Поэтому, хоть и с тихим матом, ему уступили лучшее место.

Сергей проверил звук, быстро выставил iso, прикрыл диафрагму. Сейчас на «тушке» стоял полтинник, карманы оператора оттягивали ширик и портретник — Сергей за время работы

научился менять объективы практически вслепую. Человек с квадрокоптером так и пропал где-то на подъездах — говорят, его перекупили журналисты с Первого, но это было уже неважно. Вокруг все вразнобой начинали говорить вводные и вступительные, на первых порах практически повторяя друг друга. Пространство вокруг заполнилось патриотичными, пламенными восклицаниями и гордой, но показательно смиренной грустью.

Позади Белова, у входа в лечебный корпус медсестра подбежала к главврачу и что-то сказала ему на ухо, почти выкрикнула. Тот оторвался от бумаг и, даже не посмотрев на медсестру и ничего не переспросив, бросился к дверям. Медсестра потерянно огляделась, заметила камеры и, обхватив себя руками, кинулась за главврачом.

Белов заметил напряжение Сергея, обернулся и посмотрел на бегущего врача, на медсестру, мигом уловил ситуацию и, не прекращая говорить, изменил тон. Теперь он произносил слова слегка трагично, качая головой и поглядывая через плечо.

Кто-то вскрикнул, тонко и коротко, и Сергей поднял взгляд. Он абсолютно точно знал уже, куда ему смотреть и что он там увидит, знал это

еще до крика, еще до встревоженной медсестры. Он инстинктивно знал, что увидит, кажется, еще с того момента, как Белов заговорил о 22 июня, знал по блеску в его глазах, по низким облакам над серой дорогой, по узорам прилипшей грязи на крышке объектива, по дорожным знакам, переворачивающимся в отражении лобового стекла.

Знал, что все будет плохо.

На подоконнике четвертого этажа в напяленном поверх больничной рубахи парадном кителе стоял Чуев. Он попытался удержать фуражку, но ветер содрал ее с головы, и та канула вниз, царапая черным козырьком деревья. Чуев что-то закричал еле слышно, ткнул пальцем в толпу журналистов, будто обличая их, а затем развернулся в сторону палаты и выкрикнул несколько слов туда. Серое небо над его головой сливалось с его старым потускневшим лицом, и лишь белки глаз иногда сверкали вниз и в стороны, будто пытаясь вырваться из серости, в которой полностью погрязли. Снизу никто не произнес ни слова, они все превратились в слух, будто старик читал им нагорную проповедь, а они, как послушные ученики, ловили каждое его слово, хотя на самом деле разобрать могли лишь отдельные звуки. А затем как по команде все операторы

подняли вверх камеры, задвигали объективами, ловя фокус и приближая картинку, и явственно стало слышно их глубокое, осторожное дыхание, сливающееся с ветром над их головами.

— Снимай! Ты снимаешь? — Белов в восторге смотрел на старика, лицо репортера стало одновременно голодным и возвышенным, руки он вытянул слегка вперед, будто благословляя Чуева на то, что тот задумал. — Снимай, Серега! Все обрыдаются!

Сергей опустил камеру и отвернулся, увидел стоящих позади операторов и журналистов, которые все глядели в одну точку с тем же жадно-возвышенным выражением. Он посмотрел в одну камеру, затем в другую, подумав, что, наверное, его затылок попадает сейчас во все кадры и что он беспощадно портит людям картинку.

Потом они все выдохнули.

Камеры и головы синхронно качнулись вниз и там замерли, а Сергей услышал треск веток, еще недавно царапавших фуражку Чуева, и негромкий, глухой удар о землю.

Сергей подкурил сигарету.

— Ты снял? — Белов, не поворачиваясь, смотрел вниз, ниже окон первого этажа. — Ты снял это все? Скажи мне, что ты все это заснял!

Он все-таки обернулся к Сергею, и лицо его дернулось, как от удара, когда он увидел опущенную, неживую камеру.

— Ты сейчас обрыдаешься, — медленно произнес Сергей и наконец улыбнулся в лицо Белова, показав ему свои крепкие желтые зубы.

Владимир Васильев. *ОККУПАНТЫ*

Был такой анекдот еще в дооккупационное время: чтобы навести порядок в России есть два пути — фантастический и реалистический. Фантастический: россияне сами наведут порядок. И реалистический: прилетят инопланетяне и наведут порядок. Инопланетяне прилетели. И порядок навели — по своему разумению, конечно же, эдакий новый порядок–2.

«Интересно, — подумал Русик, переворачиваясь с правого бока на левый, — на Земле остался хоть один человек, кто помнит новый порядок третьего рейха на оккупированных территориях? Не исключено. И вероятность того, что этот человек не славянин, а немец, гораздо выше».

В рассуждениях Русика имелась железная логика: до оккупации Европа жила куда лучше России, Украины и Белоруссии, что вместе их рассматривай, что по отдельности. Зато теперь воздалось по полной: приспособиться к новому порядку изнеженные европейцы предсказуемо не сумели, в то время как привыкший к перманентному многовековому гнету славянин заученно и умело вильнул хвостом, повернул нос по ветру и

принялся небезуспешно выживать в очередных новых условиях, когда жизнь в который раз за последние полтораста лет встала с ног на голову.

Впрочем, если уж говорить начистоту, Русик и его боевые товарищи ходили по самому краю. Партизанить — это вам не на заводе болванки с места на место перекатывать. Партизанить всегда опасно: и чужие норовят тебя со света сжить, и свои могут шлепнуть под горячую руку.

Русик попытался было помассировать затекший бок, но лежащий чуть позади Жвал тут же пнул его чем-то в пятку:

— Тихо, мать твою!

Русик обиженно затих: шепот Жвала вообще-то был громче, чем шум, производимый курткой Русика при попытке самомассажа. А бок онемел не на шутку, лежали почти без движения третий час. Спасибо, что хоть размышлять не запретишь…

«В общем, — думал Русик, — досталось европейцам. Работать они отвыкли, им бы только в евроассамблеях позаседать да после заседаний в пабе наклюкаться. А как ассамблеи прикрыли, выяснилось, что Джоны Були, Жаки Шираки и Гансы Майеры на заводах уже ни на что не годны. Ну и турнули их всех в резервации, кажется, в

Сахару, как бесполезный балласт.

Знающие люди говорят, что белых людей в Европе катастрофически поубавилось, сплошь арабы да негры, которые, как и славяне, из-под палки работать еще не разучились. Правда, и бузить им не позволяют — партизан, как опять же утверждают знающие люди, в Европе нет. Иное дело брянские леса или гомельские болота…»

Как обстоят дела на американских континентах, в бывшей России, толком не знали. Зато прекрасно знали, что в Китае и вообще в Азии, если позволить себе некоторое легкомысленное преувеличение, никто вообще ничего не заметил: как пахали тамошние с утра до ночи, так и пашут. Просто хозяева сменились.

«Но, — в который раз подумал Русик. — Но, но, но, очередное но! Не назовешь ведь труд на заводах инопланетян каторжным! Смена пока восьмичасовая, но, говорят, вот-вот на два часа уменьшат. Просто удивительно, что нашлись люди, которым такая работа показалась непосильной».

Да и вообще оккупация получилась странная — в пользу бедных. Как-то враз вдруг решился первый принципиально нерешаемый на Руси вопрос — жилищный. Вроде и домов стало нена-

много больше, но вот поди ж ты…

Сам Русик сгоряча застолбил было себе шестикомнатную в новостройке на восьмом этаже с видом на парк, нечувствительно возросший на месте бывшей свалки. Но когда огреб от патруля за бардак и пыль в комнатах, быстренько переехал в просторную двушку и заказал аж четырех роботов-уборщиков. Уборщики были бесплатные, хоть сотню заказывай, но за каждым из них требовался уход — опорожнять пылесборники в зев реактора и иногда протирать линзы оптических энергоприемников специальной пастой. Четырех роботов хватало с головой для поддержания должного порядка и чистоты в доме, и в то же время за таким количеством уборщиков оказалось достаточно ненапряжно следить. Уже следующий патруль выписал Русику поощрение в виде дополнительного выходного. Сегодня Русик тоже был выходной по той же причине — по итогам проверки.

Второй принципиально нерешаемый вопрос на Руси — дороги — инопланетяне решили очень по-своему: запретили автотранспорт как данность, а все без исключения автомобили, автобусы и прочую четырехколесную машинерию изничтожили в своих реакторах, охотно жрущих

любое вещество. Асфальт залили какой-то вязкой дрянью, которая разрослась, расползлась по всем улицам, покрыла все бывшие автодороги и в конечном счете затвердела, только ездить по этой красоте стало некому. В качестве общественного транспорта по городам и между городами круглосуточно шныряли магнитопланы, и добраться откуда угодно куда угодно вообще перестало быть проблемой. Вот только ездить куда-нибудь, кроме работы, стало решительно незачем.

Русик вообще не очень понимал инопланетян. Цели их и задачи на Земле были туманными, во всяком случае, неочевидными. Никаких переговоров ни с какими правительствами они даже не пробовали вести, попытки оборонительных действий пресекли решительно и жестко. У Земли не осталось вооруженных сил: все, что можно было счесть вооруженными силами, было уничтожено в первые же трое суток нашествия. Безо всякого видимого сожаления, старательно и методично. Поэтому наличию партизан впору было удивляться: если чужие без труда отыскали и передавили войска, оружие и технику, почему не могут переловить немногочисленных партизан? Именно в силу немногочисленности? Но почему тогда не осталось мелких недобитых

групп из настоящих вояк? Или они остались, просто в городах о них ничего не знают? Тот еще вопросик…

Бок, кажется, снова обрел чувствительность. Русик осторожно перевернулся животом вниз и насколько мог задрал голову, чтобы не лежать лицом в землю, пусть и застеленную лавсанолом. Он напряженно вслушивался в загородную тишину, тщась первым услышать приближающийся шелест рейсового магнитоплана, который они с товарищами вознамерились подорвать к чертям собачьим. Но было тихо, только ветер шелестел в кронах деревьев, под которыми залегли партизаны, да какая-то птица противно орала в вышине, незаметная снизу и недостижимая.

Вообще размышления в отряде не одобрялись. И лично Жвалом, и невидимым куратором. Считалось, что умные нам не надобны, надобны исполнительные. Но Русик не мог не размышлять о странностях мира, в котором жил, он вообще не терпел праздности ума, а занять мозги при новом порядке было, увы, особо нечем. Нет, можно было, конечно, поглядеть телик или сходить в кино, но на фоне того, что сейчас оккупационные власти крутили местному населению, отъявленный старый голливудский трэш класса D выглядел

запредельно интеллектуальным.

Один плюс — с экранов напрочь исчезла реклама, но это было как раз понятно: какой смысл рекламировать то, что все равно раздается бесплатно? Вот такой коммунизм–2: все есть, почти все бесплатно, но при этом заставляют ходить на работу, и не дай боже прогулять или хотя бы опоздать. Вздрючат не по-детски, в том числе физически. Явятся два амбала из службы общественного порядка, привинтят к креслу, налепят на виски мнемодатчики, и начнется… Испанский сапог и иглы под ногти раем покажутся. Нет уж, лучше не опаздывать и тем паче не прогуливать.

При этом Русик давно уже осознал, что большинство землян, если взглянуть трезво, не работает, а именно что ходит на работу. Почувствуйте разницу… Вот Русик, к примеру, перетаскивал болванки из сборочного цеха в накопитель, от одного транспортера к другому. Что это были за болванки и что мешало устроить еще один транспортер или, на худой конец, перекомпоновать первые два — бог весть. И как эти чертовы европейцы, никак не идущие из головы, умудрились не справиться с подобной ерундой? Может, врут знающие люди и все в Европе совсем не так? Может, пропаганда инопланетная? Но вроде бы

чужие к народонастроениям относились достаточно наплевательски: в нерабочее время болтай что хочешь, судачь о чем заблагорассудится, за разговоры никто не наказывал — только за неугодные новым властям действия. А может, чужие и не прислушиваются к разговорам именно потому, что пропаганда работает как надо — просто незаметно? Через фильмы и передачи? Через их туповатый контент? Двадцать пятым кадром?

Русик шмыгнул носом, за что схлопотал очередной пинок в пятку от Жвала. Достал конспиратор хренов — ну, кто их тут услышит?

Второй глубокий вдох Русик постарался сделать бесшумно и в принципе преуспел, во всяком случае Жвал больше не пинался. Воздух был свежий и пахучий, аж пьянил. И откуда что взялось — до оккупации тут воняло в основном разной пакостью со свалки, да и соседний мусоросжигательный завод тоже атмосферу ни разу не озонировал. А уж насрано было, как в городском парке, просто под каждым кустом, по темноте пойдешь — сто процентов вляпаешься. Теперь же и тут, за городом, и в парке приснопамятном — природа и благодать: птички поют, белки скачут, в каждой луже гуси какие-то бултыхаются, причем дикие. Русик сам видел как-то раз:

снялись из лужи и улетели. В парке вдобавок фонари кругом, даже если под кустом нагадить — не подорвешься, все видно. Только больше не гадит никто, чужие за это дрючат. И чисто-чисто стало кругом: ни стекла битого, ни пакетов, ни шелухи от семечек, хотя жрут их если не все, то через одного уж точно.

Давно уже Русик задумывался, что перемены при новом порядке… ну, скажем так, необычные. Оккупация оккупацией, свободы попраны и все такое — это все понятно. Но почему порядка стало больше, не из-за названия же?

Потому и вспоминал Русик старый анекдот. А уж извечный российский бардак и бедлам любой при них поживший совершенно точно никогда не забудет.

Вообще в России анекдоты постоянно становились былью. Только вот в инопланетян и наведение порядка как-то никому заведомо не верилось. Зря.

Активно партизанить Русик начал года полтора назад. Напарник как-то невзначай поинтересовался: вот если бы имелась возможность вломить оккупантам, поддержал бы? «Ну, а чего ж не вломить? — ответил Русик. — Вломить — это мы завсегда, или не русские? Только как?»

С тех, наверное, пор и присматривались к Русику подпольщики. Долго, больше года. И только потом подкатились с пустячным поручением: надо, мол, флешку с информацией доставить кое-куда. По большому, естественно, секрету. Флешка была крохотная — в четверть ногтя. Русик ее затолкал в самый угол брючного кармана и в положенный час оставил где было сказано. Для начала его похвалили.

Месяца два новых поручений не возникало, потом история с флешкой повторилась. «Проверяют, что ли?» — подумал тогда Русик. Еще в первый раз он долго колебался: просмотреть содержимое или не стоит? Решил, не стоит. Потому что проверяют, скорее всего, не только в смысле «доставит — не доставит», но и «просмотрит — не просмотрит» тоже. Ему хватило терпения и на третью флешку, и на четвертую. А в момент, когда Русик начал привыкать к роли почтальона, внезапно предложили поучаствовать в ночном налете на технологический склад.

Надо сказать, что за проступки чужие карали методично и неотвратимо, но никаких превентивных мер против нарушителей они не предприняли: полиции в дооккупационном смысле не существовало вовсе, никаких камер

слежения на улицах и в зданиях никто не ставил, замки тоже не производили впечатления неприступных. Поэтому в принципе ночной налет был осуществимым мероприятием, главное было вовремя смыться, до того, как явятся чужие из оккупационной администрации. Так что о партизанских налетах Русик слышал еще до того, как сам стал партизаном. Попытка выяснить цель сего освободительного действа потерпела крах: Русику намекнули, что это не его ума дело, а с провокаторами, соглядатаями и стукачами у партизан разговор короткий. Пришлось заткнуться.

Роль ему досталась, естественно, незначительная, но самая рискованная: прилепить самодельные бомбочки к дверным петлям, а потом торчать у входа в здание и глядеть, не едут ли чужие. Русик со всем справился. Чужие до момента, когда двое партизан поопытнее вернулись из глубин здания с полными сумками, не подоспели. Налетчики благополучно растворились в ночной полутьме, разбились на пары по заранее оговоренному плану и разбежались в разные стороны. С молчаливым напарником Русик расстался за три квартала до своего дома, потом, как учили, сделал пару кругов и петель по окрестным

кварталам и только после этого шмыгнул к себе. Кажется, никто его возвращения не заметил.

В утренних новостях сообщили, что бунтовщики и мародеры похитили на мелкооптовом складе некое запрещенное к свободному распространению оборудование, за что, несомненно, будут наказаны. Русик мрачно подумал, что зря, пожалуй, во все это ввязался, и целую неделю вздрагивал от каждого звонка в дверь. Но приходили либо курьеры из доставки, либо обычные патрули общественного порядка. Когда явился первый патруль, душа Русика натурально ссыпалась в пятки, но патрульных сам Русик интересовал мало: они пошастали по квартире, позаглядывали во все углы, непорядка не обнаружили и молча отбыли на маршрут. Следующий патруль Русик встретил уже спокойнее, а во время третьей проверки вообще практически не волновался.

А через три недели после налета Русик поучаствовал в подрыве магнитоплана. Магнитоплан был грузовой, что и куда он вез, Русик понятия не имел, потому что коллеги-партизаны общались с ним исчезающе мало. Показали сектор для наблюдения, велели не сводить глаз, а если появится патрульный магнитоплан, немедленно

доложить связному, который прятался в ракитнике у ручья. Патрульные не появились. Зато по ту сторону ракитника знатно ухнуло, а спустя несколько минут поступила команда отходить. Опять же парами.

Остальное Русик снова узнал из новостей. Особенно поразил его вид взорванного магнитоплана: обычно белоснежный диск с одной стороны был закопчен и вскрыт, словно консервная банка. Он косо валялся на наклонной обочине шоссе Звенигород-Малоярославец. Вокруг маячили сразу четыре патрульные машины — такие же диски, только поменьше, и шныряли чужие в белых комбинезонах. Надо понимать, выискивали следы партизан.

Потом случились подряд два налета, еще один подрыв магнитоплана, диверсия на насосной станции и суд над предателем. Предателем оказался худой старик с бегающими глазами. Что-то не то у него нашли в личном блокноте. Куратор в маске сурово зачитал обвинительный приговор, старик впал в истерику, но его живо отоварили по кумполу и без дальнейших разговоров сунули в реактор. Куратор после этого сразу куда-то испарился, а Жвал заверил, что так будет с каждым, кто осмелится осквернить имя борца за свободу

предательством.

Казнь произвела на Русика неизгладимое впечатление — теперь он совершенно точно знал, что его ждет в случае какой-нибудь оплошности. Незаметно прошел год. Русик уже не был младшеньким, поднабрался опыта в уличных акциях, ночных налетах, подрывах и диверсиях. Ему даже доверили командовать тройкой, правда, не во время боевых действий, а большей частью на предварительном изучении местности. Пару раз Русик передавал новичкам-курьерам флешки, получаемые от Жвала. Несколько раз самому пришлось забирать флешки из тайников, куда их доставляли новички из других партизанских групп. Движение ширилось и росло — чужие не успевали чинить поврежденные взрывами здания и дороги.

Случались и провалы, и аресты. Из первоначального состава группы осталась, дай бог, половина. Но, видимо, среди захваченных инопланетянами партизан не нашлось предателей и стукачей: дома чужие ни единого человечка не взяли. Только при неудачных отходах с акций и непосредственно на акциях, если они проваливались.

Но все чаще Русика посещал тяжелый и надо-

едливый вопрос: зачем? Зачем они делают то, что делают? Зачем взрывают магнитопланы, зачем громят склады и подстанции, зачем разбрасывают листовки с призывами к борьбе против небесных оккупантов? Чтобы опять было нечего жрать, чтобы вечером страшно было выйти из дома, чтобы в парке опять было насрано под каждым кустом, а вместо снежно-белых летающих дисков по раздолбанным дорогам опять разъезжали гелендвагены с мигалками, откуда любого пешехода легко смогут пристрелить, и стрелку за это ничего не будет? Опять нищета, наркота, болезни и бандитизм? Опять радиоактивные свалки, запах тухлятины из подвалов, радужная пена в каждом ручье и бесконечная реклама никому не нужного барахла в телевизоре, причем барахло это все равно не купить, потому что денег нет?

Именно это все — свобода?

Нет, конечно, без инопланетян большинство сразу же перестанет ходить на работу. Но тогда и еду фиг закажешь! Это сейчас вышел с терминала в службу доставки — и через десять минут тебе курьер в дверь стучится. Хочешь — икра черная, хочешь — фрикасе из крольчатины, хочешь — утка по-пекински. Как-то неохота после

такого изобилия снова кошатину жрать. Да ну его нафиг — такую свободу, лучше уж оккупационный порядок! В сущности, что такого гадкого и непоправимого хотят от людей инопланетяне? Работать заставляют? Так вообще-то без работы ни еды вкусной не бывает, ни одежды — ничего! Не возникает же все это из пустоты? Кто-то же должен выращивать хлеб, пасти коров, шить одежду и строить дома? Землянам, правда, ничего из вышеперечисленного не доверяют, но, может, оно и к лучшему. Может, именно поэтому и черная икра есть, и крольчатина всякая. До прилета чужих икра была в жутком дефиците и стоила космических денег. Только морды из гелендвагенов и могли себе позволить.

В общем, размышления рвали на части неокрепшую душу Русика, и сам себе не мог он ответить, зачем борется и стоит ли бороться вообще. Пламенные речи куратора (в неизменной маске) он внимательно выслушивал, но, говоря начистоту, призывы к свободе и свержению оккупационного режима с некоторых пор трогали до странности мало.

Партизанил Русик, в общем-то, по инерции, потому что в какой-то момент начал догадываться: взрывами магнитопланов и насосных

станций режим не свергнешь. Но Русику хватало благоразумия ни с кем не делиться своими мыслями. Возможно, именно поэтому он продолжал исправно партизанить, а не почил в недрах реактора, как некоторые вольнодумцы и баламуты.

Борьба пощады не знает…

— Едет, — прошептал сзади Жвал.

Русик встрепенулся. Действительно, в промежутках между воплями птицы народился и окреп тонкий звенящий свист — звук рассекаемого магнитопланом воздуха.

— Хряпа, Костыль — на исходную! — негромко скомандовал Жвал.

Русик послушно сполз с подстеленного лавсанола, углубился в кусты и нашарил пульт дистанционки под срезанными ветками.

В группе Русика называли Хряпой. Партизаны пользовались только кличками: считалось, что знание настоящих имен опасно.

Магнитопланы носились над бывшими дорогами с постоянной скоростью, поэтому заложить взрывчатку и рассчитать момент подрыва было, в общем-то, несложно. Как только придет сигнал от авангардной группы, расположившейся у дороги километром дальше, можно подрывать. Костыль, застывший рядом с Русиком, неотрывно

пялился на экран коммуникатора, куда должен был прийти сигнал. Магнитоплан был уже виден вдалеке — светлая точка над темным полотном дороги. Он приближался с неимоверной быстротой, обращаясь в толстый белоснежный диск с зализанными кромками.

— Готовность! — прошептал Костыль и начал отсчет: — Десять!

Русик вынул пульт из-под веток и откинул защитную крышку.

— Девять! Восемь! Семь!

Русик положил большой палец правой руки на шероховатую красную кнопку.

— Шесть! Пять! Четыре! Три!

«Ну, — подумал Русик, — сейчас! Только не промахнулись бы в авангарде!»

Шелест приближающегося магнитоплана стал отчетливо-громким.

— Два! Один! Подрыв!

Русик старательно утопил кнопку.

По идее должно было оглушительно ахнуть, должны были синхронно взметнуться фонтаны грунта и обломки асфальта. Инопланетное покрытие от взрыва почти не повреждалось, разве только слегка сминалось и шло волнами, да и то ненадолго, поэтому партизаны закладывали

взрывчатку по обочинам. Магнитоплан был заметно шире, чем дорога, над которой он летел. Именно по этой причине взорванные машины и напоминали вскрытые консервные банки — их рвало не по центру, а у самых кромок, по бокам.

Взрыва не последовало. Магнитоплан уцелел, но, вопреки ожиданиям затаившихся в засаде партизан, не умчался вдаль, а стал резко тормозить. Когда он почти уже остановился, с запозданием бабахнула заложенная взрывчатка — двумя красивыми фонтанами. Дорогу заволокло дымом и пылью. Магнитоплан взрывы, понятное дело, не повредили — он остановился метрах в ста дальше и неподвижно завис над дорогой.

— Что такое, мать вашу? — зашептал незаметно подползший Жвал. — Что за херня?

— Мы все сделали по команде! — горячо зашептал Костыль, зачем-то протягивая в направлении Жвала коммуникатор экраном вперед. — Скажи, Хряпа? Все по отсчету!

— А почему взорвалось не сразу?

— Не знаю! Ты знаешь, Хряпа?

— Догадываюсь, — буркнул Русик и уже в следующее мгновение пожалел об этом.

— И почему? — подозрительно спросил Жвал.

— Потому что это не рейсовый магнитоплан. Сам погляди.

Русик говорил спокойно, но в груди у него уже народилась противная пустота, которая образуется при сильном испуге или волнении. Если бы он стоял на ногах, наверное, задрожали бы и колени. Жвал поглядел и опять выругался.

Магнитоплан был военный. Из него уже высыпали киберсолдаты.

Снова ахнуло: взорвались контрольные заряды, тоже с запозданием — примерно таким же, как и основные.

— Хана нам, — прошептал Костыль и тихо заскулил.

— Тихо! — шикнул на него Жвал. — Отползаем к лежке!

Русик в последний раз взглянул на дорогу — киберы рассыпались цепью и вот-вот собирались двинуть вдоль дороги. Не удержавшись, Русик глянул и в другую сторону — туда, откуда примчался магнитоплан. С некоторым удивлением он отметил, что в той стороне тоже висит над дорогой белоснежная машина и фигурки киберов, кажущиеся с такого расстояния темными точками, уже гонятся за троицей из авангарда — этим прятаться было просто некуда, и отход

они начали одновременно с передачей сигнала основной группе.

Рощица, в которой прятались партизаны-подрывники, была совсем маленькой. Она скорее была не рощей, а лесополосой, посаженной вдоль дороги — метров десять в ширину, метров сто в длину. Примерно посередке, в невесть кем и когда вырытых меж деревьев канавах, был оборудован схрон — навес из тонких жердей над одним из углублений, накрытый маскировочной сеткой и присыпанный поверх землей, прелой листвой и сухими ветками. Там можно было затаиться и тешить себя надеждой, что киберы их не заметят. Но Русик в удачный исход пряток не верил: у чужих была аппаратура, способная засечь живые организмы в любом укрытии, даже в бункере, отделанном свинцом. Вопрос лишь в том, снабжены такой аппаратурой киберы или нет. Если это вояки, то, конечно же, снабжены.

Тем не менее Русик поспешно полз за Жвалом, не жалея локтей и коленей, а когда доползли, как червяк в нору, заполз в схрон. Костыль вполз последним, а резерв в лице Шустера прятался тут изначально. С тихим шелестом опали край маскировочной сетки и заранее выложенная на него охапка сухих листьев.

— Кто вякнет, — еле слышно предупредил Жвал, — лично придушу и в реактор спущу!

В его голосе было столько угрозы и первобытной ненависти, что Русика передернуло.

Ответить Жвалу не решился никто. Очень скоро Русик перестал слышать даже дыхание товарищей и чувствовал их присутствие только по теплу справа и слева, потому что лежали вплотную, как патроны в обойме.

«А лавсанол-то остался в кустах, у самого края», — запоздало сообразил Русик, а еще секундой позже понял, что последняя его надежда на спасение истаивает без следа.

Повязали их минут через десять — без особых ухищрений, скучно и буднично. Шибанули паралитиком прямо под замаскированный навес, разметали покрытие и жерди и вынули из канавы по одному, снулых и беспомощных, как новорожденных котят. Правда, в отличие от котят, обездвиженные партизаны все слышали, кое-что видели и в полной мере сознавали, что с ними происходит. Но от этого было только хуже.

Еще минут через десять все трое оказались в грузовом отсеке магнитоплана. Русик даже успел заметить, что пол там застелен хорошо знакомым лавсанолом, без сомнений, прихваченным

киберами из лесополосы.

Чужие никогда не оставляли техногенный хлам на природе, да и добром разбрасываться было не в их правилах, тем более партизаны пользовались не абстрактным лавсанолом, а трофейным, пару месяцев назад добытым в ночном налете.

На магнитоплане до города было рукой подать, и уже через четверть часа их, а заодно и троицу из авангарда, привезенную вторым магнитопланом, перегрузили на тележки наподобие больничных и куда-то повезли.

Вскоре Русик убедился, что, хотя при новом режиме ничего похожего на полицию и не существовало, зато существовало нечто очень похожее на тюрьму. Насколько мог судить изо всех сил скашивающий глаза Русик, всех поместили в отдельные камеры.

На нарах пришлось валяться часа два, прежде чем к телу начала возвращаться чувствительность. Сесть Русик смог на исходе третьего часа. Тело плохо слушалось и гнулось, но не это сейчас занимало Русика больше всего. Он изо всех сил пытался поверить в то, что напуганное близкой смертью естество избрало в качестве спасительной соломинки. А естество придерживалось незатейливой догадки: если не убили сразу — зна-

чит, партизаны зачем-то нужны инопланетянам живыми.

Русик прекрасно помнил, как в самом начале вторжения киберы стирали с лица земли целые воинские части. Не повернув головы кочан и чувств никаких не изведав. Или как крейсеры чужих обращали в мешанину земли, камня и железа позиции доблестных коммандос, которые до атаки казались действительно неприступными.

Инопланетяне были пугающе рациональны и никогда-никогда не оставляли в живых тех, кого начинали уничтожать. А тех немногих, кто был им зачем-то нужен (находились и такие), они просто захватывали в плен, даже не пытаясь работать на поражение. Но с другой стороны, всех, кто тогда имел смелость оказать сопротивление, чужие уничтожали быстро и безжалостно. Действия же партизан ничем иным, кроме как сопротивлением, названы быть не могли.

Неужели за годы оккупации настроения чужих изменились? Или изменились цели и методы их достижения?

Не исключено, правда, что инопланетяне могли устроить публичную казнь в устрашение и назидание, дабы остальным землянам неповадно было партизанить. Но Русик старался гнать эту

мысль прочь.

Припертому к стене разуму легко обмануться, особенно если он сам этого страстно желает. А умирать, наоборот, не желает. Жить хотелось безумно и трепетно, хотя внутри зрели противный холод и гулкая пустота.

Дверь отворилась часу примерно на седьмом-восьмом — Русик потерял чувство времени и точнее сказать не мог. На пороге возникли два амбала, очень похожие на еженедельных гостей из службы охраны порядка.

Русику заломили руки за спину и повели к выходу. Один из амбалов хмуро процедил сквозь зубы:

— Допрыгался, гаденыш?

В принципе, Русик мог бы и возразить: мол, кто больше гаденыш — партизан или прихвостень оккупантов? Однако решил, что благоразумнее будет промолчать. А тут еще второй амбал столь же хмуро посоветовал коллеге заткнуться. В общем, шли молча. Русик изо всех сил надеялся, что не на казнь, а для начала на допрос. Надежды, к счастью, оправдались.

Русика привели в круглую (точнее, цилиндрическую) комнату без окон. По центру нее из пола, словно гриб, рос низкий табурет. Ближе к краю

рос гриб побольше — стол, у которого дожидался инопланетянин в белоснежных, как магнитоплан, одеждах. Кресло его росло не из пола, а вроде бы из стены.

Впервые в жизни Русик видел одного из новых хозяев Земли так близко. Инопланетянин был ниже большинства людей, зато заметно шире. Ног у него было две пары, но не как у кошечек-собачек, передние и задние, а поперек — левая пара и правая пара. Причем перед тем, как присоединиться к туловищу, они сливались в единый отросток, отчего инопланетянин смахивал на заурядного гимнастического козла.

Головы инопланетянин не имел вовсе, зато имел на условных плечах пару выростов, тоже напоминающих грибы, только не в виде кресел с круглой плоской шляпкой, а наподобие сморчков — с конической. Сморчки эти вроде бы выполняли роль глаз и ушей и еле заметно шевелились и сокращались, меняя толщину и длину. Имей они кольчатую структуру, вероятно, смахивали бы на дождевых червей, высовывающихся из земли. Но кольчатой структуры эти отростки не имели, отчего более всего походили на два фаллоса в начальной стадии возбуждения.

То, что заменяло инопланетянам руки, скорее

являлось щупальцами с четырьмя условными пальцами. Располагались пальцы по принципу четырехлучевой звезды — под прямым углом друг к другу. То есть у каждого пальца был один противоположный и пара полупротивоположных. Точно из центра звезды-ладони торчали короткие тычинки, числом около десятка, из-за чего щупальца инопланетянина живо напоминали то ли цветок, то ли какое-то морское существо вроде актинии.

Понятно, что инопланетянин не был голым — он носил одежду, скроенную по форме его тела. Однако, поскольку оно разительно отличалось от человеческого, назвать это облачение одеждой можно было лишь с точки зрения логики — ощущения не находили никаких аналогий.

— Ну что, партизан, — злорадно произнес инопланетянин, обращаясь к Русику, когда амбалы удалились. — Попался?

Инопланетянин говорил на чистейшем русском, будто какой-нибудь абстрактный Федя из соседнего цеха, и не похоже, чтобы это его сколько-нибудь утруждало. Русик не знал, помогает ему в этом какая-нибудь умная инопланетная машинерия или просто чужие способны к языкам. Какая, в сущности, разница? Главное, что

речь его была понятна — и не только в плане словесно-понятийной нагрузки. С эмоциональной составляющей тоже все было в порядке: интонации Русик, по крайней мере, улавливал без труда. Не доставало только мимики, но тут уж, как ни изворачивайся, без шансов, поскольку инопланетяне не имели ни лиц, ни голов. Даже рта Русик, глядя на оккупанта, не мог найти — голос исходил прямо из широченного тела, откуда-то из-под одежды, но глухим при этом не казался.

— Присаживайся, — инопланетянин указал одним из пальцев левой руки на табурет в центре. — Допрашивать тебя буду.

Русик без возражений повиновался.

Инопланетянин поманипулировал лежащим на столе брусочком песочного цвета — над столом раскрылась голографическая панель.

— Так-сь… Хряпунов Руслан Андреевич, две тыщи пятого года рождения, оперативный псевдоним — Хряпа. Боевой стаж без малого два года.

«Ого, уже два», — подумал Русик отстраненно.

— Состоял в группе Николая Жваленко — оперативный псевдоним Жвал. Боевые специальности — связной, разведчик, подрывник. Девятнадцать операций, включая нападения на склады и подрыв рейсовых магнитопланов. В миру укладчик

готовой продукции на фабрике измерительных приборов, два взыскания, семь поощрений — в основном за образцовый быт. В смысле поощрения — за образцовый, взыскания, по крайней мере, первое — наоборот, за бардак в жилище. Все верно?

Русик угрюмо молчал.

Снова поманипулировав бруском, инопланетянин раскрыл большой, на четверть комнаты, видеостолб и принялся лениво перелистывать кадры. Вот Русик закладывает флешку в почтовый ящик — под перила на крыльце торгово-распределительного центра. Вот стоит на стреме у дверей склада, пока коллеги-налетчики шарятся внутри. Вот нажимает кнопку на пульте взрывателя…

— Н-да, — сказал инопланетянин и закрыл видеостолб. Выдержал небольшую паузу и заговорил снова: — Вот скажи, Хряпа, ну чего тебе, так тебя через это самое, не хватает? Жрать нечего? Жить негде? Среда обитания подкачала? В дерьме же сидели до нас! Друг друга грызли, жрали дрянь всякую четвероногую. Родились на помойке, выросли на помойке и сдохли бы на помойке, если бы не мы. Или не так?

Молчал Русик. Чертов инопланетянин словно мысли недавние озвучивал, но признаваться в

этом самому себе почему-то не хотелось.

— Мы вас из помойки вытащили, отмыли, накормили, работой обеспечили. Живи — не хочу. А вы магнитопланы взрываете, скоты неблагодарные! А, Хряпа? Скажи что-нибудь, не молчи. Подведи под свои действия хоть какую-нибудь идеологическую базу, не то придется тебя счесть тупым патологическим террористом. А тупых, если ерепенятся, мы уничтожаем. Тихим тупым быть не возбраняется — работай, не бузи, живи в свое удовольствие. А бузотеры нам не нужны. А, Хряпа?

— Идейных вы, можно подумать, награждаете, — пробурчал Русик недовольно.

— Ага, я так и знал, — оживился инопланетянин. — Не тупой! Давай, давай, продолжай! За что боретесь?

Русик немного подумал и пробормотал:

— За свободу.

К сожалению, Русик прекрасно понимал, что за этой короткой фразой по большому счету ничего не стоит. Это просто два слова, не несущие ни малейшей смысловой нагрузки, да к тому же одно из них — вообще короткий предлог, по определению лишенный содержания. Лозунг для баранов, неспособных думать самостоятельно.

Баранам нужны только такие лозунги — от необходимости думать они звереют и превращаются в хищников, сохраняющих от баранов лишь непробиваемую тупость, доведенную до запредельной свирепости.

— За свободу, — повторил инопланетянин и тут же уточнил: — От чего?

— От оккупантов.

— Ну, допустим, — согласился инопланетянин. — Допустим, что ваша борьба увенчалась успехом — нам надоело, мы на все плюнули и ушли с Земли. Что дальше?

— Будем жить сами.

— Как? Как раньше?

Русик немного поразмыслил и скрепя сердце согласился:

— Да. Иначе, думаю, не получится.

— То есть опять бардак, беспредел, бандитизм, неравенство, грязь, радиация, свалки, голод? Так?

Русик еще подумал и снова согласился:

— В конечном итоге, видимо, так.

— То есть ты желаешь себе, а заодно и миллионам законопослушных землян вместо размеренной, сытой и безопасной жизни голодное прозябание? Под знаком пресловутой свободы,

которой, кстати, почти никто в конечном итоге не получит?

Русик насупился. Собственные размышления последних месяцев, будучи озвученными, не стали ни понятнее, ни милее.

— Я тут глянул на анимацию твоих настроений — ты ж умный парень, в принципе все понимаешь и сам не веришь в то, что говоришь, в свободу эту вашу долбаную. Так ведь? Давай без дураков — не веришь ведь?

— А даже если и так?

— Пытаюсь понять, зачем тебе все это. Зачем рисковать быть пойманным и наказанным, если борьба ваша все равно ни к чему не ведет.

— Зачем… — пробормотал Русик. — Откуда я знаю зачем.

Это было чистой правдой. Однажды начав партизанить, он просто не смог остановиться, хотя это было бы наиболее разумным выходом. Особенно после того, как пришло понимание: к победе такая борьба заведомо привести не может.

— Я дерусь, потому что дерусь, — усмехнулся инопланетянин. — Это так по-человечески!

Русик угрюмо молчал.

— Ладно, с тобой в принципе все ясно. Нака-

зывай тебя, не наказывай — все равно ведь в конечном итоге опять пойдешь магнитопланы взрывать. Сам вряд ли организуешься, но на твой век обязательно найдется очередной Жвал — таким подобные тебе органически необходимы. Стало быть, тебя разумнее будет…

Инопланетянин многозначительно умолк, хотя Русик, похолодев, уже приготовился услышать слово «устранить».

— …использовать, — наконец-то завершил фразу инопланетянин. — По-умному.

Русик от облегчения чуть с табурета не свалился. Не хотелось ему умирать. Даже за недостижимую свободу. Инопланетянин, похоже, наблюдал за его реакцией. Во всяком случае, он чего-то ждал, возможно, каких-нибудь слов.

— По-умному — это как? — хмуро спросил Русик. — В соглядатаи? Или в полицаи? Так я комплекцией не вышел в полицаи.

— А в соглядатаи? — переспросил инопланетянин с откровенным любопытством.

— Я ж засвечен, — пожал плечами Русик, не сомневаясь, что его поймут. — Кто мне теперь поверит? По крайней мере, в первое время. Да и не буду я стучать — противно это. Для виду, может, и соглашусь, но на деле…

«Боже, зачем я это говорю?» — подумал Русик, снова внутренне холодея.

— Не обязательно тебя использовать здесь же, — проворчал инопланетянин.

— У нас была связь с группами из других городов, — вздохнул Русик. — Информация о провалах считалась важной. Обо мне уже знают.

«Вот ты и запел, — внезапно сообразил Русик. — Вот и застучал. Сам. Без нажима. Надо же, как он меня ловко…»

— Мелко берешь, — заявил инопланетянин, снова берясь за свой брусок на столе. — Мелко, господин будущий оккупант!

Повозившись, инопланетянин снова обратился к Русику:

— Ну что? Двухмесячные курсы и должность в оккупационной администрации. Поначалу, конечно, работа несложная, но по ходу дела освоишься, задатки у тебя есть и неплохие. Такие дела, Хряпа.

— Все-таки в полицаи, — хмуро произнес Русик.

— Не в полицаи, — поправил инопланетянин. — Я же сказал: в оккупанты. Может, ко мне домой, может, еще куда — там разберемся. Думаешь, у меня дома не аналогичная хрень? Если

бы не оккупационный режим, та же помойка и беспредел, только понаприлетевшие люди-оккупанты и спасают. Любое общество, Хряпа, — это тупое и безмозглое стадо, которое без пастухов неизбежно сползает с одной стороны в терроризм, с другой — в толерастию, а что одно, что другое — социальная смерть. Нет, братец, только оккупация, только пастухи, другого пути нет, обитаемый космос давно освоил эту модель, и менять никто ничего не намерен. Стадо и пастухи, вылавливающие из стада других потенциальных пастухов с шилом в одном месте и нежеланием существовать в неге и сытости. Кажется, таких у вас называют пассионариями. Так-то, Хряпа. Смирись.

И громче:

— Конвой!

Андрей Загородний. *ПРАКТИКАНТ*

Десять минут ходу — и плечо начинало чувствовать корявость давившей на него деревяшки. Деревяшка и была корявой: нормальные ручки в спешке не сделаешь, и так едва оторвались. Николай вздохнул поглубже — думать бы о хорошем. Вот, например, уже час идут под соснами — кроны высоко, никаких кустов, летом здесь сухо и хвоя. До этого пробирались через ольховник, носилки на руках тащили, теперь их хоть поднять можно, плечом подпереть.

Третий день отряд шел на северо-запад. Медленно, еле полз. Да и отряд ли? Четыре человека осталось. Николай — студент второго курса учительского института, Игнат — злой неповоротливый дядька с бородой и вечно простуженным носом. Еще Сашка — говорит, что семнадцать, но врет, конечно. Сашка нес два автомата и почти пустой рюкзак. Мужики тащили самодельные носилки со Степанычем. Тот бредил, невнятно бормотал, вдруг вскрикивал, а иногда, что было страшнее всего, начинал громко петь. И при пении — только при пении — у него изо рта поднимались большие красные пузыри.

Николай шел впереди и радовался, что пузырей ему не видно. А Игнат… Игнату все равно, только выматерится лишний раз.

Там, в арьергарде, Сашка посмотрел на часы:

— Пять часов, привал! — Заранее договорились не останавливаться слишком часто.

Притоптали снег, опустили носилки — надо отдохнуть. Развели костерок, стали греть воду. Мысли одна гаже другой. Летом, осенью нормально жили. Партизанили понемногу, отряд маленький — двенадцать человек. То грузовик, от колонны отставший, перехватить удавалось, то в деревню наведаться, чтобы полицаи слишком вольготно себя не чувствовали. Командир Дуров из местных был, ему местные и рассказывали, где что происходит. А узнав, где немцы, нетрудно и рейд подготовить. Дуров заранее говорил, где провизией разжиться можно, кого из полицаев к стенке, а кого попугать только. Как-то Николай спросил:

— А чего ты, Дуров, всех гадов порешить не хочешь? Родственники, что ли?

— Ты, рыжий, не понимаешь. Нас дюжина всего, одних предателей побьем — немцы других поставят, если своих не найдется, так из другого района возьмут. Пусть свои служат, но испу-

ганные. Победим — тогда всех судить будем. По делам их. А пока пусть поживут, но только те, которые не зверствуют.

Теперь Дуров лежал в грязном снегу где-то позади, в двух с лишком днях пути.

Игнат задрал голову, выругался в бога, в матерь, в серое небо.

— Правильно, — хмыкнул Николай. — Все дело в боге, фиг бы нас нашли без его помощи.

Говорил он это просто так, чтобы не молчать. Дураку понятно: не выпал бы снег — все прошло бы на ура. Делов-то, обоз взяли, пять телег, охрана — два стрелка с винтовками. Пошарили, выбрали нужное, выпрягли лошадей, навьючили, да и в сторону от дороги. И тут снег — рано, не ожидали его. Не повезло. За полчаса выпал и лег, не растаял. Следы. Много не наплутаешь, когда по белому листу черным карандашом путь размечен. И снег, гад такой, не прикрыл, не падал больше, ни снежинки. От карателей ускользнули трое — Николай с Сашкой по кустам, Игнат тоже. Потом вернулись, Степаныча нашли.

— В путь-дорожку дальнюю… — донеслось, забулькало с носилок.

— Доктор нужен, — проворчал Игнат, тоже ни к кому не обращаясь, говоря очевидное. И добавил

обычное: — Вот сука.

Но Николаю вдруг жутко захотелось, чтобы все обошлось, чтобы вышли они на какой-нибудь кордон или лесной хутор. И пусть там живет старый, вышедший в отставку военврач. И пусть инструменты у него будут при себе.

Степаныча Николай любил, и Сашка его любил, и, наверное, даже Игнат. Потому что человек добрый, на шутки не обижался, сам шутил без злобы. Умел и знал много, до войны жил в самой Москве, работал в институте каком-то. В отряде его сначала профессором называли — не прижилось, Степаныч роднее как-то.

Николай нарвал сухой травы, напихал под фуфайку на плечо, чтобы носилки меньше натирали. Поднялись — первый шаг отдался болью, второй, дальше легче пошло.

— Я вот думаю, — подражая Дурову, рассудительным тоном спросил Сашка, — от немцев мы оторвались, куда теперь?

Николая тон резанул: Дуров-то уже два дня как землю не топтал. Захотелось обругать мальчишку, но споткнулся и едва не выронил носилки. Плюнул сквозь зубы, а тут и Игнат очнулся от монотонной ходьбы:

— Ага, куда, блин, топаем, рыжий?

Они что, его теперь за командира держат? С какой стати? Он и в отряде-то случайно оказался. Немцы город заняли — что оставалось? Только в партизаны, не вкалывать же на фабрике на фашистов.

— А чего меня спрашиваете? — огрызнулся он. — Я вам африканский проводник, знаток джунглей?

— Ну, впереди идешь, — стушевался Сашка.

А Игнат топал, будто и не спрашивал ничего, сопел носом как обычно.

Плечо ныло, набитая под фуфайку трава разлетелась после первого шага, соломинки нашли ходы сквозь рубаху и кололи спину. Наверное, поэтому Николай не заметил рытвину, нога соскользнула, носилки дернулись и повалились на землю. Хлюпнуло — как раз начиналось мелкое болотце, вокруг грязь, кочки и кусты без листьев.

Степаныч вскрикнул и сразу замолк, Игнат пробормотал неразборчивое, но разбирать и не требовалось. Хуже всего то, что жердина поломалась и раненого нести было не на чем: деревьев поблизости не наблюдалось, только кусты да кочки. Сашка, переживающий, что ему не доверили носилки, тут же вызвался:

— В лес сбегаю, новую палку принесу.

— Сиди, — остановил его Николай. — Стемнеет скоро, обратно нас не найдешь.

Сашка достал часы — простенькие, но зато самим добытые, трофейные:

— Половина седьмого только.

— На кочке, как суки, сидеть будем — а ты заблудишься, — проворчал Игнат.

Пока шагали, Николай привыкал к идее, что отвечает он. В смысле решает за всех троих. Или за четверых, если считать и беспамятного Степаныча.

— Раненого понесем на спине. По очереди. Пока палку не найдем.

Дальше не шли, а еле ползли. Степаныч не пел больше. Сашка отставал, в придачу к автоматам он тащил отяжелевшую от сырости плащ-палатку, бывшую раньше носилками. Изредка все-таки забегал вперед, заглядывал в белое лицо, в закатившиеся глаза раненого. Ничего не говорил.

Болото кончилось крутым берегом, там, наверху, росли сосны. Слишком большие, не годные для носилок. Вскарабкались, сделали несколько шагов. Игнат, шедший первым, остановился, махнул рукой. Впереди между стволами в сумерках мелькнул огонек. Еще раз мелькнул.

— Немцы? — прошептал Сашка и потянул автомат.

— Подожди, — шикнул Николай. — Может, деревня.

— Доктор, блин, нужен, — проворчал Игнат.

Степаныч неожиданно запел, громко и неразборчиво. Все рухнули во влажную, тронутую снегом хвою. Николай выполз из-под раненого, обернулся к Сашке за оружием, но увидел, что тот сам уже готов стрелять — автомат в сторону огонька, затвор медленно назад тянет, чтоб громко не клацнул. Второй ствол у Игната, направлен туда же. Вынул из-за пояса вальтер.

В тишине лежали минут пять. Ничего. Николай поднялся:

— Посмотрю.

Прошел всего шагов несколько — это в темноте да с устатку казалось, что огонек далеко. А тут видно стало: полянка, бревенчатый дом, окошко светится. Николай подобрался, заглянул с угла. За столом сидел парень лет двадцати пяти, чистый, ухоженный. Такому бы в клубе со сцены выступать, а не в лесной избе за тесаным столом книжку рассматривать. Николай медленно потянул дверь — не скрипнула, зашел в сени, рванулся в комнату пистолетом вперед:

— Хэнде хох! Сиди где сидишь!

Парень за столом дернулся от неожиданности, обернулся. Не отрывая глаз от пистолета, медленно сказал:

— Здравствуйте.

— На чердаке, в погребе люди есть? — Николай ткнул стволом вверх.

— Не думаю, — ответил парень. — Вы кто?

— Меньше знаешь — лучше получится. Ты что здесь делаешь?

— Живу.

Врать он не умел, ребенку понятно, что такие франты к лесу и близко не подходят. Но много ли с ним риска? Этот наверняка один, и до утра здесь никто не появится, а вот Степаныча в тепло занести надо. Ткнул стволом — и парень поднялся с табуретки: не оставлять же его за спиной. Вышли наружу, и Николай крикнул:

— Тащите сюда! Безопасно.

Из сумерек выдвинулся Игнат со Степанычем на плечах, Сашка шел сзади, выставив вперед оружие. Выглядело, будто он конвоирует Игната.

— Раненый? — спросил уже опустивший руки парень. И засуетился: — Кладите сразу на стол, я осмотрю.

— А ты кто такой, чтоб рассматривать? — огрыз-

нулся Николай.

— Врач, — неожиданно резко ответил тот и без разрешения ушел в избу.

Тут только Николай понял, что его настораживало: речь звучала нормально, по-русски, но как-то не так, непривычно. Но не до рассуждений: врач — большая удача. Кем бы он ни был, против двух автоматов вредить не осмелится.

Степаныча положили на стол, а парень достал из-под лавки саквояж, оказавшийся набитым разноцветными коробками. Вынул кривые ножницы и разрезал самодельную повязку на животе у раненого. Отошел к умывальнику, помыл руки, натянул на них резиновые перчатки — тонкие, таких Николай никогда не видел. Из саквояжа появились два шприца, другой никелированный инструмент и даже крахмально-белый халат. Вот везет!

Сил удивляться не оставалось, Николай только попятился к лавке, чтобы сесть, но наткнулся на уже храпевшего там Игната. Сашка притулился на самом краешке у стенки и готов был заняться тем же.

Парень нацепил марлевую маску, но обернулся и кивнул на печку:

— Там каша горячая, чай, поешьте. Видно, как

устали.

За заслонкой на углях обнаружился чугунок гречки литра на три, не меньше. В самой глубине — Николай еле дотянулся — стоял плоский, немецкий, наверное, котелок с чаем. От запаха еды Игнат проснулся, окликать не пришлось. Расселись на чурбаках возле печки: стол-то занят чем поважнее. Каша оказалась с маслом и тушенкой, чай — крепкий, с сахаром. Когда пили с настоящим сахаром, и не вспомнить — как-то грузовик захватили, там продукты, сахарин нашелся, но вот чтобы сахар…

Спохватился Игнат, и то, когда ложки зашкрябали по дну чугунка:

— Фиг ли жрем, Степанычу не оставили. И этому… — Он кивнул в сторону стола, где парень в халате все еще блестел инструментами.

Николаю стало стыдно, а парень, не оборачиваясь, ответил:

— Раненому есть нельзя, кишечник поврежден. А я ел уже.

Что он ел, было непонятно: чугунок-то в печке стоял полный до верха. Ну да жизнь такая, два раза никто не пригласит даже твою собственную кашу лопать. Но ложки все-таки отложили, Степанычу ли, доктору ли — не важно. Да и не

голодные уже. Игнат опять завалился на лавку, Сашка остался у теплой печки, а Николай подошел к столу.

Парень копался в широко распахнутом животе, зашивал что-то. Из дыры торчали зажимы, марля, шланг непонятный. Крови Николай не боялся — не первый месяц война, а вот что удивило: Степаныч смотрел в потолок и не дергался, когда его внутренности протыкала иголка, совсем не дергался. Вспомнилось, как летом еще прилетела «Рама»: немецкий разведсамолет нашел партизанский лагерь. Бросились уходить — не успели, бомбардировщик в небе появился, три захода сделал. Ждали его, без потерь обошлись, а вот пожитки и немного оружия потеряли. И Агроному пальцы осколком раздробило. Агроном — прозвище за то, что пытался в лагере картошку посадить. Пальцы загнили, пришлось ночью в село пробираться, к фельдшеру. Тогда отряд недалеко от Васильевки располагался, а там фельдшер — неплохой человек. Так пока медицина Агроному пальцы отрезала, тот чуть палку не перекусил, которую ему между зубов вставили. И зрачки были больше глаз. А тут Степаныч спокойно в потолок смотрит, вроде бы отдыхает. И в сознании — это точно. Николай не удержался, спросил:

— Ему не больно?

— Нет, я наркоз дал. — Парень уже зашивал кожу на животе.

— Так он же не спит, — удивился Николай.

— Местный наркоз, спинальный. — Парень вздохнул, оторвался наконец от раненого и добавил: — Другой метод, не такой известный.

Американский, по ленд-лизу — понял Николай, но уточнять не стал. Спросил вместо этого:

— Тебя как зовут?

— Николай, можно Коля.

— Я тоже Николай, — протянул руку, но понял, что не к месту: врач все еще работал, бинтовал Степаныча. Спросил: — Как это тебе даже бинты сохранить удалось? Белые-белоснежные.

Коля — такое имя подходило ему больше, да и различать как-то надо — не ответил. Тогда Николай добавил, мирно, без напора:

— Да и вообще, откуда в лесу такая жрачка? И ты, врач, что здесь делаешь?

Коля уже снял с рук перчатки:

— Живу здесь. Считайте, что от немцев прячусь, чтобы с фашистами не тусоваться.

И то правда, Николай сам в отряде оказался, чтобы с немцами дел не иметь. А вот словечко незнакомое напомнило о странном говоре врача.

— Ты ж не местный, по разговору слышно.

— Не местный, — согласился Коля. — Я медицинский окончил, сюда на практику попал.

Ничего себе практикант, удивился Николай. Живот Степанычу сначала разрезал, потом зашил. Вот только как зашил? Может, это только со стороны кажется, что правильно сделано, а на самом деле все кишки не туда приставлены. Как знать? И почему у него все инструменты с собой? Или дезертир? Говорят, всех медицинских студентов на фронт врачами отправили, даже тех, кто доучиться не успел.

Непонятного оставалось много. Например, пробежав глазами по полкам, Николай не заметил запасов. Показалось, что, кроме котла с кашей, в доме нет никакой еды. Да и дом весь выглядел каким-то неправильным — слишком… негрязным, что ли. Будто в нем не молодой парень жил, а старательная баба, все чистившая и скоблившая с утра до вечера, одежду в сундуки убиравшая. Кстати, и одежды на гвоздях у двери никакой, и обуви — пусто.

Додумывал Николай уже лежа на полу, засыпая, не в силах справляться с навалившимся сном. Открыл глаза — маленькие окошки посветлели уже, но в избе темно, оно и снаружи в лесу

света немного от того октябрьского неба. Поднялся. Степаныч так и остался на столе, спокойно спал, не пел и пузырей не пускал. Коля сидел, привалившись к стене, глаза закрыты. Рядом лежала книжка — та же, что и вчера, или другая, непонятно. Да важно ли? Николай взял ее в руки: «Военная медицина», учебник, Санкт-Петербургский медицинский университет имени Павлова. Санкт-Петербургский, старая книжка. Но главное, от души отлегло — не врал Коля, действительно студент-практикант.

На лавке заматерился Игнат, зацепил и уронил на пол стоявший у стены автомат. Все проснулись, засуетились, Сашка объявил, что пойдет искать жерди для носилок.

— Спасибо, Коля! — Николай протянул руку. — А лучше пошли с нами. Не остановятся немцы, придут по нашему следу и избушку твою найдут.

Говорил правду, большой риск для практиканта — на месте оставаться. Но и свое давил: как ни крути, а Степаныча-то нести придется. И страшно опять слушать, как он поет, смотреть на красные пузыри. Пошел бы Коля с ними — имелся бы при раненом доктор, все спокойнее.

— Останусь, за меня не беспокойтесь. — И, словно прочитав мысли: — А вот раненого оставлять

здесь не стоит.

Сашка, отправившийся за жердями, тут же вернулся.

— Бор вокруг, стволы в обхват, — помялся и добавил тихо: — Если бы с крыши пару жердин содрать…

— Сдирайте, — махнул Коля, — мне они ни к чему, долго здесь не просижу. — Увидел недоуменные взгляды, объяснил как-то неуверенно: — Зимовать здесь все равно не придется, подожду немного, а там уйду.

Понял, что не объяснил ничего, покраснел — аж в сумрачной избушке заметно.

— И хотел бы остаться, так не умею в лесу зимовать.

Даже если врал практикант, что с того? Не немцам же их сдавать побежит: был бы предателем, не лечил бы Степаныча, да и их не кормил бы.

Перед расставанием опять пожали руки, и вдруг Коля побежал назад в избушку. Вернулся, придержал Николая за плечо, сунул прозрачный пузырек, внутри две таблетки.

— Обезболивающее. Дашь одну вечером, вторую утром. — Вздохнув, добавил: — Больше у меня нет. Не получил.

По бору идти было легко. Полянка с кстати

подвернувшимися жильем и доктором скрылась позади. Вернуться и найти ее казалось невозможным. Оно и хорошо, за ночь снег подтаял, лежал редкими пятнами, а не исписанным следами белым листом. И носилки получились удобные, ухватистые, не такие, как соорудили в спешке в первый раз. Степаныч на них лежал смирно, не дергался, то смотрел в небо, то немного поворачивал голову. Только непонятно, понимает, что вокруг, или спит с открытыми глазами. Обезболивающее? Наверное, оно. И на душе было легко, словно все опасности позади, осталось только пройти немного до другого места, такого же хорошего, как приютившая их избушка.

Сосны скрыли уходящих, только раз мелькнула рыжая шевелюра снявшего шапку Николая. Коля закрыл за собой дверь, занялся уборкой. Под ложечкой сосало, не завтракал ведь, но гости подъели все, кроме килограмма сушек. Сушки Коля отдал им с собой.

Собрал инструменты, сложил в саквояж, сверху окровавленный халат. Сваленные в углу побуревшие салфетки и ватные тампоны хотел сжечь, но подумал: может, они до завтра коптить будут. Тоже запихал в саквояж.

В полдень часы на руке зажужжали, поднес

их к лицу, сказал кратко: «Ушли, могу возвращаться», — и оказался перед столом замдекана по лечебной части, а заодно и руководителя практики. Тот улыбнулся:

— Прекрасно, вы справились. А еще сомневались, раздумывали: соглашаться на индивидуальный план или, как все, скучать две недели в больнице.

— А вдруг бы… — Коля замялся, вдруг не получилось бы, умер бы раненый прямо там, на столе. Но показывать неуверенность не хотелось. — И морфинового препарата две таблетки всего. Может, как-то им передать, по правилам, на десять дней назначать надо.

Замдекана вздохнул, встал из-за стола, положил руку на Колино плечо. Сказал тихо:

— Не надо. Через день группа выйдет… вышла тогда, в сорок втором, на немецкую колонну.

Ноги подкосились, Коля оперся на подставленную руку, сел прямо на замдеканский стол. В голове крутились вопросы, возмущение, но преподаватель понял без слов, ответил:

— Так не образовалось временного парадокса. Цинично звучит, но погибли они голодными или сытыми, значения не имело. И сам подумай, ведь раненый тот день прожил без боли.

Помолчал и добавил, вдруг перейдя на ты:

— Знаешь, пациенты не всегда умирают по вине врача.

Борис Богданов. *ТОЧЕЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ*

Слоистый туман приглушил запахи дыма, горелого железа и крови. Скоро взойдет солнце, туман рассеется, и небо взглянет на изрытое воронками поле, чадящие остовы танков, битые орудия, россыпи гильз в полузасыпанных ходах сообщения и трупы, трупы, трупы!.. Изуродованные тела людей, застывшие в нелепых, невозможных для живых позах.

Небо привыкло к смерти.

Оскар присел на бруствер окопа рядом с погибшим красноармейцем. Мельком мазнул по нему взглядом и отвел глаза. Его мутило. За год, проведенный в этом времени, он так и не смог согласиться с той безумной легкостью, с которой одни люди убивали других. Небу было легче.

Немцы здесь не прошли, откатились назад, теряя технику и оружие, и даже не вынесли убитых. Из защитников безымянной высоты тоже не уцелел никто — во всяком случае, так значилось в архивных документах. Когда советские войска вернулись на позиции, живых здесь не осталось.

Сейчас это была ничейная земля; поле боя принадлежало мертвецам…

Командировка подошла к концу. Гаупт-ефрейтор, за которым он присматривал, вернулся из боя контуженным, но живым. Его ждал полевой госпиталь и списание из рядов вермахта. Теперь следить за ним будут другие люди, и, наверное, он изобретет или напишет то, что должен изобрести или написать. Оскар не знал деталей. Они вредны, ведут к личностному отношению к событиям, повышают вероятность ошибки. А так… малозначащий эпизод в работе. Минимум нервов, максимум эффективности.

Теперь на базу, отдыхать и отсыпаться, но сначала смыть с себя отвратительный запах пороховой гари! Оскар представил, как встанет под душ, а по спине, по бокам и животу будут хлестать тугие струи воды, чистой, насыщенной кислородом, горячей и ледяной попеременно…

— Пить… Воды…

Солдатик, которого Оскар посчитал убитым, очнулся. Устав требовал немедленно покинуть это место, ведь никто не должен заметить наблюдателя. Плевать! — решил Оскар. Парень скоро умрет, кому помешает их контакт?

Оскар приподнял голову раненого и приложил

к его губам флягу с водой.

— Спасибо, — парень сделал глоток, скривился и без сил откинулся назад.

Потерял сознание? Оскар провел диагностом вдоль его тела. Все оказалось не так плохо: внутренние органы в порядке, контузии нет. Однако перебиты ноги, и осколки костей прорвали ткани и кожу, и шаровары набухли от крови. Тяжелая травма, но даже в этой эпохе излечимая. Главное — вовремя оказать помощь. Да только кто это сделает? До ближайшего медсанбата час хорошим шагом, а парень не может даже ползти.

Оскар стиснул зубы: как же противно… Черт бы подрал все уставы и регламенты! Иногда он ненавидел собственную профессию и даже благополучные время и место, в которых ему повезло родиться.

— …даже не потрогал ее, — внезапно заговорил солдат. — Только после свадьбы, сказала… Мамаша у нее, вишь, строгая. Отгулял, и сразу в военкомат… Дурак!

Парень бредил. Оскар видел, как с каждым словом жизнь покидала молодое тело. Заострялись скулы, вваливались глаза, а может, это была иллюзия, ведь он так и не привык к виду смерти и крови. Впрочем, архивы не врут. Здесь не выжил

никто, и этот мальчишка тоже скоро уйдет.

Оскар передернул плечами. Что-то кольнуло с левой стороны груди. Что там у него, в кармане куртки? Средство от шока и заражения крови. Мутная жидкость в шприц-тюбике едва заметно мерцала в лучах восходящего солнца. Лекарство для гаупт-ефрейтора, которое не пригодилось. Не панацея, но может продлить жизнь. На сколько?

Парень снова очнулся и застонал.

Проклятье! Почему он должен нянчиться с одними и забывать про других? Оскар сорвал колпачок шприц-тюбика и вонзил его в бедро умирающего.

Мощная штука — современная фармацевтика. Солдат очень быстро порозовел, дыхание успокоилось, потом он открыл глаза и посмотрел на Оскара.

— Ты ангел?

Почему бы и нет? Защитный комбинезон, маска-хамелеон на голове, противоосколочный зонтик за спиной… Наверное, его можно принять за ангела, особенно если страстно желать этого.

— Молчи, — сказал Оскар. — Береги силы.

Строители станции оторвались на полную. Ажурные стены вырастали из тропического сада и вздымались на десятки метров к лазурному

небу, вокруг в кажущемся беспорядке были разбросаны арки, витые колонны, портики, стелы и прочие архитектурные излишества. Цвели магнолии и розы, гелиотропы и левкои, резеда и множество других растений, которых Оскар не знал. Все вокруг было напоено ароматами, словно местные обитатели не выносили чистого воздуха. Возможно, их тоже ломало от запаха крови…

В воздухе медленно зарастала черная клякса. Бесшумное закрытие портала безумно пожирало энергию, однако Оскар не хотел привлекать лишнего внимания. Его проступок не останется в тайне, но это все потом, а сейчас у него есть другие дела.

Солдат спал. Правильно он сделал, притащив раненого на станцию? Он мог вызвать коптер: короткий перелет, две минуты до медсанбата. Но аборигены привыкли следить за небом, а зачем ему свидетели? Он и так нарушил все, что можно и что нельзя.

Оскар развернул событийную карту, ввел нужное время и место и активировал перенос.

Прифронтовые медики спят в очередь, здесь всегда кто-то на вахте, но Оскару повезло: никто не заметил их появления. Оскар оставил раненого неподалеку от входа, на видном месте. Допустим,

кто-то принес его ночью, а потом ушел, не сдав санитарам. Мало ли что случается в неразберихе.

На станцию Оскар возвратился в экономичном режиме. Это грохот и фейерверк на месте портала, это демаскировка. Это дополнительный шанс для спасенного им человека.

К вечеру Оскар начал верить в невероятные совпадения. Датчики слежения — штука теоретически неубиваемая, но… только теоретически. Иногда попадаются бракованные экземпляры. Нечасто, один на миллион, но ведь это бывает? Мог датчик умереть именно в момент проступка Оскара? Маловероятно, но возможно. Этот момент ничем не хуже любого другого. Так, поехали дальше… Все датчики объединены в сеть, и если один выходит из строя, центральный сервер отправляет ремонтного бота для замены. Обычное, нормативное время прибытия бота — сто секунд. Оскар задумался: уложился он в этот промежуток? Разумеется. Невелика работа — ввести пространственно-временные координаты и стартовать, там и полуминуты хватит, не то что полутора.

Их запросто могли не заметить.

В душевой — а первое, что он сделал, добравшись до персональной ячейки, это заказал

кухонному комбайну мясо по-французски и отправился в ванную комнату, — так вот, под тугими струями воды он пел, громко и немузыкально, но был повод. А почему бы не петь, если все хорошо и совесть чиста?

Скоро восхитительный запах мяса победил ароматы отдушек и шампуней. Оскар заявился в кухню мокрый, с полотенцем вокруг бедер и… обнаружил там своего шефа Отто Зиновьевича Братова.

Руководитель секции двадцатого века поедал его обед. Отодвинув в сторону пикантные травы, без которых приготовление мяса превращается в перевод продукта, он уныло жевал, глядя куда-то между комбайном и мойкой. На диванчике у стены, сложив на коленях ладони-лопаты, сидели два полузнакомых парня. Ходили слухи, что они работают в службе внутренней безопасности. Теперь Оскар знал это точно.

При его появлении безопасники обозначили готовность к чему угодно. Вскочить, схватить, скрутить, если, конечно, клиент не будет благоразумен.

Братов сделал вялое движение рукой с зажатой в ней вилкой, и парни расслабились.

— Ты ведь не будешь дурить, Оскар? — печаль-

но осведомился он.

— Могли бы и оставить немножко, — Оскар кивнул на тарелку. — Два месяца мечтал вкусно и не торопясь пожрать.

— Середина века плохо на тебя действует, — сказал Отто Зиновьевич. — Что это такое — пожрать? Принять пищу, отобедать, покушать, поесть, наконец.

— Некогда там кушать, — ответил Оскар. — Все второпях, второпях. Время такое, захватывает и тащит за собой. Да все по ухабам.

— Да, утащило, — кивнул Братов. — Не туда только.

Он вынул из комбайна еще одну порцию и поставил перед Оскаром.

— Только старый Отто Зиновьевич все помнит, все предусматривает, — сказал Братов. — Вот, догадался повторить твой заказ. Кушай, Оскар. Принимай пищу. Наяривай. Трескай. Когда теперь тебе удастся пожрать с таким комфортом?

Оскар промолчал. Да и что он мог ответить? Братов разбил бы его доводы в пух и прах и был бы решительно прав. И Оскар отдался еде. Грядущий трибунал — не повод испортить ему аппетит. Дальше фронта не пошлют, как сказали бы аборигены.

Ел не спеша. Настоящее, правильно приготовленное мясо может примирить со всем, чем угодно. Жаль, забыл заказать хорошего вина…

— Что теперь будет? — спросил он, отставив пустую тарелку.

— Трибунал, — пожал плечами Отто Зиновьевич.

— Нет, с тем солдатом. Вы его убьете?

— Ну, знаешь!.. — шеф негодующе вскинул брови. Кажется, он был шокирован. — Ты должен знать, мы никогда и никого не убиваем. Не для того наши предки прошли ту войну, с которой ты только что вернулся. Как тебе в голову пришла такая мысль?

— Но я спас его, — сказал Оскар. — Парень должен был умереть, истечь кровью там, на передовой.

— Придется поработать, — с кислой миной проговорил Отто Зиновьевич. — Аккуратно, точечными воздействиями. Он будет жив, но не оставит следа в истории.

— А ведь он герой, — сказал Оскар. — Настоящий герой. Он, а не тот немец. Я облизывал его полгода, я сдувал с него пылинки и сдал с рук на руки отделу эвакуации. Немца. Захватчика. Фашиста! Немец для истории важен, говорите?

Немец оставил след, а этот парень — нет? Разве это справедливо?! Умереть в безвестности, когда…

Оскар замер на полуслове, стало неуютно: с шефом творилось что-то страшное. Он сипло, с натугой дышал, налился тяжелой кровью, щеки тряслись, а глаза вращались в орбитах…

— Хиршвальд! — рявкнул Братов. — Георг Хиршвальд его звали! Как считаешь, оставил он след?..

Не закончив вопроса, шеф мучительно закашлялся. Оскар сидел, бессмысленно глядя в тарелку. Идиот, какой он идиот, сподобился-таки поспорить с шефом. Мало того, сделал это в присутствии безопасников. И ведь знал, что бесполезно, что мордой по столу извозят…

Все знали о Георге Хиршвальде. Оскар сам доказывал теорему его имени на первом курсе. Вернее, пытался уследить за логикой профессора, который ее разбирал. Потому что учился Оскар на историка, а у Хиршвальда была зубодробительная, нечеловеческая математика. Неудивительно, что Георг Хиршвальд стал известен лишь через сто лет после кончины. Когда приперло. Когда Федор Чистяков открыл Трио астероидов, названное впоследствии его именем.

Сомнительная слава. Оскар даже не пытался представить, что чувствовал Чистяков, когда обнаружил, что пути Земли и составляющих Трио камней неизбежно пересекутся.

Оскар вспомнил хронику.

Что такое километровый булыжник рядом с Землей? Пылинка. Камера спутника увидела его только в считаных десятках километров от поверхности, когда гость загорелся в атмосфере.

Съемка велась с геостационарной орбиты. Серп Земли висел в безбрежной черноте, а потом на ночной стороне планеты вспыхнула звезда и тут же стала расти, вытягиваться в раскаленную спицу. Внизу, под ослепительным росчерком проявились бурые, фиолетовые и серые тени — суша, море, облака. Через девять секунд спица коснулась Земли и растеклась нарядным огненным кольцом…

Красочное зрелище, особенно снизу. К счастью, людей на Земле к этой минуте уже не было.

Второй камень из Трио прошел мимо, а третий врезался в Землю через шесть часов, но обошелся без визуальных эффектов, лишь слегка подсветил густые, переполненные пеплом и сажей тучи.

Георг Хиршвальд теоретически доказал осуществимость прыжков во времени. Портретов

Георга Хиршвальда не сохранилось, но памятники ему все равно стоят в каждом городе, а поселки и деревни борются за право установить мемориальную доску. Хотя памятники надо бы ставить его жене, которая сохранила записи супруга. Георг их сжечь хотел. Не вынес критики, а честнее говоря, травли.

Когда квартирьеры исследовали пережившую Трио Землю, готовили человечество к переселению, а планету к реколонизации, родилась идея переименовать ее в Георгланд. Вскоре от этой мысли отказались и ничего менять не стали, однако неофициально бытовали самые разные варианты имени нового старого дома: Новый свет, Секунда, Родина или даже Выселки.

Земля, да не та, уж больно отличалась от прежней.

Кстати, службу Наблюдателей создали не из любопытства. Хиршвальд доказал: вероятность событий зависит от перемещенной через время массы. Зависимость была слабая, нелинейная, но ведь и переместили они миллиарды тонн…

— Что?.. — Оскар не сразу понял, о чем говорит шеф. Спокойным, тихим голосом, словно и не было припадка бешенства и жуткого, выворачивающего наизнанку кашля.

— Ничего, — сказал Отто Зиновьевич. — Подвел ты меня, друг сердечный. Озадачил и ничего не сделал, чтобы я мог тебя защитить. Так что не обижайся. Некогда мне теперь тобой заниматься, работа у меня. Важная, понимаешь? Есть еще плановые эксперименты, а тут ты со своими взбрыками. Наблюдателя, кстати, на смену тебе готовить. Последний раз спрашиваю: дурить не будешь?

К восьми утра развиднелось, впрочем, как и всегда. Парад закончился, отзвучали положенные речи, проехала по Красной площади техника, прошагали, вбивая в брусчатку каблуки, десантники. Прошли ветераны. Оживленные москвичи расходились: одни домой, к праздничным столам, другие в кафе или на концертные площадки, третьи просто на природу, благо погода позволяла.

Вместе с горожанами шел и Оскар в форме материального фантома. Механизм для наблюдения не слишком удобный, требующий внимательности и аккуратности. Фантом — почти как человек. Можно руку пожать, можно водки вместе выпить, но дать в морду, например, уже не получится. Кулак провалится в пустоту, а это для контрагента чревато. Шоком, например, или дурацкими слухами. И почти наверняка вызовом

группы зачистки.

Для Оскара работа в форме фантома была карой. Подчеркнутым, демонстративным недоверием. Ему поручали исключительно официозные мероприятия. Торжественные встречи, брифинги, парады. События, на которых не может случиться ничего необычного. Просто потому, что они символ стабильности и визитная карточка государства.

Оскар ждал реабилитации. Но как медленно тянулось время! Да, он мог написать заявление и уйти в любой момент. Работы дома хватало, однако он полагал себя историком не только по профессии, но и по призванию. Поэтому Оскар сжимал зубы и терпел, пересчитывая локальные месяцы и годы…

…Перед ним, опираясь на палку, шел старик в х/б времен Великой Отечественной. Внезапно он покачнулся и стал крениться влево.

— Вам плохо? — Оскар подхватил старика под руку.

— Устал, — старик благодарно взглянул на Оскара. — Передохнуть бы.

Они выбрались из толпы: люди теснились и уступали дорогу. Некоторые тоже предлагали помощь, но Оскар вежливо качал головой. Ста-

рик не обращал на окружающих внимания. Ему все-таки было нехорошо.

Оскар довел ветерана до свободной скамейки и сам присел рядом, исподволь бросая на него быстрые взгляды.

Это был обычный солдат преклонных лет. Один из тех, кто вытащил на своих плечах тяжесть страшной войны. Он с присвистом дышал, левый глаз его дергался в тике. Умом Оскар понимал, что должен чувствовать благодарность и чуть не преклонение, но не мог. Мешала бездна лет, что пролегла между ними. Большая, чем между самим ветераном и приматом, впервые спустившимся с дерева.

Лицо старика искривила гримаса.

— Вам плохо? Вызвать врача? — спросил Оскар. — У меня с собой телефона нет, но я позову кого-нибудь…

— Спасибо, парень, не надо, это просто старость, — ответил старик. — Опять же, бывшую свою вспомнил, дай бог ей здоровья, и будь она неладна.

— Странно вы говорите, — удивился Оскар. — И дай бог, и будь неладна.

— Это ты верно подметил, — согласился старик. — Странно и глупо. У нас с ней с самого

начала наперекосяк все пошло. У тебя как, время-то есть?

Оскар пожал плечами:

— Я не тороплюсь. Только стоит ли?

— Потерпи уж. Отдохну и дальше почапаю, а пока буду языком молоть. Мне так легче. Я, понимаешь, любил ее очень сильно, но так пожить с нею и не успел. Забрали меня на фронт, сразу со свадьбы. Время тяжелое было, да… И в первом же бою меня ранило. Сильно, не помню, как до медиков добрался.

Оскар подивился совпадению, но не придал ему значения. Много тогда уходило воевать молодых и почти неженатых. Старик что-то рассказывал, Оскар пускал его слова мимо сознания. Иногда люди хотят выговориться. Главное — не мешать.

Почему у него так мало наград? Другие ветераны носили на груди целый иконостас, у этого одна видимость: медаль за отвагу, остальные — юбилейные.

— Редко в штрафбате медалями балуют, — старик заметил Оскарово недоумение. — На усмотрение командира. Я в штрафбате наглый был, вот командиры и не усмотрели.

— В штрафбате? Командиры? — переспросил Оскар.

— Да, парень, — ухмыльнулся старик. — Меня из санбата сразу в штрафники замели.

— За что?

— Оружие потерял, — старик хрипло рассмеялся. — Из боя с оружием положено выходить. Чтобы не попало в руки врага. Так что вот. Слушай, — он вынул из-за пазухи мятую солдатскую флягу, — а давай по маленькой? Самогон у меня хороший. Сам делал, на бруснике!

— А вам можно?

— Мне все можно, — сказал старик. — Все можно и ничего не страшно.

У старика нашлись и стаканчики. Выпили. Самогон обжег гортань, прокатился в желудок горячей волной. Оскар позволил себе это. Плевать, что чувства не настоящие, материальному фантому они не нужны. Просто память. Сознание знало, каково оно — выпивать.

Старик крякнул, вытер слезу, заговорил громче:

— Три месяца как один день! В первых рядах, под пули, грудью! И ничего мне не было и не могло быть!

Оскару стало интересно.

— Почему?

— Я рай видел, — ответил старик. — Он есть, я

точно знаю. И ангелы есть. И Бог!

Он перекрестился.

— Там невыносимо красиво. Там сладко пахнет, и на душе покой.

— Что было дальше? — спросил Оскар. Никаких совпадений. Солдат, которого он спас, выжил и сидел сейчас рядом с ним.

— Война кончилась, — хихикнул старик. Он опьянел почти мгновенно. — Все по домам, а меня — в лагерь. Донесла какая-то сука. Непочтительно выражался, советскую власть ругал. Десять лет, пока Усатый не откинулся.

На душе у Оскара стало гадко. Вот они, точечные корректировки Отто Зиновьевича. Штрафбат, лагерь, сломанная судьба…

— А вы ругали? — спросил Оскар, чтобы сказать хоть что-то.

— А как же? Кто ее не ругал? Не всех сажали только.

Старик налил себе еще и кинул в рот быстрым злым движением. Потом долил Оскару.

— Пей, ангел, — сказал он. — Думал, не узнаю я тебя?

— С женой-то что? — Оскар сделал вид, что не расслышал последних слов.

— Не дождалась она врага народа, — ответил

старик. — Офицерика себе нашла, в Германию с ним уехала… — он снова засмеялся. — Его потом тоже бросила, стервь. Я знаю, мне рассказывали. На фрица какого-то недобитого запала. Такая вот катавасия. Фрау она, если жива еще. Не то Гильшвар, не то Горшфельд.

— Может, Хиршвальд?

— Все-то ты знаешь, ангел, — старик с трудом поднялся. — Прощай, и спасибо тебе.

— За что? — не выдержал Оскар.

— За жизнь, — просто ответил старик, повернулся и пошел прочь.

Одна жизнь против целого мира с миллиардами людей… Хороший ли это размен? Оскар смотрел вслед старику, и в голове была пустота.

Юрий Максимов. *СЛУЧАЙ В ЛОМБАРДЕ*

Фокс управлял самым крупным ломбардом на астероиде и был достаточно богат, чтобы держаться с клиентами надменно. Серу не особо нравился Фокс, впрочем, на самом деле не нравилось ощущать себя его клиентом — разорившимся неудачником, которому приходится продавать по дешевке или закладывать свои ценности. И пусть даже то, что он нес в кармане сейчас, для него никакой ценности не представляло, все равно на душе было погано, когда Сер взялся за ручку двери и открыл ее.

Внутри пахло настоящим деревом, кожей и табаком. Фокс сидел в кресле и курил, стряхивая пепел в металлическую ладонь своего робота-консультанта. Курение было способом показать высокое положение: только богатый человек мог позволить себе так бессмысленно портить воздух. Перед Фоксом на витрине лежали разные предметы — от обручальных колец и планшетов до виртшлема и почти нового счетчика Гейгера. Каждый из этих предметов был символом неудачи, эхом разбитых надежд и знаком отчаяния предыдущего владельца. Это были вещи, не вы-

купленные в срок.

Владелец ломбарда, заслышав скрип двери и шаги посетителя, нехотя отвлекся от планшета и поднял глаза. Это был немолодой полный человек с цепким взглядом, способным оценить как приносимые ему вещи, так и тех, кто их принес.

— Привет, Сер! Пришел выкупить мамины сережки? Молодец, успел в срок.

Вошедший долговязый парень покраснел и уставился на витрину.

— Здравствуйте, мистер Фокс. Ну… — следующие слова ему дались непросто. — На самом деле не совсем. Я тут… в общем, еще одну вещь принес. Монета. Драгоценная. Ее дед с самой Земли притащил и всю жизнь хранил… Вот, хочу ее заложить. На время. Сколько дадите?

Вытащив из кармана, он неуклюже положил металлический кружок на стеклянную витрину. Затянувшись в последний раз, Фокс затушил окурок о ладонь робота и потянулся за артефактом. В его карих глазах мелькнул неподдельный интерес, ведь вещица явно была очень древней.

— Это не монета, — наконец сказал он после осмотра. — Это медаль.

— Медаль?

— Да. Видишь вот здесь кружочек? Это ушко, за

которое крепится верхняя часть — колодка. Где она, кстати?

— Не знаю. Мне она уже в таком виде досталась после смерти мамы. А дед еще раньше умер, давно.

— Значит, артефакт неполон, — вынес вердикт Фокс.

— Но все равно это ценная вещь. С самой Земли! Желтый металл — значит, золотая.

— Ага, конечно, — владелец ломбарда не скрывал свой скепсис. — Тут что-то написано.

— Я не знаю язык, но цифры 1945. Я думал, это номинал монеты.

Хмыкнув, Фокс поднес медаль к груди робота и приказал:

— Акро, просканируй, распознай и переведи надпись.

На металлической груди что-то сверкнуло, и через пару секунд послышалась ровная синтезированная речь:

— Кириллический алфавит. Русский язык. Перевод: «За взятие вены».

На лицевой стороне безликой головы робота-консультанта был наклеен большой желтый смайлик. Эта нарисованная улыбка сильно контрастировала с безэмоциональной речью,

создавая жутковатое впечатление.

— Что это значит, Акро?

— Словосочетание «за взятие вены» обычно используется в медицинском контексте и относится к процессу, когда медицинский работник берет венозную кровь для анализа, — бесстрастно ответил робот. — Это может включать использование иглы для прокола вены, чтобы получить образец крови.

Фокс опять хмыкнул и посмотрел на посетителя:

— Твой дед был врачом?

— Нет. Шахтером, как и почти все здесь. Но, наверное, кто-то из его предков на Земле был.

— Странно. Взятие крови из вены слишком рядовая процедура, чтобы за нее вручали медали.

— Ну, в древности ведь все было иначе. Если это не монета, то 1945 — не номинал, а год. Может быть, тогда, в 1945 году, состоялась самая первая успешная процедура взятия крови из вены и всех отличившихся при этом наградили?

Фокс снова обернулся к роботу и спросил:

— Акро, когда люди начали брать кровь из вены в медицинских целях?

— Процедура венепункции имеет долгую историю, — почти мгновенно ответил тот же

безжизненный голос. — Первые упоминания относятся к Древнему Египту и Древней Греции. Врачевание в этих культурах включало использование кровопускания, которое считалось способом лечения различных заболеваний. Однако более систематическое и научное применение венепункции началось в Европе в Средние века. В XVII веке, с развитием анатомии и медицины, венепункция стала более распространенной и обоснованной процедурой. Таким образом, хотя точную дату первого взятия крови из вены сложно установить, эта практика существует уже несколько тысячелетий и развивалась на протяжении веков.

— Значит, к двадцатому веку это уже не было новшеством. Та-ак… — перевернув медаль, Фокс заметил: — Тут на обратной стороне, кроме цифр, есть еще одно слово. Распознай и переведи!

Он вновь поднес металлический кружок к груди робота и в ней снова что-то сверкнуло, прежде чем Акро ответил:

— Кириллический алфавит. Русский язык. Перевод: «13 апреля 1945 года».

— Что ж, ты был прав. Это действительно дата. Акро, что значимое произошло в земной истории 13 апреля 1945 года?

— В этот день в мире произошло несколько значительных событий, связанных с концом Второй мировой войны. Советские войска продолжали свои операции на Восточном фронте, приближаясь к Берлину. В частности, произошло взятие города Вена, который был важным стратегическим объектом. Эти события стали частью подготовки к окончательной победе над нацистской Германией.

— А, вот оно что! — довольно воскликнул владелец ломбарда. — Речь не про вену, а про город Вена. Который, видимо, был на Земле и который, соответственно, захватили во время Второй мировой войны.

Сер кивнул. Его увлек затеянный Фоксом поиск информации.

— Про Вторую мировую войну я слышал, — сказал он, чтобы внести свою лепту. — В школе говорили. Там был мужик со странными усами, который кучу народа убил, чтобы всю Землю захватить, но не вышло.

— Ну да. Благодаря в том числе и тому, кто получил эту медаль.

Оба человека задумчиво посмотрели на металлический кружок. На несколько секунд в ломбарде повисла тишина. Робот воспользовался

паузой, чтобы стряхнуть с ладони в урну пепел и окурок.

— Раз медаль хранилась в твоей семье, то, возможно, ею изначально был награжден кто-то из твоих предков, участвовавший во взятии Вены. Дед ничего не рассказывал тебе об этом?

Сер наморщил лоб, стараясь вспомнить. И внезапно какие-то смутные образы всплыли из глубин памяти. Как дедушка поднимает его, маленького, и сажает к себе на колени, а потом показывает бордовую коробочку, внутри которой лежит желтый металлический кружок.

Вспоминается добрый голос и первые слова: «А вот это, Сереженька…», но на этом все. Как парень ни старался, он больше ничего не мог вспомнить, кроме общего ощущения значимости того момента. Что для дедушки это было важно.

— Ничего определенного, — признался Сер.

— Ладно. Давай проверим насчет золота, хотя я и так вижу, что вряд ли. Акро, химический анализ!

В этот раз Фокс прислонил медаль к небольшому отростку в боку робота. И тот через несколько секунд ответил:

— Латунь. Сплав меди и цинка. 91% меди, 9% цинка.

— Что и требовалось доказать. Но, возможно, она редкая. Акро, сколько было выдано военных медалей «За взятие Вены» в XX веке?

— Более 270 000. Награждены были непосредственные участники сражения.

— Двести семьдесят тысяч? — изумленно повторил Сер. — Это же в пять раз больше, чем всех жителей Астероидов!

Фокс аккуратно положил медаль на стекло прилавка и оба человека посмотрели на нее так, словно впервые увидели.

— Двести семьдесят тысяч… и это только одно из многих сражений той войны… — задумчиво проговорил владелец ломбарда.

— Медаль дают героям, — добавил Сер. — Двести семьдесят тысяч героев…

Они помолчали, осознавая масштаб.

— Что ж, значит, эта штука не такая уж уникальная, — к Фоксу вернулся его деловой голос. — Я дам тебе сорок кредитов за нее.

Подчиняясь какому-то импульсу, Сер протянул руку и взял медаль:

— Раз она не такая ценная, то я, пожалуй, оставлю ее себе.

— Ладно, сто.

Полчаса назад, идя в ломбард, парень надеялся

получить хотя бы семьдесят.

— Спасибо, но нет.

— Двести, и вдобавок можешь забрать серьги матери.

Рука, уже двигавшаяся в направлении кармана, замерла. На несколько долгих секунд. А потом продолжила и закончила движение, вернув медаль в карман.

— Хорошего дня, мистер Фокс!

Когда он уже подходил к двери, владелец ломбарда сказал, повысив голос:

— Зачем она тебе, парень? Это реликт давно забытой эпохи. Ты почти ничего не знаешь про ту войну. Ничего не знаешь про этого своего предка. Это даже происходило на другой планете! Деньги решили бы твои проблемы, а этот кусок металла просто продолжит пыль собирать у тебя на полке. Так чего ради?

Сер не мог исчерпывающе ответить на эти вопросы. В том, что говорил Фокс, звучала логика. И друзья наверняка скажут, что он поступил как дурак, отказавшись от денег. Но все же теперь от этой медали веяло чем-то настоящим. Предельно настоящим, чего так сильно не хватало в жизни парня. За это настоящее хотелось держаться и не отпускать.

Ничего не ответив, он открыл дверь и вышел наружу, в вечную ночь. Вверху, сквозь стеклянный купол, на него смотрела тысячеглазая россыпь звезд. Сиял окольцованный Сатурн. И где-то там плыла по своей орбите прародина Земля, пропитанная кровью героев и сраженных ими злодеев.

Сер шел обратно в жилблок и незаметно для себя улыбался.

Возможно, завтра он передумает и снова принесет медаль в ломбард. Уже навсегда. Но, по крайней мере, сегодня этого не случится. Сегодня Сер хотел побыть тем, у кого есть достоинство. Тем, кто не сдается и не прогибается так легко под ударами судьбы. Потомком того, кто когда-то в древности остановил усатого мужика, убившего миллионы людей. Потомком героя.

И если это получится сегодня, то, может быть, получится и завтра.

И послезавтра.

И послепослезавтра.

Иная сторона



Станислав Стрыгин. *ТОННЕЛЬ ЗНАМЕНИЕ*

Ты плачешь, Лукреция? Нет надежды?

В тоннеле Картелло открой сердце Деве.

И чудесный мир Света поможет тебе.

Обязательно поможет.

По агентурным сведениям, бандгруппа перед тем, как покинуть город и временно рассеяться, должна собраться для распределения ресурсов и координации действий. Информация об этих планах, адресе поступила поздно, захват планировали на ходу. Эрнесто не любил подобную скомканность — а кому такое в радость? — но и давно привык к разного рода сюрпризам. И за эту весточку спасибо, и то хлеб.

В паре окон все горит и горит свет. Они выждали еще немного, рассчитывая на поздних гостей, что было вполне возможно, или на «полезные перемещения» внутри и снаружи. Однако в домах и на территории царила тишина. В два ночи

Эрнесто дал отмашку: передовые группы заняли ближние подступы и рванули вперед. А вскоре усталые полицейские и карабинеры стояли у облезлой стены гаража, заляпанной грязью, кровью и текстом оскорбительного содержания, начертанным с ошибками корявым почерком. На площадке у стены была настоящая свалка: фибровые чемоданы, фляги из-под вина, куча тряпья, картонные коробки с уже испорченными влагой контрабандными сигаретами. Свалка источала изрядное амбре.

— Пустышка. Выходит, ушли Драгонезе. Нас намеренно обманули?

— Все проверим.

— Как пригорит, в Америку все пытаются. Или за Альпы, под юбку к фюреру.

— Хоть лежбище нашли, надо обшарить все, — капитан карабинеров зевнул. — Такая тишина вокруг, словно Италию выпотрошили. Что за день сегодня? Двадцать второе или третье уже? Ладно, посмотрю оцепление.

— Ну и образы у вас, капитан…

— Так из семьи мясника!

— Третья ночь, третий адрес, и снова мимо. Да, займитесь оцеплением. Двадцать второе июня.

— Рулетка… Не будем отчаиваться, комиссар.

Город мы изрядно почистили, бегут как тараканы. Всех и не взять.

Осмотр лежбища, немалого по площади, продолжился. В одной из гостиных правоохранители устроили импровизированный штаб. В открытое окно заглянул полицейский инспектор:

— Комиссар, на задворках, в самых зарослях опунции два чучела. В сюртуке и платье сгинувшей зимой четы ювелиров, нет слов.

— Спасибо, Марко. И этот узелок развязался… На тебе — привези родню для опознания, и остальное покажешь.

В гостиную зашел сержант карабинеров:

— В подвалах пусто? — негромко спросил он. — Мой капитан, а ведь не все сигареты пропали. Можно немного набрать для ребят?

— Только если комиссар не заметит.

— Комиссар не заметит, если пропадет всего одна коробка, — строго сказал Эрнесто, оглядев притихших в ожидании ответа карабинеров.

— И вот еще, — продолжил сержант, — посыльный сообщил: на двадцатом километре на Болонью младший Драгонезе и еще один убились об сосну на угнанном фиате. Все шоссе в лирах, в основном фальшивых.

— Да окунут демоны их души во Флегетон!

Аплодисменты присутствующих.

— Комиссара Эрнесто Леоне и капитана Ринальди просят связаться с квестурой.

Лечь так и не получилось. Спустя семь часов Эрнесто брел по мощеной булыжником улице от префектуры домой. Иногда хочется пройтись по городу, к которому успел привязаться, и только потом упасть в сон наполненным впечатлениями, никак не связанными со службой. Сегодняшнее утреннее, еще не обжигающее солнце Феррары не светило ему, а запахи из кофеен и кондитерских не бодрили.

У кафедрального собора взлетели полсотни голубей. Эрнесто вздрогнул, поморщился. Знакомый врач советовал после тяжелых дней, затяжных стрессов использовать разные приемы: например, специальные коктейли и музыку, декламировать стихи. Или трюк с прогулкой и букетом: нужно купить охапку цветов и раздарить ее встречным женщинам. «Отдавая последнюю розу, дружище, ты себя недавнего и не узнаешь». Он вспомнил о трюке, но сегодня торговцев цветами на месте не было, и Эрнесто просто шел, как шел. По пути крыса внаглую перебежала дорогу, Эрнесто устало проследил за ее бегом. Обычно он относился к хвостатым пройдохам с терпением и

определенным уважением за хитрость и отвагу, живучесть. Рыба ищет где глубже, крыса — где слаще, а человек? Чем живет человек?

У врат «Рынка любви» на Виа делла Волта, в длинном причудливом средневековом квартале, он прервал размышления и поднял глаза. Территория была вытоптана людьми отдела не раз, забрала нервов — он чувствовал это место, так ему казалось. Сегодня лишь одна девушка обозначила место торговли. Странно. Да и тихо, мало прохожих. Мальчишка, разносчик газет, кричит на площади. Отсюда слышно лишь «…мы вступаем, дуче поведет нас». Куда вступаем? В ритме города, его воздухе что-то определенно изменилось. Он тоже почувствовал это еще в апельсиновой роще, в засаде. «На площади накуплю газет и только потом упаду», — Эрнесто махнул рукой, подозвал девицу. Впрочем, она и сама уже отклеилась от стены, шла навстречу, внимательно разглядывая его:

— Здравствуйте!

— Здравствуй. Винная Бьянка?

— Винная. Вы помните? — потупилась, скромно улыбнулась. — Мой комиссар, выглядите как позавчерашний виноград.

— Помню. Тогда очень помогла всем нам, своей

порезанной подружке в первую очередь. Постой, а что у тебя самой с…? — Эрнесто указал на синяки и ссадины на лице, борозду от горла к уху.

Бьянка изумленно воззрилась на полицейского.

— С кем таскаешься? Тебя еще из петли вытаскивать? Дура!

Бьянка испуганно отшатнулась. Глаза устали, Эрнесто присмотрелся: те следы — лишь игра тени от витрины с резьбой и плетей плюща, наваждение.

— Нет-нет… Последний день здесь. Возвращаюсь домой, на ферму — не прижилась в городе, не мое.

— Прости за срыв, почудилось. Найди себя на родине, Бьянка. Найди правильно. Хорошо?

Эрнесто махнул рукой и пошел дальше, к площади, оставляя позади перекресток.

Через три дня Эрнесто сел в утренний поезд до Рима — вызвали на министерскую конференцию и курсы повышения квалификации.

Вагон чистенький, есть свободные места. На скамье напротив матрона его лет с близнецами-дошкольниками. Судя по говору и манерам троицы, южный средний класс. По соседству немолодая, очень смуглая, чистенько, скромно

одетая полукровка. Должно быть, чья-то прислуга с кровями Магриба — няня, гувернантка или экономка.

По проходу между скамейками девушка в фартуке катит тележку: «Китайский чай, страчателла, булочки, конфитюр — все двадцать сольди. Если еще и с беконом — лира».

Под стук колес Эрнесто пролистывал столичные, местные газеты. Он не мог это читать долго — вскрыл вечернюю почту. В первом письме сообщалось: лечебница для душевнобольных женщин «Святая Беатриса да Силва Менезиш» приняла просьбу правительства и переезжает с озера Гарда в окрестности Феррары; корпуса и территория передаются военным под санаторий. В письме Эрнесто просили разрешить перевезти пациента, там же счет и листовки с просьбой о пожертвовании. В учреждении пятый год содержалась жена. Лечебница Беатрисы была лучшим местом, что он мог себе позволить. Теперь они будут ближе — хорошая новость! Решил приклеить первую листовку уже на вокзале прибытия. В других конвертах тоже счета и переписка по работе и ремонту. Эрнесто откинулся на спинку скамьи; за окном проносилась летняя сельская Италия: виадук, деревни, плантации, рощи проб-

ковых дубов.

Матрона напротив, вероятно, дождавшись, когда он освободился от чтения, отложила свой женский журнал с Софией Ньоли и рекламой супершелка-вискозы на яркой обложке. С налетом интриги заметила:

— Скоро будет тоннель, тот самый.

— Совсем не интересуюсь тоннелями, синьора.

— Вы мужчина. Истинный. Да-да… Орлиный взгляд, волю, стать, плечи не спрятать. Костюм, хорошие часы, обручальное кольцо — все у вас сложилось. Успешный чиновник или из военных? Управляющий процветающим имением? А женщины часто эфемерны и мечтательны — легкие перышки судьбы! На тропе жизни мы так нуждаемся в поддержке, любви, — она с жаром прижала руки к груди. — Мужской прежде всего. Но и не только. Да, впрочем, и не о женщинах лишь речь.

Ее манера говорить, присущая простым жителям юга, — образная, быстрая, импульсивная и экспрессивная с местными словечками, — могла как очаровать, так и быстро утомить собеседника. Эрнесто был готов, живой диалог с южанкой много интереснее напечатанного в «Народе Италии» и «Воскресном курьере».

— Поясните.

— Провидение и Господь — вот что нам еще в помощь. А пути их разные. Я дочь железнодорожника, папа недолго работал здесь, так он рассказывал. О да, синьор, всякое рассказывал! Скоро тоннель — он безымянный, точнее, у него только номер. Но в народе его кличут «Тоннелем Знамения» или «Тоннелем Мольбы». А народ стоит послушать, не так ли?

Близнецы отложили свои раскрашенные кораблики-самолетики и теперь самозабвенно слушают про тоннель.

— Вот как? — Эрнесто заговорщически подмигнул близнецам.

— По дороге с севера на Рим идет снижение высот, особенно на участке перевала. Если состав не придерживать, он изрядно набирает ход, тогда путь через тоннель занимает восемь-девять минут. А там еще и всякие геологические особенности перевала, горизонтов грунтовых вод.

— И что?

— Происходят события… Разные. В самом тоннеле или еще и потом — по следам событий. Редко, но все же. Неужто вы не слышали? Люди загадывают желания, молятся. Ну, вы понимаете. Знали бы вы моего папу, синьор! О да… был он

романтиком и мечтателем — никогда не придерживал. И один раз увидел…

— И скоро он? Тоннель?

— Точно не знаю, но вот должен быть. Можете собирать сокровенные мысли и желания.

Южанка выглядела совершенно искренней. Тема нова, Эрнесто был рад этому разговору.

— Мама, а нам тоже можно собирать мысли?

— Такая мама, как ваша, никогда не будет против подобного, — Эрнесто учтиво кивнул матроне.

Минут через десять поезд просигналил и действительно нырнул в тоннель. В вагоне включили освещение — не очень яркое, но стало комфортнее. Неслись что надо, с ветерком — точно не придерживают! Эрнесто зевнул: ничего особенного… За окном размытыми лентами проносилась кладка дикого камня. Каких-то заготовленных мыслей тоже не было. В вагоне спокойно, пассажиры занимаются своими делами. «Да ерунда это все», — подумал Эрнесто и расслабился. Но вот что-то изменилось, он открыл глаза. Двое — пожилой мужчина и юная девушка — встали с мест, напряженно смотрели в свои окна по разные стороны вагона. Еще несколько человек куда-то уставились сидя — неестественно устави-

лись. Эрнесто наблюдал за пассажирами: ох уж эти суеверия!

— Мама-мама! Посмотри, папочке больно, — завозились, хором зашептали близнецы.

— Где, дети?

— Вон же… За окном. Рука на перевязи, папочка на костылях. Он плачет.

— Дева Мария! Микеле? Это ты?

Эрнесто вгляделся в окно, быстро протер и так чистое стекло носовым платком. Старинная каменная обделка тоннеля с металлическими элементами и редкими тусклыми светильниками начала покрываться клубящейся чернотой. Очень быстро эта чернота синюшного оттенка поглотила пространство снаружи поезда.

— Вы видите это? — спросил он у полукровки.

— Нет, синьор… Но народ беспокоится, — перекрестилась.

За окном, в паре метрах в самом верху, из черноты возникла пара женских ног. На одной синяя, изрядно выцветшая стоптанная туфля, другая не обута. Оконное стекло, его бликующие, отражающие свойства, странное дело, совершенно не мешали рассмотреть картинку. Эрнесто приник к окну, задрав голову в попытке увидеть обладательницу ног целиком. Но так не получалось, да

и необходимости уже не было — ноги, как и все тело, откуда-то сверху начали опускаться сами. Домотканые чулки. Ноги чуть покачивались с небольшим поворотом вправо-влево вокруг оси. Все это виделось сродни сцене, крупному плану в кинематографе. Странная, гнетущая сцена. Эрнесто все больше становилось не по себе:

— Вы видите? Она… они… — Эрнесто силился подобрать слова, предчувствуя нечто ужасающее.

— Ничего там не вижу, лишь стена да фонари мелькают. Слишком стара, наверное.

Поезд тем временем несся, скрипел и слегка раскачивался, размеренно стучали колеса. Что это? За окном словно другое измерение: экран с реалистичным цветным изображением, пронизанным мрачным багровым фильтром — страшное кино. Опустился низ платья: мятого, грязного; подол, живот. Дальше какая-то пластина, нет — большая фанерная табличка. Эрнесто закричал, несколько пассажиров тоже метались у окон. Та женщина продолжала опускаться, теперь медленно вращаясь; руки связаны за спиной. «Бьянка Кьянти. Она помогала партизанам». За табличкой следовал драный мешок из-под сахара, веревка, захлестнувшая шею… Когда голова Бьянки поравнялась

с головой Эрнесто, кино перестало быть немым. Прозвучали слова — слышные лишь ему? — громкие, взволнованные:

— Портные Луи и Чезаре — предатели! Давно. За деньги, — голос обрел спокойствие, слова, подобно метроному, до самого конца трансляции тянули-отсчитывали лишь одну строку. — Я молчала, молчала, молчала. Скажите, передайте всем, я молчала, молчала.

— КТО, Бьянка?! Какие еще партизаны?! Где? Чьи?

— Молчала, молчала, я молчала.

Какое-то время тянулась эта толстая джутовая веревка, вот и она растворилась. Теперь на «экране», вероятно, в качестве ответа на вопрос из черноты проступили силуэты — они приблизились, стали различимы, набрав цвета. Трое бородатых мужчин в округлых черных шапочках с красным верхом и в незнакомой военной камуфляжной форме, рукава закатаны. Взгляды неприятные, колючие. Крайний справа скривил улыбку-гримасу, подмигнул, сейчас похлопывает рукой по высокой деревянной скамье рядом с собой. Под скамьей вторая туфля от той синей пары. Его товарищ достает кисет, набивает трубку. На черных петлицах какие-то символы. Руны? За го-

ленищами коротких сапог — плетки, на поясных с бляхами ремнях — шашки. Какого черта? Кто это?! Эрнесто силился в деталях рассмотреть, запомнить. Появившись совсем ненадолго, троица молча канула в клубящуюся синюшную темень.

Полукровка, оказывается, все пыталась усадить Эрнесто, протягивала ему фляжку:

— Я ничего не вижу там. Но попейте, я рядом. Вон что творится.

Эрнесто попытался сосредоточиться, окинул вагон взглядом: там выкрикивались имена, кто-то молился, плакал. Матрона с детьми вели себя тихо, они буквально распластались на стекле. Хором негромко говорили и говорили, успокаивали, подбадривали своего невидимого для остальных Микеле. Для них удивительным образом событие было, видимо, не просто демонстрацией кино. По обрывкам реплик троицы Эрнесто понял, что Микеле немцы расстреливали дважды: сначала как солдата итальянского гарнизона в греческой Кефалонии, давшего бой десанту вермахта и в плену не присягнувшего Гитлеру, а еще через год — как бойца местного Сопротивления. Но он все ухитрялся выживать среди сотен мертвых товарищей… потому что всегда усердно молился, старался поступать по совести и обещал вернуть-

ся в родную Мессину.

Напрямую событие затрагивало, похоже, не больше половины пассажиров. Остальные затравленно смотрели на все ЭТО или пытались как-то помогать. Женщина на соседнем ряду обняла дочь, нежно прижала ее голову лицом к своей груди, пытаясь прикрыть и уши, с каменным лицом контролировала подходы к скамье. Их белая кошка в корзинке жалобно плакала, едва высовывая наружу нос. Синьору в конце вагона, исступленно, во весь голос звавшую Карлито, трое мужчин оттащили от окна и теперь укладывали на пол в проходе. Двери раскрылись, из другого вагона забежали несколько человек, но и в этом вагоне, похоже, для них было не лучше.

Как оказалось, кино для Эрнесто не закончилось — чернота выдала очередное личное. Те двое по пояс в светлой с пятнами субстанции. Снег? На касках султаны черных перьев, сейчас обломанные, скомканные — итальянские берсальеры. Один уже мертв, вмерз в землю. Другой тянул к Эрнесто руки: совсем белое, без кровинки лицо, заиндевевшие брови, глаза пусты. С растопыренных пальцев свисает пулеметная лента, тоже пустая. Кино со звуком — и это какофония, хаос. За спинами военных — дымы, приближающиеся

фигурки, их много. Наступающий противник?

«Дон — последняя река в жизни. Моей, — лента выпала из рук. — Батальон разбит, остатки рассеяны, замерзают в степи. Да и восьмая армия всё. Мы ошиблись, и теперь расплата. Как холодно; там крики, грохот, завывания ветра. Голос и так тихий, еле слышен. — Междуречье Волги и Дона похоронит всех нас. Шансов нет, нет-нет, — качает головой, — простите. И прощайте. Все».

В непослушных, обмороженных руках теперь пистолет, затвор передернут. И только сейчас Эрнесто в этом полуживом лейтенанте с оторванным погоном, намотанным на шею и пол-лица чужом шарфе узнал любимого племянника… Жизнерадостного красавца, щеголя, спортсмена, умницу, гордость и надежду фамилии.

— НЕТ! ГУСТАВО!

Картинка рассыпалась, племянник отдалился, растворился в бескрайней снежной пустоши. Лишь в ушах еще какое-то время звучали, не могли затихнуть звуки боя. КАК ТАК? Почему?! В этом несущемся под уклон поезде, среди царящего вокруг людского горя и ужаса, безумия Эрнесто чувствовал себя капитаном утлого беззащитного суденышка, застигнутого бурей в открытом море — капитаном Бесполезность.

Однако чернота за окном снова шевельнулась, отвлекла. Следующий сюжет: снова зима, но теперь высокий хвойный лес и делянка. Люди, разбившись на пары, распиливают стволы поваленных сосен. Край делянки приблизился, Эрнесто выругался при виде Драгонезе-старшего — Козимо. А напарником — не может быть! — заместитель префекта полиции Рима. Это точно Франко Конти — друг погибшего отца, когда-то куратор его отдела и иногда покровитель Эрнесто. Видок у обоих не ахти: в каких-то зимних робах, оба обросшие, небритые. Конти совершенно слаб. Вот он выпустил рукоять пилы, сползает на снег. Появляется человек с винтовкой за плечами — все ясно. Но КАК они, такие разные, оказались вместе? И где это место?

Это что, финал? Последний вдох-выдох? Прощание и последнее сокровенное? Нет. Папа для семьи напротив жив. Козимо Драгонезе тоже показан живым. Что являет в своих посланиях тоннель?

Прошло время, на экране новое сообщение — топографическая карта: горизонтали, деревни, горы с отметками высот, цветные символы от руки. Итальянские названия мест. Из знакомого только река По. Рука перемещается по карте,

палец указывает, знакомый голос поясняет — докладывает его инспектор Марко, здесь он в форме пехотного капитана:

— Немцы прорвались танками. Высоту еще держим, у переправы начинается отступление.

— Потери растут, общее командование утрачено. Снимай, кто остался на позициях, предложи им выбор: согласные продолжить борьбу уходят в горы, я разговаривал, нас ждут. Соседям на флангах сообщу… их уже и не осталось.

Эрнесто с изумлением вслушивается в собственную речь.

Звуки близких разрывов, дрожание стен и беспокойный крик брошенной хозяевами дома канарейки, чья клетка сейчас раскачивалась у потолка.

— Деревня подожжена авиацией, окраины уже вовсю пылают. Если мы переживем эту неделю, Эрнесто…

— …то уже никогда не будем прежними, дружище! Чистилище.

— Сделаю. Да прибудет с нами Дух Господень!

— Аминь!

Совсем ненадолго задержавшись, Марко бросил куда-то пронзительный взгляд — отсюда, из вагона, было непонятно. Улыбнулся, широко,

лучезарно, как умел только он, Марко Фалконе. Подхватив со стола пистолет-пулемет вместе с солдатом-связистом выскочил из помещения. Рокот только нарастал, команды, крики, чьи-то руки в спешке складывают большую потрепанную карту. И вот сообщение завершилось, растворившись, поставило новые вопросы…

Время пролета через массив, видимо, подходило к концу. Новых видений не было, тьма начала выветриваться или наполняться другим, более светлым колером. Уже на излете, когда наряду со стонами и рыданиями были слышны возгласы: «Когда же все это закончится?!», в светлых серебристых клубах явилась ОНА, Беатриче: «Посмотри, какая я у тебя. Здорова, свободна! Всеееe! Воздух Феррары волшебен». Худющая, коротко стриженная, еще с синяками под глазами. Но уже в любимом в горошек сарафане, кожаном пояске, на шее блестит нитка жемчуга — его подарок. Эти вещи давно-давно убраны, заперты в отдельной секции шкафа и в плотной круговерти жизни практически забыты Эрнесто. Здорова… Это совершенно другой человек! Босиком она кружилась по паркету его квартиры на Корсо Порта Маре; буковый паркет взамен столетней половой доски Эрнесто только планировал заказать.

Поток белого света, яркого, искрящегося, окончательно растворяющего остатки тьмы, нарастал. В картинках-силуэтах оттенков белого и желтого, в небесной лазури возник ребенок, совсем младенец. Шевелит губами, гулит, смеется, тянет ручки. Девочка. Вот она уже учится крутить обруч, пишет в прописи, воспитывает кошку. Вот они втроем на велосипедах несутся среди ив по берегу По: любовь, смех, ветер в волосах…

Видение растворилось в нарастающем всепроникающем потоке белого. Поезд миновал тоннель, вырвался на свободу из тисков события.

— Мой дорогой, вы просветлели. Закончилось? Вам лучше? Я беспокоилась. Сын — ваш ровесник. И так похож, — полукровка гладила Эрнесто по руке. — Меня встречают на автомобиле, и я вас подброшу. Не спорьте.

На сцене — огромной, парадно украшенной, со знаменами, ярусами шикарных люстр — энергично выступает человек. Здесь, в зале, он самый главный — это его герб на трибуне: лидер, харизматик, премьер-министр, министр внутренних дел, фактический глава военного ведомства, глава партии и дуче итальянского фашизма. Лидер уверенно солирует, сотни присутствующих

замерли, внемля раскаленному накату речей.

«Итак, господа! История бросает нам вызов. Очередной. Это редкий миг проверки нации, — Муссолини сделал паузу. — На Востоке угнетенные христиане взывают о помощи. Да, православные. Но мы откликнулись! Рука об руку с фюрером германской нации, плечом к плечу с германским народом силой оружия приведем их к освобождению! Германия и Италия — есть ли еще государства Европы, ставящие подобные грандиозные задачи? Те земли обширны и очень богаты. Очень. Но дикие и находятся под властью красных безбожников. И вот сегодня, господа, неудержимая итальянская прагматическая воля вместе с…»

Эрнесто второй раз вживую слушал выступление Муссолини. От этих ярких иллюстраций к главе «Бред величия» — судебного справочника по психиатрии — его начинала накрывать тоска и уныние: какой же из кругов примет тебя, бесноватый? Спасение было. Эрнесто тихонько выскользнул из зала, благо сидел у дальней двери, вроде никто не заметил. «Самоотверженный героизм печатающих шаг фашистских когорт сметет и установит». «Наши штандарты будут реять! Придет время, и в этом зале вместе от-

празднуем нашу гордую победу». Муссолини был в ударе, звучали аплодисменты, Эрнесто аккуратно прикрыл массивную дверь. Уже не то ликование, что в начале тридцатых, но еще вон как рукоплещут. И это после Ливии, позорища Абиссинии. После Греции? С тем, что творится в стране? Глупцы! Чертова синьория, вы и так замараны по уши, ходите по горе костей, в том числе итальянских. А теперь, значит, когорты в Россию? С нацистами? Они вас еще удивят.

На конференции Эрнесто почерпнул и полезное. Среди прочего довели, что до конца года будет улучшена и расширена сеть ведомственной телефонной связи, займутся дорогами в горные районы. И главное, в областях будут военные сборы на полигонах. Обычно избегая подобных мероприятий, сейчас Эрнесто решил прогнать своих ребят через полигон и самому пройти сборы кровь из носа.

Улизнуть не получилось, в конце коридора наткнулся на Конти — при параде, наградах, — видимо, опоздавшего на выступление дуче.

— Эрнесто! Ты куда, мой дорогой? И почему в гражданском платье?

— Приперло. Пришлось отлучиться. И через два часа агентурное мероприятие, — безбожно

врал Эрнесто, сожалея, что, видимо, придется возвращаться в зал.

— Смотри, не уезжай без визита, как в прошлый раз. Пока в столице, навести старину Франко, Рита будет рада.

Эрнесто пожал плечами, улыбнулся.

— Как добирался?

— Прекрасно. На авто друга знакомого землевладельца.

— Во всех газетах, на рынках и конторах и у нас в ведомстве, естественно, только разговоров про недавний психоз в тоннеле, — зампрефекта взглядом бурил Эрнесто. — Что думаешь? Может, кто из твоих ехал? Сотрудник или агент? Нужен подробный и взвешенный рапорт-отчет. Желательно с данными, адресами гражданских очевидцев. Надо же, последний такой масштабный психоз в тоннеле был в начале века. Есть версия, и она активно прорабатывается, что…

— Да-да.

— …что это устроили греческие коммунисты: пустили газ. Обрати внимание сотрудников: много ли было греков в поезде? Людей с большими емкостями? В общем, поищи, подергай ниточки, ты мастер. Личная просьба.

— Подергаю.

— Тут вот еще что, — зампрефекта оглянулся по сторонам, понизил голос, — времена серьезные, объем проверок усилится, чистка рядов тоже. Попросят всех с семейными или любыми другими подвязками на англосаксов, греков, албанцев, Советы, прочих оставшихся мягкотелых и недолибералов. А в армии формируются добровольческие части из полицейских, таможни, прочих действующих и отставников. Они войдут в корпус вторжения.

— Слушаю.

— Обязательно появятся комиссарские вакансии, да и должности повыше. В крупных городах, столице. Появится возможность вернуть тебя в Милан или даже пристроить в Риме. Ты поактивничай, выступай на собраниях.

По коридору поодиночке и группами проходили старшие и высшие офицеры полиции и карабинеров, чистые армейцы, чернорубашечники, гости. Должно быть, после выступления Муссолини объявлен перерыв. Эрнесто и Конти раскланивались с коллегами. С близкими знакомыми здоровались за руку, обменивались приветственными репликами. Здесь был и Чезаре Мори — «железный префект» Палермо, да и всей Сицилии двадцатых годов, видимо, как гость

конференции. Остановился, первым протянул руку, похлопал Эрнесто по плечу:

— Наслышан. Вы, комиссар, хорошо поработали в Ферраре и Эмилии в целом. Рад видеть в строю после того ранения.

— Спасибо, синьор. Горжусь личным знакомством.

Мори не выглядел осчастливленным — все-таки возраст. Эрнесто заглядывал в эти лица: далеко не на всех читалось удовлетворение и торжество, многие выглядели мрачными, задумчивыми и даже растерянными. Без блеска в глазах и привычной бравады знакомый комиссар из Тосканы. Лишь поздоровался, мельком сообщил, что трое из Драгонезе с поличным перехвачены вчера его людьми. И, не прощаясь, удалился — как подменили человека. Впрочем, немногие любят делиться проблемами и неприятностями. И мыслями после услышанного. С ошарашенным видом прошли мимо — не узнали подчиненного? — два руководителя Эрнесто из префектуры Эмилии. Так кто же были те, ликовавшие в ответ на тезисы Муссолини? Может, вот эта большая группа разновозрастных чернорубашечников, что бодро и голосисто, со смехом проходит мимо? Или прошествовавший молодцеватый адмирал

в окружении чинов пониже и хорватских военных?

Наконец поток иссяк. Франко выждал, негромко продолжил:

— Твой племянник получил красный диплом, знаешь? Звонил на днях посоветоваться о рекрутинге в войска для себя и друга. Посоветовал ему элитный полк берсальеров. Там престиж, отличная подготовка, знакомые в командовании — все, что нужно для роста. Да и мне предложили место в штабе у альпийских стрелков. Мы наступаем на юге. Бывал в молодости на Кавказе — там очень красиво. Между нами. Рите пока ни слова.

Эрнесто подхватил зампрефекта под локоть, взглядом указал на тупичок у эркера:

— Рост в берсальерах, говорите? Да это практически «фрукты брата Альбериго»[2] — приглашение на смерть.

— Что-что, Эрнесто? Не понимаю.

— Послушайте, есть еще одно «между нами». Позавчера в дороге, в подземелье…

— Я договорю, Эрнесто? Формируются также

---

[2] Notes: 2

«Фрукты брата Альбериго» — отсылка к «Божественной комедии» Данте Алигьери, а именно к «Аду» (Песнь XXXIII). Намек на приглашение, которое ведет к смерти, т. е. человек, принимая его, попадает в ловушку, обречен.

оперативные и летучие отряды, укрепляются жандармерия и контрразведка. Для борьбы с сопротивлением на отвоеванных территориях. Фильтрация контингента, борьба с провокаторами, бандитами и партизанами. Нужны твой опыт и твердая рука. Это Азия — там не надо будет мямлить и миндальничать.

— Но…

— Бескомпромиссность, — зампрефекта энергично топнул ногой. — Есть интересные предложения со стажировкой под Веймаром[3] и Бергеном[4] в Германии. У меня списки кандидатов. Прислушайся, это окно возможностей, переход на другой уровень. Нельзя сидеть на одном месте.

— Другой уровень?

— Что с тобой, побелел как бумага?

— Малярия. Все никак не отпустит. Ваша забота — большая честь. Но решил пока остаться в Ферраре, да и долечиться бы.

— Удивлен, что ты забыл в Эмилии, Эрнесто? Там сейчас нет перспектив.

— Воздух Феррары волшебен, я остаюсь.

---

[3] Notes: 3
Концлагерь «Бухенвальд».

[4] Notes: 4
Концлагерь «Берген-Бельзен».

В коридоре появился префект римской полиции Поллини:

— Вы мне нужны, Франко, — он перехватил своего заместителя, — мне срочно нужны данные за май и материалы по тоннелю.

— И мне пора, агентурная встреча.

— Еще увидимся, комиссар.

В присутствии префекта Эрнесто козырнул. И теперь все стоял и смотрел вослед Франко, поднимавшегося вместе со своим шефом по мраморной парадной лестнице, украшенной бюстами античных римских полководцев. Убеленные сединами и облеченные немалой властью чиновники оживленно разговаривали, активно жестикулировали. Судя по всему, для Конти и Поллини нынешние июньские дни — действительно «дни откровений и смелых решений», «начало важного этапа», и они были готовы активно включиться во все это. Увы, вовремя достучаться до каждого, даже близкого товарища, не получится. Да и такие попытки небезопасны — неподходящие время и место. Время — вот самый строгий судья: расставит все по местам, укажет на ошибочные ставки и напрасно растраченные силы, откроет цену пролитой крови.

Эрнесто поймал себя на мысли, что хорошо бы

никому не видеть выражение его лица. Странная мысль… Впрочем, если даже возникнут вопросы, все можно объяснить малярией или чем-то иным — не привыкать. Конти уже не видно, Эрнесто опустил глаза:

— Или не увидимся. Каждому свое.

В ресторане «Империал» шумно, людно и, как водится, помпезно. На круглой зеркальной эстраде играет гастролирующий известный оркестр. Фигуристая дива в обтягивающем платье цветов национального флага медленно танцует: глаза прикрыты, шелковые перчатки, указательные пальцы у висков, платиновые завитые локоны покачиваются в ритме мелодии и движений певицы. Медовым обволакивающим голосом она тянула о любви, которая подобна розе и никогда-никогда не отцветет, что бы вокруг ни происходило. Густаво маленькими глотками смакует ароматное красное вино, ставит бокал на стол:

— Лина Термини! Прелесть, сам видишь, творит чудеса: какой голос, манера. «Ма l'amore no» сводит миланок с ума, падают в объятия сами, — Густаво смеется. — Самые безбашенные и беззаботные, конечно. А вот римлянки — не знаю.

— Лина, говоришь? У меня несколько иной отклик на это пение…

— Понимаю, дядя. Давно не виделись, плюс Рим. И это отменное сиенское кьянти — путаница в голове. Прости дурня.

— Да, ризотто с карпаччо у них хороши, — Эрнесто приложил салфетку к губам. — Но к делу: что касается твоего рапорта в полк, то он еще не рассмотрен. Пока отложен в сторону — извини, вмешался.

— Вот как?

— Помнишь те давние велосипедные уроки? Иногда на крутом спуске с поворотом стоит заранее вцепиться в руль и обратить внимание на тормоза.

— Бззз-ай-ай! — Густаво опять смеется. Совсем еще мальчишка, глаза горят. — Зеленки для коленок всегда было недостаточно. Значит, торможение на спуске, дядя?

— Боюсь, зеленки действительно не хватит, Густаво. Даже если тебя с другом и еще многих тысяч других обливать ею с головой.

— Резкий спуск?

— Донельзя.

— Юнец проспал и протанцевал что-то важное… но ведь ты рядом?

Эрнесто внимательно посмотрел на племянника:

— Рядом, малыш. Голод мы вроде утолили, немного расслабились. Поднимемся в номер, там обсудим рапорт, одно междуречье… И, кстати, Кьянти. Только это будет не вино. Нужно будет помочь, а я в Риме еще надолго. Съездишь в Феррару с поручением — дернем за пару ниточек. Заинтриговал?

— Просто мастер!

Вскоре они покинули ресторан, оставив зал со снующими между столиками официантами, танцующими парами и дивой с платиновыми локонами, затянувшей после перерыва новую песню о превратностях жизни и любви…

Вячеслав Ледовский, Екатерина Романенко. *КРАЙНИЙ ТРЕК: ТАЙНА U–977*

«Внимание-внимание!
Говорит Германия.
Сегодня утром под мостом
Поймали Гитлера с хвостом».

(Дворовый фольклор времен Великой Отечественной войны)

Обладал ли фюрер сверхъестественными способностями, как утверждали его поклонники и во что истово верили многие подданные Третьего рейха?

Конечно, Гитлер являлся оратором, способным до экстаза заводить — уточним — лояльные к его речам и притом заранее подготовленные массы. Но этим отличались многие — в частности, проигравший свою гонку к власти его современник и почти ровесник, всего десяток лет разницы, Троцкий. Не говоря уже о деятелях современного шоу-бизнеса, на выступлениях которых что только не происходит.

Но достоверных свидетельств того, что фюрер обладал сверхчеловеческими способностями, не

существует. Конечно, ими вполне могли стать показания экипажа U–977. Однако эти ребята поклялись никому ни о чем не рассказывать.

Узкий серп умирающей луны изредка появлялся в прорехах туч, размывался пеленой нависающего над рубкой тумана — казалось, протяни руку — и зачерпнешь белесую мякоть. Только минула полночь, рассвет уже близко. Удача, что сейчас не июнь, иначе бы уже светало. Тогда подлодка, что с берега, что с воздуха, как на ладони. И в спасительной глубине не спрятаться, поскольку под килем до дна все ближе и ближе. 7 футов… 5 футов… 4 фута… Цифры продолжали меняться.

U–977 шла со скоростью один узел — самой меньшей, какая может быть, и то только благодаря электромоторам, потому как дизели не допускают скорости меньше шести узлов.

— Вижу, — встрепенулся старпом, — вон они… шлюпка на два румба слева по курсу.

— Полный стоп! — Это команда вниз.

Субмарина стала цепляться за песчано-илистое дно, шуршать по нему брюхом. Это к лучшему: быстрее затормозим — легче брать пассажиров.

Весельная лодка коснулась борта, моряки помогли перебраться закутанному в плащ с глубоко

наброшенным на голову капюшоном невысокому человеку. Следом подали груз — квадратный, шириной не более трети метра в каждой проекции, ящик.

Хайнц Шаффер расписался в подсунутых ему документах.

И расстались. Шлюпка с четырьмя гребцами повернула назад к датскому берегу. А ни разу до сих пор не ходившая в боевые рейды субмарина направилась в сверхдальний поход в Южное полушарие.

Выполняя самое главное в своей судьбе задание — доставить единственного пассажира на тайную базу в Антарктиду.

Фюрера разместили в самом привилегированном месте — закутке капитана, отделенном от офицерского отсека, куда переехал со своими вещами Шаффер, всего лишь брезентовой занавесью. Персонально выделили один из двух сортиров. Горячую пищу приносили ту же, что ели остальные. Единственное отличие — на персонально сервируемом подносе, куда подкладывали шоколад, фрукты и овощные салаты. Однако Гитлер пил только некрепкий зеленый чай, от остального, как правило, отказывался. Все это охотно доедала вечно голодная команда

мотористов.

Хайнц перенес свой штаб в расположенный напротив его прежней спальни радиоотсек, благо все время шли под водой: днем на глубинах от десяти метров, ночью — повыше, под шноркелем, на дизелях, дабы заряжать аккумуляторы. Потому услуг радиосвязи не требовалось.

Желания общаться фюрер не проявлял. Сутками сидел на узкой кушетке, бубня себе под нос еле различимые монологи.

— Англия должна пойти на компромисс, — слышал Шаффер почти неслышное бормотание. — Она останется колониальной державой, но на континенте образует с нами единое целое. Русские — трагическая смесь несовместимых рас, их страдания надо прекратить путем быстрейшего их уничтожения. Иначе они всегда будут представлять угрозу нашему биологическому виду. Лучше принять ужасный конец, чем терпеть ужас без конца…

И несколько неожиданно:

— Никому не принесет пользы то, что он носит фамилию Гитлер…

В ночь на 11 мая сосед неожиданно позвал капитана к себе.

На лежанке стояло ажурное изделие, сплетен-

ное из блестящих нитей непонятного металла в причудливую конструкцию. Венчала его желтая чаша, скорее всего, золотая, окаймленная по краю рядом разноцветных драгоценных камней.

— Мой друг, — обратился несколько смущенным голосом фюрер, отводя глаза в сторону, — мне нужна ваша помощь. Для одного очень древнего обряда. Во имя Германии. Вы не откажетесь помочь?

— Безусловно, экселенц! — отреагировал Хайнц. — Да… то есть нет, не откажусь. Это мой долг, и я его исполню!

— Ну да, — безразлично, как повторенную тысячу раз банальность, ответил собеседник. — Моя честь — это верность, конечно. В общем, эту чашу надо наполнить кровью. Моей. Я боюсь, что у меня не хватит сил дотерпеть до конца ритуала.

Объяснил извиняясь, будто за нечто постыдное: сильно устал и, похоже, болен.

Шаффер прикинул объем емкости. Шестая часть литра, пожалуй.

— Может, мы могли бы… — начал он.

— Нет, кровь должна быть только моя! — нервно перебил его Гитлер. — Режьте!

Сунул под нос кисть левой руки. Запястье было исцарапано, видимо, пациент пытался сам

вскрыть вену, однако чего-то важного ему для этого не хватило.

— Хорошо, — выдохнул Хайнц. — Я только сейчас быстро за аптечкой, потом перевязать!

— Время уходит, полночь уже минула! — поторопил его Гитлер.

Кровь неохотно струилась по руке в чашу, понемногу ее наполняя. А Шаффер беспокоился за клиента, готового вот-вот отключиться.

— И что будет потом? — спросил он, пытаясь отвлечь, разговором удержать фюрера в сознании.

— Я превращусь в сверхъестественное достойное меня создание, — побелевшими губами уже не говорил, а шептал тот. — Если у меня когда-то были сомнения в предназначении, уготованном мне провидением, то теперь исчезли. Это мой путь, и я пройду его до конца!

— Кем вы станете? — тело фюрера уже практически висело на левом плече капитана, правой рукой он выдавливал еле капающую черно-багровую жижу в золотой окаём.

— Полагаю, как Фафнир… Драконом… Возвращение древнего мифа образумит англичан… И вернет веру германцам…

Все же отключился. Хайнц перевязал рану, уложил бессознательное тело на лежанку, укрыл

одеялом. Глянул на непонятную конструкцию. Чаша была полна. Причем жидкость там застыла, словно схваченная льдом, не реагируя на вибрацию идущей под дизелями подлодки.

— Дракон, значит…

Представилась картина, как огромный крылатый ящер, словно яйцо, разрывает стальную субмарину изнутри, вырываясь наружу. Ладно, что идем на шноркеле в метрах под волнами — кессонная болезнь при срочном индивидуальном всплытии не грозит. Но зрелище будет, конечно, эпическим. Даже жизнью заплатить, дабы увидеть такое, не жалко.

О том, чем занимались в каюте, никому, конечно, говорить не стал. Кроме старпома, в ком подозревал приставленного к нему тайного соглядатая от СС или гестапо, с полномочиями заменить на посту «главного после Бога» на этой посудине, если такое понадобится.

Но распорядился всем надеть спасжилеты, иметь при себе одноместные надувные спасшлюпки. Чтобы даже в гальюн — и то с ними.

Сам расположился в радиорубке, отслеживая занавеску в бывший свой закуток, дабы отреагировать немедленно на любое изменение. Хотя бы командой на срочное всплытие.

Навалилась дремотная усталость. Словно даже не матрасами череп придавило, а огромными спортивными матами, на которых приходилось бороться в гимнастических залах.

— Вервольф… Берсерк… — тянулись тягучие мысли. — А вдруг Он превратится в медведя? Или волка?

Сознание слоилось, расползалось по нескольким реальностям: тесные отсеки родной субмарины; каменные ущелья фьордов с огромными пещерами — обиталищами драконов; дремучий первобытный лес, из перевитой скрученными стволами чащобы которого появляется…

Штора на капитанской каморке колыхнулась, сдвинулась.

В темноте проявилась огромная… крокодилья? крысиная? …нечто среднее… оскаленная морда с треугольными, в несколько рядов, как у акулы, зубами. Нагнув башку, из проема вышагнула здоровенная, выше любого человека, обросшая косматой шерстью фигура. Ударила огромными саблевидными когтями по лицу выглянувшего из рубки гидроакустика, располосовав череп до сероватой мозговой губки. Затем двинулась по офицерскому отсеку, снося головы, разрывая надвое камрадов Хайнца, кропя потоками крови

стены, пол, потолок. Выстрелы люгеров, парабеллумов… Не остановят, нужны серебряные пули! Зря все это. Ты сделал ошибку, Шаффер. Надо было прибить его сразу, пока он был уязвим… Кого? Фюрера?

…Капитан пришел в себя, с трудом поднялся, помогая себе руками. Благодарение Создателю, это только сон. Взгляд на часы. Отключился он минут на десять. Наверху, в приближающемся проливе Ла-Манш, уже рассвет, потому надо убирать шноркель, уходить на электромоторы в глубину.

Только после того, как подлодка заняла безопасный эшелон, Хайнц вспомнил о проведенном ритуале. Видимо, напрасном, поскольку ничего не произошло. Подошел к капитанскому закутку, стукнул костяшками пальцев о притолоку, ожидая разрешения зайти.

Тишина. Нет, слышны приглушенные рыдания! С фюрером что-то плохое? Ну да, он ведь потерял… пожертвовал столько крови!

— Можно, экселенц? — отодвинув занавеску, Шаффер решительно шагнул внутрь.

Так, что тут у нас? Непонятная конструкция раздолбана в хлам. Вот и молоток рядом, которым это сделано. Неудивительно — тут любой

бы разозлился. Что уж говорить, после таких надежд — никакой результат. Маленькая фигурка в знакомом френче в дальнем конце лежанки отвернулась, обхватив волосатыми пятернями голову. Левая конечность — до сих пор в бинтах.

ВОЛОСАТЫМИ? КОНЕЧНОСТЬ?

Хайнц сделал еще шаг, позвал:

— Мой фюрер?

Протянул руку к предплечью, тронул, почти насильно разворачивая.

Срань господня!

На Шаффера смотрела похожая на Гитлера обезьяна. В его френче. По мордочке, прическе, коротким усикам под вывернутыми ноздрями смахивающая на него, как удачная карикатура. Но примат. Из мелких — капуцин или ярко-рыжий гамадрил, если не считать черной «прически». Обезьянка отвернулась к стенке и взахлеб, уже не скрываясь, разрыдалась.

А Хайнц по-строевому, как на плацу, развернулся и на негнущихся ногах прошагал в коридор.

Сначала он хотел скрыть от экипажа произошедшее. Даже распорядился из деревянных лежаков сделать импровизированную дверь, повесить ее на проем. Но что можно спрятать на тесной подлодке, где на сотне квадратных метров

толкутся десятки человек? Через день по косым взглядам старпома и всеобщему молчанию при его появлении капитан понял, что с командой необходимо объясниться. Пока ему не предъявили «черную метку».

— Камрады, — обратился он, — тут такое дело… Наши ученые открыли… возродили древний обряд, позволяющий надежно спрятать преследуемого человека, замаскировать его. Именно под то, что некоторые из вас видели… там. Это на случай, если нам не повезет и мы попадем в руки врагов. Кто из них обратит внимание на примата? А потом наши доблестные СС выкрадут его, доставят куда надо. Проведут необходимый обряд, и вновь вернут немецкой нации ее фюрера! Все, что я сказал, это тайна высшей категории секретности! И да, мы продолжаем исполнять нашу великую миссию. Спасаем нашего вождя от иудейско-большевистского преследования во благо будущего и цивилизации!

Шаффер был настолько убедителен в своей речи, что сам поверил в нее. Впрочем, более благоприятных версий просто не было.

Обезьянка днями сидела на кушетке. Из френча и штанов она выпуталась, но продолжала кутаться в сорочку, слишком для нее великова-

тую. В отличие от человеческого воплощения фюрера, ЭТО от фруктов не отказывалось. В гальюн, понятно, не ходило — аккуратно какало козьими катышками на пороге. Сухими, что плюс, отвратительно воняющими чем-то в буквальном смысле резавшим глаза, что минус. Посовещавшись, в каморку установили ящик с наполнителем в виде рваной в клочья бумаги, которую Хайнц собственноручно периодически менял. Примат брезгливо глянул на новацию, однако стал послушно гадить в нее. Как и положено добропорядочному воспитанному животному.

На субмарине постепенно все устаканилось, к новому положению вещей, похоже, привыкли.

Пока через полмесяца не последовало продолжение.

Это снова произошло под утро, перед самым рассветом. Накрыло, как огромным слоем ваты, обрушив в беспамятство. Не только капитана, как он позже уточнил, всех на борту. Благо, что всего на десяток минут.

Убедившись, что на корабле за это время ничего не произошло, в штатном порядке субмарина продолжает пересекать Бискайский залив, Шаффер заглянул к подопечному. Отомкнул дверь, за которую запретил заглядывать другим членам

команды. Замер. В каютке никого не было. Лишь скомканная сорочка рядом с плоской подушкой. Хайнц выдохнул. Даже с некоторым облегчением. Уж лучше так, с пропавшим фюрером, чем с обратившимся в незнамо кого.

Однако уловил шевеление под почему-то рваным горбом рубашки. Шагнул, осторожно приподнял. На него голубыми бусинками глаз затравленно смотрела крыса ярко-желтого колера. За исключением брюнетистой башки, с которой к левому глазу тянулась черная полоска, напоминающая челку. И нечто вроде усиков можно было заметить под розовеньким носиком…

Об этой пертурбации капитан рассказал только старпому, благо вход в каюту для прочих членов экипажа был закрыт.

Под обиталище грызуна приспособили прежний ассенизационный ящик. Ну, хоть с крайне неприятным запахом обезьяньих какашек проблема сошла на нет. Но Шаффер решил, что, если бы не взятое на себя обязательство доставить пассажира — а в приказе так и говорилось, именно пассажира, — то он, наверное, предпочел бы уже застрелиться. Чуть обнадежил его увлекающийся оккультизмом старпом.

— Вот смотри, — убеждал он, — первое пре-

вращение произошло одиннадцатого мая, в новолуние. Второе — двадцать седьмого мая, в полнолуние. Значит, что? Десятого июня снова будет новолуние. Полный цикл. И процесс пойдет в обратную сторону!

— Вот только на это и надежда, — буркнул Хайнц.

Десятого числа субмарина продолжала огибать Пиренейский полуостров. Снова, как под копирку, всеобщая потеря памяти на несколько минут рассвета. В каморку в этот раз Шаффер один заходить не решился, заглянули вдвоем с помощником.

В ящике никого не было. На лежанке, под ней, под подушкой, одеялом и так далее — тоже. Было в углу каюты, на потолке над входом. Огромный тропический таракан. В палец длиной, в полдюйма шириной. Вполне обыкновенный, за исключением окраски брюшка. Вместо привычных желто-коричневых полос там был словно графически исполненный шарж на Гитлера. Узнаваемый абрис лица, черная челка, закрывающая полукружие левого глаза, полоска усиков над овалом открытого рта. Насекомое осторожно поймали простыней, переместили в закрытую коробку.

По тому, какие взгляды его помощник стал бросать на кобуру, Хайнц понял: мысли о суициде возникли уже у всего немногочисленного, в два корветтен-капитана, командного состава подлодки. Экипаж, понятно, поберегли, ничего рассказывать не стали.

Впрочем, спустя неделю старпом, покопавшись в памяти, выдвинул обнадеживающую гипотезу.

— Вот смотри, — шептал он на ухо Шафферу в радиорубке, — по мистике, одиннадцатое мая — это знаки корня и земли, а двадцать седьмое — плод и огонь. И мы получаем рыжую любящую фрукты обезьяну. А десятое июля — это цветок и воздух. И у нас крылатый летающий таракан. А двадцать пятое июля — снова корень-земля, цикл замкнулся, все восстанавливается!

Смысла в этом монологе Хайнц не уловил, но на всякий случай спорить не стал. Лучше иметь хоть какую надежду, чем совсем без оной.

К концу июля экипаж начал вторую полусотню суток без выхода на поверхность.

Мусор, в основном использованную туалетную бумагу и объедки раз в неделю выбрасывали сжатым воздухом из торпедного аппарата. Однако, днями накапливаясь, все это добавляло вони в и без того уже почти режущую глаза,

как от обезьяньих какашек, атмосферу внутри подлодки. Чтобы хоть как-то поднять настроение, капитан разрешил в ночное время при перемещении под шноркелем по очереди курить в моторном отделении. Там все равно и своей гари хватало. По другим поводам передвигаться по субмарине без разрешения было запрещено, дабы не нарушать дифферент при постоянном движении в подводном положении. Люди, по сути, были прибиты либо к своим постам, либо к постоянно влажным койкам. Подлодка часто наполнялась паром, который, дополнительно к запахам, заставлял глаза слезиться и саднить, загаживал легкие, от чего практически все постоянно кашляли. Это происходило потому, что каждая волна автоматически закрывала клапан шнорка и временно снижала давление, пока клапан не откроется и не впустит свежий воздух. Конденсат постоянно сочился по переборкам, деревянные части лодки стали гнить. Помещения почернели от неизбежных выхлопных газов, так как давление воды становилось слишком большим для износившихся уже выхлопных дизельных клапанов, и почти каждый день клубы дыма заполняли подлодку. Мыло закончилось, стирать приходилось соленой водой, одежда не

успевала высыхать. То, что не стирали, валялось где попало из-за нехватки места в шкафчиках. Форма прилипала к телу, из-за мытья только соленой водой моряки постоянно чесались. У всех под глазами образовались черные круги, лица стали бледными и даже зеленоватыми, похожими на изумрудные от неистребимой плесени переборки. Люди все больше и больше походили на живых мертвецов. Когда не было вахты, просто лежали в своих койках в полном оцепенении. В машинном отделении фактически купались в поте и масле, больше других страдая, сами стали обрастать плесенью. Помимо легочных пошли кожные заболевания.

Только вера в великую миссию и в гений спасаемого от врагов фюрера сохраняли команду от бунта или разложения.

Однако старшие офицеры субмарины были лишены и этого.

25 июля поутру они перешагнули многократно проклятый ими порог.

В ящике было абсолютно пусто. Перерыли и тщательно осмотрели постельное белье, саквояж Гитлера, раскуроченную дьявольскую машинку, потолок, стены, пол. Ничего и никого.

— Ай! — взвизгнул старпом. Ногтем щелкнул

что-то на запястье левой руки. Побледнел. Развернул кисть. На ладони был раскатанный в лепесток здоровенный клоп. Ярко-рыжий. Впервые Хайнц увидел, как человек седеет в секунды, прямо на глазах.

— Может, это не Он? — с надеждой спросил Шаффер.

Ну да, как же. Ранее клопов на борту субмарины не было. Так же, как до ее отплытия на U–977 не было тараканов, крыс и обезьян.

Не выпуская раздавленное насекомое, старпом потянулся правой рукой к пистолетной кобуре.

— Стоп! — скомандовал капитан. — Что бы ни произошло, нам надо довести команду до берега. Спасти ее! И еще ты рассказывал о жене и дочках в Бремене. Если ты умрешь, кто о них позаботится?

Седой человек задумался. Присел на лежак. Посовещавшись, решили: все произошедшее — воля вышних сил, потому не простым подводникам о том задумываться. Команду убедили о необычном пассажире никому не рассказывать, дабы всем хуже не было. Если исчез, так, может быть, его и вообще здесь не было?

За Гибралтаром, поскольку таиться уже не было смысла, подлодка всплыла.

Странным образом в итоге добралась до Аргентины, где и сдалась.

Таинственный прибор вместе с саквояжем от греха подальше заранее выбросили в океан.

На останки клопа Шаффер не претендовал, потому старпом положил их в спичечный коробок и забрал себе.

И потом долгие годы разглядывал, дивясь необычной судьбе фюрера, по итогу своей жизни раздавленного ногтем сотрудничающего с гестапо убежденного нациста.

Дмитрий Никитин. *ПУСТЬ ВСЕ КРУГОМ ГОРИТ ОГНЕМ*

Он понял секрет пламенного дыхания дракона. Просто внутри уже не хватает места для огня, пожирающего сердце.

Переоделся в летный комбинезон и сел ждать вместе со всеми в углу пустого ангара. Молчал, пока другие о чем-то разговаривали в стороне.

— Ладно, ребята, пора! — поднялся командир.

Доехали до самолетов в кузове грузовика, лежа на парашютах. Несколько минут прошло в ожидании сигнала на взлет. Ракета! Командир запустил двигатели — сначала два внутренних, потом два внешних. Огромный самолет дрожал, готовый сорваться с места. Над ними светлело вечернее небо.

— Закрылки тридцать!

— Закрылки тридцать! — повторил, опуская закрылки.

— Открыть радиаторы!

— Радиаторы открыты!

— Блокировать газ!

— Сектора блокированы!

— Готовность к взлету?

В шлемофоне послышалась перекличка «все окей!» штурмана и бортстрелков. Он просто кивнул. У него, второго пилота, тоже все было в порядке. Командир высунул руку с оттопыренным большим пальцем. Тот же жест повторили из кабин соседних машин — слева и справа. Сегодня взлетали тройками. Перегруженные «Ланкастеры» с натужным ревом отрывали от земли короткие раздвоенные хвосты и сразу уходили вверх. Там, среди закатных облаков, неспешно собиралась армада из тысячи бомбардировщиков возмездия.

Перед его глазами опять стоял город, испепеленный летающими хищниками. Тогда он расспрашивал о жене и малышке, а ему все говорили об огне, поднявшемся до неба, о зареве, что видели из соседних графств… На закопченной стене, оставшейся от собора, кто-то вывел мелом: «Господь, прости!» Он не мог простить — ни себе, ни им. Пламя, начавшее пожирать его сердце, не утихало больше ни на минуту. Он, Дракон из Ковентри, летит вернуть огонь назад, в гнездо драконов.

Над Каналом их покинули последние отблески солнца. На широких плоскостях тускло мерцает

лунный свет, призрачные ореолы винтов рубят стеклянный от холода черный воздух. Армада мстителей надвигается на скрытую клубящимся туманом страну чудовищ.

Бомбардировщики безукоризненно четкими рядами заходят на назначенную цель. Лидеры «Москито» уже обозначили ее световыми бомбами-маячками. Он, как друзьям, подмигнул этой россыпи красных дьявольских глазок. «Ланкастер» вздрогнул, постепенно освобождаясь от груза. Внизу, под облачным одеялом, кипела славная огненная каша, бурлящая тысячами и тысячами взрывов ковровой бомбардировки. Он был доволен. Снова все сделано как надо.

Вспышка! Удар, будто налетели на стену. Вот невезение — попасть под слепой огонь с земли. Командир мягко валится на разбитые приборы, надо успеть перехватить управление. Передней кабины нет, исчезла со штурманом и радистом. Остальных не слышно. Не их ли парашюты остались позади? Армада ушла, ушла без него… Он один, потерянный в темноте. Ревет обжигающий ветер в выбитых стеклах. Ревет «Ланкастер», захлебываясь, последним мотором. Кто знает, где он? Дождаться рассвета, чтобы найти, найти последнюю цель.

Утро. Под ним море, серые волны. Не им погасить огонь его сердца. Там, впереди, берег. Он летит так низко, что видит бегущих к зениткам солдат в глубоких шлемах. Острые черепичные крыши, как шкура дракона. К стеклам прилипли детские лица. Наверное, школа.

Грохочут зенитки, всаживая в «Ланкастер» огненные спицы. Страшная боль скручивает тело. Но он еще жив, распятый внутри машины, его сердце еще бьется рядом с рокотом могучего «Мерлина». Из школы разбегаются дети. Фашистские ублюдки! Вам больше не маршировать в гитлерюгенде! Не взять в руки автоматы, не сесть за штурвалы бомбардировщиков!

Поднятый винтом ветер развертывает полотнище на флагштоке. Голубое с желтым крестом!

Железный дракон протестующе взвыл, кренясь набок, уходя к скалам.

Швеция! Не немцы, нейтралы. Он чуть не убил невинных детей! Месть сделала его монстром! Все напрасно, напра…

Он смотрит на огонь, что весело трещит в камельке. Ему тепло, уютно и спокойно. Когда в очаге гаснут последние искры, он выходит на порог. В светлых весенних сумерках дома выглядят особенно красиво и таинственно. Делает шаг и

воспаряет на уровне влажных крыш, заглядывает в квартиры, где разговаривают, сидят за ужином, смотрят телевизор. Подлетает к одному из окон и ловит восхищенный взгляд распахнутых детских глаз.

— Привет, Карлсон!

— Привет, Малыш, — как обычно, сказал он. — Я не прочь слегка поразвлечься!

Через пару минут они уже весело распевали:

Пусть все кругом
Горит огнем,
А мы с тобой споем:
Ути, боссе, буссе, бассе,
Биссе, и отдохнем.

Витольд Зайчонски. *УЗЕЛ*

Все происходило так же, как и в любом другом конце растущей империи. Варвары этой земли — будущей римской провинции — проиграли отлаженной военной машине свою последнюю битву. Теперь та же машина преследовала и уничтожала разбежавшиеся остатки здешних войск и ополчений. Почти каждый день от легиона отделялись манипулы и мелкие отряды, чаще конница и легкие пехотинцы-велиты, уходили преследовать растворяющихся в лесах врагов. Основа же — три когорты тяжелой пехоты — медленно ползла на северо-восток, преследуя все еще организованное ядро вражеской армии.

Противник уже не был способен сражаться. Сложно даже сказать, сколько у него осталось бойцов. Может, пятьсот, а может, только пятьдесят. Но среди них был царь. Или вождь, или воевода — кто же варваров разберет. Его надлежало доставить в Рим. Если живым, то в клетке, если нет, то в виде головы. Нумерус Антон Северус скривил рот: последнее было бы предпочтительнее из соображений простоты транспортировки. Особенно по таким-то местам: вторую неделю

легион устало маршировал по лесу среди дымящихся туманом болот.

* * *

Поредевшему полуэскадрону удалось уйти в лес и оторваться от преследования, остальным подразделениям двух дивизий Армии Крайовой повезло гораздо меньше. Однако выйти из леса полуэскадрону не удавалось, разведчики возвращались с одним — везде немцы. Неделя блужданий, и стало очевидно: война окончена и армии больше нет, как и самой Польши. Продовольствие кончилось, не начавшись. Съели первую лошадь — все равно она пала бы к вечеру, неспособная питаться редкой лесной травой. Еще через два дня стало понятно: остальные лошади повалятся раньше, чем их успеют съесть. И ротмистр решил атаковать ближайшую деревню.

Немногочисленных ничего не ожидавших фрицев удалось смять. Однако немецкая военная машина брешей не допускала. Из деревни бежали вразнобой, прихватив то, что попалось под руку. Больше из леса не выходили, шли на юг — по лесам и болотам.

Через три недели полуэскадрон насчитывал одиннадцать человек и одну лошадь. Почему она

была жива, было первой загадкой, как ухитрялась тащить на себе пулемет — загадкой второй.

Открывшееся среди болот пространство показалось чудом, развалины древнего замка на нем — обыденностью. Контуры, очертания камней были размыты временем, а туман вносил свой вклад в угнетающую картину. Однако люди впервые за много дней заночевали в помещении. Наличие стен успокаивало.

* * *

Анжей Гладко. Все понимали: он давно потерял будущее. Пулеметчик не верил, что переживет войну, и не интересовался, будет ли жив ближайшим вечером. Как выдрессированная лошадь, тупо двигался, выполнял привычные действия. Вставал утром и шел непонятно куда по болотам, ведя нагруженную пулеметом лошадь. Вечером отвязывал треногу, потом ствол и устанавливал оружие на позицию, впрочем, совершенно не задумываясь о качестве этой позиции и даже о том, в каком направлении с нее можно вести стрельбу. Остальным, включая ротмистра Потоцкого, тоже было на все наплевать. Да и как иначе, если от голода и усталости перед глазами вращались разноцветные круги, шорох леса казался речью,

а речь — бессмысленным шорохом.

* * *

Авангард доложил о закрывающей лесную дорогу крепости, а разведчики — что в крепости едва ли наберется два десятка варваров. Нумерус Антон Северус, всадник, командир легиона, задумался. Что делают здесь две тысячи римских воинов? Крепость без постоянного гарнизона, те, что вошли в нее вчера, измотаны и небоеспособны. Значит, центурии, максимум манипулы, достаточно, чтобы без каких-либо потерь поставить точку в этой военной кампании.

Идея, пришедшая в голову Северусу, была свежа для данных обстоятельств, хоть и не отличалась новизной глобальной. Есть легион, есть хоть и тесное, но открытое пространство. Есть неприятель, пусть скорее условный, чем реальный. Можно провести учение: отработать атаку строем с ротацией авангардных манипул. Места перед крепостью, хоть и с трудом, но хватало для маневра второй или третьей когорты. Северус решил послать вторую, а большую первую и третью просто построить в лесу — пусть изображают резерв. Что касается варваров, то красота марширующей римской армии должна раздавить их и

заставить чуть живого царька самого ползти на коленях в Рим и просить смерти у императора.

* * *

Гладко сидел, привалившись к пулемету, и смотрел в сторону леса. Именно в сторону, не фокусируя взгляд. Не спал. Сон он потерял вместе со всем остальным. Не ждал и рассвета. Просто сидел. Остальные лежали. Не рассеивающийся даже ночью болотный туман наполнял крепость.

Шорох леса постепенно перестал быть шорохом. Теперь это была речь, команды. Туман не позволял различать слова, но немецкого никто из укрывшихся в крепости все равно не знал. Как-то сами собой бойцы выдвинулись к проемам окон и передернули затворы карабинов.

Наступающих было много, а из-за тумана количество их казалось бесконечным. Шли они плотно, не стреляя и не боясь оказаться под пулями.

* * *

Когда передняя линия развернула строй, Северус дал сигнал, ударили барабаны и заревели трубы. Когорта, как на параде, двинулась впе-

ред. Варвары ответили лишь нелепым треском. Управлять наступлением в полупрозрачном тумане было трудно, но для того и устраиваются учения.

Нумерус Антон Северус не сразу понял, что в передних рядах бой идет не так, как задумано. Варвары оборонялись слишком хорошо. Успех замены передовых манипул был лишь частичным: свежие подразделения выдвинулись вперед, из старых же, побывавших под стенами, мало кто вернулся назад. Разведчики ошиблись, и крепость была битком набита отличными лучниками и пращниками. Манипулы из парадных каре превратились в черепах, закрытых чешуей щитов. Они подползали под стены, метали вверх, в окна, тучи коротких копий и редеющие, истекающие кровью ползли назад, уступая место новым черепахам.

* * *

Казалось, Гладко так и сидел, расфокусированно глядя в окно, но его пулемет стрелял или, скорее, изредка постреливал короткими очередями. Патроны вот-вот должны были закончиться. Звука пулемета было почти не слышно из-за грохота со стороны наступавших. Треск кавале-

рийских карабинов был не слышен совсем. Да и трещали они редко — страшно было остаться совсем без патронов, с одними штыками.

В окно влетела палка и ударила рядового Новака. Не просто ударила, а воткнулась в плечо. Новак дернул ее левой рукой и упал, обливаясь кровью. Палка напоминала короткое древко знамени с острым стальным наконечником. Удивляться никто уже не был способен. Голод, страх, туман, усталость, холод. Люди тупо защищали позицию, не задумываясь, стреляют ли в них из современного шмайсера или бросаются камнями и палками.

* * *

Атака захлебнулась. Точнее, захлебнулась вторая когорта. В собственной крови. Но Нумерус Антон Северус не был тем человеком, которого можно испугать или заставить сомневаться. Третья когорта пошла вперед, и все повторилось. Черепахи, ротация, максимум — броски копейщиков. Ни одна центурия не смогла перестроиться под стенами, чтобы начать прямой штурм. Потом пошли манипулы первой когорты.

В тумане время не чувствовалось. Полдень ничем не отличался от раннего утра. Но к полу-

дню бой затих. Точнее, исчерпал себя. Нумерус Антон Северус понял, что потери несоизмеримы с задачей. В число потерь надо было записать и его собственную военную карьеру.

* * *

Новак истек кровью. Что убило ротмистра Потоцкого, никто не знал. Где-то через час боя он закричал, приподнялся и выпал в окно. Оставшиеся девять защитников крепости дождались вечера и ушли по тропинке в глубину болот. Лошадь тащила бесполезный без патронов пулемет.

Если кто-то из покинувших крепость бойцов полуэскадрона и задумался, почему немцы атаковали не стреляя и почему не смогли занять развалины, мысли эти пропали в болотах. Из болот никто из девяти не вышел.

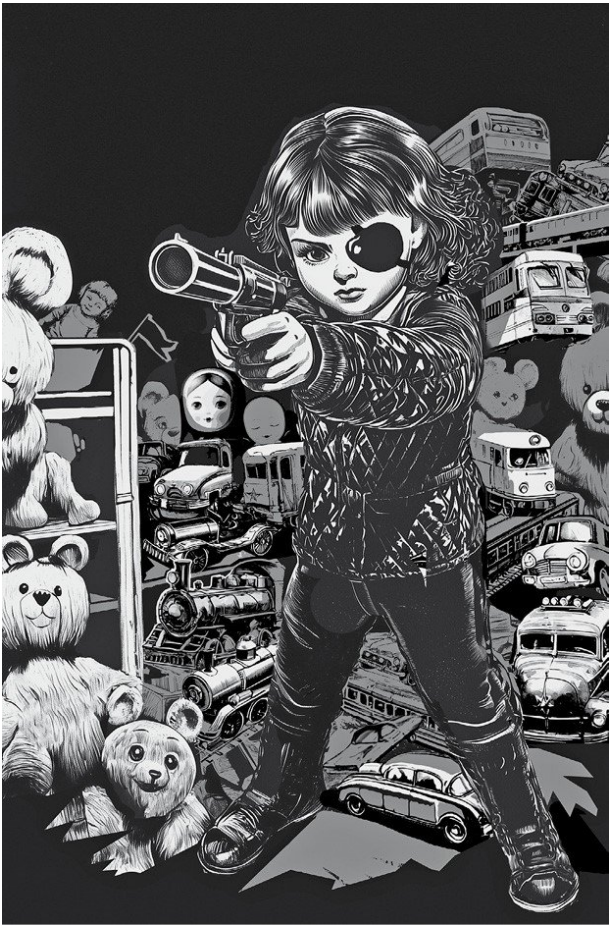
* * *

Потери легиона были огромны. Стрелы варваров пробивали щиты, доспехи, да и самих легионеров насквозь. И стрелы эти были заговоренные — ни одной не удалось найти ни на поле, ни в теле убитого. Впрочем, никто из медиков

легиона не был настолько любопытен, чтобы поискать наконечник в глубокой тонкой ране. Разгром приписали гневу богов и больше не задумывались над загадкой варварских стрел.

На самую большую загадку тем более никто внимания не обратил, да и не мог обратить. Как неполного боекомплекта одного пулемета и нескольких обойм кавалерийских карабинов хватило, чтобы уничтожить почти двенадцать сотен легионеров? Чье еще оружие вплелось в этот случаем завязанный узел войны?

За воротами гетто



Елена Лаевская. *КУКЛА ТОВАРИЩА БЕРИИ*

Кукла была красавица редкостная. С ангельским фарфоровым личиком, синими глазами, полными королевского достоинства, алым бантиком рта, двумя толстыми косами из беленого конского волоса.

— Это мне? — не веря своему счастью, прошептала семилетняя Фридка, обмякнув от важности момента.

— А кому же еще? — пароходом и человеком прогудела необъятная тетка Двойра, продолжая доставать из фибрового чемодана на три замка все новые и новые подарки. Подарки тетка выкладывала на кровать с железными шарами, предварительно согнав оттуда трех Фридкиных братьев — двух младших и одного старшего.

Тетка Двойра, рыжая, высокая и сильная, как дворник Мекешка, приехала из Москвы навестить старую мамашу, и была она не просто так, а работала экономкой у самого — только шепотом сказать можно — товарища Берии. Стирала, выбивала ковры, обтирала фланелевой тряпочкой

золотые и другие редкие безделушки.

Про Берию Фридка, конечно, знала. А кто не знал? Они в школе учили: «Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия». Лаврентий Палыч казался отсюда, из далекого Гомеля, недоступным, как Дед Мороз, а тетка — его верной белой медведицей.

Откуда залетело божественное создание в чулан великого человека, так и осталось покрытой мраком тайной. Дочери у великого наркома не было, сам он вряд ли интересовался игрушками, во всяком случае история об этом умалчивала. Может быть, когда-то кукла, гордо задрав носик, восседала за маленьким столиком среди плюшевых мишек и деревянных паяцев в детской его жены. Может, случайно попала к неутомимому наркому после ночных рейдов по затаившемуся городу. А может, скрывая свое дворянское происхождение, сама спряталась в его чулане от греха подальше — у самого-то искать не станут. Теперь этого уже не узнаешь, да и кто будет пытаться? Не те уже времена. Не те.

Фридкина кошка-хвост-трубой красавицу куклу невзлюбила: та отвлекала на себя все внимание хозяйки. Кошка даже пыталась обоссать

вычурно пахнущее чудо-юдо, но получила веником по башке.

Так вот, Фридка рядом с куклой и дышать-то боялась. А вслед за ней боялись дышать три ее брата. Фридка ходила вокруг, поправляла кончиком пальца кружевные панталоны, шелковые чулки, башмачки тонкой кожи. Кукла морщила лобик, но новую хозяйку не отталкивала. Позволяла зарываться носом в пышные юбки. Вдыхать незнакомые запахи духов, шелковых подвязок, горячего шоколада. Господи, какой уж тут горячий шоколад, когда радость — это макароны, негусто припорошенные сахаром, прием в пионеры через долгих три года и прошлогодняя поездка к бабушке в Речицу, где можно поплескаться в заросшем кувшинками пруду.

Собственно, из-за бабушки вся история Фридкиной семьи чуть было не закончилась весьма печально. Первого июля, в самом начале войны, когда напуганная Фридка с братьями пряталась от бомбежек под столом, речинская бабушка решила помирать. Мама и тетка Двойра сгребли детей в охапку и успели-таки на похороны. Но чуть не опоздали на последний поезд в эвакуацию.

Тюки из простыней и зингеровская швейная

машинка с трудом были впихнуты в тамбур общего вагона, а Фридкину семью буквально вдавил в тронувшийся поезд проводник. Собственно, вполне мог бы и не справиться с людским, разбухшим паникой варевом, но в спину ему упиралась крепкими кулачками Фридкина кукла, а куклу подталкивала Фридкина кошка-хвост-трубой. Старались до последнего, пока окрашенная зеленой краской дверь не захлопнулась.

Кукла и кошка остались в пустом доме.

Ночью двадцатого августа в город вошли немцы.

При виде врагов кукла уронила чашку с чаем, а кошка зашипела и выпрыгнула в окно.

Дальше следы кошки затерялись. То ли она попала под пулю немецкого снайпера, то ли была съедена голодающими, то ли поймана войсками НКВД при попытке перейти линию фронта и расстреляна как английский шпион.

Про куклу же точно известно, что она прибилась к многодетной семье Кацев — папе, маме, полуслепой бабке, Мане, Тойбе, Мирре, Иосифу и маленькому Якову с пустышкой во рту. Кацы решили в эвакуацию не ехать. «Немцы — интеллигентные люди, мы еще с той войны это помним», — говорили они.

Маня полюбила куклу не меньше, чем Фридка, и аккуратно пришила ей на рукав желтую звезду. Теперь кукла стала для всех соседей полноправной жидовской мордой, хотя и не очень представляла себе, что это такое.

Вместе с Кацами кукла попала в гетто, растворившись среди всяких там Зильберов и Рабиновичей. И вместе с остальными детьми пряталась в подпол и в нужник, когда скромные чистенькие улицы прочесывали гомельские полицаи.

Маня взяла куклу с собой, когда ее семью отправляли телячьим вагоном в Аушвиц. Девочка надеялась, что так кукла будет в большей безопасности, чем дома.

Проснувшись на следующий день в пустом бараке и не найдя папу, маму, полуслепую бабку, Маню, Тойбу, Мирру, Иосифа и маленького Якова, от которого осталась только пустышка, кукла отправилась на разведку. Непонятно, что ей удалось рассмотреть при таком малом росте, но зато точно известно, что этой же ночью игрушечная бестия забралась по водосточной трубе в спальню гауптштурмфюрера Карла Фрицша, инициатора правильного использования «Циклона-Б», и заколола его стилетом, найденным среди кружевных трусиков, бюстгальтеров и кожаных корсетов

фрау Фрицш. Сама фрау Фрицш, тоньше мужа разбиравшаяся в душевной организации кукол, вовремя спаслась в ватерклозете.

— С ума сошла! — простонал пораженный в самое сердце гауптштурмфюрер. — Куклам нельзя убивать!

— Ма-ма, — просипела в ответ кукла, потянувшись за контрабандной сигарой. — Кого это в наше время интересует!

Завершив свое кровавое дело, кукла прихватила именной пистолет Фрицша и направилась на восток, в штаб группы армий «Центр» на конфискованном мотоцикле. Неизвестно, чем кукла занималась в наступающей армии, но через два месяца немцы потерпели поражение под Москвой.

С тех пор неуловимую куклу видели на фронте то здесь, то там. В сбитой на бок ушанке она вела батальон в атаку, подносила снаряды для «Катюш», брала в плен генерала Паулюса, сыпала тараканий яд Гитлеру в щи. В последний раз на войне кукла была замечена в Реймсе: она подавала Вильгельму Кейтелю, генерал-фельдмаршалу, подписывающему акт о безоговорочной капитуляции, серебряную ручку «Паркер», носовой платок и пистолет.

От пистолета генерал-фельдмаршал отказался.

— Ты потом дома. Не торопясь, при свечах, в уютной обстановке, — посоветовала ему фарфоровая нахалка.

Когда Фридка возвратилась из эвакуации, первой, кого она увидела, была кукла. Та сидела, привалившись к покосившейся двери в квартиру, крепко прижимая к себе вещмешок с американской тушенкой. У куклы была черная пиратская повязка через правый глаз, офицерские галифе цвета хаки и именной пистолет в фарфоровой ручке. Фридка не удивилась, ей было уже десять, в войну дети взрослеют быстро и не задают лишних вопросов.

— Ма-ма, — сообщила кукла. — Закурить не найдется?

Фридка захлопала по карманам в поисках самокрутки.

— Останешься? — с надеждой спросила она. — Я тебе новые панталоны сошью.

— По рукам, — прохрипела кукла. — Шей. Только кое-какие дела закончить надо.

Кукла и Фридка махнули по стопке за душу пропавшей без вести кошки, после чего фарфоровая красавица тихо исчезла.

В середине восьмидесятых, когда по стране вовсю бушевала перестройка, кукла вернулась к растолстевшей, поседевшей Фридке, жившей уже в Хайфе. Устроилась мирно на комоде между слониками и вазой с засохшими ромашками и обитает там до сих пор.

Периодически кукла исчезает с насиженного места, а потом возвращается, пахнущая потом и азартом преследования. Где-то в это же самое время вдруг умирает от поноса закулисный торговец оружием, в одном из государств заканчивается фашистский режим или маленькая страна дает в нюх многочисленным врагам. Фридка безропотно застирывает любимице кровавые брызги на рукавах платья. Фридка твердо верит: кукла товарища Берии знает, что делает.

Инна Девятьярова. *ЭТО БЫЛО В ЛЮБАВИЧАХ*[5]

Помню, был дождь. Мелкий, скудный. Весь день непогодило. Гляну в окно — там тяжелые капли по стеклам. Морось, маета. И березонька мокнет — бела, распростерлась над крышей, ветвями тяжелые тучи цепляет. И — диво — скулят под окном. По-собачьи, замрут и опять. А береза скрывает, тиха. Будто мне и не надобно знать, кто там плачет.

В сенях темнота. Душно. Дверь захотела открыть — Ваня рядом. Строжит:

— Ты чего? Одурела? Нельзя выходить. Комендант запретил.

Смотрит боязно. В дрожь, и рукою меня за платок:

— Не пущу!

У березки зовут. Снова. Тихонько так. Говорю:

---

[5] Notes: 5

Любавичи — деревня Смоленской области, центр религиозного хасидизма. В ноябре 1941 года в захваченной фашистами деревне было уничтожено все еврейское население, не успевшее эвакуироваться. Партизаны отомстили за эту казнь, забросав гранатами немецкие казармы. По свидетельствам очевидцев, в расстрелах евреев, партизан и им сочувствующих принимали активное участие и некоторые местные жители, ставшие полицаями при новой власти.

— Замолчи! Опостылел…

Озлилась. К дверям — в темноте. Открываю — и стонут опять. Под березой, и дождик все пуще.

Зовут.

Слышу:

— Гоб рахмонэс[6], баба Нина… Ой, гоб рахмонэс!

Голос тоненький, детский. Узнала соседскую Ривку. Ходила ко мне за сметаной. Пуглива. И слова не выронит лишнего. Знала отца ее — лучший портной из Любавичей. Аарон… Аарон Каган, портной, брал недорого, шил — любо-ладно. К нему вся деревня ходила… до немцев еще. А когда оказались под немцами…

Плачу. Туман в голове. Ваня — за руку:

— Тш-ш… дверь закрой! Полицаи увидят! Тебе-то что с этой еврейки?

Сказал — как по сердцу ножом. Резануло, кровит.

— А свое бы дите — оттолкнул? Отойди, мочи нет тебя слушать…

Березка светла. Укрывает, таит. Ветви вскинула, будто руками объяла. Я — к ней:

— Ривка, Ривка, не бойся! Пойдем со мной в

---

[6] Notes: 6
Сжалься (идиш).

дом!

Дождь солон. На щеках остывает, щекочет. А Ривка глядит на меня, и глаза ее черны.

— Баба Нина, нас двое! Я Леви взяла… убежали… мне мамка сказала: беги. В лес беги…

Дождь тихнет. Последние капли стучат, оседают о землю. Все громче… и крики. Летят — отдаленные, страшные. Ривка бледна.

— Баба Нина, спаси! Не меня, так хоть Левика!

Тянет его за рукав. Он чумаз и испуган. Березка за ним — как стена.

— Не пойду к бабе Нине! — ревет. — Мама, мамочка!

Ветер удал. Налетел на березу, шумит. Глушит выстрелы — там, у оврага. Я помню, там скот выпасали, на поле. Трава — высока, мне по пояс. И черный и склизкий овраг, весь заросший крапивой. С утра повели всех евреев Любавичей. Туда, до оврага. Я помню. А нам запретили смотреть…

А теперь вот она, Ривка. Плачет. И Леви глядит на меня, и в глазах его мука.

Да что мы, фашисты? Детей — оттолкнуть?!

— Ваня! На руки Левика, быстро! И в дом! Ривка, тоже со мной!

Запах пороха. Дым — сизый, едкий, седой. Ветер сеет его, развевает над крышею…

— Мама!

Ночь. Серебряны звезды в окне. Высоки, недоступны. Строги. Месяц — тонок, лукав — проглянул между ними и скрылся. Не спится.

— Ривка, Ривка, мне боязно! — шепот. — Я к маме хочу. Почему ее нет? Кто мне сказку расскажет?

Скрипят половицы. Серьгой в небе месяц, остер, осуждающ.

— Тише, Левик, не плачь. Я сама расскажу. Лучше мамки. А ты засыпай… Вот… А мол из гевен[7]… Левик…

Ночь-колоброд.

Закрываю глаза. Веки — точно свинцовы. Приходит во сне: я юна. На мне белое платье. Иду через мост, подо мною река — пенна, мрачна, буйна. Набегает тугою волной. Со мной Ривка и Леви.

— Про что будет сказка? — он шмыгает носом. Глаза его ясны, бессонны.

По небу бегут облака, отражаясь в реке белобоко.

— Про цадика Бешта, — на Ривке венок из цветов, она точно невеста. Смеется. — Как он плыл

---

[7] Notes: 7
Жили-были (идиш).

в Стамбул на кафтане. Как он помолился, надел китл[8] и поверх него — талес, проверил цицис[9], а потом разостлал свой кафтан на воде… — говорит она, Ривка, и взгляд ее странен.

Смотрю — и вода поднялась. Недобра и тяжела, и смыла дорогу и мост. Мы в воде, все втроем. Дымный привкус во рту. Порох. Я задыхаюсь. И вдруг…

— Леви, Леви, смотри: он плывет! — слышу.

Бурные воды. Бездонна река. Точно море, которого я не видала. Велико и пенно, и, точно корабль, плывет по нему разноцветный кафтан, а на нем — кто-то белый и строгий, и солнце вокруг головы. Ослепляет. Я жмурюсь.

Когда открываю глаза, вижу Ривку. Она не в воде — на кафтане. С ней Леви, берет ее за руку, машет рукой.

— Баба Нина, а ты? — говорит. — Поднимайся! Вставай на кафтан! Бешт спасет тебя тоже! Он добрый, он всем помогает.

Волнительно море, мрачно. Его воды шумят

---

[8] Notes: 8

Китл — белое полотняное долгополое одеяние, надеваемое набожными евреями в особых случаях.

[9] Notes: 9

Талес — в иудаизме молитвенное покрывало, накидываемое поверх одежды мужчинами во время утренней молитвы. К углам талеса в соответствии с заповедью привязаны четыре кисти, называемые цицис.

неотрывно. В них — голос неистовый, страшный.

— Берись за кафтан! Это будет кфица́с а-де́рех, сокращение пути! Миг — и всё совершится!

И я просыпаюсь. Жужжит неотвязная муха. И месяц пропал, затаился. И кто-то скребет у дверей. Три пристука — молчанье. И снова.

Сон сгинул, как будто и не было.

— Ваня, открой! — выдыхаю. — Пришли.

Темнота — точно волны морские. Глубока, сыра, необъятна. В ней тонут шаги. Дверь со скрипом открылась.

— Сынок! — Ваня радостен. — Вот это гости ночные! Не ждали… Как там у вас?.. Нина! Семен воротился!

Я помню: сын был в партизанах, тем летом ушел. Сказал, что проведывать будет. И весточки слать. Как бы ни было тяжко.

— Поешь… посиди с нами хоть…

И зажглась керосинка. Свет — желтый, скупой — заплескался, робея. Сын худ и небрит, и лицо его смурно.

— Зачем они здесь? — и рукою на Ривку.

А Ривка бедова. Спит, Леви обнявши. Бормочет во сне: «Шма Исраэль… Шма Исраэль Адонай

Элоэйну… Адонай эхад»[10].

И я помню — плывущий кафтан по воде, и фигуру на нем, в ослепительном солнце. Чудно. Странный сон, и не мой будто вовсе. Как Ривка со мной поделилась.

— Так немцы… — и Ваня мрачнеет. — Согнали евреев к яру, там, за выпасом — и порешили. Всех. Эти — спаслись. Что теперь с ними делать?

Косится на сына. Семен не отводит глаза.

— С собой заберу, — ударяет рукой по столу, — к нашим, в лес. Сбережем. А за яр — эти гады ответят…

Посуда звенит. Тени, черные, мелко дрожат на стене.

— Адонай Элоэйну… — упорствует Ривка во сне. — Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.

…Кто-то в светлом плывет и плывет по бездонному морю. И ясный огонь — перед ним.

Выпал снег, и все сделалось белым. И береза стоит, точно в саване. Холод, мороз на окне слюдяные узоры рисует. Дверь откроешь — и стыло. Вьюжит тихонько…

Гром. Да такой, что изба задрожала. Помню:

---

[10] Notes: 10

«Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь един!» — начало главной молитвы в иудаизме, называемой «Шма».

гул, лихорадка по стенам. И красное пламя в окне. Тянет, мечется. Птицы тоскливо кричат, поднялись над избою.

Я за дверь.

— Ваня! Наши пришли! Партизаны! И немцев гвоздят! Посмотри — их казармы клятущие… в пламени! Ваня, ура! Наконец-то!

И снова гремит. Запах гари и черный клубящийся дым. Высоко воздымается. Яро лютует огонь.

Суетливо трещат автоматы. Кричат по-немецки отрывистым лаем команды. Я смеюсь.

— Получайте, фашисты проклятые! Чтоб вам пусто всем было! Чтоб в ад забрало!

Утихает. Огонь прибивает к земле. Дым унялся. Вороны на тыне сидят, любопытные, строгие. Крылья серы, точно пепел. И бусинки глаз изумлены.

Береза бела и гола.

— Нина! — Ваня потерян. — А ведь не простят нам. Узнают, что сын в партизанах, и… Может, коровой откупимся?

…Зряшны надежды.

Черен лес. Вечереет. Румяное солнце пропало, зашло за деревьями. Снег — сух и хрустящ и следами изрытый.

— Шнель, шнель! — подгоняют.

Иду. Ваня — рядом, молчит.

— Русиш швайне! Стоять! — приказали.

Косматая ель. Вся в пушистом снегу, а на ней — две вороны. Лукавствуют, смотрят на нас. Что там в мыслях вороньих?

— Ви есть помогайт партизанам! Ви есть укрывать их! — щелчок пистолета. — Герр полицай будет вас наказайт!

Немец. В серой шинели. Высок, белобрыс… и чего-то боится. Глядит на ворон. Ель — раскидиста, ладна. Вороны немы.

…Страшно почерневшее небо.

— Яволь, герр оберштурмфюрер!

Я помню, вороны соврать не дадут — его звали Григорий. Григорий Печерский, сосед. Комсомолец. Отца его знала — порядочный был человек.

— Что ж ты, Гриша… — смотрю на него. Не отводит глаза. — Что ж ты, глупый, творишь… Не век мы под немцами будем. Как наши придут — что с такими, как ты, полицаями, сделают? Знаешь?

Темнеет, надвинулась ночь, налегла из-за черных деревьев.

— Молчать, курва старая! — вскрик. Побелело лицо, брови сдвинуты. — Слушать еще тебя… ишь…

Заходила рука. Пистолет — зол, свинцов, в нетерпении.

— Герр оберштурмфюрер… а… а-а…

Ель, заснежена, мрачна — открылась, подобно пещере. За ней был пронзительный свет, запах моря, и кто-то в белом по небу, плыл на кафтане. Вороны к рукам его льнули, и снег застревал в бороде.

— Делай, как я, и спасешься, — сказал он. — Берись за кафтан.

Взгляд его был отчаянно тепл. Закричали вороны. Хищно, черно взлетели над ним. Их точеные клювы метались. Накрыли собою Печерского. Тьма, беспорядочность крыльев.

— А-а… глаза мои… больно… — Григорий стонал. Он сидел на снегу, и лицо его было в крови, бледно, страшно, незряче. — А-а… как больно-то… мамочки… больно…

Вороны парили. Клювы их были точно ножи. Бешт смотрел. Бешт смеялся.

— Хочу, чтоб ты жил, — прозвенело над елью. — Слепцом изувеченным. И чтобы всем рассказал, что с тобою случилось. Спутник твой — он уже не расскажет.

Невиданный свет. Разливался, теснил темноту. Белой молнией — в землю. И вот расступилась

земля, широко, как волны морские.

Необъятна. Вольна.

Крик.

Метались испуганно руки. Трещал пистолет, заполошничал… смолк.

Помню, даже сейчас — он по пояс в земле. Немец в серой шинели. Дрожит.

— О, майн готт… помоги… — и глаза его пьяны и мутны.

Шипя, наступает земля. Окружает, взахлеб, с головою. Он — по маковку в ней. Только шапка наружу.

А Бешт говорит:

— Это чудо? О, нет. Это искренность. Если ты честен пред Господом, он помогает тебе. Если же нет…

И уходит. И ель затворяется вслед. Будто не было. Будто приснилось… мне, Левику, Ривке, в колючем и страшном лесу, под звенящей луною… зачем? Вот вопрос без ответа.

Оседаю на снег. Луна высока и нема.

— Нина! Худо тебе? — Ваня держит за плечи.

Луна — как вороний зрачок, любопытна, кругла. Наблюдает за лесом. Шаги. Снег шуршит под ногою. За нами…

— Мы здесь, баба Нина! — такая беспечная Рив-

ка. Смеется. Мой сын вместе с ней. — Бешт снова приснился мне. Был на невиданной, тяжкой горе, с другою сомкнулась она по велению Бешта, а он мне на ухо шепнул, чтобы шла я к тебе… Ну, не надо так плакать! Бешт злого не скажет!

Встаю. Опираюсь на сына. Качается ель, как гора. На вершине ее — белым-бело и ясно. Слепит. Если это не чудо, то что же тогда чудеса? Вот вопрос…

И боюсь, что при жизни ответ на него не узнаю.

Примечание:

Бешт (Раби Исраэль бар Элиэзер Бааль Шем Тов) — основатель хасидского движения. Считался великим чудотворцем и цадиком (праведником). Основной идеей его учения было то, что для Господа главное не ученость и следование правилам, а искренность, чистосердечность молитвы. Про Бешта еще при жизни ходило много легенд, переросших впоследствии в еврейские народные сказки. Рассказывали, что, когда он молился, от лица его исходило сияние. Что он мог пророчествовать, с абсолютной точностью зная, что случится с каждым из тех, кто к нему обращался. По одной из сказок, когда он в глубокой задумчивости стоял на вершине горы и

шагнул с нее в пропасть, вершина другой горы приблизилась к Бешту, и он перешагнул на нее. Другая сказка гласит, что он совершил путешествие по морю в Стамбул на кафтане и даже спас таким образом тонущий неподалеку корабль, привязав рукав своего кафтана к якорной цепи корабля. В третьей сказке рассказывается, как он с помощью молитвы вогнал разбойника в землю сначала по пояс, а затем с головой. В четвертой — по молитвам Бешта, к врагу его спустились два коршуна и выклевали глаза у врага.

Григорий Панченко. *СМЕРТЬ ГЕОМЕТРИИ*

Теорема заболела…

Эта дорога у местных называлась волок, то есть — не для колес. Кроме местных, ее никто вообще никак не называл, не знал, да и вряд ли мог заметить дальше, чем с пяти шагов. Оно теперь, конечно, к счастью, но Сереже бы сейчас поменьше такого счастья.

Тропа в один санный след шириной. Не тех саней, которые розвальни, а лыжной волокуши. Сейчас у них обоих волокуши были куда менее нагружены, чем в прошлый раз, — и это тоже счастье. А на обратном пути…

Но думать об обратном пути сил уже совсем не оставалось.

Теорема заболела…

Он только на этой школьной песне и держался: ловил ритм шагов, берег дыхание. А Акимыч, седенький, щуплый, ростом Сереже чуть выше плеча, был точно из железа выкован. Теперь уже без смеха верилось в его рассказы, как они с зятем «позатой зимой» перетащили разделанную тушу

сохатого аж от Верхних Концов — вдвоем за три ходки — и ни шкуру не бросили, ни губастую голову, ни даже голяшки, которые охотники послабже всегда оставляют, а ведь из них навар ох как хорош.

Нижние Концы — это ведь куда ближе Верхних, правда?

Нижние. Концы. Нижеконецкий отряд. Отряд капитана…

А вот забыл он фамилию их командира. Или даже не знал: о таком не спрашивают.

Теорема заболела, Аксиома плачет…

Сочиняли всем классом, с голоса, так что никогда он не видел этих строк в записи, да и рискованно было записывать, честно-то говоря. Так что поди угадай, Аксиома — со строчной или с прописной, предмет это или имя собственное по школьному предмету? Наверно, все же со строчной правильно будет. Тогда и Алгебра, которая посреди следующей строчки, тоже. И Геометрия, которая в названии.

«Смерть Геометрии» — народная песня девятого «Б».

— Тут под ноги смотри, Масква, — не оборачиваясь, буркнул Акимыч, и Сережа очнулся. Осторожно шагнул через заметенный ствол,

опробовал лыжей снег по ту сторону, перенес вес. Укоротив ремень волокуши, столь же осторожно перетащил санки — в глубине их, под полушубком, чуть слышно звякнуло. Акимыч скривился, но промолчал.

Никакой «Москвой» Сережа не был, просто он, по здешним меркам, заметно акал, а еще, по тем же меркам, слишком часто и некстати вставлял в речь столичные выражения. Впрочем, сейчас-то командир отправил его с Акимычем именно как молодого-человека-из-столицы, вот так!

Были, правда, и другие причины, целых две. Первая — Сережа и вправду хорошо ходил на лыжах: пусть даже с Акимычем ему на дальней дистанции не тягаться, но в прошлый раз, помогая дотащить тяжелую волокушу обратно с полдороги, проявил себя очень даже прилично. А вторая причина…

Нет, ну все правильно. Хотя напорись они на немцев — это очень вряд ли поможет.

Теорема заболела, Аксиома плачет,

Рядом Алгебра в обнимку…

Или поможет? То есть на обратном пути — точно нет, не такая у них будет ноша… ну, часть ноши, малая: могут и не найти, если обшарят наспех, ища только оружие. А вот сейчас — что

такого: идут двое деревенских на менку.

— Лева, ну сам посуди: какой из парня деревенский? — строго произнесла докторша, с сожалением упаковывая для менки старую банку ляписа (пожертвовать хотя бы одним из драгоценных флаконов йода отказалась категорически). Она лечила еще бабушку командира и единственная в отряде называла его просто по имени.

— Почему бы и нет, — пожал плечами тот. — Москвич, но на лето к родне приехал. Так?

Сережа торопливо закивал. Это, между прочим, была абсолютная правда — по крайней мере, насчет родни.

— Зато дойдет и сани дотащит, — подытожил командир. — И с московским видом умные слова сказать сумеет. Только не слишком умничай и поменьше говори, понял? — Сережа кивнул еще торопливей. — И не обрезан. Ты ведь не обрезан, парень?

Изумление было настолько глубоким, что Сережа, комсомолец и сын родителей-комсомольцев, даже кивнуть забыл, только дернулся возмущенно. Как вообще можно заподозрить, что с ним в детстве проделали такую старорежимную чушь?!

— Да станут ли проверять, Левушка? — вздох-

нула докторша. — Ты же лучше меня знаешь, как у них. Родион Акимович еще сойдет за здешнего, он ведь здешний и есть, а любого чужака…

— Значит, это забота Акимыча — сделать так, чтобы никому за здешнего сходить не пришлось, — устало завершил командир. — Выбор-то каков?

С выбором действительно негусто. Менка предстояла особая.

Партизаны из нижнеконецкого отряда были редкостно богаты съестным, не понять откуда — вроде нет там подходящих деревень… ну, о таком тоже не спрашивают. Поэтому от них в основном получали продукты: муку или хлеб плохой выпечки, промороженные бруски замоченной клюквы, как-то даже кадушка меда перепала. А еще сало, иногда бараньи тушки или копченый окорок, чаще же крупно нарубленные куски конины.

(Некоторые старики этим были очень недовольны, а бородатый Смоленскер, который требовал, чтобы к нему обращались «реб Смоленскер», даже попробовал иметь с командиром серьезный разговор. Тот, правда, сразу сказал как отрезал: «Тут у нас лес и мороз решают, что трефное, что кошерное — ясно, ребе? Лес, мороз и я. Повторять

не буду». И не пришлось.)

Самим нижнеконецким нужна была прежде всего обувь и одежда потеплее. Плюс самогон, как без него, он сейчас во всех расчетах товар товаров: между отрядами, с деревенскими… меж деревенских и полицаев, когда… Даже немцы не брезгуют.

Еще сахар брали охотно. И фуражное зерно — что позволяло вычислить кое-что из того, о чем не спрашивают, но… ладно. Оно и по конине понятно: не очень тайно нижнеконецкие живут. Впрочем, на место встречи приходят осторожно и издали, а остальное — их дело.

Почему-то топоры им тоже были нужны. Это ведь не оружие, так что на менку, когда получалось, привозили без опаски, точнее, куда с меньшей опаской, чем полушубки, насчет которых всегда был риск: если опознают как военный или, того хуже, трофейный — всё. С сапогами тем паче виселица, они почти все трофейные.

Но сейчас дело было вовсе не в топорах или сапогах…

Теорема заболела, Аксиома плачет,
Рядом Алгебра в обнимку с Косинусом скачет…

Вот насчет Косинуса всегда было ясно, что если писать, то с заглавной: песенная поэма «Смерть

Геометрии» посвящалась персонально ему, всю школу измучившему своей придирчивостью. А эту строчку Сережа сам придумал.

Он улыбнулся и почувствовал, как из треснувшей губы на подбородок стекает капелька крови.

Косинус, Константин Семенович, был его персональным проклятием. Не как математик, а, так вышло, как чертежник: еще и этот предмет вел. Сереже уже и отец, инженер, помогал украдкой, а все равно после годовых экзаменов пришлось не праздновать со всем классом, а чертить, чертить… Безотрывно. Полторы недели.

Не может быть, чтобы из-за поэмы. Ну кто ему расскажет?

Недосданные за год чертежи он принес Косинусу на дом. Тот долго и очень внимательно просматривал их со странной усмешкой, что-то напевая про себя без слов невыразимо фальшиво, и Сережа вдруг с большим опозданием сообразил: напевает учитель именно мелодию поэмы. Той самой.

Результат Косинус объявлять не спешил. Предложил чаю, расспросил о планах на лето. (Сережа, изнывая, весь на нервах, совершенно не помнил, что ответил ему и даже пил ли чай.) А потом сказал: «Молодец!», аккуратно сложил чертежи

вместе и вдруг порвал их одним движением.

Оценку, правда, поставил, и даже хорошую. Ну, может, Константин Семенович слышал только мелодию, кто-то при нем случайно напел ее без слов.

Повезло.

Или наоборот: отправь тогда Косинус все перечеркивать, к бабушке Сережа бы поехал только в конце июля.

То есть вообще не поехал бы…

— Эй, Масква, не спи!

— Не сплю, — буркнул Сережа. На минуту приостановившись, нашел в себе силы снять рукавицу и, не сбрасывая с запястья ремешок лыжной палки, сунуть руку в широкий внешний карман. Бережно донес до лица тряпицу с ломтем замерзшего хлеба, развернул ее перед самыми губами.

Пятная тряпицу кровью, засунул корку в рот целиком. Жевал уже на ходу, с натугой, не давая времени оттаять.

Акимыч замедлил шаг, позволяя сократить расстояние.

— Тут выворотень хороший, — он кивнул куда-то в сторону. — И дровец малость запасли с прошлого раза. Ночевать будем.

— Сейчас? — вяло удивился Сережа. Он почти был готов поверить, что как-то ухитрился не заметить встречу с нижнеконецкими — и вот они уже идут назад, а перед глазами сумерки не нынешнего вечера, а завтрашнего утра. Хотя тогда почему — ночевать?

— Ошалел? На возвратном пути. До места еще… так… три поворота. За час добредем.

Волок петлял постоянно, следуя далеким изгибам реки и капризам неровно замерзающих болот, так что Сережа понятия не имел, о каких поворотах идет речь и как Акимыч вообще ориентируется. Не по небу же!

Солнце, давно уже спустившееся ниже леса, косо багрянило сплошной облачный покров — поди тут разбери, где запад, когда полнебосвода пылает. Лишь справа виднелся небольшой разрыв, через который проглядывали три ранних звезды, и ни одна из них совершенно точно не была Полярной.

«Смерть Геометрии», — подумал Сережа, глядя на почти равносторонний звездный треугольник.

Наверно, когда Геометрия умирает, над ее могилой ставят не крест и не пятиконечную звезду, а какую-нибудь такую фигуру.

Он покачнулся.

— Не спи, Масква, — пробормотал Акимыч, мерно переставляя лыжи. — Когда будем с этими говорить, не спи…

Насчет золота командир попросил разузнать у нижнеконецких просто от отчаяния. Но неожиданно оказалось, что оно у них есть — и это до крайности смутило тех, кто обычно ходил на менку. Их было только четверо, все — местные колхозники, мужики опытные, в возрасте… но темные: золота никто из них прежде в глаза не видел и в руках не держал.

То есть те, кто видел и держал, в отряде имени Дениса Давыдова имелись. (Тот же Смоленскер со скромным достоинством признался, что в «старое время» узнавал время не иначе как по трехкрышечному хронометру с музыкальным звоном от самого Генриха Мозера: «Во-от такая золотая луковица!» — и руками развел, как удачливый рыбак; потом спохватился и уменьшил размер с щуки на плотвицу.) Однако никого из них нельзя было послать по волоку на лыжах.

А Сережу можно, хотя он насчет золота знал в основном, что это Аурум — элемент из таблицы Менделеева под номером… а вот и номер забыл…

Самогон, разлитый по литровым бутылям: стекло — тяжкий и пустой вес, но негде взять другую тару. Правда, Акимыч говорит, что по нынешним временам и сама бутыль в хорошей цене. Ну, пусть.

Самосад, как его тут все называют, хотя на здешних огородах он не растет — табак. В плотных мешочках, рассыпной: с сигаретами попасться — все равно что с сапогами. Его гораздо больше, чем на обычной менке, но груз не тяжелый… и, наверно, потому он весь в Сережиной волокуше.

Мазь от лишая в двух баночках. Ляпис — в одной. Зубной порошок тоже в одной, совсем маленькой, но нижнеконецкие такую и заказывали, только для капитана. Несколько брусков страшного черного мыла, которое кое-где сейчас варят по деревням, и чудом добытая упаковка мыла аптечного, еще страшнее: ядовито-розового цвета, со столь же ядовитым запахом… вши, наверно, от него дохнут в радиусе ста метров.

Теорема заболела…

Можно поверить, что в лесу оно на вес золота. Впрочем, насчет табака в такое верится безоговорочно.

Полушубок, накрывающий сверху каждую из волокуш. Дюжина топоров без рукояток (все — у

Акимыча). Еще по одному топору на топорище в каждой волокуше, но не для обмена — с ними и назад идти. Это все обычное.

Три пулелейки. Вот их могут и счесть оружием, как могли в прошлый раз счесть бочонок ружейного пороха, затребованный нижнеконецкими на позапрошлой менке… хороший охотник с двустволкой иной раз больше навоюет, чем со шмайсером.

(Вообще права, конечно, врачиха: если немцы или полицаи перехватят, кто там будет разбираться особо! Но обходилось пока.)

Тяжелые, однако без пустого веса, связки подковных гвоздей. Как же все-таки нижнеконецкий отряд умудряется жить настолько нескрытно… Или самим это нужно для менки с деревенскими… а то и с полицаями?

Отчего бы нет. Бывают вещи и чудесатей.

В округе многие были уверены, что их отряд, партизаны-давыдовцы, именуется так не по Денису Давыдову, а по звезде Давида. Ошибались, но для такой ошибки имелись причины.

Отряд имени Дениса Давыдова порой называли еще Лесным Иерусалимом. Чего уж там темнить: в лесах обычно не рады беженцам из гетто. Но давыдовцы принимали всех. Командир, было де-

ло, как-то сказал, что спасти еврейскую старушку с внуком — урон для фрицев сильнее, чем если взорвать два моста.

С этим в отряде соглашались не все. Сережа тоже рад бы оказаться в числе несогласных, но никак не мог понять про самого себя: он-то кто есть? Тот, кто взрывает мосты (а их таки взрывали, пусть пока без него, и эшелоны под откос пускали, и фрицев убивали), или спасенный еврейский ребенок?

Однако это до осени главная проблема с побегом была — решиться на побег. Теперь давно уже так просто не убежишь, и сложно тоже. Разве что кто-нибудь из ответственных за охрану согласится закрыть глаза… золотым веком…

И действительно нашелся такой. Черномундирный эсэсман в довольно высоком чине, поэтому его смеженные веки могут спасти многих. Но и элемента под названием Аурум на них потребуется много.

Вот такие чудеса.

— Ага, — вполголоса произнес Акимыч, сбрасывая санную лямку. Топорик уже был у него за поясом. — Жди. Подходить не надо — если все ладно, сами подойдем.

И легконого, как мальчишка, выбежал на прога-

лину, навстречу тем троим, что уже ждали там.

С двумя поздоровался запросто, с третьим — как с незнакомым. Тот и стоял малость наособицу, а ростом был тут выше всех, плечи широченные, топор за опояской как-то особенно ловко прилажен… Наверно, он и есть ответственный за Аурум.

Что это будет: колечки, николаевские червонцы? Может, и золотые часы…

«Или золотые зубы», — вдруг словно шепнул кто-то незримый, обжег ухо ледяным дыханием. Сережу передернуло: он знал, что такие вот простые советские колхозники сплошь и рядом поспевают к расстрельным ямам в первую же ночь, даже прежде полицаев.

Не может быть. Да, есть и такие, но в партизаны они не идут.

Все четверо, коротко переговорив, уже приближались, верзила по-прежнему держался осторонь. Ох, не тюкнул бы он сейчас Акимыча по маковке: до сих пор все было на доверии, но вдруг Аурум и вправду сводит людей с ума…

Сережа демонстративно положил руку на обух своего топорика, отлично понимая, насколько мало от него, если что, будет толку.

— Все в порядке, Сергей Аркадиевич, — уважи-

тельно, без тени улыбки произнес Акимыч. — Смотрите, оценивайте.

— Ну, здравствуй, барин молодой, — наоборот, с улыбкой сказал первый из нижнеконецких, рыжий, как костер. — Смотри-смотри, оценивай! Разглядишь аль подсветить?

Тяжело звякнувший сверток из-за пазухи достал не он и не высокий широкоплечий (тот так и остался в нескольких шагах позади), а второй партизан, вовсе не примечательный.

— А есть чем, Конон? — негромко спросил Акимыч.

— Да отчего ж нет? — словоохотливо удивился рыжий. — Свечечка-восковка при мне, ай, хороша! Сейчас и затеплю…

Восковка. Да, свечи от нижеконецких тоже получали, еще с самой первой менки.

— Не надо, — мотнул головой Сережа. Закат еще чуть подкрашивал небо красным, а от нетронутого чистейшего снега все вокруг было белым-бело. Дрожащее пламя свечного фитиля только помешает.

Было бы чему мешать. «Не слишком умничай, поменьше говори»…

Какое счастье: в свертке не вырванные у мертвецов зубы. Россыпь монет и пара… это еще что?

Ну, украшения какие-то. Ладно, потом.

Он осторожно поворошил монеты. Удивился: ни одной десятки с профилем последнего царя, все какое-то разное. А, вот наконец профиль… но он женский. Щекастая тетка Б•М•ЕЛИСАВЕТЪ•І•ІМПЕРАТРИЦА. И цифры: 1749. Ого!

Двуглавый орел с короткой палкой в правой лапе и яблоком в левой. Пухлый крест без орла и без профиля. Изящного вида фигура в полный рост, хотя монеты с ней меньше и легче всех остальных; в руке… не понять, что в руке: похоже на букет или веник; надпись, кажется, по-немецки. И снова большие монеты с горделивым профилем, вроде бы мужским, но незнакомым. Буквы опять немецкие.

— От мусье наследство, — не слишком понятно объяснил рыжий партизан. Остальные двое помалкивали.

Ага. Ну, значит, французские буквы. Гитлер и по Парижу потоптался: мог кто-то из воевавших там привезти награбленное с собой.

Сережа потянулся к украшению. Медальон — вот как оно называется.

— И эти тоже, — с удовольствием кивнул рыжий.

Будет очень плохо, если медальон откажется раскрываться. К счастью, его почти бумажной толщины золотая крышечка сразу распахнулась. Внутри…

— А вот сейчас, Конон, подсвети, пожалуйста, — сухо произнес Сережа, впервые в жизни обращаясь ко взрослому на ты и без отчества.

Тот достал кресало и, со второго удара запалив фитиль маленькой, словно игрушечной, свечки, приблизил ее к медальону. Намного лучше видно не стало (портрет какой-то, эмалевый: женщина и ребенок), но Сережа удовлетворенно кивнул.

Открывать второй медальон он остерегся, но взвесил оба на ладони и вновь кивнул с понимающим видом. Зная, что монеты пробуют на зуб, поочередно взял несколько, стараясь выбирать разные, и осторожно прикусил каждую. Трое нижнеконецких партизан при этом напряженно засопели и придвинулись вплотную, переводя дух по мере того, как золотые кружочки возвращались на тряпицу.

— Годно, Сергей Аркадиевич? — будто бы с волнением спросил Акимыч. Сережа прежде и не подозревал в нем таких актерских способностей.

— Годно, — по-прежнему сухо ответил он.

— Вот и лады, — теперь в голосе Акимыча,

никто бы не усомнился, прозвучало подлинное облегчение. — Ну все, мужики, принимайте оговоренное. Конон, ты свечечку-то не туши — чай, послужит еще, церковная…

— Чего — лады? — вдруг прогудел третий, рослый, и двое остальных, уже сунувшихся было к волокушам, опасливо приостановились. — Вы вообще чьих будете?

— Ты это, Маркел… — нерешительно начал рыжий.

— Чай, тридцать лет уже Маркел. И не к тебе вопрос. Вы, стало быть, кто?

За обушок он не брался — тут вообще все, кроме Сережи, старались держать руки от топоров подальше. Но сквозь темнеющий воздух вдруг словно бы разом проступил абсолютный мрак.

— Туг на ухо, детинушка? — ласково, будто с неразумным подростком, заговорил Акимыч. — Не слышал, как…

— Тебя, старый лисовин, я слышал. А теперь давай мальца послушаем, — Маркел качнул бородой в сторону Сережи.

Похоже, первое впечатление оказалось правильным: могучий партизан действительно был ответственным за Аурум, пускай не нес его.

— Отряд Дениса Давыдова! — ответил Сережа

тем же тоном, что и Конону: сухо, почти надменно. — Знаешь о таком?

— А, — это было, как если в закипающий над костром котелок вывалить охапку снега: Маркел сразу присмирел. — Знаю, кто ж не знает.

И, избегая встречаться с Сережей взглядом, шагнул к ближайшей волокуше.

То-то. Давыдовцев знают все. И понимают, что шутки с ними шутить — себе дороже.

Когда они добрались до места, где собирались ночевать, было уже совсем темно. Шли почти налегке, с полупустыми заплечными мешками, а золото не вес, но Сережа совсем выбился из сил. Опустился на нарубленный Акимычем лапник, спиной прислонился к выворотню.

— Сейчас, сейчас, паря, — старик торопливо, но ловко сооружал костер. — Сейчас отогреемся…

Сереже едва хватило силы улыбнуться: Масквой Акимыч его больше не звал. И не станет.

Ночное небо по-прежнему было затянуто облачным пологом, и снова в нем виделся разрыв — больший, чем вечером. Узор звезд там складывался в целых два треугольника.

На их пересечении тускло мерцала едва заметная звездочка. Сережа вдруг представил, что это он.

— Как, борода? — втроем две волокуши не потащишь, Конону сейчас груза не досталось, потому он был особенно весел. — Умыли тебя, а? Вот и славно, вот и правильно!

— Ну, умыли, — без злобы ответил Маркел. — Так прощупать их надо же было — али, скажешь, нет? Капитан ведь настрого приказал…

— Ох, придержал бы уж язык, борода два уха! Господин капитан — он, чай, с его благородием Давыдовым вторую войну бок о бок…

Третий партизан, так за все время не сказавший ни слова, молчал и сейчас. Шагал по снегу, тащил салазки, смотрел на звезды, что прямо над головой.

И улыбался.

Старые страницы



Ефим Зозуля. *ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ ЧЕЛОВЕКОВ*

Повестка дня:

1) Вопрос о создании властного человека в масштабе заведующего карточным клубом и гостиницей.

2) Текущие дела.

На собрание пришли, кроме Латуна и Капелова, Кнупф, Ориноко, Камилл, Мурель, Батайль и бывший портной из Берлина Карташевич, который готовил проект типа модных женщин. Его пока никто не проверял.

Он что-то делал в своих комнатах, иногда оттуда доносились дикие визги, но ничего готового Карташевич еще не предлагал.

— Ну-с, — начал Латун. — Нам предстоит сегодня нелегкая задача. Нам нужно создать властного человека, который мог бы с достоинством управляться с карточным клубом и гостиницей. Кто желает по этому вопросу высказаться?

Говорунов было мало в правлении Мастерской Человеков, и Капелов выжидательно посмотрел на Мурeля: говори, мол, иначе что тебе тут

делать.

Мурель заговорил:

— Уважаемые граждане! Если вдуматься, то властные люди ничем особенно не отличаются от невластных. Если к ним приглядеться, то они порой слабее самых безвластных. Но их все же отличает некое умение пользоваться главным образом слабостью окружающих. В конце концов, тут дело в приемах. Нужна только техника. Все дело в технике. Надо уметь корректно третировать окружающих. А иногда и некорректно. Надо иметь хмурое лицо и вообще такой вид, точно нам все известно и все, по крайней мере, наполовину, надоело. Хорошо для этого опускать углы губ, а смотреть большей частью вниз, не нагибая головы. Говорить надо мало. Надо все отрицать, никого не хвалить. Вот этот колониальный полковник, который будет нам служить образцом — я тоже не раз видел его в городе, — именно такой тип. Не думаю, чтобы он в самом деле был особенно властным человеком. Вообще все люди обыкновенные. Все зависит, конечно, от обстоятельств. А его поведение — профессиональное, выработанное нелегкой жизнью, вынужденное. У теперешних европейских офицеров снобизм наигранный, их гордость — не гордость «достой-

ного отпрыска» знаменитого деда и прадеда, не рыцарственность и не аристократичность. Нет, это обыкновенная техника делячества. Да-да, это коммерческая маска. Это навыки по умению угнетать и подчинять себе людей. Это один из видов оружия по укреплению своей рабовладельческой мощи в колониях. Для того чтобы властвовать над рабами, надо быть таинственными, важными. Надо презирать, надо быть заносчивым, недоступным, далеким, страшным.

— Совершенно верно, — перебил Мурель внезапно оживившийся портной Карташевич. — Вы знаете, когда я был на военной службе, мой фельдфебель кричал на отделенного командира, которого заставал за чаепитием в обществе товарища рядового, его же земляка, но не прошедшего «учебной команды». Он так кричал: «Что же ты делаешь? Какой же ты начальник?!. Ты… собачье, а не начальник. С кем чай пьешь?! С подчиненным?! С рядовым! Ты еще поцелуйся с ним! Как же он тебя слушаться будет, свинья необразованная?! Чай пьешь. Кто он тебе — товарищ, может быть? Эх, и начальник же из тебя!»

Латун строго оборвал бывшего солдата:

— Прекратите. Во-первых, я вам не давал слова, а во-вторых, прошу выражаться деликатнее. Вы

не в кабаке.

Он был не на шутку рассержен развязностью и грубостью Карташевича и добавил:

— Не понимаю, как такая грубость совмещается у вас с умением делать изящных женщин?!

Капелов был уверен, что портной обидится. Но он и не думал обижаться. Он улыбался как ни в чем не бывало. Чтобы замять эту историю, Капелов подмигнул Мурелю, чтобы он продолжал речь.

— Совершенно верно, — продолжал Мурель. — Это и есть истоки влияния и авторитетности.

Карташевич опять перебил его:

— Простите, еще два слова. Мой фельдфебель старался зря. У отделенных командиров это не всегда получалось. Когда у рядового появлялась колбаса и белый хлеб, начальственность опять забывалась…

Латун сделал недовольное движение губами, и Капелов опасливо взглянул на него: да, этот Мурель всегда как-то уезжает в сторону в своих речах. Что-то он начинает всегда с одного конца и въезжает в другой. Может быть, это интересно — то, что он сказал, но вряд ли это приближает к исполнению заказа. Чтобы дополнить его речь актуальным концом, Капелов взял слово

и сказал:

— Во всяком случае, я думаю, что исполнить этот заказ нам будет нетрудно. Правда, его нельзя причислить к наиболее дешевым. Эликсир интеллектуальности придется влить в него в том или ином количестве. Все-таки управлять гостиницей и большим клубом не так просто.

В клубе могут играть очень видные лица и проигрывать крупные суммы, и вообще, мало ли кто бывает в клубах и живет в большой гостинице. Управлять этим может человек с большим тактом и умением заставлять себя уважать и считаться с собой. Однако где же этот полковник?

Кнупф сказал:

— Он со вчерашнего вечера в леднике. Надо его оживить и выдать ему его платье.

Минут через пятнадцать в комнату вошел типичный, хмурый, хищный колониальный полковник. На полу от него оставались следы, так как его только что сняли с ледника. Он сел и полуоткрыл оловянные глаза. Спокойные руки достали табак и трубку. Он нахмурился и начал, если так можно выразиться, молчать. Это молчание вначале было выжидательным, потом тягостным, затем стало напряженным. Постепенно оно переходило в стадии неопределенности, недоумения,

равнодушия, презрения, неуважения ко всем и наконец дошло до безнадежности.

Последним ощущением у собравшихся, вызванным этим молчанием, уже была полная подавленность. Все стали двигать ногами, перекладывать на столе руки, открывать и закрывать рты. Но от спокойного, равнодушного, скучливого, никого не уважающего, покрытого какой-то корой лица офицера продолжали исходить токи порабощения. Какую он проявил выдержку в этом отношении! Какой у него чувствовался опыт! Какая тренировка! На лице полковника мелькало такое выражение, как будто он чем-то занят важным, серьезным, а его задерживают мелкие бестолковые служащие. Сотрудники Мастерской Человеков видели все это совершенно отчетливо. Ведь все-таки они уже имели небольшой опыт по созданию людей. Технически полковник проделывал это довольно грубо. Вообще техника всех решающих видов поведения людей чрезвычайно примитивна и понятна.

А все-таки как она действует! Самый умный, широкий, наблюдательный, опытный человек смущается, как мальчик, от легкого окрика какого-нибудь ничтожества, от строгого взгляда, от сдержанного обращения.

И как это ни странно, Латун, сам делавший людей, поддавался влиянию дешевой техники «выдержки». Примитивное, но аптекарски рассчитанное молчание полковника старик начинал принимать за чистую монету превосходства, душевного спокойствия, значительности и таинственности. Так, огромный опыт имеет часто и свои отрицательные стороны. Это можно часто наблюдать.

Опытнейших людей часто обманывают самым примитивным образом. А может быть, это тяга к контрастам? Например, крупнейший художник, делающий чудеса красками, способен порой умилиться примитивной детской мазней. А Льву Толстому, например, — и это всем известно, — очень нравились явно плохие рассказы каких-то людей. Вероятно, по этому же закону сложным обжорам и тончайшим гастрономам нравится обыкновенная кислая капуста или какой-нибудь соленый огурец.

— Ну, что же, — тихо сказал Батайль, — будем его исследовать или нет?

— Да, — поддержал Капелов. — Это надо сделать. Ведь, в конце концов, заказ не ждет. Надо измерить его объемы.

Капелов встал и направился к полковнику,

чтобы это сделать, но Кнупф находился поближе к нему и успел приступить к этому раньше. Он достал из кармана сантиметр, а Карташевич, как бывший портной, быстро развернул его, взяв у Кнупфа из рук, и повесил себе на шею, как это делают все портные. Кнупф встал за спиной полковника и, ничего не желая этим выразить, легко хлопнул его по плечу.

В этом движении не было ничего обидного. Так хлопают обыкновенно лошадей, когда их продают, собак и даже вещи, о которых идет речь. Просто так, ничего особенного. Но полковник встал, вынул револьвер и, не говоря ни слова, даже не выпустив из левой руки трубки, начал стрелять по очереди во всех присутствующих.

Поднялся неслыханный переполох. Сидящие с левой стороны не стали ждать своего расстрела, а бросились к палачу, схватили его за ноги, опрокинули и обезоружили. Заседание было прервано, так как нужно было починить раненых людей. Больше двух часов ушло на возню по заклеиванию ран и починке всяких поврежденных внутренностей. Причем у некоторых после этих операций значительно изменился характер…

Кнупф, который был легко ранен и отброшен поднявшейся суматохой в угол комнаты, опира-

ясь на плевательницу, кое-как приподнялся и со стоном произнес:

— Эта сволочь стреляет точно где-нибудь в африканских колониях. Но интересно, какой это дурак дал ему костюм, не осмотрев предварительно карманы?!

* * *

Полковника, то есть человека по его образцу, сделали. Даже в двух экземплярах. Один был продан в гостиницу, а другой помещен в леднике в анабиозном состоянии как резервный образец. В гостинице и карточном клубе вначале были довольны выполненным заказом. Похожий на колониального полковника властный заведующий внушал к себе в нужных размерах уважение, почтение и страх. Он так поглядывал на служащих, что те подчинялись ему беспрекословно. Проигравшиеся игроки в казино уходили довольно спокойно. Высокая фигура с трубкой и оловянными глазами не располагала к лирическим высказываниям разных мыслей и соображений по поводу проигрышей. Игроки-счастливцы тоже были довольны. Их ожидали всевозможные развлечения для того, чтобы они имели возможность не все деньги уносить с со-

бою, а значительную часть их оставлять в этой же гостинице в обмен на удовольствия. Все шло как будто очень хорошо, и хозяин гостиницы обещал заказать еще одного такого заведующего, лишь только он откроет вторую гостиницу.

Но всего через месяц этого заведующего кто-то легко задел, и он вдруг начал стрелять в игроков точно так же, как его прототип на заседании Мастерской Человеков. Скандал получился огромный. Это была сенсация в масштабе всего государства. К величайшему счастью, хозяин гостиницы сбежал, и власти не узнали, что стрелок был искусственным человеком, а то бы добрались до Мастерской. Латун был достаточно напуган этой историей и говорил Капелову, Кнупфу и другим свое излюбленное:

— Мы не боги. Мы ремесленники. Нам дали образец этого англичанина, мы по нему и делали. А откуда мы знаем, что он привык стрелять в колониях в людей, как в собак?! Откуда мы знаем! Мы и сами здорово пострадали от культурных привычек этого гражданина. Мы еле зашили проболенные внутренности и поврежденные члены.

Вообще трудно было ожидать, чтобы продукция такого предприятия, как Мастерская Человеков, существовала безболезненно. Рано или поздно до

Мастерской должны были добраться. Пока еще ни с одним заказом благополучно не было.

Рабочий, преданный хозяину, тоже не получился. Делали, переделывали, а все же ничего не выходило. Опять были неприятности. Оказалось, что рабочего, который был бы предан хозяину, чрезвычайно трудно сделать, почти невозможно. Несколько раз в Мастерскую прибегал перекошенный от исступления хозяин и жаловался:

— Это черт знает что такое! В нем нет никакой преданности! Я не знаю, по-настоящему ли он религиозен. Чего я только ни делаю с ним, но ничего не выходит. При первом случае он свернет мне шею. Я в этом вполне уверен. Зачем же я платил вам деньги? Такого рабочего я мог бы найти на любой бирже труда. Таковы они все.

— Да, — вмешался Мурель, который присутствовал при одном из таких разговоров. — Раз вы получаете прибавочную стоимость, то очень трудно, чтобы эксплуатируемый был предан вам.

— Что вы мне рассказываете такие новости! — рассердился заказчик. — Я это знаю без вас. Поэтому я и заказывал у вас специально рабочего, религиозного и преданного хозяину, чтобы он чувствовал, что он получает от меня кусок хлеба,

чтобы он меня уважал, чтобы он снимал шапку передо мной, чтобы его жена и дети были благодарны мне. Для чего же вы нужны мне были, если вы не можете такого создать? Вы не знаете, какой заказ вам предстоит?! Если б вы мне сделали одного такого, какой мне нужен, то вы были бы обеспечены заказами в несметном количестве. Преданные служащие и рабочие чрезвычайно нужны теперь! Всюду, всюду забастовки, скандалы, непочтительные акты в отношении хозяев, фабрикантов и властей. Дела приходят в упадок. Вечная возня, всякие простои, борьба, всякие неприятности и в результате разорение! Неужели же вы не можете сделать рабочего не бунтаря, рабочего, который был бы предан своему хозяину? Что там такое в нем находится, что вечно в нем бунтует? Пожалуйста, переделайте вы его и пригласите меня. Я хочу присутствовать при том, как вы будете его переделывать.

Латуну пришлось согласиться и на это. Когда переделывали рабочего, хозяин стоял под рукой и шептал, волнуясь, потирая руки и проделывая другие жесты, изобличающие крайнюю заинтересованность, надежду, жадность и азарт.

— Сделайте ему маленький мозг! Я вас очень прошу! Уберите эти извилины! Пусть он не рас-

суждает много! Сделайте ему поменьше сердце! Не надо! Пусть он не чувствует так много. Это отвлечет его от работы. Сделайте ему большие ступни. Побольше, побольше. Это нужно. Пусть он крепче стоит и лучше выдерживает тяжести. Сделайте ему крепкую шею и твердый позвоночник. Это тоже нужно. Он должен быть вынослив. Руки тоже пусть будут крепкие. Это нужно. Он должен работать. А то для чего он мне нужен?!

И так далее. Неугомонный хозяин надоел и Латуну, и Капелову, но все-таки заказчик не был доволен.

С писателем, женихом, а теперь мужем девушки — первой заказчицы Мастерской — тоже было неладно. Он писал какие-то странные вещи. Латун часто выражал опасение, как бы не вышло с ним большой истории.

С религиозным проповедником было совсем плохо.

О нем уже начинали распространяться слухи. Как и можно было ожидать, он становился опасным альфонсом и шантажистом. Ареной своей деятельности он избрал, конечно, высшее общество и даже пытался влиять на государственную политику через жен влиятельных сановников. Методы этих авантюристов одинаковы во всех

странах, где они могут иметь применение.

Довольно большое количество мелких заказов, выполненных Мастерской, тоже давало радости мало и еще меньше денег. Заказчики были, как правило, недовольны, и количество врагов Мастерской увеличивалось. Полиция, разумеется, знала об ее существовании и уже начинала не удовлетворяться взятками, которые передавал ей Кнупф. Дело в том, что скандалы становились все громче и приобретали все более болезненный характер.

Например, довольно уважаемый человек, в достаточной мере популярный в городе, заказал себе в Мастерской Человеков друга. В своем заявлении, проникнутом большой искренностью, он писал, что чувствует себя весьма одиноко, несмотря на популярность и уважение, какими он пользуется. Он писал, а затем подтвердил и на словах, что ему очень тяжело жить без дружеской поддержки. Но друга у него не было. Ближайшие его товарищи и многие, именующие себя друзьями, искренне огорчались, когда на его долю выпадал успех.

Когда он им рассказывал о своих успехах, по лицам многих из них пробегали тени, знакомые ему тени, которые говорили о том, что им неприятно

слушать про его успехи и переживать их. Зато, когда он рассказывал им о своих неуспехах и всяких неприятностях, в глазах их явно светилось удовлетворение. Они выражали ему сочувствие и, несомненно, вполне искренне говорили о том, что не прочь ему помочь. Постепенно он перестал делиться радостями с друзьями. Им было тяжело это! Но все-таки одиночество порой было невыносимо, и, узнав о существовании Мастерской Человеков, он заказал себе Друга.

Увы, искусственный друг оказался не лучше естественных. Делиться с ним своими радостями заказчик не мог, и, будучи мирным, культурным, корректным человеком, он не удержался и устроил в Мастерской скандал:

— Зачем вы открыли вашу подлую лавочку?! — кричал он. — Вы плодите мерзавцев и разных гнусов, которых и так достаточно без вас! Я закажу себе в обыкновенной токарной мастерской манекен, и он будет лучше того барахла, за которое вы взяли с меня такие огромные деньги, заработанные мною честным трудом!

Действительно, он заказал себе в токарной мастерской манекен в человеческий рост и, говорят, беседовал с ним часами, а манекен кивал головой. Бедный человек! У него были столь скромные

потребности в обыкновенной дружбе, но и их не смогла удовлетворить Мастерская Человеков.

Исполнение приспособленца для богатого путешественника тоже было неудачно. Путешественник писал, что он недостаточно еще приспособляется.

Что касается певцов и певиц, над которыми работал Батайль, то это дело только еще было в зародыше. Несмотря на нестерпимое хвастовство Батайля, крупные голоса у него еще не выходили, хотя иногда приятные басы и баритоны оглашали его лабораторию. Можно было надеяться, что дело у него все-таки пойдет. Но он вдруг потребовал от Кнупфа, чтобы тот организовал при Мастерской Человеков бюро печати для рекламирования этих певцов и певиц.

— Без этого, — говорил он, — нечего рассчитывать ни на малейший успех. Пусть он поет как бог, все равно ничего не будет, если в газетах не будут мелькать его портреты, описания его любовных историй, поездок и разных скандалов. В частности, бас не может выдвинуться, если он не широкая натура, не драчун и не скандалист вроде, например, Шаляпина. Надо, чтобы бас побил по меньшей мере с десяток антрепренеров и несчетное количество разных там парикмахеров,

гримировщиков и музыкантов, чтобы он стал действительно знаменитым.

Кнупф согласился с Батайлем и принялся организовывать бюро печати. Его энергия не знала пределов. Бывали дни, когда он работал в Мастерской с раннего утра до позднего вечера. В маленькой комнатке, которую он облюбовал себе, нередко можно было наблюдать и ночью огонь. Но нельзя сказать, чтобы дела Мастерской Человеков были хоть в какой-нибудь мере налажены.

Очень неважно обстояло и в отделе Карташевича. Этот требовал для своего отдела самые лучшие материалы. Он браковал лучшие сорта мяса и человеко-теста. Он мотивировал свою требовательность тем, что женщины должны быть изящны, красивы и во всяком случае привлекательны.

Латун умолял его быть экономнее.

— Ваша требовательность надоела, — говорил он. — Что вы хотите, в самом деле? Женщина должна быть меньше, уже, тоньше мужчины. Зачем вы делаете эти здоровенные ручищи, эти невероятные плечи, эти бока и толстые ноги? Кому это нужно? Женщина должна быть худенькой и изящной. Ну что это за рука? Из такой руки

можно сделать четыре. У вас нет вкуса. У вас нет представления об изяществе! Кто будет любить таких коров, как вы делаете?

— Не беспокойтесь, — отвечал Карташевич. — Я знаю, что делаю. Уж что касается женщин, так вы мне не объясняйте, я это дело понимаю.

Старик повышал голос:

— Я не знаю, что вы понимаете! Я знаю, что вы нас разорите. Нужно, чтобы женщина была женщиной, и больше ничего.

Карташевич не обращал внимания на его слова. Он снисходительно улыбался, как улыбается артист, слушая профана, и все, в том числе и Латун, покорялись спокойствию Карташевича. В самом деле, раз человек так спокоен, значит, он знает, что делает. Вероятно, он сделает таких женщин, на каких будет спрос.

Однако этот портной, бывший солдат и недавний парикмахер, обманул всех. Первое изделие, вышедшее из его отдела, представляло собою нечто несусветное, хотя он утверждал, что это самая модная женщина. Ошибся ли он, недомерил, не высчитал, перепутал, но получилось нечто ужасное. Огромная женщина, с короткой спиной, выпяченным задом, короткими, плоскими, неприятными ногами и тоненькими вертлявыми

ручками, которыми она беспрерывно поправляла жалкие локоны на крохотной голове. Выражение лица у нее было плаксивое и наглое. Общее соотношение частей тела вызывало скуку и раздражение.

На женщину вышли посмотреть, кроме Латуна и Капелова, Кнупф, Ориноко, Камилл и Мурель.

Увидя такое большое количество мужчин, она стала кокетливо дергаться, поводить в сторону глазами, загадочно улыбаться и жеманно прогуливаться, покачиваясь и еще более выпячивая неудачный зад.

— Безобразие, — сказал Латун. — Ну, что такое? Кому это нужно?

— Да, — подтвердил Кнупф. — Как это его угораздило создать такое существо?

Мурель тихо сказал:

— Да, трудно представить себе, кто ей будет говорить «моя дорогая, маленькая птичка».

Ориноко, большой мастер повторять чужие слова, засмеялся и добавил:

— Ой, ей трудно сказать: «Голубка моя, радость моя».

— Надо переделать, — решительно сказал кто-то. — Нельзя же такую чепуху выпускать.

Но Латун вдруг изменил мнение:

— Вот у вас просто — переделать. А сколько это будет стоить — вас не касается. Хорошо бы мы выглядели, если слушались вас! Переделать. Что тут переделывать? Конечно, это не первого сорта женщина. Я видел покрасивее. Но ничего. Как говорится, жить можно. Надо ее выпустить. Какого-нибудь дурака она подцепит. Он ей будет говорить «птичка» и «голубка» и все, что полагается. Вот посмотрите. (Латун подошел к окну.) Вот ходят тут разные женщины, разве они лучше?

Напротив Мастерской Человеков по тротуару шли всякие люди, в том числе и женщины.

— Вот на эту, например, посмотрите.

Он указал на короткую толстую некрасивую женщину, с трудом передвигавшуюся на прозаических, неинтересных ногах. Ее бессмысленное лицо было грубо накрашено.

— Ну вот, такой ведь тоже кто-нибудь говорит «птичка» и «голубка».

Сотрудники Мастерской Человеков подошли к окну. Некоторые грустно улыбнулись.

— Да, вероятно, говорят.

Ориноко издевательски пропел:

— Дорогая птичка моя, надень галоши, ты простудишь свои ножки!..

— Ну вот, — махнул рукой Латун. — И этой

будут говорить то же самое. Выпустить заказ! — приказал он.

Заказ выпустили с большим трудом. Заказчик, уходя с этим заказом, уже на лестнице начал скандалить, понадобились солдатские кулаки того же Карташевича, чтобы удалить парочку из переулка.

Не меньший скандал получился и с работой Ориноко. Он достал заказ на нескольких людей, которых сделал до такой степени безобразными, что их не хотели принять.

Мурель грустно посоветовал:

— Пошлите их в провинцию…

Но и оттуда их прислали обратно. В довершение всего Капелов, выполняя заказ — очень солидный и богатый — на двух честных и уважаемых людей, сделал двух мещан. Как это вышло, он сам не знал, но мещане получились совершенно закоренелые. Ничего с ними нельзя было поделать! Они жили в Мастерской, быстро укрепились, срок для переделки был упущен, и теперь было неизвестно, что с ними делать.

Примечание

Ефим Зозуля (1891–1941) — выдающийся мастер психологического рассказа, его творчество во многом определяло облик отечественной

фантастики вплоть до конца 20-х... хотя в тех же 20-х по поводу его творчества начали раздаваться голоса, что, мол, такая фантастика нам не нужна, пора воспевать грандиозные события современности. Писатель отчасти к этому прислушался, но совсем от фантастики не ушел, а на рубеже 20-х и 30-х попытался снова сделать ее основным стержнем своего творчества, причем перейдя с рассказов на крупную форму, но наступила уже совсем другая эпоха. В результате два его фантастических романа остались то ли не до конца опубликованными (в связи с отменой издательств, успевших выпустить лишь начало), то ли даже не дописаны.

Репрессии Зозулю миновали, но, может быть, потому, что в эти новые времена он очень глубоко и, вне всяких сомнений, осознанно ушел в тень, глубоко замаскировал свою писательскую ипостась, несколько лет существуя только как журналист, газетный корреспондент. Как фантаст работал в стол; произведения той поры (кажется, довольно многие) так и остались неизвестными... Может быть, они еще отыщутся? Бывают же чудеса?

В первые же дни войны Зозуля, пятидесятилетний, с подорванным здоровьем, ушел в ополчение.

Через несколько месяцев, уже после первого ранения, был переведен во фронтовую газету. Но те, кто служил в таких газетах, тоже продолжали получать раны, продолжали и умирать от фронтовых болезней. 1942 год писателю увидеть не довелось…

В этом сборнике представлен вставной эпизод из его незаконченного (или недоизданного?) романа «Мастерская человеков» (1930). Даже в нем Зозуля оставался мастером малой формы, потому роман во многом состоит из таких эпизодов, внутренних новелл, чем-то напоминая его сборники прежних лет, пусть даже персонажи в данном случае объединены неким общим сюжетом. Тем не менее все понятно и по каждому из них в отдельности: есть некая условно-европейская страна, уже начинающая сдвигаться к фашизму (во всяком случае, погромы в ней случаются регулярно)… и есть люди, занимающиеся делом, которое за пределами фантастики не существует.

А слово «фашист» в ту пору уже существует, хотя применяется не только и не столько по отношению к немецким национал-социалистам.

И. Нечаев (Яков Пан). *БЕЛЫЙ КАРЛИК*

Не так давно в одной из популярных английских газет была напечатана статья под интригующим заголовком «Белый карлик». Автор этой статьи, английский военный корреспондент Бэдбюри, обслуживает части британских военно-воздушных сил, наносящих частые визиты немецким военно-промышленным объектам.

Читатели, привыкшие к репортажам Бэдбюри о действиях тяжелых бомбардировщиков над Германией, на этот раз были немало удивлены, так как в статье «Белый карлик» речь шла о событиях, имеющих большую давность и нисколько не связанных с операциями королевских военно-воздушных сил.

Впрочем, примечание к статье известного кембриджского физика объясняло читателям, что редакция газеты не без умысла возвращалась к истории, как бы подчеркивая актуальность очень важной научной проблемы, затронутой в статье «Белый карлик».

Счастливый случай свел нас с Бэдбюри и его другом — британским военным летчиком майором Х. Последний уверял, что историческое

откровение Бэдбюри появилось в результате успешных операций английских бомбардировщиков над океаном. Бэдбюри лично наблюдал, как многотонные бомбы кромсали и поднимали на воздух заводы, и после возвращения на аэродром имел неосторожность воскликнуть: «Ах, если бы здесь был бедняга Крейбель, он получил бы почти полное удовлетворение!»

Заинтересованный этой фразой майор Х. упорно вызывал Бэдбюри на откровенность и, когда это ему удалось, впоследствии уговорил его выступить со своими воспоминаниями в печати.

Воспользовавшись возможностью лично побеседовать с Бэдбюри и майором Х., а также руководствуясь статьей «Белый карлик», нам удалось почти во всех деталях восстановить события, свидетелем которых был Бэдбюри, послужившие основанием для редакции английской газеты опубликовать воспоминания своего корреспондента. Это было в тот день, когда весь мир был потрясен очередным актом чудовищной агрессии, совершенным гитлеровской Германией. Вооруженные до зубов полчища нацистов нарушили границы Чехословакии и один за другим захватывали города и села маленького свободолюбивого государства.

Буквально накануне этого мрачного в истории человечества дня Бэдбюри, так же как и другие иностранные корреспонденты, был под впечатлением трагического происшествия, глубоко взволновавшего всю общественность города П.: известный изобретатель инженер Истер, в частности, успешно работавший над повышением стойкости броневой стали, был найден умерщвленным в своей лаборатории.

Еще не были распутаны нити этого тяжелого преступления, как новая мрачная сенсация отодвинула на задний план все события дня. Теперь уже никто не интересовался печальной участью инженера Истера; внимание всего мира было приковано к судьбе маленького государства, ставшего жертвой разбойничьей агрессии нацистской Германии.

В полдень Бэдбюри вернулся домой. До этого он несколько часов провел на телеграфе, сообщая своей газете информацию о движении германских войск на территории Чехословакии.

На столе он увидел письмо и по почерку сразу же угадал, что оно было написано его другом, известным ученым Иосифом Крейбелем, чьи работы упоминались наряду с открытиями знаменитого физика Резерфорда.

Последние несколько недель Крейбель вел образ жизни затворника, и Бэдбюри был очень удивлен, что его друг дал о себе знать.

Вскрыв конверт, Бэдбюри прочел лаконичную записку, в которой Крейбель настойчиво просил немедленно же приехать к нему в лабораторию.

«Могу вас заверить, — писал Крейбель, — что вы нисколько не пожалеете о своем визите, ибо ваши профессиональные чувства будут удовлетворены в полной мере».

Через несколько минут Бэдбюри вошел в резиденцию ученого. Помещение, в котором находилась лаборатория Крейбеля, пребывало в хаотическом состоянии. Битая посуда, измерительные приборы, обрезки металла усеивали пол и столы. Среди этого разора за запертой металлической дверью стоял Крейбель и в полном одиночестве при спущенных шторах сжигал в вытяжном шкафу бумаги. Напротив, в углу, пылала нестерпимым жаром вертикальная электрическая печь. Огненный ручей вытекал из нее снизу по желобу и, застывая, превращался в странную смесь из стекла и металлов.

— Рад, что вы приехали, Бэдбюри, — сказал Крейбель. — Еще минута — и вы бы меня здесь уже не нашли: я собираюсь бежать. Видите, я

расплавляю свои аппараты, уничтожаю следы…

Он произнес все это скороговоркой, не подав Бэдбюри даже руки. Движения его были торопливы, но лицо невозмутимо, как всегда.

Покончив с бумагами, он заспешил к печи, снял огнеупорную крышку и, защищая лицо рукой, заглянул в раскаленное жерло.

— Теперь все! Едемте! — сказал он Бэдбюри, стоявшему в выжидательной позе у двери. — Мне останется еще только один короткий визит, который, впрочем, и вам, наверное, будет интересен. А затем мы сможем поговорить.

Они спустились вниз, к машинам, почти бегом. Крейбель, хотя и шел налегке, неся на руке только дорожную куртку, заметно запыхался. Его ассистент, или секретарь, по его знаку бросился тотчас же в лабораторию, едва они вышли оттуда. Вскоре он появился с небольшим чемоданом и поставил его в автомобиль своего шефа. Бэдбюри поразило, что этот сильный с виду молодой человек на ходу качался и изгибал туловище, как будто он волок непосильную тяжесть. Лицо его побагровело, на шее вздулись жилы.

«В чемодане золото! — догадался Бэдбюри. — Ай да Крейбель!»

Они быстро миновали рабочие кварталы, при-

легавшие к заводу, и поднялись в тихий зеленый пригород, растянувшийся на склоне огромного холма. Здесь, в парке, стоял домик Истера. Молчаливая экономка открыла им двери. Истер был холостяком, и теперь в его доме царило безмолвие могилы.

Черный труп лежал еще на том самом месте, где его обнаружили накануне, Бэдбюри стало немного не по себе, когда он увидел это искаженное мертвое лицо, судорожно сжатые кулаки... А Крейбель присел над мертвецом и стал с силой давить на его пальцы, пытаясь их разжать. Бэдбюри передернуло.

— Приходили сегодня из полиции? — спросил Крейбель экономку.

— Нет, — ответила она. — Со вчерашнего вечера никого не было. Они говорят: «Нам сейчас не до покойников. Хороните его, и дело с концом». В четыре часа его отвезут в крематорий.

Крейбель резко выпрямился.

— В крематорий?! — вскричал он. — Этого нельзя допустить никоим образом! Весь город взлетит на воздух!

Было ли это шуткой? Бэдбюри не успел даже вдуматься в смысл услышанной им нелепой фразы. Новое движение Крейбеля вдруг отвлекло

его внимание.

Внезапно подскочив к окну, Крейбель жестом подозвал англичанина к себе. Из окна открывался вид на весь город, лежавший в котловине. По ту сторону его, на возвышенности, Бэдбюри заметил какую-то темную движущуюся массу — она шевелилась на дороге, спускавшейся в город.

— Немцы! — сказал Крейбель. — Германская моторизованная колонна…

Несколько секунд он молча смотрел вперед, о чем-то размышляя. Потом решительно отошел от окна и снова нагнулся над трупом.

— Вот что, Бэдбюри, — сказал он, — помогите-ка мне разжать ему руку. Объяснения после. Сейчас дорога каждая секунда. Поверьте, так нужно.

Преодолевая брезгливость, Бэдбюри прикоснулся к ледяной руке мертвеца. С полминуты они оба возились над ним, пытаясь раскрыть его окоченелый кулак, но это было выше человеческих сил.

— Хорошо, — произнес Крейбель. — Остается один выход: повезем его с собой. Я сам его похороню, слышите, — сказал он, обращаясь к экономке. — Но никому ни слова об этом!

— Делайте так, как вы считаете нужным, — ответила женщина. — Я знаю, вы не поступите

дурно с телом господина Истера.

Но труп почти невозможно было сдвинуть с места. Он был тяжел, как свинцовая глыба. Напрягая все усилия, с огромным трудом они вытащили его в переднюю. Еще труднее было завернуть его в штору, которую Крейбель содрал в коридоре. Когда они приподнимали тело, Бэдбюри почувствовал, что у него обрываются все внутренности: труп весил по меньшей мере втрое больше нормального человека!

На улице не было ни души.

— Теперь на аэродром! — сказал Крейбель, когда они управились с мертвецом. — Если вы полетите со мной, вы услышите величайшую сенсацию, которую когда-либо слышал журналист. О своей машине не беспокойтесь — ее доставят в больницу.

Англичанин молча кивнул головой. Его начинала интриговать эта почти кинематографическая ситуация.

На заводском аэродроме их ждал самолет, готовый к отлету. Пока механики заводили мотор и запускали пропеллер, они перетащили труп в самолет. Затем Бэдбюри пролез в кабину и уселся. Непрерывная гонка на автомобиле и эта возня с мертвецом утомили его. Он с нетерпением

ожидал подъема в воздух, чтобы узнать наконец, зачем он понадобился Крейбелю. «Похоже на детективный роман, — думал он. — Похищаем трупы, бежим с чемоданом золота…»

Крейбель, переодевавшийся у своего автомобиля, подозвал механика и велел ему убрать из-под колес самолета деревянные колодки. Затем он аккуратно натянул большие пилотские перчатки и сам направился к самолету. Пропеллер уже вертелся, поднимая на невысокой траве аэродрома мелкие торопливые волны.

Вдруг Бэдбюри подскочил на своем сиденье и испуганно замахал рукой. Крейбель обернулся. По шоссе от завода мчалась кавалькада серых машин — броневик, грузовики с солдатами, несколько легковых автомобилей. Далеко вперед вырвался мотоцикл. Как пуля, проскочил он в ворота аэродрома и в мгновение ока очутился у самолета.

Мотоциклист — полный немец в черной форме со свастикой на рукаве — еще на ходу закричал, стараясь пересилить шум мотора:

— Мне нужен доктор Крейбель! Вы — Крейбель?

— Я, — спокойно ответил Крейбель.

— Следуйте за мной: вы арестованы!

— Кем?

— Тайной государственной полицией Германской империи — гестапо…

— Я нахожусь на территории независимой республики, — сказал Крейбель, пожимая плечами, — и не признаю здесь никаких гестапо.

Он повернулся к немцу спиной и шагнул к самолету.

Полицейский соскочил с мотоцикла и грубо схватил доктора за рукав:

— Я приказываю вам следовать за мной!

Все, что произошло затем, промелькнуло перед Бэдбюри с потрясающей быстротой, нереально и ярко, как при вспышке молнии.

— Не валяйте дурака, господин гестапо! — сказал Крейбель и сильно толкнул немца.

Тот с перекошенным от злобы лицом выхватил маузер и, ощерясь, в упор — Бэдбюри почувствовал, как у него останавливается сердце, — выпустил все заряды в грудь доктора. Крейбель хладнокровно смотрел, как в его тело всаживают пули, тряхнул головой и не спеша влез в кабину. Оттуда он помахал рукой ошеломленному агенту, дал газ и поднял самолет в воздух. На подъеме видно было, как вся серая кавалькада несется к месту взлета, где неподвижно стоял с вытаращен-

ными глазами и разинутым ртом представитель тайной государственной полиции Германии.

Не в силах произнести ни одного слова, Бэдбюри с суеверным ужасом смотрел на доктора, деловито управляющего самолетом.

— Я вас предупредил, — прокричал ему Крейбель в переговорную трубку, — я вас предупредил, что вы услышите и увидите сегодня сенсационные вещи! На мне, мой милый Бэдбюри, надета броня, изобретение бедного Истера. Она не толще жести, но ее нельзя пробить даже бронебойным снарядом, а не то что пулями, которыми палил в меня этот полицейский осел. Когда Истера убили — это дело рук немцев, гестапо, можете не сомневаться, — когда его убили, я стал ожидать своей очереди и надел броню.

— А если бы вам выстрелили в голову? — спросил Бэдбюри.

— Тогда бы я, конечно, не летел сейчас с вами, — ответил Крейбель. — Впрочем, — добавил он, — броня — это, в сущности говоря, пустяки…

Он включил автоматическое управление, расстегнул куртку и вынул из-за пазухи маленький серый шарик, вроде орешка.

— Возьмите-ка, — сказал он англичанину, — подержите это, только смотрите, не уроните — он

тяжелый.

Бэдбюри подставил ладонь и невольно закричал: страшная тяжесть навалилась на его руку. Ее потянуло книзу, как если бы его нагрузили гирей в полцентнера весом. Напружив все мускулы, он еле-еле удерживал на своей широкой ладони маленький шарик.

— Тот орешек начинен водородом, — сказал Крейбель. — Легчайшим из газов, которым наполняют воздушные шары и дирижабли, чтобы они могли подняться над землей.

— Вы смеетесь надо мной, — сказал Бэдбюри, подпирая немеющую правую руку левой. — В нем не меньше пятидесяти кило веса!

Крохотный груз давил ладонь, растягивал мышцы; еще секунда — и Бэдбюри вынужден был бы уронить его на пол. Крейбель вовремя перетащил шарик к себе и подвесил его на внутренней стороне своей куртки, в особом бронированном гнезде.

— Я нисколько не смеюсь, — сказал он. — Здесь в свинцовой скорлупе находится самый настоящий водород, или, вернее, почти настоящий водород. Мы с Истером назвали его «БК» — это начальные буквы слов «белый карлик». Они ничего вам не говорят?

Это странное сочетание слов показалось Бэдбюри как будто знакомым, словно он где-то однажды их уже слышал. Но он не мог припомнить, где и по какому поводу.

— Белые карлики, — продолжал Крейбель, — это звезды, сравнительно редко встречающийся тип белых, сильно раскаленных звезд. Они очень малы по своим размерам, иногда не больше нашей маленькой Земли, но они обладают колоссальной массой.

Он запнулся. Серое облачко вдруг раскрылось у них под ногами, под стеклянным полом кабины, и одновременно такие же облачка появились по бокам самолета. Кто-то невидимым железным кулаком ударил по фюзеляжу.

— Зенитки! — вскричал Крейбель.

«Самая подходящая обстановка для того, чтобы слушать лекцию по астрономии», — подумал Бэдбюри.

Самолет круто рванул кверху.

— Ловкие мерзавцы! — проворчал Крейбель, маневрируя рулями. — Уже успели пустить в ход свои дрянные хлопушки! Теперь я не стану удивляться, если через пять минут нам на хвост сядет немецкий истребитель…

Они благополучно выбрались из полосы об-

стрела и пошли на большой высоте.

Плохо видя земные ориентиры, Крейбель вынужден был теперь непрерывно следить за приборами. Он не выпускал штурвала из рук ни на секунду и то и дело оглядывался: видимо, он опасался нового нападения. Все же он успевал время от времени, нагнувшись к трубке, прокричать англичанину что-нибудь о своем «белом карлике».

Это странное вещество, которое имело какую-то связь со звездами, обладало, по его словам, громадной разрушительной силой. Крейбель утверждал, что один грамм «БК» производит такое же действие, как хороший 150-миллиметровый фугасный снаряд. Один грамм — это должно было быть ничтожной, почти невидимой пылинкой! Ничего не стоило начинить ими обыкновенные пули, и тогда один простой пистолет мог бы заменить батарею мощных гаубиц.

Поистине величайшая сенсация! Следовало ли, однако, принимать это всерьез? Крейбель имел обыкновение подшучивать над своим другом журналистом за его невежество в естественных науках. Не шутил ли он и на этот раз? Вряд ли! Хотя Бэдбюри почти ничего не понял из его отрывистых замечаний о природе «белого

карлика», зато он держал это вещество в руках. Оно было в тысячу раз тяжелее железа, золота, свинца; почему же оно не могло быть в сотни тысяч раз разрушительнее нитроглицерина или аммонала?

— Представьте себе, — говорил Крейбель, — армию, имеющую в своем распоряжении много «белого карлика». Это грозная армия, не правда ли? Каждый рядовой боец из винтовки или даже из пистолета бьет по противнику снарядами, не уступающими по своему действию шестидюймовым. Один-единственный пулеметчик заливает позиции врага дождем таких снарядов по сто штук в минуту! А артиллерия этой армии стоит далеко в тылу и выбрасывает орешки с «БК» в стратосферу. Пролетев километров пятьсот, орешек падает где-нибудь в Эссене и одним махом стирает с лица земли какой-нибудь заводик вроде крупповского…

— Вы делали такие опыты? — недоверчиво спросил Бэдбюри. — Вы проверяли это?

— Нет, — сказал тот, усмехаясь, — на Круппе я, к сожалению, этого еще не проверял, а маленькие пульки с одним граммом «БК» мы испытывали… Но вам, кажется, сейчас представляется возможность лично убедиться…

Он показал пальцем направо. Бэдбюри увидел немецкий самолет, круживший в нескольких стах метров над ними. Фашистский пилот высовывался из кабины, махал им рукой, тыкал ею вниз, очевидно, предлагая приземлиться. Чтобы не оставалось никаких сомнений, он направил на них пулемет и снова повелительным жестом указал на землю.

— Опустите-ка стекло, — сказал Крейбель англичанину.

Оба самолета стали сближаться. В каких-нибудь ста метрах от фашистского истребителя Крейбель дал резкий крен. Продолжая управлять самолетом левой рукой, он правой достал из кармана пистолет, прищурился и выстрелил.

В одно мгновение истребитель закрыло облаком бледного синеватого пламени, потом оттуда вырвался столб пылающего бензина, и книзу стремительно полетели дымящиеся обломки самолета, разорванного на мелкие куски.

— Вот, — невозмутимо сказал Крейбель, пряча пистолет. — Исследователю никогда не мешает лишний раз проверить свое открытие.

Он внимательно оглядел небо и, убедившись, что никто их больше на преследует, продолжал:

— Если хотите знать, это всего только третье

испытание «белого карлика», а в воздухе — даже первая проба. Мы с Истером добились решающих результатов только в самое последнее время, когда все кругом уже кишело немецкими агентами. Они сидели в дирекции, в конструкторском отделе… Всюду они совали свой нос, а атмосфера была уже отравлена, и нам приходилось всячески изворачиваться, чтобы сохранить втайне результаты наших работ. Но они кое-что все-таки разнюхали: и про разрушительное действие «БК», и про истеровскую броню. Это они забрались к Истеру третьего дня, чтобы выманить или похитить у него наши изобретения. Но Истер был не из тех, кого можно запугать или сбить с толку. Не находите ли вы, однако, что нам следовало бы приготовиться к новому визиту истребителей и надеть парашюты? Мало ли что может случиться…

Вероятно, чтобы сократить путь, Крейбель срезал угол и пошел над территорией Германии. Угроза вторичного нападения теперь была особенно велика, и Бэдбюри молча последовал примеру Крейбеля, подвязывавшего парашют. Впрочем, был ли в этом какой-нибудь смысл? Если бы им пришлось выброситься из самолета, то на земле их ждал бы не слишком хороший прием.

Или, может быть, Крейбель надеялся со своим волшебным пистолетом пробиться к границе в крайнем случае пешком?

— Я не возражаю, — сказал он, покончив с парашютом, — если вы пустите теперь в большую прессу некоторый намек на то, что вы слышали и видели. Я потому и вызвал вас, когда убили Истера, что мне нужен был свидетель — благожелательный свидетель, понимаете, на всякий случай… В П. я все успел уничтожить перед бегством, там не осталось никаких следов. Кроме Истера и меня, никто ничего определенного не знал ни о «БК», ни о броне. Те немногие кило «БК», которые мы успели изготовить на лабораторной установке, я увез. Они на мне, и вот здесь, в чемодане, и еще у него…

Он кивнул головой назад, туда, где лежал завернутый в штору труп Истера.

Так вот в чем было дело! Вот зачем надо было разжать его руки! Вот зачем они, надрываясь, похищали это мертвое тело! Чтобы «белый карлик» не достался немцам…

Бэдбюри вспомнил странный разговор о кремации, который происходил утром в доме Истера: «Этого нельзя допустить никоим образом, не то город взлетит на воздух…» Теперь все разъяс-

нялось!

Однако какое отношение ко всему этому имели звезды? И что, собственно, представлял собой этот чудовищно тяжелый «белый карлик»? Бэдбюри хорошо запомнил, но плохо понял ученую фразу Крейбеля: «Мы получали сверхмощные потоки протонов и уплотняли их с помощью новой силы, не подвластной еще ни одному другому физику в мире. Я имею в виду внутриядерные силы сцепления...»

Крейбель уверял, что все это очень просто. Но англичанин был на этот счет другого мнения. И, пристально вглядываясь в далекие холмы, синевшие на горизонте, он думал о том, что ему, пожалуй, и в самом деле придется скоро последовать ироническому совету Крейбеля и засесть за изучение точных наук.

— Видите ли, Бэдбюри, — сказал ученый, когда под ними замелькали заводы и шахты Рурского бассейна, — вы, конечно, никогда не предполагали, что Иосиф Крейбель романтик. Но у каждого из нас бывают критические минуты, когда мы преображаемся и на момент становимся совершенно другими людьми. Могу привести яркий пример — смерть Эдуарда Истера. Это был величайший скептик и сухарь, какой когда-либо

существовал в мире. Но он умер, как романтик, как настоящий герой. У него в квартире стоял наш первый аппарат для изготовления «БК», первая несовершенная конструкция, работавшая на токе высокого напряжения, — впоследствии мы от нее отказались. Когда убийцы проникли к нему, он, очевидно, испугался, что они завладеют этим аппаратом и двумя шариками «БК», которые он хранил у себя. И он предпочел убить себя, чем отдать их фашистам… По-видимому, он первым делом схватил вещество, зажал его в кулаках, а потом грудью бросился на включенный аппарат. Он уничтожил его током высокого напряжения, устроив короткое замыкание через свое собственное тело. Напишите об этом, Бэдбюри, — может быть, вы хоть немного разбередите совесть трусов…

Бэдбюри слушал, съежившись, и молчал. Было зверски холодно, и он совершенно окоченел. Досада охватывала его, когда он вспоминал о том, что они могли бы уже сидеть сейчас где-нибудь в кафе, в тепле и безопасности. Но все же он был доволен и испытывал глубокое профессиональное удовлетворение.

Нет, не зря гитлеровские танки и грузовики мчались от границы до П. со скоростью пожарной

машины. Очевидно, фашистские главари решили, что после покушения на Истера Крейбель вздумает бежать, и тогда добыча окончательно ускользнет из их рук. Бэдбюри вспомнил мотоциклиста из гестапо, пытавшегося задержать Крейбеля перед самым отлетом. Несомненно, что он ворвался в П. вместе с авангардом оккупационных войск. Вся эта колонна пронеслась через весь город, не останавливаясь — и прямо на завод, а оттуда на аэродром за Крейбелем. У них были основания торопиться.

Что последует дальше? Ясно, что история «белого карлика» только еще начиналась. «Кто знает, — размышлял Бэдбюри, — может быть, мир станет свидетелем любопытнейших событий, если патриот Крейбель попытается использовать свое могущественное оружие против поработителей его родины?»

...Истекал третий час их воздушного путешествия. Самолет вышел наконец к морю. Впереди смутно темнела береговая линия Ютландского полуострова.

— Бензин на исходе, — озабоченно сказал Крейбель. — Надо дотянуть, дотянуть во что бы то ни стало: не падать же нам в воду в десяти километрах от берега!..

— Вы дотянете, Крейбель, теперь нам нечего беспокоиться, — сказал Бэдбюри.

Странный стук неожиданно заставил их замолчать. По металлическим бокам кабины снаружи защелкал частый град. Крейбель и Бэдбюри переглянулись, пораженные одной и той же догадкой: неужели их все-таки настигли?

Над морем в боевом строю шла тройка быстроходных германских истребителей. На этот раз фашисты не делали никаких предупреждений, не угрожали, — они просто расстреливали беглецов из двенадцати пулеметов.

— Черт побери! — сказал Крейбель. — Признаюсь, у меня сейчас совсем нет настроения драться: у нас осталось бензина на пятнадцать минут. Но нечего делать! Опустите, Бэдбюри, стекло!

Он повернул самолет и с бешеной скоростью повел его прямо на врагов. Но те не приняли этой лобовой атаки. Они ускользали в стороны и, проделывая головокружительные эволюции, все норовили зайти Крейбелю в тыл. Пули продолжали колотить по фюзеляжу, по плоскостям и в двух местах пробили стекла кабины.

— Дело дрянь! — ворчал Крейбель, работая ручкой и педалями. — К сожалению, я не натренирован для высшего пилотажа... И у меня не

сверхскоростной истребитель, развивающий шестьсот километров в час… Вот что, Бэдбюри: выбрасывайтесь-ка — и поскорей! Тут все время шныряют яхты, катера — вас подберут. Если я не сумею уйти от них, я выпрыгну вслед за вами.

Бэдбюри колебался.

— Прыгайте, прыгайте! — закричал Крейбель и с силой пожал ему руку.

Через секунду Бэдбюри уже висел в воздухе под куполом своего парашюта и медленно опускался к воде. Он не думал о страшной опасности, которой подвергался сам, а с волнением и страхом наблюдал за Крейбелем. Мотор самолета скоро замолк, и он стал планировать по пологой линии, преследуемый истребителями. Очевидно, в баках иссяк бензин.

Вдруг под самолетом мелькнула темная фигура. Через мгновение над ней раскрылся упругий белый зонт, но еще через мгновенье шелк сморщился и обвис на прыгающих по ветру стропах…

— Оборвался! — со стоном вскричал Бэдбюри. — Проклятье. Он забыл отстегнуть «белого карлика».

Темная фигура молнией пронеслась в воздухе и со страшной силой врезалась в волны. И почти в тот же момент над головой Бэдбюри раздался

оглушительный грохот: самолет Крейбеля вспыхнул изнутри и разломался на тысячи кусков.

Бэдбюри плохо помнит, что произошло потом. Он тонул и был уже без сознания, когда его подобрал немецкий катер береговой охраны. Очнулся он в Берлине, в тюрьме, откуда его некоторое время спустя препроводили в концентрационный лагерь. Он пробыл там три месяца, три страшных месяца, которые больше научили его сочувствовать чужим страданиям и ненавидеть, чем все сорок лет его предыдущей жизни.

Чудом удалось ему выбраться из неволи и добраться на родину.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Редакция английской газеты сочла нужным дать к статье Бэдбюри небольшое примечание. Автор его — кембриджский физик, который сравнил Иосифа Крейбеля с Резерфордом. Разумеется, в этом примечании не было и не могло быть ничего, кроме некоторых элементарных разъяснений и неопределенных догадок, но для читателя, мало знакомого с новейшей физикой, оно, возможно, представит известный интерес. Приводим его поэтому целиком.

Белыми карликами, — писал ученый кембри-

джец, — современные астрономы называют звезды особого типа, обладающие сравнительно небольшой величиной и огромной массой. Плотность их вещества в десятки тысяч раз больше плотности любых, даже наиболее плотных земных веществ. Астрономы объясняют эту чудовищную плотность белых карликов тем, что атомы их материи разрушены под воздействием сверхвысокой звездной температуры, и обломки этих атомов стиснуты внутри звезд колоссальным давлением наружных слоев.

Всякий атом, как известно, состоит из положительно заряженного тяжелого ядра, вокруг которого обращаются отрицательные электроны. По своей величине ядро в тысячи и десятки тысяч раз меньше всего атома, но почти вся масса сосредоточена именно в нем, в этом неуловимо малом центре атома. В раскаленных недрах белых карликов с атомов ободраны все электроны, и ядра там существуют самостоятельно. Оголенные от электронов, эти ничтожные по величине, но сравнительно тяжелые частицы могут уплотняться в десятки тысяч раз сильнее, чем более громоздкие целые атомы. Вот почему на белых карликах в единице объема может быть сосредоточено в тысячи раз больше вещества, чем у нас на Земле.

В истории науки известен случай, когда новое вещество было обнаружено сначала на звезде — на Солнце, затем уже, много лет спустя, и на Земле. Я имею в виду историю открытия благородного газа — гелия. Теперь мы видим повторение этого случая. Исследователи Иосиф Крейбель и Эдуард Истер изготовили на Земле сверхплотное звездное вещество — «белый карлик». Насколько можно судить из сообщений мистера Бэдбюри, они воспользовались для этого ядрами атомов водорода — протонами.

Сконцентрированные в небольшом объеме протоны должны обладать колоссальной разрушительной силой. Вообразите гигантскую молнию, упакованную в наперсток, или «луч смерти», сдавленный, сжатый до тысячекратной плотности материального тела. Это и будет нечто похожее на «белый карлик» Иосифа Крейбеля.

Для нас, правда, остается совершенной загадкой, каким образом он мог до поры до времени удерживать это вещество в покорном состоянии и свинцовой оболочке. Но зато мы отлично можем себе представить, что должно произойти, когда мириады стесненных протонов внезапно выпускаются из свинцового плена. Освобожденные ядра мгновенно должны разлететься в

стороны, «наброситься» на окружающие целые атомы — атомы воздуха, воды, земли, домов, человеческого тела… Они будут рвать их на части, отбирать у них электроны. Произойдет грандиозное разрушение материи, распад, взрыв, катастрофа…

Для науки особенно интересно знать, каким именно способом Крейбелю удалось сконцентрировать миллиарды миллиардов протонов в небольшом объеме. На звездах ядра атомов стиснуты благодаря колоссальному давлению, которое господствует в центре этих небесных тел. Искусственно создать такое давление на Земле немыслимо. Очевидно, Крейбель и Истер нашли какие-то новые мощные силы и использовали их для уплотнения «ободранных» атомов водорода. Какие же это силы? Внутриядерные силы сцепления, сообщает нам мистер Бэдбюри, со слов самого Крейбеля. Но если исследователи действительно раскрыли природу внутриядерных сил и с помощью аппаратов неизвестной нам конструкции научились управлять ими, то это открытие, несомненно, могло бы произвести величайшую революцию в науке и в технике. Овладев силами, действующими внутри атомного ядра, человечество получило бы возможность

по своему произволу использовать неисчерпаемые, грандиозные запасы внутриатомной энергии. Кроме того, оно оказалось бы в состоянии создавать из составных частей ядра любые комбинации: иначе говоря, из любой глины можно было бы искусственно изготовить все бесконечное разнообразие вещества, какое существует в мире!

Потрясающие перспективы!

К сожалению, тот, кто владел этой величественной тайной, лежит теперь на дне Северного моря, храня на себе свое чудесное звездное вещество…

Примечание

Яков Пан — человек, известный скорее в мире науки, чем фантастики. Рано осиротевший мальчик из нищей и многодетной еврейской семьи, окончивший рабфак в неполных 15 лет (!), в полных 15 уже преподающий на нем (!!), а потом блестяще продолживший обучение и научную деятельность в области химии — он, безусловно, и на смысловом поле большой науки мог оставить значимый след. Но… почувствовал неодолимую тягу к научной популяризации. Именно как к главному своему призванию. И, пожалуй, не ошибся. Вообще-то век популяризаторской литературы по определению недолог, но главная из работ Па-

на, «Рассказы об элементах», продолжает быть по-настоящему живой до сих пор — и на русском, и в переводах на основные европейские языки…

А для ряда своих научных и всех научно-фантастических произведений он выбрал псевдоним «И. Нечаев». Почему «И» — неизвестно, зато почему «Нечаев» как раз известно хорошо: в честь одного из предшественников, точнее, двоих сразу. Нет, это никоим образом не печально знаменитый «бес» Сергей Нечаев, стараниями ненавистников и поклонников революции ухитрившийся затмить множество своих куда более достойных однофамильцев, а выдающийся педагог и психолог А. П. Нечаев и А. В. Нечаев, геолог и палеонтолог. Оба к тому же просветители, популяризаторы науки.

…В июне же 1941-го Пан — Нечаев выбрал иную судьбу, записавшись одним из первых добровольцем. Здоровье у него было настолько слабое, что даже в те дни, когда медицинские комиссии принимали чуть ли не всех подчистую, ему все-таки отказали в праве стать солдатом. Но вот в ополчение записаться удалось. И там он, очкарик, туберкулезник, никогда не служивший в армии, вдруг проявил такие способности бойца и командира, что в октябре уже командовал ротой.

В должности комроты он 19 ноября 1941 года

и пал смертью храбрых под Селигером, сражаясь против тех, чье пришествие он предчувствовал еще в рассказе «Белый карлик», повествующем о событиях как будто совсем «не той» войны…

Герберт Уэллс. *УРАГАН ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ. БРОДЯЧАЯ СМЕРТЬ*

Дрейф Европы к войне набирал обороты. Япония и Соединенные Штаты устранились от вмешательства, Великобританию больше тревожили беспорядки в Индии и восстание негров Южной Африки, чем проблемы ближайших соседей. Последние препятствия для континентальной вражды исчезли, вопросы упростились.

Европейская война началась в 1940 году. Конкретный инцидент, давший толчок «горячей» фазе, случился по вине польского коммерсанта еврейского происхождения. Во время остановки его поезда в Данциге этот коммерсант проявил определенную неосторожность в обращении с плохо подогнанным зубным протезом. По-видимому, протез так заклинило, что бедняге пришлось бороться с ним обеими руками, широко раскрыв рот. Картина явно неприглядная, и из уважения к попутчикам коммерсант, продолжая борьбу со вставной челюстью, отвернулся лицом к окну вагона. Он был бородат и носат, и его гримасы, без сомнения, смотрелись с платформы

довольно неприятно.

Однако кто бы мог подумать, что неуклюжие руки коммивояжера выпустят на волю псов войны от Пиренеев до сибирской тайги! Той войны, первопричиной которой стала, насколько можно судить, застрявшая меж вставных зубов апельсиновая косточка либо крошка скорлупы грецкого ореха…

К несчастью, в этот момент на платформе прямо напротив злополучного окна стоял молодой нацист, который истолковал выражение лица бедолаги как враждебный комментарий к своей новой, с иголочки униформе. Такая реакция неудивительна, ибо многие из этих юношей отличались чрезвычайной врожденной чувствительностью. Пламя патриотического негодования вспыхнуло в его сердце; призвав себе на подмогу трех товарищей и двух полицейских (как и итальянские фашисты, эти герои редко действовали в одиночку), возмущенный молодчик, преисполнившись достославной решимости, ворвался в поезд. Последовала яростная перепалка, осложненная тем, что «невоспитанный поляк» плохо понимал или вообще не понимал немецкий язык и, все еще не сумев справиться с зубным протезом, был, по сути, нем. Двое из попутчиков,

однако, вступились за него, остальные пассажиры тоже пришли им на помощь, брань сменилась толчками и ударами, и нацисты, оказавшиеся в меньшинстве, были сброшены с поезда.

После этого вспыльчивый молодой зачинщик, вновь оказавшийся на платформе в ярости и в уже помятой нацистской форме, видя, что несносный еврей, стоя у окна, продолжает безнаказанно кривляться, выхватил револьвер и застрелил его. С обеих сторон тут же было пущено в ход и другое оружие, так что произошло подлинное, пускай и небольшое сражение, закончившееся только с отбытием поезда от перрона. Происшествие, помимо прочего, политически осложнялось тем, что точный статус полиции Данцига все еще оспаривался, и нацисты не имели законного права своевольничать на данцигской платформе.

Сам по себе этот трагический инцидент мог бы быть разрешен и без начала европейской войны. Можно было бы пробудить к жизни умирающую Лигу Наций или даже воскресить мумию Гаагского трибунала. Любая международная организация могла бы найти козла отпущения (скажем, польского дантиста, соорудившего злополучный протез) и, представив его единственной виновной стороной, выследить, отдать

под суд и примерно наказать. Правда, для этого понадобилась бы некоторая добрая воля со стороны вовлеченных держав, но таковой как раз и не обнаружилось.

Вот уже восемь лет германское общественное мнение готовилось к борьбе за Польский коридор, в связи с чем продолжалось перевооружение страны, как явное, так и тайное. Франция и Польша наблюдали за процессом с растущим беспокойством, и генералы обеих стран настаивали на упреждающем ударе, пока они все еще оставались несравнимо сильнее. Не раз казалось, что наступил кризис, но не происходило ничего, кроме биржевого торнадо. Теперь же терпение лопнуло. Напряженность неимоверно выросла, и грядущие бедствия казались облегчением, а развал Европы на куски — освобождением.

Такая ситуация — неизбежная кульминация любого «вооруженного мира». В какой-то момент становится неотразимой логика: «Бейте сейчас, пока враг не стал сильнее». Таким был и ведущий мотив британцев при подготовке к войне в 1914 году: они стремились ударить прежде, чем постоянно растущий германский флот сравняется с их собственным. Так Британия покончила с невыносимым напряжением: немцы, по ее

словам, сами напросились. «Лучше сейчас, чем завтра».

Теперь Германия снова «напросилась», и Польша воспользовалась случаем. Военные «нажали на кнопку». Печатные станки Парижа, Лондона и Нью-Йорка все еще штамповали заезженные теории о смерти злосчастного коммерсанта, а польские и немецкие воздушные патрули уже вовсю сходились в бою над роковой пограничной линией. Проблемы с зубным протезом начались, по-видимому, около часа дня в пятницу, 4 января 1940 года. А уже в субботу около трех часов пополудни самолет польского аса Михала Кореневски был сбит после отчаянной схватки с тремя противниками в небе Данцига. Пылая, он рухнул на оживленную улицу Ланггассе и при падении поджег ратушу.

Последовал первый польский авианалет на Берлин и показательный пролет двухсот французских эскадрилий строем над Баварией и Западной Пруссией. Берлин, похоже, оказался застигнут врасплох этой впечатляющей и мгновенной реакцией: никто не ожидал такого от Парижа. Но чутье подсказало немцам уклониться от воздушного боя, и французы улетели домой. А на польско-немецкой границе бои продолжа-

лись.

Французские власти сами не знали, разочаровало их поведение немцев или можно вздохнуть с облегчением, не встретив отпора со стороны старого врага. Сокрушительный разгром германских «Люфтваффе» оказался бы убедительной победой, но свои самолеты лучше не терять — сгодятся и дома, — чтобы сдерживать растущее внутреннее недовольство. Опять же, неопределенность исхода боя — а это всегда возможно в воздухе — только увеличила бы риск внутренних неурядиц.

Целых семь лет с момента, как в 1933 году Германия вновь начала вооружаться, дипломатические центры мира взирали на приближение катастрофы и ничего не делали, чтобы предотвратить ее. Теперь же Лондон, Вашингтон, Мадрид и Женева заметались на грани истерики. Послы и министры иностранных дел так и сновали туда-сюда. «Опоздали», — заметила Женева, хотя этому опозданию уже стукнуло лет двадцать.

Особенно популярной стала фраза: «Локализовать конфликт». Звучала она не только в нейтральных странах, но и в Париже с Берлином. По сути, это означало отказ Парижа от обязательств перед Польшей и позволение Варшаве, продолжающей балансировать между Германи-

ей и Россией, самостоятельно договариваться с ними обеими. Россия же теперь, благодаря загадочному молчанию в сочетании с молниеносной мобилизацией Красной армии, почти сразу стала важной фигурой в игре европейских народов.

А у Парижа вскорости появилась веская причина не доводить до крайности конфликт с Берлином. Уже погиб первый в Новой войне француз — и пал он в Приморских Альпах от пули итальянского патруля…

В ночь на воскресенье 6 января, в то время как польские самолеты бомбили Берлин, итальянцы делали то же самое с Белградом. Одновременно всем державам из Рима полетели ноты с указанием причин этого решительного удара. По всему выходило, что между вечером пятницы и утром воскресенья случилось резкое обострение югославской непочтительности. Фашистские провокаторы, которые должны были создать повод для обиды и возмущения, перестарались до уровня карикатуры. В субботу все население Италии было отвлечено от повседневных забот кошмаром: повсеместно намалеванные красной краской образы Муссолини, превращенного в отечного алкоголика, венецианские львы, раскрашенные под бабуинов, и постыдно оскверн-

ненные римские орлы. Растрепанные молодые фашисты картинно рыдали на каждом углу, выступая против невыносимых унижений и призывая к войне. Чаша югославских беззаконий оказалась переполнена. Лишь годы спустя изумленные исследователи, проследив безобразия до их истоков, поняли, каким именно образом переполнилась эта чаша, ставшая оправданием для вторжения.

Едва польские и итальянские войска перешли границы, другие государства не стали дожидаться оскорблений, дающих повод ринуться в бой. Все безумное лоскутное одеяло Версаля порвалось в борьбе — безрадостной, неистовой борьбе народов, полной ненависти, страха и с непредсказуемым концом. Следующие два года идея «локализовать конфликт» удерживала Россию и Францию от того, чтобы ввязаться в драку. Нашлась формула, по которой Франция не вмешивалась в конфликт на стороне своих бывших союзников, а Россия в ответ воздерживалась от действий против них. Зато торговля оружием могла вестись «беспристрастно». Эту хлипкую формулу изобрели в оправдание дипломатического провала, однако она удерживала войну вдали от западного фронта Германии тяжких два

года. Упорное желание итальянцев вести стрельбу в сторону французской границы объяснить никто не смог, да, впрочем, ее не столько объясняли, сколько тихо игнорировали. Французская авиация регулярно устраивала демонстративные пролеты, что все больше раздражало ближайших соседей, но выступало сдерживающим фактором. Демонстрация охладила иностранцев и успокоила горячие головы дома.

С самого начала эта локальная война вызвала у европейцев гораздо меньший энтузиазм, чем в 1914 году. Воодушевление охватило только неопытную молодежь высших классов, юных итальянских фашистов, немецких наци да школьников со скаутами. Их проповедь, крикливая и настырная, звучала в тяжелой, угрюмой и тревожной атмосфере. Но ни одна нация не схватилась за оружие. Рядовые солдаты постоянно дезертировали и выбывали из строя, а с наказанием уклонистов возникали сложности. В преимущественно крестьянских армиях Восточной Европы «менталитет дезертира» распространился настолько, что расстреливать нарушителей не было никакой возможности. Один батальон из Позена вступил в бой под Лодзью, имея пятьдесят семь солдат на тридцать девять офицеров.

С самого начала экономика шла в ногу с военными действиями: конфликт даже не успел толком разгореться, а уже чувствовался постоянный недостаток буквально во всем. Сверху летели приказы об экономии боеприпасов.

Но все же эта война проходила на более высоком уровне, техническом и научном, чем японское вторжение в Китай. Европейские армии пользовались хорошими автомобильными и железными дорогами, грузовиками и поездами, были отлично вооружены, имели прекрасно оснащенные военно-воздушные силы. В тылах безотказно работали химические и другие заводы по производству боеприпасов. Место изнуряющих пехотных сражений заняли стремительные битвы моторов. Молниеносное отсечение Восточной Пруссии от Германии с применением «перманентного газа смерти» стало примером высокотехнологичных операций. Стратегически глупо, но технически безупречно.

Наступление на Берлин также планировалось с максимальным использованием самого современного вооружения и последних достижений научной мысли. Польский генштаб видел в этой операции еще один «удар в самое сердце» и возлагал на нее огромные надежды — не меньшие,

чем немцы питали по поводу наступления на Париж в 1914 году. К несчастью для поляков, при подготовке наступления им пришлось консультироваться с рядом «экспертов», так что случились утечки информации: через Францию, через производителей боеприпасов из Чехии и Швеции, через Россию и внутренних изменников. Поэтому общие черты военного плана оказались известны и осознаны в Берлине ничуть не хуже, чем в Варшаве. Грандиозный химический налет на Берлин получился действительно ужасающим и разрушительным, но армады польских танков, самоходных орудий и моторизованной пехоты были задержаны, а затем и остановлены в шестидесяти милях от немецкой столицы с помощью хитроумной системы ядовитых газовых заграждений — главным образом мин с люизитом и «синим крестом», — растяжек и «битумных ям» нового типа на дорогах и в полях. Кавалерийский рейд на север, призванный отсечь Берлин от моря, оборвался среди колючей проволоки, газа и пулеметов. Почти сорок тысяч человек были убиты, ранены или взяты в плен. Более того, из-за партии бракованных противогазов, поставленных в польские войска, бойцы нескольких бригад поддались убеждению, что их продали и предали.

Большинство польских солдат так и не вступили в настоящее боестолкновение с немцами, и только огромный перевес в самолетах спас захлебнувшееся наступление от полного разгрома.

Польские части быстро оправились от поражения и, следуя плану Б, окопались вдоль линии от Штеттина до Богемии. В тылу этого широкого фронта Польша без помех занялась освоением Силезии. Каждую ночь и над Берлином, и над Варшавой бушевали воздушные бои, которые чаще всего оканчивались ничем. У поляков было численное превосходство, а у немцев более быстрые и маневренные машины. Также у Польши имелся перевес в дистанционно управляемых воздушных торпедах, которые теперь могли не только доставить большую бомбу за двести миль, но и, сбросив ее, вернуться назад.

Чехи провели мобилизацию сразу вслед за Францией, но немедленно в войну не вступили. Армии Чехословакии оставались в своем горном четырехугольнике и вдоль венгерского фронта, ожидая развития игры. Австрия беспокоилась, но соблюдала нейтралитет.

Южная война, которая несколько недель развивалась отдельно от польской, открыла блестящие перспективы для итальянцев. Болгария, Албания

и Венгрия также объявили войну Югославии. Небо потемнело от итальянских бомбардировщиков, и лишь немногие города Хорватии и Сербии избежали авианалетов. Римский флот готовился к захвату портов и островов Далмации. Впрочем, продвижение итальянских войск меж холмов Хорватии и Словении оказалось не таким быстрым, как ожидалось. Понадобилось шесть недель, чтобы пробиться к Загребу.

Местность мало подходила для применения газов и тяжелого вооружения. Страна не имела явного центра, по которому можно было бы нанести решающий удар, а местные жители традиционно умели партизанить в горах. Бомбежки городов мало затрагивали этих крепких крестьян. Они никогда не ввязывались в бой, не собирались большими группами, но их пули днем и ночью свистели в итальянских лагерях. Многие из партизан ходили туда-сюда между своими полями и фронтом. Боеприпасы они получали через Румынию, которая, имея мощную Красную армию на бессарабской границе и внутренние крестьянские волнения, оказалась в двусмысленном положении: и опасном, и все же какое-то время выгодном, позволяющем оставаться вне борьбы. Венгры перешли югославскую границу

и угрожали Белграду, но основную группировку войск они развернули в сторону Чехословакии, ожидая дальнейшего развития событий.

Ближе к концу года в боевых действиях случилась примечательная пауза. Отчаянные усилия Праги, Лондона и Парижа добиться перемирия временно увенчались успехом: хотя в Германии и Югославии оставались войска захватчиков, все же были очерчены нейтральные зоны и прекращен огонь. В последний момент власти попытались путем переговоров остановить войну и не допустить слияния двух конфликтов. Несколько недель это казалось возможным. И Германия, и Польша с сомнением относились к продолжению войны теперь, когда польское наступление остановлено, а Италия готова довольствоваться Далмацией без продолжения утомительной кампании. Было похоже, что дух цивилизации пробудился от галлюцинаций и спросил: «Ради всего святого, почему это происходит с нами?!»

Британский кабинет нашел момент подходящим для проведения конференции в Веве, чтобы «окончательно» пересмотреть Версальский договор. Миролюбивые речи Дафф-Купера, Хоре-Белиша, Эллен Уилкинсон и Рэндольфа Черчилля эхом прокатились по всей Европе и получили

блестящую поддержку Бенито Карузо и Корлисса Ламонта в Америке. Папа Римский, архиепископ Кентерберийский, нонконформистские церкви, президент Швейцарской Республики и знаменитый чешский президент Бенеш разразились хором протестов. Франция, которая после социальных волнений 1934–1935 годов неуклонно катилась к пацифизму, нашла талантливых выразителей своих взглядов в лице Лушера и Шаванна. Еще раз все вспомнили о гуманистических порывах Генри Форда и Вудро Вильсона. В очередной раз пробудилась концепция «мира во всем мире», мелькнула в умах и исчезла снова. Однако теперь этот хор звучал более полно, более явно и единодушно, чем в 1916–1917 годах, что, впрочем, не делало его более продуктивным. Веве продлил перемирие до июня 1941 года, но это не помогло. Военные, получив передышку, не могли просто сидеть без дела. Их терпения хватило ненадолго, и боевые действия возобновились со взаимной усиленной яростью, питаемые надеждой одержать победу «ко времени сбора урожая».

Конференция провалилась, потому что на ней оказалось некому сформулировать то, что стало бы конструктивной концепцией Современного Государства. В Веве просто в очередной раз со-

брались национальные дипломаты, произнесли дежурные речи о мире, о суверенитете, но их устаревшие представления неизбежно вели к возрождению конфликта. Иллюзия некоего баланса сил была этим дипломатам настолько же близка, насколько могла быть близка сама идея мира, однако этот баланс неизбежно все время расшатывался, из года в год, изо дня в день. Теперь же, что бы ни думали по этому поводу простые люди и интеллигенция, эксперты пророчили войну до победного конца. «Немцы разбиты недостаточно» — удобная формула для торговцев оружием и журналистов во Франции и Скандинавии. «У итальянцев полно дел в Югославии».

Англичане и американцы, надеясь до последнего держаться в стороне от конфликта, переживали воодушевляющее оживление экспорта и внушающий надежду рост доходов по сравнению с воюющими странами. Снова в Тайнсайде грохотали молоты; акции сталелитейных, железорудных и химических компаний взлетели, и металлургическая промышленность, подобно старому, облезлому и беззубому тигру, накинулась на единственную доступную ей теперь добычу — человека. Зверь давно перестал мечтать о новых лайнерах, мостах, железных

дорогах или домах со стальным каркасом. Но он все еще мог делать оружие и убивать. А вот заглянуть в будущее и прикинуть, останется ли хоть чуть-чуть мяса на костях пожираемого им человечества, тигр уже не мог.

Единственными странами, на самом деле желающими мира, прочного мира, были Чехословакия и Австрия, которые оказались меж двух воюющих лагерей в окружении потенциальных врагов по всем линиям границ. Миротворческий посыл, нашедший выражение в Веве, выглядел слишком замысловатым, а оттого бесплодным.

Бои вспыхнули с новой силой почти синхронно на польской Украине, где, очевидно, с помощью советских офицеров и техники, восстало крестьянство, и в Германии, где случилась внезапная мощная атака на польскую линию обороны. Немцы хорошо потрудились во время перемирия, чтобы уравнять шансы в воздухе. Они успели создать новые скоростные истребители и особенно мощный пулемет. Несколько недель гремели такие воздушные бои, каких не было ни до, ни после.

Понемногу немцы добились воздушного превосходства, пустив в ход тяжелые бомбардировщики и газ. Бомбы падали на Лодзь и даже Варша-

ву, мирное население массово эвакуировалось. Германские войска смогли прорвать польскую линию обороны, и им открылась прямая дорога к блокированной Силезии. Спираль конфликта раскручивалась все шире. Литва, очевидно, при поддержке России, захватила свой старинный город Вильно, Австрия же слила воедино северный и южный фронты, ввязавшись в драку на стороне Германии и Италии. Берлин объявил о своем окончательном союзе с Веной. Оставшиеся европейские государства посыпались в этот кипящий котел одно за другим. Венгрия без объявления войны напала на Восточную Чехословакию «для восстановления законных границ» и ввела в бой против нее войска союзной Румынии. Россия заявила о невозможности в свете последних событий сохранить взаимопонимание с Францией, и Красная армия двинулась на Львов. В Македонии местные бои кипели повсеместно, деревня на деревню. Болгария вступила в «Южнославянский союз» и атаковала Албанию, а Греция захватила остров Родос, который до того удерживала Италия.

Франции стало очевидно, что ее старая политика «безопасности» — стремление к балансу сил и заключение союзов с уравновешивающими госу-

дарствами за спиной каждого враждебного соседа — привела к закономерному финалу. Французы были бы рады отдыхать спокойно в тылу пограничных укрепрайонов, наравне с англичанами и американцами наслаждаться прибылями от нейтралитета и торговли оружием, но у Франции оставались обязательства перед воюющими странами, не позволяющие отсидеться в стороне от конфликта. В 1943 году, после очередной невнятной попытки Лондона, Вашингтона и Женевы предотвратить катастрофу, Париж был вынужден объявить войну Центральноевропейскому Альянсу.

Казалось, что новая война очень похожа на Мировую 1914–1918 годов. На первый поверхностный взгляд это была попытка отменить или закрепить Версальский договор. Создавалось впечатление, что снова в осаде Центральная Европа. Однако теперь Италия оказалась союзником тевтонцев, крайне обнищавшая Бельгия выпала из игры, Британия держалась в стороне, а Франции пришлось самой, вместо бывших союзников, помогать (а не получать помощь) группе государств от Польского коридора до Черного моря и Балкан, которых Набережная д'Орсе так мучительно пыталась сплотить против Германии.

Россия, однако, была сомнительным союзником Центральных держав и не действовала с ними сообща. Она просто поддержала новые советские республики в Восточной Польше и Бессарабии, там Красная армия и остановилась. Прежний энтузиазм по поводу мировой революции в большевистских умах давно погас, а марксизм настолько обрусел, что теперь опасался слишком большого количества западных последователей. Кремль с удовлетворением объединил родственные славянские Советы, на том и успокоился. Япония, Китай и обе Америки остались в стороне от схватки, сосредоточившись на внутренних трудностях.

Поверхностный исследователь увидел бы здесь просто перестановку знакомых фигур на политической доске. На самом же деле теперь столкнулись совершенно иные силы. Франция, несмотря на внутреннее социальное напряжение, все еще оставалась капиталистическим обществом образца XIX века, с демократическим парламентаризмом и ненадежными структурами в финансах и промышленности. Кроме привитого сентиментального патриотизма, у молодежи не было единомыслия в чем-то ином. Союзники Франции — аграрные страны

с монархической или парламентской формами правления, более старомодные, если уж на то пошло. А Центральные державы жили теперь по новому, фашистскому образцу, теснее связанные структурно и управляемые новыми группировками молодых духом людей, претендующих на роль элиты.

За исключением крайнего национализма фашистов (это принципиально важно), такой контроль со стороны самозванной дисциплинированной элиты стал явным шагом к организации нашего Современного Государства. Всем этим фашистам суждено было разрушить собственные державы и сгинуть, по сути, из-за поверхностного и сентиментального склада ума, неспособности объединиться и выйти за рамки националистических традиций. Между созданным их усилиями и нашей современной образовательной и административной системой нет прямой преемственности. Но в Мировой войне 1914–1918 годов нигде не было подобных элит, которые по-своему примечательны, как примечательна и Российская компартия (несмотря на ее пролетарскую доктрину) своим частичным, но очень реальным продвижением демократических институтов. Среди хаоса

та организованная «преданность молодых», на которой держится наше современное общество, была ясно предвосхищена в этих режимах Центральной Европы. Идея дисциплинированного личного участия в государственном управлении вбивалась в умы нового поколения.

Пока не появилось что-то более веское, этой идее пришлось сформироваться, как ни чудовищно, из таких странных зародышей, как паяц Муссолини или истерик Гитлер. Вышеупомянутая идея могла быть только патриотической, в другой форме государство себя тогда не представляло. Но, когда в грянувших военных катастрофах были разбиты и растворены первые проявления этой идеи, она по-прежнему жила в умах, звала к сотрудничеству для достижения высших целей. Молодежь во всех фашистских странах стала очень ответственной.

Новые войны отличались от предыдущих не только тем, что не были (с точки зрения Центральных держав) народными войнами, но также небывалым размахом и качеством боевых действий. Мы уже показали некоторые отличия между новой войной и старой. Теперь это стало еще очевиднее из-за того, как пересекались границы воюющих государств. В первой вспышке

конфликта действительно существовал фронт между Польшей и Германией, но после 1943 года стало невозможно определить ни фронт, ни главную цель, ни хоть какую-то идею, оправдывающую разрушения, охватившие Европу.

Поляки перед отступлением в Позен попытались провести линию «Перманентного Газа Смерти» через Восточный Бранденбург, но покидали позиции в такой спешке, что смогли отравить только три небольших района, не имеющих стратегического значения. После 1943 года война в воздухе стала основной, чаще применялись газовые атаки и воздушные десанты — однако уже не для вторжения, а лишь для захвата выгодных плацдармов, их обустройства и удержания. В Средиземном море продолжались ожесточенные бои за пресечение поставок войск и припасов между Северной Африкой и Францией, но в Атлантике французские караваны чувствовали себя практически безопасно.

Не было ни воздушного Трафальгара, ни воздушного Экнома. Война в трех измерениях не дает тех каналов, проливов, узких морей, перевалов, главных дорог, по которым бегущего противника можно загнать в угол для решающего разгрома — и действительно, до сих пор неизвестно, какая

из сторон абсолютно преобладала в воздухе. Это была война рейдов и ответных ударов без единой крупной операции. Большое наступление немецкой пехоты на Позен захлебнулось газом и битумом, а французское вторжение в Италию не продвинулось дальше Турина.

Полное выматывание противника, материальное и моральное, стало единственно возможным путем к хоть какой-то победе. Измученное население вновь призывали вести «войну на истощение». На всех европейских языках звучал один и тот же лозунг: «Победит тот, кто продержится на полчаса дольше». Атаки на гражданские объекты нарастали по мере того, как становилась очевидной невозможность военного решения. Посевы и леса целенаправленно поджигались, плотины разрушались, низины затоплялись, газо– и водопроводы взрывались. Пилоты вылетали на поиски скоплений людей и бомбили их. Это стало жестоким развлечением, подобным псовой охоте.

Несмотря на десятилетие финансовых неурядиц и упадка производства, в Европе все еще оставалось огромное количество промышленных запасов; повсюду работали заводы, надежно защищенные от воздушных атак и искусно

замаскированные. Более того, для ввоза материалов границы главных воюющих сторон не закрывались, пока в карманах граждан оставалась хотя бы мелочь для налогов и сборов, из которых оплачивались эти поставки. Товары пересекали границу ночью; грузы доставлялись в неосвещенные гавани. Каждый трудоспособный гражданский привлекался к работам по рытью убежищ и укреплению зданий против газовых и фугасных бомб. Большинство этих работ также проводилось ночью. Отказ или уклонение от обязательных работ карались лишением пайка. Читатель, возможно, видел репродукцию мрачной картины Эглона Калле «Наконец-то безопасность». Закованные в цепи, изможденные и оборванные французы работают в туннеле под ударами плетей. На переднем плане одному из потерявших сознание дают стимулятор; другой, всеми брошенный, умирает без помощи.

По сравнению с массой литературы о личном опыте во время Мировой войны, по крайней мере касающейся Западного фронта, до нашего времени дошло очень мало персональных свидетельств — как ветеранов, так и тыловиков — из Пылающих сороковых. Крупные авианалеты, похоже, стали совершенно ужасными, гораздо

более жуткими, чем во время Мировой войны. Они начинались с кошмарного воя сирен, гудков и пронзительных свистков моторазведчиков. Толпы обезумевших людей, потерявших всякую гордость и достоинство, бегали туда-сюда в поисках ближайшего убежища и помощи, а заканчивалось все беспредельными страданиями жертв этих налетов.

Мы уже дали некоторое представление о характере этих мучительных смертей. Почти везде организация убежищ и снабжение противогазами работали из рук вон плохо. Во многих случаях реальных запасов не существовало, только бутафорские противогазные маски и мнимая защита зданий от бомб: имитация для предотвращения «преждевременной» паники и «поддержания морального духа». Ни об одном из этих масштабных авианалетов никогда не сообщалось в газетах, которые все еще издавались и в военные годы. Даже в Америке публикация любых подробностей рассматривалась как «антивоенная пропаганда, подрывающая призыв».

Известно письмо с описанием Берлина после воздушной атаки, без даты и за подписью «Синклер». По мнению большинства авторитетных критиков, послание принадлежит перу писателя

Синклера Льюиса (1885–1990). Можно процитировать один отрывок:

«Спустившись по Унтер-ден-Линден, мы шли по Зигес-аллее. Повсюду лежали тела мужчин, женщин, детей, очень странно сбитые в кучи, как будто на последнем издыхании люди карабкались друг на друга в поисках помощи. Стремление оказаться ближе хоть к кому-то характерно, видимо, при отравлении этим конкретным газом. Что-то ломается в сознании. Тела одинаково скрючились, и почти всех вырвало кровью. Стояла жуткая вонь, хотя все это множество людей было живо каких-то двадцать четыре часа назад. Разложение начинается сразу. Арка, ведущая в парк, почти непроходима…»

Вот так мы можем бросить быстрый взгляд на то, как гибли мирные жители полтора века назад.

Личные истории участников боев той последней войны столь же скудны, сколь и воспоминания гражданских. В последующие десятилетия мало у кого находились мотивы писать мемуары: не осталось достаточно грамотных людей, как то было в западных армиях во время Великой войны, не хватало душевной простоты в восприятии происходящего, а главное — куда больше

оказалось дезертирства, равнодушия, пьянства, насилия, грабежей и злобной жестокости, о которых никто писать не любит. За тридцать лет мир стал менее чувствительным; его страдания усилились многократно, но ощущения их притупились. В 1914–1915 годах многие британские и немецкие солдаты ежедневно вели дневники. Это говорит о личностном переживании событий, выходящем за рамки угрюмого фатализма, пронизанного вспышками первобытной экзальтации или ярости, которые, похоже, преобладали в сознании участников сражений сороковых годов.

В серии «Исторические документы» есть дневник японского офицера, погибшего при отступлении из Учана. За неимением подобного материала из Европы, полагаем, можно процитировать его здесь, чтобы показать, каково это было — сражаться в последней из войн. Правда, перед нами не очень яркий документ. Офицер был интеллектуалом, социалистом и твердо верил в Лигу Наций, а его записи — серия враждебных и критических замечаний в адрес вышестоящего командования. Но во второй половине эти рассуждения угасают. Дневник превращается в сборник отрывистых записей о том, что японец

ел и пил, как боролся с гриппом и дизентерией. Похоже, с ним была команда военных. Автор дневника дважды отмечает, как ему удалось накормить соратников, записывает их имена и даты смерти. Есть также цифры, иллюстрирующие истощение запасов. К моменту гибели он уже предельно оголодал. По мере того, как таяли силы автора, он, похоже, ощутил, что использует слишком сложный шифр, и перешел сначала на плохой английский, а затем на простой японский. Последние строки дневника — незаконченное стихотворение, отрывок в старом стиле, который можно перевести примерно так:

Цветок миндаля
В лучах весенних солнца,
Госпожа Фудзи,
Драгоценный дом любви,
Ужель не увижу вновь?

Возможно, завершиться этим наивным стихам помешала смерть автора. Вероятно, весь его отряд полег под Кайфеном.

Нигде в поздних военных мемуарах нет ничего, что напоминало бы странную особенность историй 1914–1918 годов. Те истории были написаны людьми, которые, покидая абсолютно незыбле-

мые, надежные дома, оставались уверенными, что вернутся (при некотором везении) сюда же и будут жить долго и счастливо. Солдаты уходили на фронт, исполненные храбрости и романтизма. Участники более позднего цикла войн чувствовали, что такого возвращения домой не будет. Они знали, что уходят в беду, оставляя в беде и свои дома. Знали, что их война не временное испытание: для них война — навсегда. Мемуары летчиков, на чьей совести столько разрушений, поразительно пусты. Они вспоминают о боях в предельно скупых выражениях: «Положил пару пшеков», например, или «На волосок»; но пилоты, похоже, не хотели знать, что делают их бомбы с людьми внизу. Многие из этих молодых летчиков выжили и потом, после 1965 года, служили в Управлении воздушного и морского транспорта. Но, хотя некоторые из них довольно неплохо описали свой более поздний опыт, ни один не оставил ничего полезного для исследователей военного времени. Историк снова и снова обращается к датам, картам и цифрам из обломков надежд, страхов, ужасов, курьезов и агонии миллионов, переживших ту эпоху жестоких бедствий, сомневаясь, сожалеть или радоваться тому, что бóльшая часть этого кипения чувств и

страданий исчезла так же надежно, как если бы ее никогда и не было.

После 1945 года всеобщее изможденіе стало очевидным. Душами овладело такое отчаяние, что отказал даже инстинкт самосохранения. Люди лежали голодные в своих постелях и домишках, не пытаясь спастись от падающих с неба бомб. Только запах газа все еще мог вызвать панику, и безудержный поток измученных горожан, кашляющих и задыхающихся, устремлялся по улицам к убежищам. После 1942 года не раз накатывали волны нового гриппа, дающего осложнением необычно глубокую депрессию, а в 1945-м пришла холера. Эти эпидемии казались достаточно серьезным испытанием, будучи лишь проверкой защитных механизмов, свойственных людям, лишь предтечей великого «нашествия микробов», которое ждало разобщенное человечество.

За исключением авианалетов, Британия и другие нейтральные страны Европы страдали почти так же остро, как если бы и сами воевали. Они поставляли боеприпасы и собирали урожай безнадежных долгов. После первого экономического подъема, вызванного этой активностью, экспорт из Великобритании, ставшей когда-то

пионером свободной торговли и космополитизма, растаял до ничтожного уровня. Извечный мировой лидер в кредитовании не мог собрать долги, которые ему причитались, и обеспечить продовольствием население, уже не растущее, но все еще чрезмерное. Бывший образец высоких санитарных норм потек нечистотами из-за жесткой экономии. Перенаселенность в таком неприятном климате превратила тесноту в кошмар. Первая эпидемия холеры застала Британию в муках не только голода, но и гражданских беспорядков, которые сдерживались и подавлялись лишь хорошо оснащенной армией да все еще сильными привычками островитян к порядку и подчинению. Никогда со времен Черной смерти пятнадцатого века англичане не знали такой эпидемии. Они считали, что подобные бедствия остались в далеком прошлом. Однако эта холера была лишь предвестником еще более ужасных событий, грянувших в последующее десятилетие.

Медленно, но верно дух протеста и мятежа расползался по Европе. Это растущее отчаянное неповиновение, которое так много сделало для прекращения войны в 1918 году, вновь вспыхнуло в новых формах. Правда, теперь массовые мятежи, подобные тем, что сорвали французские

наступления после 1917 года, вывели из войны Россию и привели к окончательному краху Германию, не имели такого же разрушительного эффекта, поскольку новая война велась в основном не пехотой. Уже не было больших скоплений вооруженных людей под раздражающим гнетом дисциплины, готовых откликнуться на «подрывную работу». Могущество перешло к летчикам и военным инженерам. С помощью небольших бомб, пулеметов и газов мягкого действия они могли «обрабатывать», разгонять массовые собрания и «успокаивать» мятежные районы такими способами, о которых и помыслить не могли баррикадные революционеры конца восемнадцатого века.

Потеряли свою прежнюю действенность и забастовки на оружейных заводах, поскольку возросшая эффективность производства вытеснила неквалифицированных рабочих и протестам не хватало массовости. По той же причине пропаганда революционной классовой борьбы, хотя и овладевшей сознанием девяти десятых пролетариев Европы, столкнулась с неожиданными препятствиями в попытках взять дело под контроль. Русская социальная революция не могла повториться в Европе, здесь сложились совер-

шенно иные условия. Успех большевиков стал возможен только благодаря отсталости России и отсутствию технически грамотного социального слоя. Беспорядки и непокорность простого народа в Центральной и Западной Европе могли породить и породили масштабное скрытое недовольство и местечковые революционные движения, которым, однако, противостояла целая система народа образованного. Авиаторы, техники, научные работники и прочие интеллектуалы имели перед глазами пример Красной России и знали, развития в какую сторону можно ожидать от ведомого партийными деятелями пролетариата. И что бы ни думали о своих правительствах работники научно-технической сферы — а они уж начинали думать весьма нестандартно и решительно, — к марксизму эти мысли не обращались.

Тем не менее с помощью инструкторов из России антивоенное движение приняло на некоторое время форму коммунистических восстаний. В 1947 году в Марселе, Сент-Этьене, Париже, Барселоне, Милане, Неаполе, Гамбурге, Лодзи и Глазго произошли военные перевороты и революции, достаточно грозные, чтобы взявшие власть Советы смогли продержаться от недели

до нескольких месяцев. Дольше всех за счет лучшей организации коммунисты правили в Глазго и Гамбурге и пали только после серьезного кровопролития. Незначительные выступления подобного характера случались почти везде. И то, что европейские правительства выступали за прекращение войны, объяснялось в первую очередь их страхом перед мировой революцией. По мере того, как рушилась материальная организация системы, как росла неуверенность в поведении образованного класса, все явственнее маячил кулак пролетария перед лицом биржевого спекулянта, торговца оружием, банкира и политика.

Для завершения последней войны потребовалось почти три года. Лондонская конференция 1947 года сделала все возможное для достижения европейского урегулирования в духе Версальского договора, но у политиков и дипломатов не хватило откровенности и великодушия. Сохранить лицо оказалось для этих нелюдей настолько важнее сохранения жизней, что фактически с их подачи бессмысленная бойня возобновилась в 1948 году.

Однако уже весной 1949-го в Праге президент Бенеш добился того, что казалось невозможным, и положил конец войне. Он придумал новое выражение и предложил вместо договора «приостановку военных действий». Каждая держава должна была остановиться на занятой территории и прекратить любые боевые действия до созыва некой неопределенной пока конференции в будущем. Грипп, холера и, наконец, пятнистая лихорадка, нарастающий экономический кризис и новые изменения в человеческих отношениях помешали когда-либо собраться этой конференции. Временное прекращение огня Бенеша стало постоянным, и длится оно по сей день.

Перевод Игоря Абакумова под редакцией Григория Панченко

Примечание

Перед нами очередная глава-рассказ из огромного романа в рассказах «Облик грядущего» (написанного и опубликованного в 1933 году, когда Муссолини уже на слуху, Гитлер тоже… но еще в гораздо меньшей степени). На русский язык этот роман-предсказание никогда не переводился.

«Облик грядущего» выстроен как стенографическая запись снов, посещавших профессора Филиппа Рэйвена. Это девятый сон, охватываю-

щий события 1940–1945 годов, когда происходило то, что профессору (точнее, Уэллсу и его современникам) представлялось Второй мировой войной. Впрочем, Мировой (она же Великая) войной для него на тот момент остается только Первая, для ее «вольного продолжения» даже названия не придумано…

Как видим, по отношению к 1933 году, когда была создана книга, это возможное будущее, причем весьма близкое. А вот для нас оно уже стало альтернативной историей, хрониками несбывшегося. Так что публикуем девятый сон Веры Пав… то есть профессора Рэйвена без комментариев. Со всем его странным сочетанием удивительно зорких прозрений и близоруких промахов, с мешаниной известных и неизвестных (как нам, так и самому Уэллсу) имен, названий и событий.

Фернан Дюмон. *ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА*

Не так давно удивительная история произошла с некоей парой, решившей жить вместе, не обращая внимания, что скажут или подумают об этом в городе, где судьба свела их, невзирая на яростное сопротивление обоих родителей. Поговаривали, что они выиграли в какую-то игру у Солнца, потому что в какое время года их ни повстречаешь, их лица, руки и волосы выглядели так, как будто они только что вернулись из летнего отпуска.

Те, кому посчастливилось под тем или иным предлогом побывать у них в гостях, в один голос твердили, что их дом заполнен — или даже завален — сверкающими предметами странной формы, назначение которых гости не смогли понять. Иные рассказывали, будто некоторые комнаты на первом этаже (куда им не довелось попасть, но удалось исподтишка взглянуть через приоткрытую дверь) представляют собой непостижимое зрелище: они по-особенному обставлены, а стены их разрисованы светящейся краской, и это придает им вид настолько необычный и невиданный, что никак невозможно это

описать.

Этих людей забрасывали вопросами, но, как и следовало ожидать, их противоречивые и путаные объяснения вместо того, чтобы удовлетворить любопытство, лишь разжигали его, так что вскоре весь город говорил только о таинственной паре. Наиболее любопытные — те самые, кто по причинам личного характера, в которых не могли сознаться, всегда защищали принцип неприкосновенности жилища, — зашли настолько далеко, что допускали нелепейшие поводы для визита, лишь бы разгадать наконец мучившую их загадку.

Ни к чему хорошему это не привело.

Фальшивые нищие, угодливые сборщики пожертвований, притворные судебные приставы встречали вежливый, но категорический отказ, и дверь перед ними закрывалась. Так что хотели они или нет, но им приходилось смириться с грустной действительностью. Однако они продолжали с неослабевающим упорством следить за ходом событий и пытаться вмешаться в них в надежде, что рано или поздно дело повернется так, как они мечтают. Но дни шли, не принося ничего такого, чем могло бы насытиться всеобщее любопытство. И не было ничего более раздража-

ющего любопытствующих, чем осознание, что, коль скоро они ходят за парой по пятам, им стоит только подойти, задать прямой вопрос и узнать наконец ответ на него, но они не делают этого, а лишь продолжают убеждать себя решиться. Обсуждаемая же пара была в высшей степени холодна, надменна и безразлична ко всем, так что даже самые смелые и целеустремленные не рисковали заговорить с ними.

Люди старались перестать думать о них, говорили себе, будто стали жертвой глупого розыгрыша, и гнались за иллюзией, что странная пара ничем от них не отличается и только легковерные глупцы верят в подобные сплетни, но все было без толку. Крики «Это ложь!» никого не убеждали, и, говоря о другом, читая газету или отправляясь на прогулку, даже эти скептики с удивлением обнаруживали, что не думать о странной загадке у них не получается.

И вот однажды, когда всеобщая истерия уже шла на спад, странные супруги, словно решив, что пора совершить что-нибудь заметное, чтобы интерес к ним не угас, появились в толпе, окутанные чем-то вроде длинного шарфа, который летел за ними следом, и каждый, кто проходил сквозь этот вихрь, не мог не думать о тишине, внезапно

разрываемой криками первых петухов, об апрельском рассвете в саду, где только что выпала роса. Новость об этом событии распространилась, как лесной пожар, и, разумеется, обросла самыми разнообразными слухами. Одни говорили, что дело всего лишь в особенных духах, которые, возможно, и делаются в тех странных сверкающих штуках в таинственном доме. Другие же, те, кто имел смутное представление о сверхъестественных материях, давали волю фантазии и уверенно утверждали, что публике пришлось столкнуться с явлением нематериального порядка, наверняка имеющим отношение к хорошо известному феномену передачи мыслей на расстоянии. Эти вторые настаивали — преимущественно из-за своей мелочности и узости взглядов — на том, что важнее всего определить, было ли явление материальным или нематериальным, придавали именно этому пустяку основное значение, неспособные ни на миг представить себе необычайную важность того, что ранее никогда не происходило.

Довольно быстро было установлено (и подтверждено множеством свидетельских показаний), что этот феномен могли ощущать все, однако оставалось непонятным, что он из себя представ-

ляет, какова его природа.

Свидетели не помогли разобраться. Их показания были крайне скудны, однако, по крайней мере, позволили сделать один вывод: феномен, будь это духи или некие флюиды, воздействовал на всех в одно и то же время. Описывая свои мысли, никто не говорил о сумерках, сосновом лесу, ферме или сентябрьском тумане. Все свидетели были поразительно единодушны. И неважно, что была середина зимы, а происходило все на шумном перекрестке возле железнодорожных стрелок; неважно, что кто-то был поглощен своими делами, кто-то вел оживленную беседу, а кто-то высматривал в толпе таинственную женщину. Достаточно было лишь пройти через волну, тянущуюся за странной парой по земле, чтобы началось затмение; достаточно лишь зайти в теневую зону, и странная задумчивость овладевала любым.

Власти ничего не могли сделать. Хотя они демонстрировали прискорбное неверие, не в их привычках было упустить возможность напуститься на что-либо, в каком угодно смысле нарушающее общественный порядок. Однако действия странных супругов они никак не могли признать преступными, а стало быть, не полу-

чали возможности вмешаться с карательными мерами.

Итак, странная пара продолжала — еще более дерзко, чем пристающий к красотке мужчина, еще более провокативно, чем компания хохочущих людей в церкви, еще более неотвратимо, чем идущий на город циклон, — гулять по городу, распространяя вокруг себя незабываемую атмосферу, заставляющую всех ощутить, как уже было сказано, тишину (в которой внезапно был слышен крик первого петуха) в апрельском саду, влажном от утренней росы. Люди решили обратиться за советом к специалистам и с удивлением обнаружили, что таковых не существует в природе. Благодаря их настойчивости смущенные психиатры, признавая собственную несостоятельность, собрались в городке, чтобы изучить необычное явление, однако в то самое утро, когда они прибыли, на город внезапно упал густой туман.

В это время года туманы случались часто, потому все подумали, что это простое совпадение, неприятное, конечно, раздражающее, но всего лишь совпадение, да-да, чистая случайность…

Ученые мужи были встречены туманом столь густым, что доставить их до городского отеля без

приключений оказалось делом вовсе немыслимым. Отцы города бесконечно извинялись перед растерянными гостями и предлагали им посвятить день опросу самых надежных свидетелей, а потом, конечно, распогодится и они смогут проводить свои эксперименты. Так и сделали, но назавтра, открыв окна, жители и гости города вновь обнаружили непроницаемую стену тумана. Это было тем более странно, что окрестные молочники и фермеры уверяли, будто накануне ночью небо было ясное, густо усыпанное звездами. Все утро водители, приезжающие из-за города, неизменно докладывали, что над сельской местностью ярко светит солнце, а прогноз погоды, который горожане, храня гробовое молчание, читали в полдень, окончательно убедил всех: это не простое совпадение.

Людей охватила тоска. Им хотелось кричать, что все это неправда, что таинственная пара не имеет никакого отношения к туману, скрывшему от их глаз весь мир, что так невероятно нужно, чтобы все это не было правдой! Люди испытывали острую потребность уничтожить этот кошмар, разорвать на клочки, избавиться от негодной действительности, найти какое угодно средство, измыслить бурю, позвонить солнцу по

телефону. Однако лишь в собственных фантазиях они избавлялись от наваждения, и родной город снова становился знакомым, понятным, в нем было по-прежнему просто и удобно жить.

Как это часто бывает, когда люди сталкиваются с развитием событий по непредвиденному сценарию, который они не в состоянии постичь, их замученное непонятным сознание отказывается признать существование причинно-следственных связей, хотя они вроде бы со всей очевидностью явствуют из фактов, но вместе с тем столь необычны, что кажутся невозможными. Так они продолжали колебаться, не признавая окончательно существование явной причинно-следственной связи между странной парой и туманом; они все не решались возвести узкий мост над такой удобной материальной реальностью, внезапно оказавшейся пропастью; не решались принять простой и ужасающий вывод даже с максимумом оговорок. Люди продолжали колебаться, потому что цена была слишком высока, ведь официальное признание того, что чудеса, или волшебство, или сверхъестественное — как хотите — существуют, положило бы начало окончательному разрушению всех ценностей, до тех пор незыблемых.

Люди все еще старались рассуждать разумно и обращались к здравому смыслу; старики припоминали ситуации, которые можно было сравнить с этой. Сидя дома, у камина, с закрытыми ставнями и зажженными лампами, благостно куря трубку, люди чувствовали себя нашедшими островок спокойствия, столь же приятный их сердцу, насколько настоящий остров, возникший посреди открытого моря, мил сердцу потерпевшего кораблекрушение. Однако спокойствие это было недолгим, и, выходя на улицу и глядя на туман, люди убеждались, что на всех стенах кошмар бытия начертал свое имя.

На исходе третьего дня власти экстренно собрались и приняли решение, что остановить это чудовищное деморализующее представление можно лишь одним способом — арестовав пресловутых супругов. Арест готовился втайне, ни одна мелочь не должна была выйти наружу, и самые серьезные меры были приняты, чтобы операция, назначенная на следующее утро, прошла успешно. Каково же было их удивление, когда ранним утром они обнаружили, что туман полностью рассеялся! К нему все так привыкли, что насилу могли поверить собственным глазам, а солнце, все еще низко висящее над горизонтом,

светило как ни в чем не бывало со своей обычной силой.

И власти уже начали задаваться вопросом, с чего вдруг им пришло в голову предпринять столь радикальные меры, и колебались: ведь теперь уже ничто не может оправдать арест невинных граждан, и, возможно, подобные действия сейчас преждевременны — стоит посмотреть, что случится дальше, и разузнать побольше, а не то есть риск оказаться в глупом положении под градом насмешек. Однако на площади собиралась толпа, и уже одно это предписывало действовать. Давно подавляемое желание принудить раздражающую тайну исчезнуть и в еще большей мере озабоченность тем, чтобы не демонстрировать публике, что власти раздираемы противоречиями, соединились с мелочным стремлением выглядеть отважными спасителями и без труда взяли верх над сомнениями.

Итак, они отправились, хоть и с тяжелым сердцем. Когда дом супругов уже был в поле зрения бравых правоохранителей, обнаружилось, что вокруг него уже стоят полукругом зеваки. Эти последние немедля сообщили, что подойти к дому ближе невозможно, потому что от него исходит невыносимый жар. Это было уж совсем непонят-

но, ведь не было ни дыма, ни огня, ничего, на что мог бы опереться трезвый разум. Жилище выглядело абсолютно нормальным. Однако люди все расступались: их отгонял дальше и дальше невидимый жар и вполне видимый свет — сперва просто яркий, постепенно он стал слепящим до такой степени, что зеваки были вынуждены уйти с улицы, а затем и всем горожанам пришлось спешно запереться в домах. Время от времени добровольцы выходили наружу, разведать, что там происходит, хотя остальные и уговаривали их не делать этого, — никто не возвращался.

Наконец желающие выйти закончились, и спустя бесконечно долгие часы на опустевший город медленно опустилась ночь.

В ожидании рассвета окна приоткрылись, и так как ничего подозрительного не происходило, несколько человек вышли на улицу и, прижимаясь к стенам, подкрались к таинственному дому.

Жара спала, и дом был погружен в темноту, так что сначала они подумали, что стали жертвами массовой галлюцинации, однако вскоре поняли, что дело вовсе не в этом, и стали во весь голос звать остальных, уверяя, что ни малейшей опасности нет и все непременно должны увидеть это поразительное зрелище.

От дома остался лишь кусок некоего твердого, совершенно прозрачного вещества, испускающего слабый свет, — что-то наподобие кристалла, но более чистое, чем любой из известных кристаллов. Внутри этого восхитительного футляра, сияние которого не могло затмить ничто, ходили странные супруги, маленькие, намного меньше, нежели были в реальности, и светящиеся поразительным светом, а вокруг них был не дом с его странной обстановкой, но сказочный ландшафт, словно пришедший из старинных легенд.

Через некоторое время странная пара медленно пошла — внутри дома-кристалла — по направлению к таинственному лесу, синеющему вдали, и в тот самый миг, когда две фигуры должны были исчезнуть из вида, те, кто склонился над самым кристаллом, чтобы лучше видеть, упали наземь и рассыпались прахом, пустой землей, на которой, среди мелкого сора и зарослей крапивы, внезапно распустилась редчайшего сорта роза, и лепестки ее были того самого вещего оттенка, каким будет алеть последняя вечерняя заря, которую нам дано будет увидеть, прежде чем мы покинем этот мир.

Перевод Айзека Бромберга

Примечание

Фернан Дюмон (1906–1945) — настоящее имя Фернан Демустье, бельгийский поэт и прозаик (а также художник, фотограф, музыкант), работавший главным образом в сюрреалистическом жанре. «Влияние солнца» — короткая новелла из написанного в 1940 году «Трактата о феях», который Дюмон посвятил своей новорожденной дочери. В новелле этой, пусть и завуалированно, но присутствует мотив жизни под оккупацией: отчуждение «инаких»… сперва потаенное, а потом явное желание, чтобы они исчезли… Сам писатель с таким подходом смириться не смог: он принял участие в движении Сопротивления, в 1942 году был арестован, отправлен в концентрационный лагерь «Берген-Бельзен», где и погиб 15 марта 1945 года — всего за месяц до прихода британских войск.

Последнее объяснение, более похожее на обвинение, Хорн Фишер получил от Гарольда Марча на залитой солнцем веранде приморского отеля, откуда открывался отличный вид на синюю полосу прибоя и ряды цветочных клумб.

Гарольд Марч присел за низкий столик. Что-то омрачало задумчивый взгляд его голубых глаз, в которых тлел огонек едва сдерживаемого волнения. Впрочем, многие (если не все) причины подобного настроения можно было найти в стопке газет, брошенных им на столешницу. Публичная политика переживала кризис во всех отраслях. Правительство, находившееся у власти столь долго, что его начали было воспринимать чем-то вроде сатрапии, передающейся по наследству от отца к сыну, теперь обвиняли во всех смертных грехах, включая даже финансовые злоупотребления. Поговаривали, что попытка развития сельского хозяйства на западе Англии — давнишняя причуда Хорна Фишера — закончилась не просто провалом, а опасным обострением отношений с соседями, обладающими куда более развитой промышленностью. В частности,

недовольство вызывало дурное обращение с ни в чем не повинными иностранцами, занятыми на строительстве научных центров, разбросанных по побережью. Разумеется, проблемами соотечественников, выкинутых на далекие берега, заинтересовалось новое государство, возникшее в Сибири и поддерживаемое Японией и прочими могущественными союзниками. Появились даже нелепые слухи о неких послах и ультиматумах. Но Марч испытывал смятение и негодование при встрече со старым другом из-за куда более личной (а потому казавшейся куда более серьезной) причины.

Вполне возможно, что чувства эти разгорелись еще сильнее из-за странного оживления, охватившего Фишера — а обыкновенно он славился своей апатичностью. В памяти Марча запечатлелся джентльмен бесцветный; сей джентльмен столь же рано облысел, сколь и постарел; он изрекал точку зрения заядлого пессимиста языком праздношатающегося гуляки. Даже сейчас Марч не мог отделаться от мысли, что увиденное им — всего лишь игра солнечных лучей, а может, с ним играют злую шутку чистые цвета и четкие линии, высвобожденные дыханием синего моря — неотъемлемая черта морских курортов. Но в

петлице у Фишера красовался цветок, а своей тросточкой — его друг мог в этом поклясться — он помахивал, словно боевым оружием. Казалось, этот пессимист единственный излучал веселье в тот час, когда над Англией сгущались тучи.

— Послушай-ка, — резко начал беседу Гарольд Марч, — я не прекращал считать тебя своим другом и сейчас горжусь нашей дружбой сильней, чем когда бы то ни было, но кое-что я просто обязан тебе сказать. Чем больше я узнаю, тем сильнее недоумеваю, как тебе удается мириться с происходящим. Должен тебе сообщить, что сам я более ни с чем мириться не намерен.

Хорн Фишер внимательно и серьезно посмотрел на приятеля, но казалось, что мысли его витают где-то далеко. Очень спокойным голосом он ответил:

— Ты знаешь, что всегда мне нравился. Но также я уважаю тебя, а это далеко не всегда одно и то же. Как ты, возможно, догадался, есть немалое число людей, которые мне нравятся, но не вызывают у меня уважения. Даже не знаю, заключается в этом моя драма или просто моя ошибка. Но с тобой все совершенно иначе, и, клянусь, я никогда не стану общаться с тобой как с человеком, который мне нравится, за счет потери моего

к тебе уважения.

После паузы Марч сказал:

— Твое великодушие мне известно. Потому-то ты терпишь все это и попустительствуешь происходящему.

Снова помолчав, он добавил:

— Помнишь нашу первую встречу? Тот случай с мишенью, ты тогда еще рыбачил у ручья[11]. И помнишь, ты сказал тогда, что если я взорву динамитную шашку и все эти общественные джунгли взлетят к чертям, то вреда не будет?

— Помню, — кивнул Фишер. — И что с того?

— Да только то, что я собираюсь-таки подложить динамитную шашку и взорвать все к чертям, — ответил Гарольд Марч. — Полагаю, ты имеешь право об этом знать. Я много лет не мог поверить, что дела так плохи, как ты утверждаешь. Просто не верил, что человек может знать о чем-то подобном — а тебе, видимо, действительно известно все — и держать это знание при себе. Одним словом, у меня еще осталась совесть, да к тому же наконец выпал подходящий случай. Я встал во главе крупного независимого издания,

---

[11] Notes: 11

Имеются в виду события, происходившие в рассказе «Лицо на мишени» — первом в цикле рассказов о Марче и Фишере, где и состоялось их знакомство (прим. пер.).

у меня развязаны руки, и я собираюсь дать по коррупции залп изо всех пушек.

— Полагаю, ты связался с Эттвудом, — задумчиво хмыкнул Фишер. — Он торгует лесом, и ему многое известно о Китае.

— Ему многое известно об Англии, — упрямо парировал Марч. — Теперь мне тоже многое о ней известно, и более мы не станем закрывать на все глаза. Жители этой страны имеют право знать, какие у руля стоят разумники — или лучше назвать их разбойниками! Лорд-канцлер в кармане у ростовщиков и вынужден делать, что ему скажут. Посмей он только возразить — и он разорен, причем причина тому наихудшая из возможных: карточные долги и актрисы! Премьер-министр по уши увяз в сомнительных сделках с нефтью. Разум министра иностранных дел полностью затуманен алкоголем и наркотиками. Причем заметь: если ты в открытую заявишь что-то подобное о человеке, наделенном властью послать тысячи англичан на смерть ради ерунды, тебя обвинят в переходе на личности. Однако если какой-нибудь бедняга-машинист надерется в стельку и укокошит тридцать или сорок человек, никому и в голову не придет назвать подобные нападки переходом на личности. Разве может

личность машиниста иметь значение!

— Совершенно с тобой согласен, — равнодушно кивнул Фишер. — Ты во всем прав.

— Если ты с нами совершенно согласен, так какого же черта все еще не в наших рядах? — требовательно спросил друг. — Если веришь, что это правда, то как можешь жить не по правде? Ужасно предполагать, что человек с твоими возможностями просто-напросто стоит на пути реформ!

— Мы с тобой уже обсуждали это, причем неоднократно, — ответил Фишер, не меняя выражения лица. — Премьер-министр дружен с моим отцом. Министр иностранных дел женат на моей сестре. Лорд-канцлер приходится мне двоюродным братом. Я неспроста сейчас вспоминаю эти подробности моей родословной. По правде говоря, я испытываю нынче невероятный подъем сил. И нет, сэр, виной тому не солнце и не морской воздух. Я смакую эти чувства, которые для меня в новинку. Никогда ранее я не испытывал подобного счастья.

— Что за дьявольскую ахинею ты несешь?

— Я горжусь своей семьей, — заявил Хорн Фишер.

Гарольд Марч, казалось, был настолько постав-

лен в тупик, что не мог даже рта открыть, лишь глядел на приятеля круглыми синими глазами. Фишер откинулся на спинку кресла в своей обычной ленивой манере и с улыбкой продолжал:

— Дружище, давай начистоту. Ты прав: я всегда все знал о моей несчастной родне. Но позволь в свою очередь спросить тебя: неужто ты веришь, что Эттвуд все это время не знал того же самого? И неужто ты веришь, что он не знал о твоей репутации честнейшего человека, который возвысит свой голос, как только ему предоставится шанс? Так почему именно сейчас, после стольких лет, Эттвуд спустил тебя со сворки, точно пса? Мне известен ответ, мне очень многое известно… слишком многое. Именно поэтому, как я уже имел честь заметить, я наконец-то горжусь своей семьей.

— Что за?.. — повторил Марч куда тише.

— Я горжусь Лордом-канцлером, ибо он заядлый игрок. Горжусь министром иностранных дел, ибо он алкоголик. Горжусь премьер-министром, получавшим мзду за каждую сделку, — убежденно заявил Фишер. — Я горжусь ими, поскольку они все это совершили, и в любой момент могут быть разоблачены, и знают, что в любой момент могут быть разоблачены, но продолжают ре-

шительно стоять на своем. Снимаю перед ними шляпу, ведь они не подчинились шантажу и отвергли возможность ради собственного спасения уничтожить свою страну. Я приветствую их, как если б они собирались с честью погибнуть на поле боя.

Помолчав, он добавил:

— А в бой придется идти скоро, и отнюдь не только в метафорическом смысле. Мы так долго шли на поводу у иностранных заемщиков, что сейчас остается лишь сражаться или же пойти ко дну. А о том, что мы идем ко дну, начинает подозревать даже простой люд, причем даже простой люд из сельской местности. Вот в чем кроется причина прискорбных инцидентов, отраженных в газетах.

— И в этом кроется причина гонений на азиатов? — спросил Марч.

— Причина гонений на азиатов, — отвечал Фишер, — кроется в том, что финансисты завезли в страну китайских рабочих, прекрасно осознавая, что это доведет наш рабочий люд и наших крестьян до разорения и голодной смерти. Бедолаги-политиканы — они делали уступку за уступкой; однако сейчас от них требуют уступки, равносильной прямому приказу уничтожить

нашу бедноту. И если мы не будем сражаться сейчас, то нам не придется сражаться уже никогда. Экономику Англии можно довести до полного разорения за неделю. Но мы собираемся сражаться. Не удивлюсь, если через неделю нам предъявят ультиматум, а через две случится иностранное вторжение. Малодушие и коррупция, имевшие место в прошлом, безусловно, связывают нам руки. В западных графствах кипят нешуточные страсти, особенно если дело касается военных действий. Предполагается, что ирландские полки по новому договору обязаны поддержать нас, но они взбунтуются — особенно, если этот дьявольский кули-капитализм[12] распространится и в Ирландии. Впрочем, мы призваны остановить это; и если вовремя принести им весть о правительственной поддержке, то ко времени высадки вражеских войск они вполне способны вновь встать на нашу сторону. Вся моя бедная старая гвардия наконец-то собирается встать

[12] Notes: 12

Честертон имеет в виду распространенное явление — перевозку дешевых рабочих из Азии (так называемых кули) в страны Латинской Америки и Африки с целью диверсификации местной рабочей силы. Особенно часто так поступали именно британцы. При всем этом на территорию Британских островов рабочие-кули никогда не завозились, так что размышления Фишера представляют собой «взгляд в будущее», для нашей реальности так и оставшиеся альтернативными (прим. пер.).

под ружье. И поскольку в течение полувека они провозглашались образчиками для подражания, а их грешки замалчивались, то само собой, что стоило им впервые в жизни повести себя, словно настоящие мужчины, как все тут же выплыло наружу. Говорю тебе, Марч: я знаю всю их подноготную, и я знаю, что сейчас они ведут себя, как герои. Каждому из них полагается памятник, на пьедестале которого следует выбить слова одного из благороднейших мятежников времен Великой французской революции: «Que mon nom soit fletri; que la France soit libre»[13].

— Господи помилуй! — вскричал Марч. — Мы когда-нибудь продеремся сквозь дебри твоих аргументов и контраргументов?

После короткого молчания Фишер тихонько ответил, глядя другу прямо в глаза:

— Так ты полагал, в дебрях душ моих родственников нет ничего, кроме зла?

Голос его звучал мягко.

— Ты думал, что в глубинах тех морей, куда забрасывал меня рок, я не нашел ничего, кроме отбросов? Поверь мне: пока ты не узнаешь о чело-

---

[13] Notes: 13

«Пусть даже имя мое останется опозоренным, лишь бы Франция была свободна». Высказывание приписывается деятелю Великой французской революции Жоржу Жаку Дантону (1759–1794) (прим. пер.).

веке самое худшее, тебе не понять, как он может быть прекрасен. Читая в странных человеческих душах, не следует судить их, основываясь на том безупречном, но увы, неживом идоле, который выставляется напоказ всему миру. Да, идол ни разу не волочился за женщинами, ему неведомо значение слова «подкуп»... Но вести себя достойно можно даже во дворце, и при счастливом стечении обстоятельств вести себя достойно можно даже в парламенте. Истина едина как для этих богатых дураков и мерзавцев, так и для каждого из бедняков, промышляющих разбоем или карманными кражами: одному Богу ведомо, как они старались остаться хорошими людьми. Одному Богу ведомо, как долго может спать совесть и попытается ли человек, потерявший стыд, все же спасти бессмертную душу.

Вновь воцарилась тишина. Марч сидел, уставившись на столешницу, а Фишер смотрел на море. Внезапно он вскочил на ноги и с обретенной недавно живостью, граничащей с агрессивностью, схватил шляпу и трость.

— А знаешь что? — воскликнул он. — Давай-ка заключим сделку, старина! Прежде чем ты начнешь свою загонную охоту на деньги Эттвуда, поезжай со мной да поживи с недельку с нами.

Своими глазами поглядишь, чем мы на самом деле занимаемся. Под «нами» я подразумеваю кучку верных, ранее известных как «группа влиятельных лиц», а в нынешних обстоятельствах чаще именуемых «списанным товаром». Всего лишь впятером мы организуем национальную оборону и латаем в ней дыры, а место нашей постоянной дислокации — заброшенная гостиница в графстве Кент. Поехали, поглядишь, что мы делаем и что еще должно быть сделано, и воздашь нам по делам нашим. А потом уже печатай, черт с тобой — говорю это с неизменной к тебе любовью и привязанностью.

Вот так и случилось, что в последнюю неделю перед началом войны, когда события развивались с необычайной скоростью, Гарольд Марч внезапно стал частью маленькой загородной вечеринки в кругу людей, которых он собирался разоблачить. Жили они (для людей со столь значительными запросами) очень просто: в окруженной довольно унылым садом гостинице из бурого кирпича, по стенам которой вился плющ. За задним фасадом сад круто взбегал вверх, к дороге, идущей по соседнему холму. Между вечнозелеными деревьями, отбрасывающими столь густую тень, что их следовало бы назвать вечно-

черными, вела вверх дорожка. Она вся, казалось, состояла из углов и поворотов и то пряталась за деревьями, то вновь выныривала из-под их сени. Вверх по холму там и сям попадались статуи, отличавшиеся свойственной восемнадцатому веку холодной монструозностью, содержавшей в себе так мало красоты. Целый ряд их выстроился вдоль пологого ската холма, образуя коридор, ведущий к заднему входу. Впервые Марч услыхал о них от одного из членов правительства во время первой из бесед — может, потому это и врезалось ему в память.

Сами члены правительства оказались значительно старше, чем Марч ожидал увидеть. Даже премьер-министр больше не выглядел как мальчишка, хотя все еще временами напоминал младенца — впрочем, младенца уже пожилого и почтенного, увенчанного благородной сединой. Он отличался невероятной мягкостью во всем, от речей до манеры прогуливаться, но самое главное в нем было умение казаться спящим всегда и везде. Когда люди, привыкшие, что глаза его все время прикрыты, в полнейшей тишине обнаруживали, что за ними наблюдают, — это почти пугало. Впрочем, по крайней мере одна вещь могла заставить старого джентльмена

распахнуть глаза, и она единственная во всем мире будоражила ему кровь: это было холодное оружие, особенно восточное. Он часами мог рассуждать о дамасской стали и арабской манере обращения с клинком. Лорд-канцлер, сэр Джеймс Хэррис, оказался темноволосым крепко сбитым коротышкой-брюзгой с лицом землистого цвета; это резко контрастировало с шикарным цветком в бутоньерке и забавной манерой одеваться немного расфуфыренней, чем полагалось по случаю. Многим он был известен как светский лев, прожигатель жизни. Оставалось загадкой, как человек, живущий, казалось бы, ради своего удовольствия, получает от жизни так мало этого самого удовольствия. Сэр Дэвид Арчер, министр иностранных дел, был единственным в этой компании, кто пробивался в жизни самостоятельно, и единственным, кто выглядел как аристократ. Он был высоким, статным и поджарым. Борода у него была с проседью, полностью поседевшие волосы сильно курчавились, а два мятежных завитка даже торчали вперед, то причудливо подрагивая, подобно антеннам какого-то гигантского насекомого, то жалобно шевелясь в такт движению клочковатых бровей над измученными глазами. Министр иностранных дел не

трудился скрывать, что сильно нервничает, и неважно, что послужило тому виной.

— Вам знакомо такое состояние души, когда хочется поднять скандал из-за того, что коврик у двери криво лежит? — спросил он Марча, когда они прогуливались туда-сюда вдоль ряда потрепанных статуй по садику за отелем. — Женщины впадают в него, если чересчур перетрудятся; а уж я-то в последние дни работал, как проклятый. Я готов взорваться, стоит Хэррису надеть шляпу набекрень — ну знаете, эта его привычка выглядеть повесой. Клянусь, когда-нибудь я просто сшибу эту шляпу с его головы! И вон та статуя Британии[14] тоже стоит не слишком-то ровно. Она наклонилась чуть вперед, словно леди собирается потерять равновесие и упасть. Но она все не падает, черт бы ее подрал! Глядите-ка, ее подперли железным штырем. Не удивляйтесь, если как-нибудь посередь ночи я вытащу из-под нее эту подпорку.

Несколько секунд они шли по тропинке в молчании, а затем сэр Дэвид добавил:

---

[14] Notes: 14

Персонифицированный аллегорический образ Великобритании: обычно изображалась в виде женщины в коринфском шлеме, с гербовым щитом и трезубцем Посейдона — символом владычества Великобритании на морях (прим. пер.).

— Забавно все же, как подобные мелочи начинают докучать именно тогда, когда есть смысл опасаться куда более серьезных проблем. И лучше бы нам вернуться и заняться работой.

Хорн Фишер, несомненно, был в курсе и невротического расстройства Арчера, и беспутной манеры поведения Хэрриса. Какой бы ни была его вера в их нынешнюю стойкость, он не злоупотреблял чрезмерно их временем и вниманием. Это распространялось даже на премьер-министра. Последний в конце концов согласился передать важные бумаги, содержащие приказы западным армейским соединениям, на попечение лицу куда менее заметному в обществе, но куда более основательному — дяде Фишера по имени Хорн Хьюитт, выглядевшему, как обычный, ничем не примечательный деревенский сквайр. Он, однако, был хорошим военным и состоял при правительстве военным советником. Именно ему было поручено передать наполовину взбунтовавшимся войскам на западе страны все правительственные заверения вкупе с согласованными планами военной кампании. Помимо этого, перед ним стояла задача даже еще более важная: проследить, чтобы бумаги не попали в руки врага, который мог явиться с востока в

любую минуту.

Помимо военного советника, в гостинице находился также полицейский — некий доктор Принс, ранее судебно-медицинский эксперт, а ныне выдающийся детектив, чьим заданием было охранять собравшихся. Это был мужчина в больших очках и с квадратной челюстью. Выражение его лица без слов предупреждало: этот тип намерен держать рот на замке. Более никто не нарушал добровольного уединения здешних постояльцев, кроме хозяина гостиницы, вспыльчивого уроженца Кента с неприятным лицом, двух-трех его слуг, а также личного слуги лорда Джеймса Хэрриса — молодого шотландца по фамилии Кэмпбелл. Последний обладал каштановыми кудрями и вытянутой угрюмой физиономией, черты которой были крупными, но приятными. Он держался куда солидней, чем его желчный хозяин, и казался единственным знающим свое дело человеком на всю гостиницу.

Спустя примерно четверо суток столь неофициального общения Марч в полной мере проникся своеобразной гротескной величественностью этих неоднозначных персонажей, дерзко противостоявших надвигающейся на них угрожающей тьме, так, словно бы они были калеками и урод-

цами, оставшимися защищать городские стены. Все они работали не покладая рук; и его самого появление Хорна Фишера тоже оторвало от написания очередной страницы набросков. Фишер был одет так, словно собирался отправиться в дорогу. Марчу показалось, что его друг бледнее обычного. Спустя миг Фишер закрыл за собой дверь и тихо сказал:

— Что ж, самое худшее свершилось. Или почти самое худшее.

Марч вскочил со стула и вскрикнул:

— Противник высадился?

— Ну, высадки противника стоило ожидать, — хладнокровно отвечал Фишер. — Да, он высадился, но это не худшее, что могло произойти. Хуже то, что даже в нашей крепости для избранных случилась утечка информации. Честно говоря, меня это шокировало, хотя подобное поведение и следует назвать нелогичным. После стольких лет я все еще надеялся найти трех праведников в нашем политикуме. Но мне ли удивляться тому, что их лишь двое?

Помолчав, Фишер снова заговорил, и по его лицу Марч никак не мог определить, сменил ли тот тему или развивает предыдущую:

— Сначала тяжко предположить, что у чело-

века наподобие Хэрриса, погрязшего в пучине порока, остались хоть какие-то угрызения совести. Но я хочу поделиться одним забавным наблюдением. Патриотизм не может быть главной добродетелью. Когда его выставляют главной добродетелью, то он вырождается в воинствующее пруссачество. Но иногда патриотизм остается последней добродетелью. Мошенник или растлитель не продаст свою страну. Впрочем, как знать?..

— Так что же делать? — негодующе вскричал Марч.

— Бумаги находятся у моего дяди в относительной безопасности, — отвечал Фишер. — Сегодня их отошлют на запад. Но, боюсь, кое-кто посторонний попытается заполучить их, заручившись помощью одного из местных. Все, что я могу сделать, — это встать на пути у иноземца; посему я выезжаю немедленно и попытаюсь осуществить свой план. Я вернусь приблизительно через сутки. Пока меня не будет, прошу тебя присмотреть за оставшимися и выяснить все, что сможешь. Au revoir[15].

Он сбежал по ступенькам, и из окна Марч уви-

---

[15] Notes: 15
До свидания (фр.).

дал, как Фишер садится на мотоцикл и уезжает в направлении соседнего города.

На следующее утро Марч сидел на подоконнике в старом гостиничном холле, обшитом дубовыми панелями. Обычно в нем царил полумрак, но нынешнее удивительно ясное утро — луна уже две или три ночи сияла на небе, подобно алмазу — заполнило его ярким светом. Впрочем, Марч сидел на самом углу, укрытый тенью, так что лорд Джеймс Хэррис, торопливо забежавший в холл из сада за гостиницей, никого не заметил. Лорд Джеймс ухватился за спинку стула, словно пошатнувшись, а затем внезапно устроился прямо на столе, с которого еще не убрали остатки последней трапезы, налил себе стакан бренди и выпил. Хоть он и сидел спиной к Марчу, но его изжелта-бледное лицо можно было разглядеть в круглом зеркале, и оттенок кожи наводил на мысли о тяжелейшем недомогании. Стоило Марчу пошевелиться, как лорд Джеймс резко подскочил и обернулся к нему, воскликнув:

— Господи помилуй! Вы видели? Там, снаружи?

— Снаружи? — переспросил Марч, пытаясь через плечо его светлости разглядеть сад.

— А вы сходите туда, да и судите тогда сами! —

яростно вскричал Хэррис. — Хьюитт убит, его бумаги украдены, вот так-то!

Он вновь отвернулся и с глухим стуком опустился на сиденье, его квадратные плечи затряслись. Гарольд Марч опрометью вылетел в дверной проем и поторопился в разбитый на крутом склоне садик, где стояли статуи.

Первым, кого он увидал, был доктор-детектив Принс, который вглядывался сквозь стекла очков в нечто, лежащее на земле. Вторым же и было то самое «нечто». Даже после поразительных новостей, услышанных Марчем в холле гостиницы, зрелище все равно поражало воображение.

Огромное каменное изваяние, изображавшее Британию, лежало поперек тропки лицом вниз. Из-под нее, подобно лапкам раздавленной мухи, в беспорядке торчали рука в белом рукаве, нога в брючине цвета хаки и песочно-седая прядь волос, по которой безошибочно можно было узнать несчастного дядюшку Хорна Фишера. Конечности уже успели окоченеть. На земле виднелось несколько лужиц крови.

Марч наконец-то сумел связать пару слов и спросил:

— Это… мог быть несчастный случай?

— Сказал же: судите сами, — грубо ответил ему

Хэррис, который нервно поспешил выйти сразу вслед за ним. — Помните, я говорил, что бумаги исчезли? Малый, провернувший это дельце, сорвал с трупа пальто и взрезал внутренний карман, чтобы добыть документы. Пальто валяется выше по склону, и на одном из его бортов здоровенный разрез.

— Минуточку, — тихо произнес детектив Принс, — в этом деле не сходятся концы с концами. Убийца каким-то образом должен был сбросить статую на мистера Хьюитта, и с этим делом он вроде бы справился. Но я уверен, что он не сумел бы с легкостью снова приподнять статую. Я пробовал и убежден, что для этого требуется по меньшей мере трое мужчин. Тогда, согласно этой теории, мы должны предположить, что убийца сначала обрушил на прогуливающегося Хьюитта статую, используя ее, словно каменную булаву, затем вновь ее поднял, вытащил убитого, снял с него пальто, а затем положил убитого обратно в ту же позу, в которой того застала смерть, и аккуратно примостил сверху статую. Уверяю вас, это физически невозможно. Но как еще он сумел бы раздеть человека, погребенного под каменной статуей? Да уж, это посложней, чем трюк иллюзиониста, который со связанными запястьями

выворачивается из пальто!

— А мог он раздеть тело перед тем, как обрушил на него статую? — спросил Марч.

— Но зачем ему это? — остро спросил Принс. — Если ты убил нужного человека и забрал нужные бумаги, ты должен удирать — и ищи ветра в поле! Вряд ли он стал бы бесцельно тратить время в саду, подрывая основания у статуй. Кроме того… Эй, а там еще кто?

Высоко на холме над ними на фоне неба темнела фигура, напоминавшая паука — столь длинными и изломанными были ее очертания. На голове у нее виднелись два маленьких хохолка, похожие на рога, и наблюдатели почти могли поклясться, что эти рога шевелятся.

— Арчер! — заорал Хэррис и с внезапно проснувшейся пылкостью велел тому спускаться, перемежая слова проклятьями. После первого вопля фигура отскочила назад, и в движении этом скрывалось столько внезапного волнения, что его можно было бы назвать почти гротескным. Но в следующий миг человек овладел собой и передумал, начав спускаться по извилистой садовой тропке. Впрочем, делал он это крайне неохотно — ноги его ступали все медленней. В сознании Марча пульсировала фраза, сказанная

этим человеком, о том, как, обезумев, он посреди ночи встанет и обрушит каменное изваяние. Именно так, по мнению Марча, мог бы вести себя безумец, осуществивший подобную задумку и лихорадочно пританцовывая взобравшийся на вершину холма, дабы глянуть вниз на разрушения, причиненные им. Но разрушил он той ночью не один только камень…

Наконец Арчер подошел. Теперь и лицо его, и фигура были ярко освещены. Он ступал медленно, но легко, не выказывая никаких признаков страха.

— Какой кошмар, — сказал он. — Я как раз прогуливался вдоль холма и все видел.

— То есть, вы видели убийство? — требовательно спросил Марч. — Или это был несчастный случай? В смысле, видели ли вы падение статуи?

Арчер покачал головой:

— Нет. Я хотел сказать, что видел упавшую статую.

Принс почти не обращал внимания на эту перепалку. Его взгляд был прикован к предмету, валявшемуся в паре ярдов от трупа, — ржавому железному штырю, изогнутому с одного конца.

— Вот чего я никак не могу понять, — сообщил он, — так это откуда взялось столько крови.

Череп у бедолаги цел, его не раскроили. Шея, скорее всего, сломана, но крови тут так много, словно она хлестала одновременно из всех артерий. Возможно, орудием убийства послужила не статуя, а что-то иное… к примеру, эта железная штуковина… но нет, даже она недостаточно заточена. Полагаю, никому не известно, что это за предмет?

— Почему же, мне это прекрасно известно, — сказал Арчер глубоким, но подрагивающим голосом. — Эта вещь являлась мне в ночных кошмарах. Полагаю, перед нами тот самый железный штырь или штык, который воткнули в пьедестал, чтобы поддержать никуда не годное изваяние, когда оно начало шататься. Как бы там ни было, он всегда подпирал эту каменную громадину. Думаю, когда все рухнуло, он тоже вылетел.

Доктор Принс кивнул, однако продолжал внимательно вглядываться в лужи крови и железный штырь. Наконец он произнес:

— Я убежден: за этим всем кроется что-то большее. Возможно, что-то большее кроется и под статуей. Голову даю на отсечение, что кроется. Нас четверо, и вместе мы способны приподнять эту могильную плиту, так сделаем же это!

И они споро взялись за дело. Некоторое время

стояла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием, а затем, после минуты шарканья и топота восьми ног, огромное высеченное из камня подножие статуи было отнесено в сторону, и труп, одетый в рубашку и брюки, полностью открылся людским взорам. Очки доктора Принса, казалось, сами уподобились огромным глазам, увеличились в размерах и начали излучать сияние, ибо вместе с телом людским взорам открылось и кое-что еще. Во-первых, бедняге Хьюитту перерезали яремную вену, и разрез оказался глубоким — торжествующий доктор немедля определил, что повреждения наносились острым стальным лезвием, похожим на бритву. А во-вторых, на склоне у подножия статуи почти сразу же обнаружились три сверкающих стальных обломка, каждый длиной около фута. Один из них был заостренным, а другой торчал из богато инкрустированной рукояти, столь непохожей на европейские эфесы. Вне всяких сомнений, это был один из тех восточных клинков, длины которых достаточно, чтобы поименовать их мечами, но лезвия странным образом изгибаются, наподобие волн. На первом из обломков виднелась пара алых капель.

— Вообще-то я ожидал увидать больше крови, особенно на острие, — задумчиво заметил доктор

Принс, — но это, несомненно, орудие убийства. Разрез на горле сделан оружием именно с таким изгибом, и, скорее всего, разрез на внутреннем кармане тоже. Полагаю, варвар, осуществивший злодеяние, сбросил статую, дабы обеспечить противнику нечто вроде роскошных похорон.

Ответа не последовало: Марч, точно загипнотизированный, вглядывался в странные камни, мерцающие на странной рукояти меча. Подобно утренней заре, озарившей кошмарный пейзаж, перед его внутренним взором возникло их истинное значение. Перед ним лежали обломки необычного азиатского оружия, и он помнил, чье имя прочно соединено с любовью к необычному азиатскому оружию. И все же ему показалось неуместным, когда лорд Джеймс внезапно озвучил его тайные мысли.

— Где премьер-министр? — голос Хэрриса напоминал лай гончей, почуявшей поживу.

Доктор Принс повернулся к нему и блеснул очками. Его и без того угрюмое лицо стало угрюмей, чем когда бы то ни было ранее.

— Я нигде не смог его отыскать, — ответил он. — Я начал поиски сразу же, как только обнаружил, что документы пропали. Ваш слуга, Кэмпбелл, тоже взялся за это дело и проявил немалую расто-

ропность, но премьер-министра и след простыл.

Наступило долгое молчание, а затем Хэррис вновь завопил, но в его голосе прозвучала совершенно новая нотка:

— Ну так больше нет нужды в поисках, — сообщил он. — Вон он идет, вместе с вашим дружком Фишером. Похоже, они выбирались куда-то на небольшую прогулку.

По тропинке действительно шли два человека. Первый из них был именно Хорн Фишер, весь заляпанный дорожной пылью. Сбоку на его лысой голове красовалась царапина, словно он влез в куст колючей ежевики. Вторым же был величавый седовласый государственный муж, похожий на младенца, известный своим интересом к холодному оружию и мечникам Востока. Но Марчу удалось лишь опознать их — и только. Ни их внешний вид, ни манера держаться не давали ему ключи к разгадке происходящего вокруг кошмарного безумия. Более того, чем пристальней он вглядывался в них (а они подошли и остановились, чтобы послушать объяснения сыщика), тем больше его изумляло их поведение. Фишер наверняка был опечален смертью дяди, но отнюдь не потрясен ею. Его старший товарищ, казалось, блуждал мыслями где-то очень далеко

и, невзирая на огромную важность похищенных документов, его нимало не заботило преследование сбежавшего шпиона и убийцы.

Хорн Фишер заговорил с Гарольдом Марчем, лишь когда детектив отправился исполнять возложенную на него часть обязанностей — то есть, звонить по телефону и писать отчет; Хэррис вернулся в гостиницу — очевидно, к бутылке с бренди, а премьер-министр неторопливой походкой удалился к удобному креслу, стоящему в другой части сада.

— Дорогой друг, — произнес Фишер, — я хочу, чтобы ты отправился со мной, ибо больше никому я не доверяю столь беззаветно. Путешествие займет большую часть дня, а то, зачем мы отправимся, нельзя осуществить, пока не падут сумерки, так что по дороге мы успеем основательно все обсудить. Но я хочу, чтобы ты был со мной, поскольку полагаю, что мой час пробил.

Мотоциклы имелись как у Марча, так и у Фишера, так что первую половину дня они провели под неумолчный рев сих некомфортных изобретений, и разговаривать было совершенно невозможно. Сначала они ехали вдоль побережья на восток, но затем, миновав Кентербери, оказались на равнинах восточного Кента. Фишер

остановился в приятном маленьком пабе, расположенном близ сонно журчащего ручья, и друзья впервые за этот день присели поесть, попить и поболтать. Стоял прекрасный полдень, в лесу неподалеку распевали птицы, солнце ярко освещало питейные столы и скамьи, но на залитом светом лице Фишера отражалась невиданная дотоле серьезность.

— Прежде чем мы продолжим беседу, — начал он, — я должен кое-что рассказать тебе. Полагаю, ты имеешь на это право. Нам и ранее с тобой случалось видеть нечто загадочное и постигать его суть, так что будет правильным поступком позволить тебе добраться до сути и этой тайны. Но запутанный клубок событий, связанных со смертью моего дяди, я, пожалуй, должен распутывать не с того конца, с какого начал его распутывать наш старый добрый детектив. Если ты пожелаешь, то вскорости я изложу тебе цепочку моих умозаключений, но в данном случае истину я постиг отнюдь не при помощи цепочки умозаключений. Так что сперва я поведаю тебе правду, тем более что мне она известна практически из первых рук. В прошлых делах я не принимал непосредственного участия в событиях, но в данном случае я находился в их эпицентре. Именно

я был ядром и стержнем всего происходящего.

В серьезных серых глазах и слегка приопущенных веках Фишера скрывалось нечто такое, что потрясло Марча до глубины души, и он в смятении воскликнул: «Я не понимаю!», как делают это люди, когда чувствуют, что понимают слишком многое. Более тишину не нарушило ни единого звука, кроме счастливого птичьего гомона, а затем Хорн Фишер негромко сказал:

— Моего дядю убил я. И если тебе нужны детали, то государственные бумаги у него выкрал тоже я.

— Фишер! — придушенно воскликнул его друг.

— Позволь рассказать тебе все перед тем, как мы расстанемся, — продолжал Фишер, — и позволь мне ради установления истины изложить все так, как мы с тобой делали в прошлых случаях. Сейчас всех, связанных с этим делом, изумляют два момента, не так ли? Во-первых, как убийце удалось сорвать пальто с мертвеца, когда тот был уже повержен и придавлен к земле тем каменным кошмаром. Вторая проблема куда менее важна и не столь загадочна: почему у меча, которым моему дяде перерезали глотку, лишь самую малость запачкано острие — ведь, по-хорошему, в крови там должно быть все лезвие. Ну, на первый

вопрос я отвечу тебе с легкостью: Хорн Хьюитт снял пальто перед тем, как был убит. Более того — он снял пальто именно для того, чтобы быть убитым.

— И вот это ты называешь объяснением? — воскликнул Марч. — Твои слова еще сильней лишены смысла, чем реальные факты!

— Что ж, перейдем к следующему факту, — совершенно спокойно произнес Фишер. — Причина, по которой лезвие этого конкретного меча не обагрено кровью Хьюитта, кроется в том, что Хьюитта убили не им.

Марч запротестовал:

— Но доктор безоговорочно утверждал, что рану нанесли именно этим мечом!

— Прости, — ответствовал Фишер, — но он не утверждал, что ее нанесли именно этим мечом. Он утверждал, что ее нанесли лезвием, аналогичным этому.

— Но это редчайшей, можно сказать, исключительной формы лезвие, — возразил Марч. — Так что вообразить себе столь фантастическое совпадение…

— Тем не менее фантастическое совпадение случилось, — парировал Хорн Фишер. — Просто невероятно, какие иногда случаются совпаде-

ния… Другой меч совершенно той же формы был в том же саду в то же время — редчайшее совпадение, такие бывают раз на миллион. Частично его может объяснить то, что я сам принес оба эти меча в сад… ну давай же, дружище, ты наверняка сумеешь понять, что это может значить! Сложи два и два: имелось два одинаковых меча, и мой дядя сам снял свое пальто. Возможно, если я напомню, что вообще-то я не хладнокровный убийца, это поможет тебе в твоих рассуждениях.

— Дуэль! — воскликнул Марч, вновь немного обретя равновесие. — Ну конечно, я должен был это предположить! Но кто же тогда шпион, укравший документы?

— Шпион — мой дядя, — ответил Фишер. — Он же украл документы. По крайней мере, он пытался их украсть, когда я остановил его… единственно доступным мне способом. Бумаги, которые следовало отвезти на запад, дабы успокоить наших друзей и предоставить им план отражения агрессии, через несколько часов должны были оказаться в руках агрессора. Что мне было делать? Разоблачить одного из наших боевых товарищей сейчас значило сыграть на руку твоему приятелю Эттвуду и всей клике лизоблюдов и паникеров. Кроме того, у человека

за сорок вполне может возникнуть безотчетное стремление умереть так же, как он жил. В конце концов, я собираюсь унести все свои тайны с собой в могилу. Возможно, чем старше человек, тем меньше он склонен менять свои увлечения; моим же увлечением всегда было молчание. Также возможно, что я почувствовал потребность сохранить доброе имя матушки, пускай и вынужден был убить ее брата. Так или иначе, я выбрал время, когда вы совершенно точно спали, а он в одиночестве прогуливался по саду. В лунном сиянии я видел все тамошние статуи и сам походил на одну из них, только обладавшую способностью двигаться. Голосом, звучавшим совсем не так, как мой собственный, я обвинил его в государственной измене и потребовал бумаги, а когда он отказался, принудил его взять один из двух мечей. Тебе известно, что премьер-министр заядлый коллекционер; мечи находились среди образчиков, присланных ему на экспертизу. Это была единственная пара одинакового оружия, какую я сумел отыскать. Дабы поскорее завершить этот неприятный рассказ, отмечу: мы сражались прямо там, на дорожке, перед статуей Британии. Мой дядя необычайно силен, но у меня имелось преимущество в навыках. Его меч оцарапал мне

лоб почти в то же мгновение, как мой клинок нашел его шею. Хьюитт распростерся перед статуей Британии, как Цезарь перед Помпеем, всем телом упав на железный прут; его меч был уже сломан. Когда я увидел кровь, хлеставшую из смертельной раны, все иное перестало иметь для меня значение — я отшвырнул меч и подбежал к дяде, чтобы поднять его. Когда я наклонился над ним, события начали развиваться слишком быстро, чтобы я сумел уследить за всем. Уж не знаю, то ли железяка проржавела и сломалась, попав таким образом в руки дяди, то ли мой гориллоподобный дядюшка сам выломал ее из пьедестала… Так или иначе, штырь был в его руках, а близость смерти придала сил. Он взмахнул им, целясь мне в голову, пока я, безоружный, стоял перед ним на коленях. Уклоняясь от удара, я случайно взглянул вверх и заметил, как огромная Британия всей своей массой кренится над нами, подобно фигуре на носу корабля. В следующий миг я осознал, что она наклонена на пару дюймов сильнее, чем обычно, заслоняя собою небеса с невероятно ярко сияющими звездами. Затем небеса словно бы обрушились на меня, а следом за тем я оказался в тихом саду, глядя на осыпавшиеся руины и прах моего дяди, на который и вы сегодня смотрели.

Он выдернул последний штык, удерживавший британское божество, и оно пало, погребя под собой виновника своего падения. Я же развернулся и бросился к пальто, в котором, как мне было известно, имелся потайной карман. Разрезав пальто собственным мечом, я бросился бежать по садовой тропинке туда, где на дороге стоял мой мотоцикл. У меня имелись веские причины поторопиться, но на самом деле я бежал без оглядки от статуи и мертвого тела. На самом деле думаю, что я бежал от этой устрашающей аллегории, открывшейся моим глазам. Поэтому я ни разу не обернулся.

Затем я осуществил все то, что мне оставалось сделать. Всю ночь вплоть до рассвета и часть дня я мчался, словно пуля, минуя поселения и ярмарки Южной Англии, до тех пор, пока не прибыл в штаб-квартиру западных армий, пребывающих в полном смятении. Я успел вовремя. Образно выражаясь, я вовсю размахивал знаменем, на котором было написано, что правительство их не предало, что если они выдвинутся на восток против врага, то получат полную и абсолютную поддержку. Жаль, нет времени поведать тебе подробности, но поверь: это был мой звездный час. Триумф с факельным шествием, причем

главные смутьяны поджигали факелы в первых рядах. Все мятежи стихли, люди из Сомерсета и западных графств заполонили рыночные площади — те самые люди, что умирали за короля Артура и насмерть стояли за короля Альфреда. Ирландские полки присоединились к ним — и это само по себе было похоже на мятеж. Они маршем направились из города на запад, распевая песни фениев. Черный юмор этого народа сложно понять, но мне представилась возможность им насладиться, ведь даже отправляясь защищать Англию в компании англичан, они во всю глотку распевали: «Трех отважных, храбрых сердцем, доля к смерти привела… им английская веревка туго шею обвила»[16]. Общий хор, однако, дружно подхватывал: «Боже, храни Ирландию!», и каждый сам решал, в каком смысле трактовать этот припев.

Однако моя миссия состояла не только в этом. Я не только сумел сберечь план защиты страны, но, в основном благодаря счастливой случайности, завладел планами вторжения. Не стану обременять тебя подробностями стратегии, но нам

[16] Notes: 16

Строки из известнейшей ирландской патриотической песни «Боже, храни Ирландию!», повествующей о казни англичанами ирландских повстанцев.

известно, куда противник собирается выдвинуть большую часть своей артиллерии, призванной прикрывать его передвижение. Пускай наши союзники с запада и не успеют перекрыть основное направление вторжения, они все еще способны при помощи дальнобойных орудий накрыть снарядами вражескую батарею. Для этого им нужно всего лишь точно знать, где та находится. Вряд ли им удастся ее обнаружить до тех пор, пока кто-нибудь, находящийся поблизости отсюда, не подаст им сигнал. Впрочем, я полагаю, что этот кто-то… найдется.

С этими словами Фишер поднялся из-за стола. Друзья вновь уселись на мотоциклы и помчали на восток, сквозь сгущающиеся вечерние сумерки. Полосы неспешно плывущих по небу облаков повторяли изгибы окружающего путников пейзажа; на горизонте отцветали последние краски дня. Последняя гряда полукруглых холмов удалялась все дальше и дальше. Внезапно вдалеке замаячила линия прибоя — совсем не та ярко-синяя, которую они наблюдали с солнечной веранды, но укутанная зловещей фиолетовой дымкой жутковатого темного оттенка. Здесь Хорн Фишер вновь сошел с мотоцикла.

— Оставшийся путь мы должны пройти пеш-

ком, — сказал он, — а последний его отрезок я должен пройти в одиночку.

Наклонившись, Фишер принялся отвязывать от мотоцикла некий предмет, который всю дорогу возбуждал любопытство его спутника — пусть даже его внимание и было постоянно занято более загадочными тайнами. Более всего эта штуковина походила на несколько длинных кольев, связанных вместе и завернутых в бумажную упаковку. Фишер зажал конструкцию подмышкой и пошел, высматривая дорогу через торфяники. По мере того как они двигались по направлению к зарослям низкорослых деревьев, земля под ногами становилась все ухабистей. Быстро темнело — с каждым мигом ночь все более властно вступала в свои права.

— Нам не следует больше разговаривать в полный голос, — сообщил Фишер. — Я шепну, когда тебе следует остановиться. Не пытайся последовать за мной, ты лишь испортишь представление. Там, где один рискует головою, беда случится, коль полезут двое.

— Я бы последовал за тобой куда угодно, — ответил Марч. — Но если ты считаешь, что мне лучше будет остановиться, я сделаю, как ты скажешь.

— Уверен, что ты так и поступишь, — тихим

голосом промолвил его друг. — Тебе одному во всем мире я могу полностью довериться.

Прошагав еще немного, они оказались у подножия то ли большого холма, то ли могильного кургана, исполински вздымающегося на фоне темного неба. Фишер подал знак остановиться. Он нащупал руку своего спутника и в порыве нежности сжал ее, а затем рванулся вперед, во тьму. Марч едва-едва мог различить его фигуру, крадущуюся в тени холма, потом потерял ее из виду и вновь увидал уже на другом холме, находящемся в паре сотен ярдов. Перед ним стояла странная конструкция, сложенная, по-видимому, из двух поставленных вертикально прутьев. Он наклонился над нею, мелькнула вспышка пламени, а в голове Марча всплыли школьные воспоминания. Теперь он понял, что перед ним ракетная установка. Нелепые, заставляющие покраснеть воспоминания все еще владели его душой, когда послышался жуткий, но знакомый звук: миг спустя сигнальная ракета покинула свой станок и отправилась в бескрайнее небо, словно нацеленная прямо на звезды сияющая стрела. Марч внезапно подумал о знаках, предвещающих конец света, и осознал, что глядит на Звезду Полынь, знаменующую Судный день.

Высоко в бесконечном небе ракета зависла над головами и взорвалась алым фейерверком. На миг все вокруг — от моря до полумесяца укрытых деревьями холмов — превратилось в полыхающее рубиново-алым озеро, где все оттенки красного величественны и богаты. Возникло ощущение, что мир купается не в крови, а в вине, что рай земной уже наступил, и над ним теперь вечно сияет заря, полная надежды.

— Боже, храни Англию! — в голосе Фишера слышался колокольный перезвон и песнь фанфар. — Лишь на Господа нашего мы уповаем!

Стоило тьме вновь затопить море и землю, как раздался иной звук, точно залаяла свора гигантских собак: это где-то далеко, в ущельях между холмами, заговорили пушки. Над головой у Марча пролетела уже не свистящая ракета, а ревущий снаряд. Он взорвался по ту сторону кургана, оглушая и ослепляя. От ужасающего шума можно было потерять сознание. А снаряды все летели и летели, и вскоре мир заволокло едким дымом, в котором мерцали случайные вспышки и слышались взрывы. Артиллерия западных графств и ирландские полки обнаружили вражескую батарею и сейчас разносили ее на клочки.

Марч, взволнованный донельзя, все вгляды-

вался в беснующуюся стихию, пытаясь отыскать сухопарую долговязую фигуру, стоявшую рядом с ракетным станком. Затем очередная вспышка осветила весь холм. Фишера там не было.

Еще до того, как сияние ракеты исчезло с небес, задолго до того, как на дальних холмах заговорила первая пушка, из замаскированных окопов противника раздался винтовочный залп. Он смел все на своем пути. У подножия холма, в густой тени лежало тело, столь же холодное и жесткое, как и жерди, формирующие станок ракеты.

Человек, который знал слишком много, постиг наивысшую истину.

Перевод Айзека Бромберга

Примечание

Гилберта Честертона (1874–1936), к счастью, можно не представлять читателям: его, создателя знаменитого сыщика-священника отца Брауна, знают все. Но у Честертона несколько сквозных персонажей-детективов, каждому из которых посвящен отдельный цикл; и если католический священник отец Браун, безусловно, самый популярный, то вторым по популярности, столь же безусловно, является Хорн Фишер, герой цикла «Человек, который знал слишком много». Впрочем, последним новеллам о Фишере, и преж-

де всего «Мести статуи», в наших переводах не повезло — они появились поздно, издавались редко и отдельно от остальной серии, поэтому русскоязычным читателям известны гораздо хуже.

Причин тому несколько, но в случае с «Местью статуи», самой малоизвестной, добавилась еще одна, пожалуй, главная: отступление от законов привычного жанра. Ведь все остальные рассказы об «унылом аристократе» Фишере и его друге, энергичном газетчике Марше — детективы, пускай и весьма своеобразные (читатель узнает правду, но преступник обычно не получает воздаяния: Фишер поистине «знает слишком много» и понимает, что результаты каждого его расследования нужно скрыть как можно глубже). А вот «Месть статуи» — фантастика: для автора — возможное будущее (рассказ написан в 1922 году, а время действия, похоже, относится как минимум к концу 1930-х), для нас — хроники несбывшегося, альтернативная реальность. Причем фантастика эта посвящена Второй мировой войне, пускай для современного читателя почти неузнаваемой.

В роли главного врага предстает «новое государство, возникшее в Сибири и поддерживаемое Японией и прочими могущественными союзника-

ми». Если искать аналогию в нашей реальности, то это или ДВР, Дальневосточная республика, в том варианте истории не слившаяся с СССР, а утвердившаяся как в полной мере восточное государство, или Маньчжурия, сумевшая расшириться на север и стать из японской марионетки равноправным партнером Японии и Китая… даже, пожалуй, лидером в их тройственном союзе. Впрочем, союз этот явно включил и других азиатских участников, для среднего англичанина времен Честертона трудноразличимых: пышно украшенные рукояти мечей, на которых происходит дуэль, заставляют думать о Китае, самый факт мечевой дуэли отсылает скорее к самурайским традициям, а вот форма клинков наводит на мысль об индонезийских или малайских крисах.

Из 1922 года увидеть в роли главного врага Германию и вправду было затруднительно. Однако через одиннадцать лет, сразу после прихода Гитлера к власти, Честертон тут же распознал в немецком фашизме основную опасность, и все оставшиеся ему годы жизни пытался обратить на это внимание своих закоснелых в политической близорукости соотечественников.